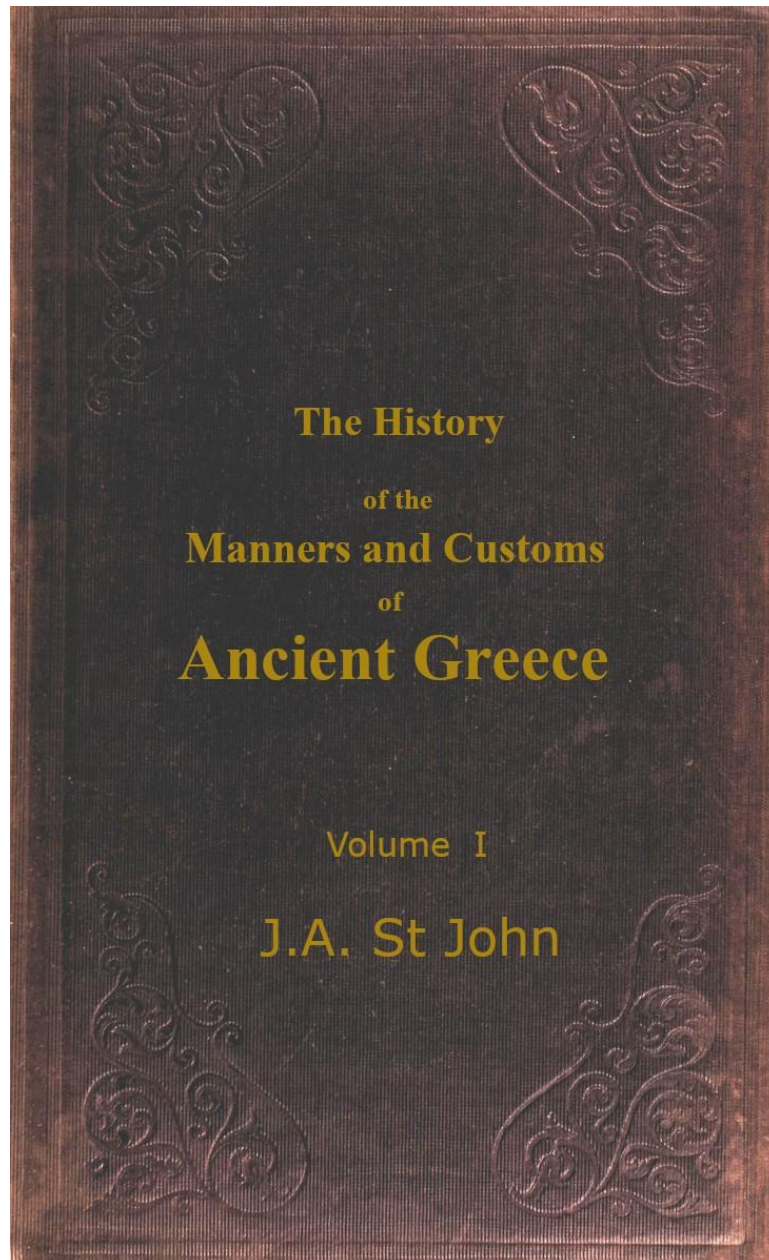


История нравов и обычаев Древней Греции, том 1 (из 3)

Джеймс Августус Сент-Джон



The Project Gutenberg eBook of The History of the Manners and Customs of Ancient Greece, Volume 1 (of 3).

Эта электронная книга может быть использована любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей света без каких-либо затрат и почти без ограничений. Вы можете копировать, дарить или повторно использовать ее на условиях Лицензии Проекта Гутенберга, прилагаемой к этой электронной книге, или онлайн на сайте www.gutenberg.org. Если вы находитесь не в Соединенных Штатах, то перед использованием этой электронной книги вам придется ознакомиться с законодательством страны, в которой вы находитесь.

Название: История нравов и обычаев Древней Греции, том 1 (из 3)

Автор: Джеймс Огастус Сент-Джон

Дата выхода: 3 марта 2022 [eBook #67552]

Последнее обновление: 18 октября 2024 г.

Язык: Английский

Оригинальное издание: Великобритания: R. Bentley, 1842

Кредиты: KD Weeks, Turgut Dincer и Online Distributed Proofreading Team на <https://www.pgdp.net> (Этот файл был создан на основе изображений, щедро предоставленных The Internet Archive)

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА GUTENBERG EBOOK THE HISTORY OF THE MANNERS AND CUSTOMS OF ANCIENT GREECE, VOLUME 1 (OF 3) ***

Примечание транскриптора:

Сноски собраны в конце каждой главы и снабжены ссылками для удобства пользования.

Незначительные ошибки, допущенные типографией, были исправлены. Пожалуйста, обратитесь к [примечанию](#) транскриптора в конце данного текста, чтобы получить подробную информацию о решении любых текстовых проблем, возникших во время его подготовки.

Все исправления выделены подчеркиванием. При наведении курсора на исправление оригинальный текст отображается в небольшом всплывающем окне.

Все исправления обозначены гиперссылками, которые ведут к соответствующей записи в таблице исправлений в примечании в конце текста.

НРАВЫ И ОБЫЧАИ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ.

VOL. I.

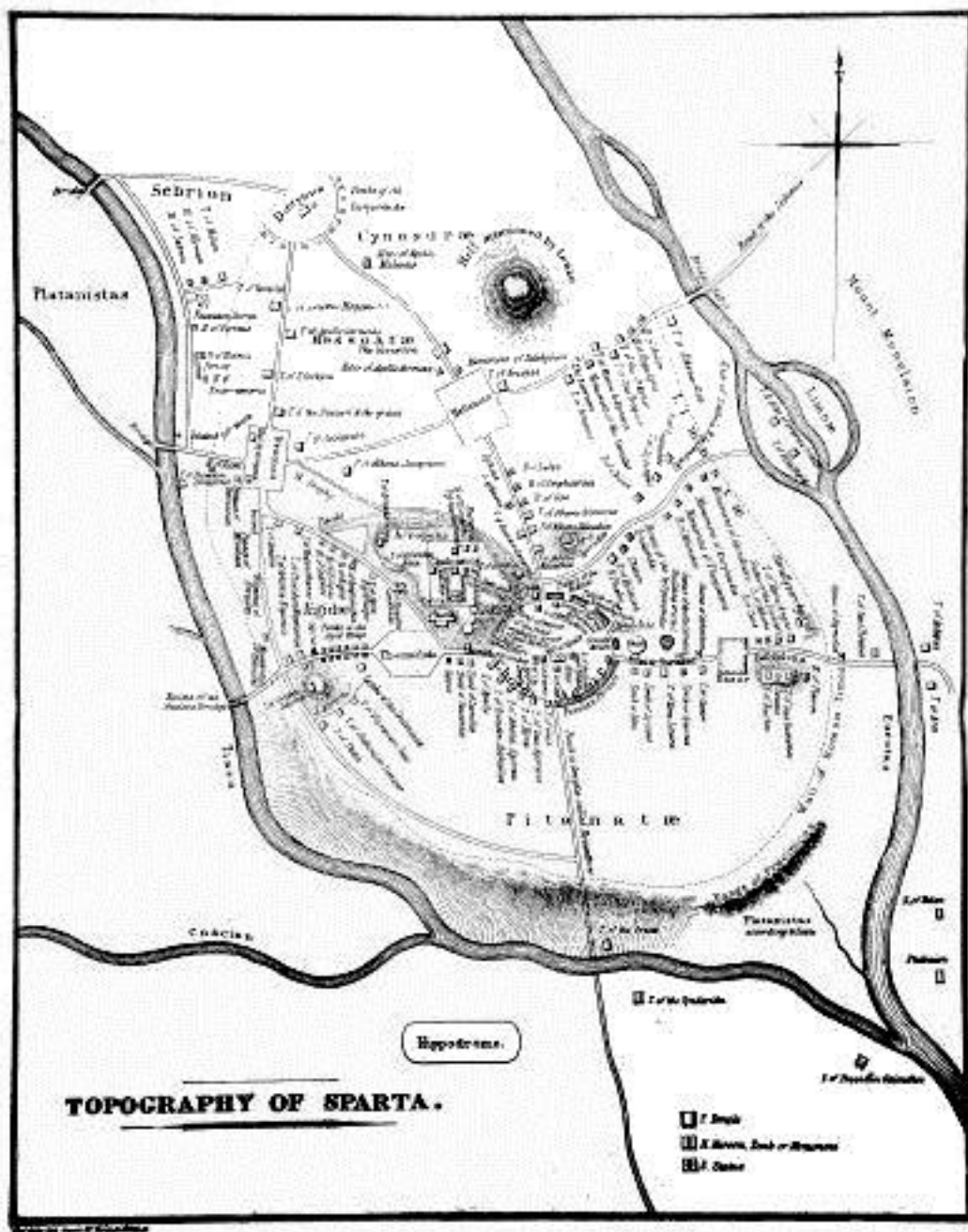
Цена 31s. 6d.

ВНИМАНИЕ.

Владельцы библиотек во всех частях страны вынуждены в соответствии с новым законом об авторском праве прекратить приобретение и выдачу одного экземпляра иностранного издания английского произведения. *Одно только наличие у них билета и маркировки как библиотечной книги грозит им штрафом в десять фунтов стерлингов.*

ШТРАФУ В ДЕСЯТЬ ФУНТОВ.

Несколько пунктов нового Закона об авторском праве предусматривают суровое наказание за распространение и продажу или прокат пиратских изданий английских произведений как в Великобритании, так и в колониях. Правительство категорически запрещает ввоз этих гнусных переизданий через таможни под любым предлогом. Общественность должна быть полностью и безупречно осведомлена о том, что в результате соответствующего распоряжения Казначейства даже единичные экземпляры пиратских произведений, провозимые в багаже путешественника, которые раньше были допустимы, теперь не допускаются, *если только они не разрезаны, на них не написано название, и, кроме того, они настолько изношены и использованы, что непригодны для продажи;* и что если после этого они будут обнаружены в библиотеке, владелец подвергнется суровому наказанию. Кроме того, два пункта нового Закона о таможне полностью исключают их из оборота после начала следующего финансового года. Эти меры, несомненно, будут неукоснительно соблюдаться как внутри страны, так и в колониях.



ТОПОГРАФИЯ СПАРТЫ.

ИСТОРИЯ НРАВОВ И ОБЫЧАЕВ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

ДЖ. А. СЕНТ-ДЖОН.

В ТРЕХ ТОМАХ.

VOL. I.

LONDON:

RICHARD BENTLEY, NEW BURLINGTON STREET,

Ординарный издатель Ее Величества.

1842.

ЛОНДОН:

НАПЕЧАТАНО С. И ДЖ. БЕНТЛИ, УИЛСОНОМ И ФЛИ,

Бангор Хаус, Шоу Лейн.

ПОСВЯЩЕНИЕ.

В ЧЕСТЬ БЭЙЛА СТ. ЖОНН.

Я посвящаю эту работу тебе, мой дорогой сын, в знак моей благодарности за веселое терпение, с которым ты помогал мне завершить ее, несмотря на бедствия, постигшие меня в разгар моих трудов. Какова бы ни была судьба этой публикации, она всегда будет напоминать мне о самых счастливых часах моей жизни, которые я провел, наблюдая за довольным спокойствием, с которым вы преодолевали неприятности, связанные с занятиями, столь мало подходящими для ваших лет. Однако, наконец, вы избавлены от лексикографов и схолиастов. Последняя страница написана, последняя гранка прочитана. Я освобождаюсь от задачи, начатой еще до вашего рождения, а вы - от четырехлетнего ученичества в ремесле и тайне авторства. Теперь остается лишь наблюдать за тем, как плоды наших трудов будут приняты в мире. Он был создан и вырос при весьма своеобразных обстоятельствах. Куда бы мы ни отправились, нас сопровождали обломки греческой литературы, а исследования, которым эти страницы обязаны своим существованием, проходили под влиянием почти любого климата Европы. Если же я продвинул свои исследования еще дальше и посетил ту часть Африки, которая, как принято считать, была колыбелью эллинской цивилизации, то исключительно в надежде получить возможность с некоторой степенью уверенности говорить о тех искусствах, которые представляют современному миру величие и гений Греции. Здесь, вероятно, действие язвительных ветров, песков и жгучих бликов пустыни положило начало тому затемнению "зрительного луча", которое, по всей вероятности, постепенно окутает меня полной темнотой и навсегда скроет от моего взора те формы прекрасного, которые были воплощены, если можно так выразиться, в мраморе. Это язык, который ни вы, ни ваша сестра не можете мне прочесть. Весь этот милый олимпийский выводок, который улыбался мне с добрым признанием, когда я был одиноким странником в чужих землях, будет, насколько я могу судить, уничтожен. Те двенадцать мистических превращений Афродиты в камень, которые можно было наблюдать в Неаполе все вместе и которые казались мне прекраснее его хваленого залива и даже неба, нависшего над ним, я полагаю, больше не увижу, или увижу неясно, как сквозь туман. Однако Гомер и Эсхил, а также Платон, Фукидид и Демосфен еще смогут голосами моих детей - голосами более веселыми и готовыми, чем те, которыми пользовался старый возраст и слепота Мильтона, - проецировать свою красоту в мою душу. Поэтому я не стану унывать, но, подражая примеру более мудрых и лучших людей, безропотно подчинюсь воле Божьей. Если бы все сложилось иначе, я мог бы продолжить эти исследования. Как бы то ни было, я

оставляю их здесь. Наш друг, мистер Кейтли, посетивший Италию с этой целью, исполнит для римлян то, что я пытался исполнить для греков; его обширные и разнообразные познания, совершенство его метода и приятная живость его стиля, вероятно, обеспечат его работе еще большую степень популярности, чем та, которой уже пользуются его очень успешные произведения.

Поверь мне, мой дорогой сын,

Всегда с любовью ваш,

J. A. Сент-Джон.

Лондон,

13 октября 1842 года.

ВВЕДЕНИЕ.

Многие нравственные явления, кажется, сбивают с толку пронизательность государственных деятелей, потому что, слишком доверяя опыту, они не расширяют диапазон своего созерцания, чтобы охватить весь круг существования народа, судьбу и характер которого они хотят постичь. Для успеха такого исследования необходимо, насколько это возможно, раскрыть влияние на этот народ климата и географического положения, пробиться сквозь шелуху и оболочку обычаев, нравов, законов, религий, чтобы добраться до ядра его нравственной природы, до той внутренней организации, интеллектуальной и физической, о которой внешние обстоятельства его гражданской и политической жизни являются всего лишь столькими колеблющимися символами.

Достичь этого, однако, даже в случае современного народа, среди которого мы можем наблюдать в полной активности все материальные движения общества, - задача не из легких. Но эта трудность значительно возрастает, если к препятствиям, которые при самых благоприятных обстоятельствах неизбежно возникают на пути к внутренней жизни народа, добавляются те, которые возникают из-за расстояния, на котором находится рассматриваемый нами народ, скудости и противоречивости доходящих до нас сообщений, и, пожалуй, более всего - атмосферы предрассудков, сквозь которую мы склонны воспринимать все, что хоть в какой-то степени отличается от наших собственных нравов и институтов. Но это соображение, хотя и должно вызывать снисхождение к неизбежным ошибкам даже самого старательного исследователя, не может быть причиной для воздержания от дальнейших исследований. Ведь, несмотря на недостатки, с которыми мы сталкиваемся, из оставшихся фрагментов древней литературы все еще можно извлечь материалы для реконструкции чего-то большего, чем скелет античности. Мы можем наделить кости сухожилиями и мышцами, облечь их плотью и кожей, разбросать по всему телу краски, которые будут напоминать жизнь; и если мы не можем похитить с небес небесный огонь, чтобы разжечь этот образ непревзойденной красоты, то это, по крайней мере, единственное, что превосходит наши силы.

Говоря это, я лишь излагаю свое мнение о том, что возможно, а ни в коем случае не то, что, как мне кажется, получилось в данной работе. Я слишком хорошо понимаю, насколько

исполнение не соответствует "обширному предложению, которое сделала надежда", когда много лет назад эта идея пришла мне в голову в ту пылкую и льстивую пору жизни, когда мы склонны воображать, что все нам по плечу. Но как

Каждый поступок, что был прежде

где у нас есть записи, испытания привели к тому, что

Пристрастия и препятствия; не отвечая цели

И та бесплотная фигура мысли

Которая придавала ей предположительную форму;

Так что, несомненно, в моем случае реализация окажется весьма несовершенным воплощением идеального плана.

Немногие темы, однако, изобилуют большим интересом или поучительностью, чем та, которую я осмелился здесь рассмотреть. Речь идет об институтах и моральном состоянии народа, судьбам которого история не дает параллелей; народа, который, подобно облаку размером не больше человеческой руки, которое слуга пророка видел с вершины Кармила, содержал в себе семена самых могущественных и судьбоносных событий. Эллина, по сути, никогда и никем, кроме несведущих людей, не могли рассматриваться в том же свете, что и обычные политические сообщества. Их могущество, огромное и поразительное для эпохи их расцвета, полностью проистекало из их национального характера и духа их институтов. Это была сила интеллекта. В действительности они были солнцем и душой древнего мира, и далеко во тьму вокруг них проникали те живительные лучи, которые, отражаясь от земли к земле, с тех пор освещали весь мир.

Афины, мудрейшее и благороднейшее из греческих государств,

мать искусств

и красноречия,

была великой наставницей человечества. Дух ее законов, переданный через законы Рима, до сих пор пронизывает весь цивилизованный мир. Ее мудрость и ее искусства составляют во всех полированных сообществах главный объект изучения; постичь их и наслаждаться ими - значит быть джентльменом. Поэтому Саллюст, несмотря на свой гений и проницательность, придерживался обыденного взгляда на национальное величие, считая, что Афины основаны главным образом на великолепии, которым историки окружили ее достижения. Ее триумфы, правда, не были достигнуты огромными военными массами, подобными тем, которые многие варварские народы в разные эпохи приводили в движение с целью добычи или завоевания. Афины строили свою славу на других основаниях. Она, конечно, не могла вывести на поле боя бесчисленные армии, но умела, имея небольшой отряд, победить тех, кто мог это сделать. В дни ее свободы ни одна человеческая сила не могла покорить ее. Чтобы добиться этого, нужно было истребить всех людей в пределах Аттики; ведь пока оставался хоть один афинянин, неукротимый дух демократии сохранялся в нем и был достаточен для разжигания новых споров.

Но энергия Афин, как бы велика она ни была, не развивалась, как у большинства других государств, главным образом в войне. Варварам свойственно разрушать, но ничего не создавать. Напротив, восторг и слава афинского народа заключались в реализации творческих способностей, в том, чтобы вызывать к жизни новые искусства, основывать

колонии, расширять круг цивилизации, покрывать землю прекрасными сооружениями, священными и гражданскими; создавать картины, статуи, вазы и скульптурные геммы, неповторимые по замыслу и тонкости исполнения. Где бы ни ступала нога афинянина, земля, казалось, становилась прекраснее под ним. Его гений украшал все, к чему прикасался. Его воображение оживляло все. Он придал суше и морю богатую мифологическую окраску. Боги по его приказу входили в античные дубравы, купались в водах ручьев и фонтанов, радостными группами рассыпались по возвышенностям и буйным долинам, и их голоса и благоухающее дыхание смешивались с каждым дуновением ветерка.

В далеких колониях, куда он перебрался, когда бедность ослабила цепи, неразрывно связывавшие его с аттической землей, через несколько лет возникли новые уменьшенные Афины. Пникс, Одеон, театр Вакха, Пританейон, Фейн Девы, возвышались вокруг него в уменьшенном масштабе, представляя собой, хотя и слабый, образ его прежнего дома, прекраснейшего, несомненно, и, после Иерусалима, самого святого места, когда-либо населенного человеком. Помимо всего прочего, он везде старался наслаждаться благословениями своих родовых учреждений и, как и в родном городе, прислушивался к народным раскатам, которые трижды в месяц раздавались с трибуны над собравшейся толпой, доставляя приятные эмоции его уму и постоянно разжигая страсть к свободе.

Нет необходимости долго останавливаться на морских и военных достижениях афинян. Мир по-прежнему полон побед при Марафоне, Саламине и Платее, а земля, залитая в защиту свободы кровью аттических, и по сей день остается священной в глазах самых флегматичных. В доказательство этого я обращаюсь к повседневному опыту каждого человека: разве одно упоминание о месте, где великий Демос одержал победу или потерпел национальное бедствие, не заставляет кровь быстрее стечь в жилы? Даже у тех, кто считает святым только мамону, огонь вспыхивает в их холодных натурах под воздействием этих славных слогов; ведь добродетель, доблесть и религиозная связь, которая привязывает душу к месту, где покоится прах матери, всегда находили и будут находить повод для горячего восхищения в каждом сердце. И никогда с момента возникновения общества эти великие качества не проявлялись так заметно, как среди жителей Афин. По этой причине, кто может посетить Сиракузы, или берега Геллеспонта, или место, где находится Белый замок Мемфиса, не испытал при взгляде на место происхождения электрического трепета душевной боли при воспоминании о том, что пережили там афинские граждане более двух тысяч лет назад? Даже Фермопилы, как бы славны они ни были, едва ли так глубоко волнуют нашу природу, как Марафон; ведь более грубый и материальный гений и институты Спарты, кормилицы тех героев, которые пали у ворот Эллады, вызывают меньше того горячего восхищения, которое пробуждают в каждом культурном уме великие деяния и великие люди Афин.

О политических институтах, которые во всей Элладе оказывали столь сильное влияние на развитие национального характера, я не собираюсь говорить в настоящем томе. Я полностью посвящаю себя другим причинам, которые сделали древних греков теми, кем они были; рассмотрение их форм правления я оставляю для отдельного трактата. Обсуждаемая здесь тема сама по себе представляет достаточный интерес. Моей целью было открыть, насколько это возможно, перспективу домашней экономики греческой семьи, искусства, комфорта, удобств, правил, влияющих на состояние частной жизни, а также тех обычаев и манер, которые придавали особый характер и окраску повседневным отношениям греческих граждан. Ибо во всех моих исследованиях природы и причин тех древних учреждений, которые в течение стольких веков составляли славу и счастье самой высокоодаренной расы, известной истории, я постоянно обращал свое внимание на обстоятельства их частной

жизни, из которых, как из великого источника, казалось, проистекало все их общественное процветание и величие.

Действительно, великие источники счастья и могущества нации всегда лежат вокруг домашнего очага. Там или нигде не сеют и не лелеют в течение многих лет все те добродетели, которые впоследствии расцветают на публике и составляют лучшее украшение содружества. Люди везде такие, какими их делают матери. Если они рабы, узколобые, невежественные, несчастные, то и те, в свою очередь, будут такими же. Домашний пример, пусть маленький и неясный, наложит свой отпечаток на государство; ведь то, что индивидуально, низменно и мало, никогда не сможет, объединившись с соседней малостью, стать великим или привести к тем героическим усилиям, тем благородным самопожертвованиям, которые возвышают человеческую природу до сферы, в которой она, кажется, затрагивает и приобщается к чему-то божественному.

Подробно изучая, насколько это было возможно, эти маленькие, неясные святилища греческой цивилизации - частные жилища Аттики, - я надеялся раскрыть секрет той нравственной алхимии, благодаря которой были сформированы

Эти мертвые, но скипетрообразные государи, которые все еще правят

Нашими духами из своих урн.

В этих убежищах, мало знакомых нашему воображению, таились зародыши закона, благого правления, философии, искусства и всего того, что способно смягчить и сделать прекрасной человеческую глину. То, что это было так, несомненно; почему это должно было быть так, мы, возможно, не сможем удовлетворительно объяснить; но это то, что мы, по крайней мере, попытаемся сделать в данной работе, и для этого, на первый взгляд, будет очевидно, что самое подробное описание политических институтов Афин должно оказаться совершенно недостаточным. Они были лишь одной из многих мощных причин. Основные лежали глубже, в сочетании многочисленных обстоятельств: особенно совершенная и красивая физическая организация; ум, полный энтузиазма, силы, гибкости и непревзойденной быстроты; оживленность нравов, которую никакие беды не могли надолго подавить; вытекающее, вероятно, из этого, сильное религиозное чувство, неизменно сидящее в сердце; безошибочное восприятие прекрасного в искусстве и природе; и, наконец, наслаждение благоприятным климатом и атмосферой, чистой, блестящей и полной солнечного света, как их умы.

Расы людей, хотя и не в точности так же, как индивидуумы, все же демонстрируют в определенные периоды своей истории свежесть, бодрость, бескорыстие, подобные молодости; и поскольку такое состояние чувств может не раз возникать в течение их карьеры, они, подобно Исону, выходят из конвульсий и очевидного распада в состояние совершенного омоложения. Бедствия и страдания очищают целые сообщества, как и отдельных людей. В кипении и суматохе революций нечистоты национального характера всплывают наверх и отсекаются железной рукой несчастья. Эти политические конвульсии, по сути, являются многочисленными попытками природы изгнать некую болезнь, таящуюся в конституции, которая, хотя раса и бессмертна, может, если ее оставить в организме, привести к вялости, худшей, чем смерть. Эту истину мы должны постоянно помнить, ведь среди особенностей афинской конституции не последнее место занимают многочисленные усилия, которые она предпринимала, чтобы исправить себя и приспособить свои рамки к меняющимся обстоятельствам времени.

В настоящем исследовании мы должны, как я уже говорил, выяснить, если это возможно, насколько Эллада была обязана своему климату, своему положению на земном шаре и физической организации своих жителей. Было бы нелепо делать вывод вместе с некоторыми писателями, что влияние этих обстоятельств мнимое, потому что Греция, похоже, осталась там же, где и была в прошлом, а конституция и темперамент людей остались неизменными. Но это не так. Греция больше не занимает на карте мира того положения, которое она занимала в древности. Она была вырвана из центра цивилизации и брошена на ее окраину, или, что одно и то же, цивилизация сместила свое место. Греки больше не те, кем они были раньше, хотя, возможно, при удачном стечении обстоятельств их еще можно было бы сделать таковыми. В настоящее время между ними и их предками такая же разница, как между фалернским кувшином и пустой банкой. Глина, правда, на месте, прекрасно вылеплена, а на щеках - пурпурный оттенок жизни; но тирания - со времен битвы при Херонее,

"Эта бесчестная победа

Роковая для свободы!"

до сих пор иссушает душу. В тот день, когда Эллада была сама собой, ее дети ходили в свете, в первом прекрасном свете утра, который долгое время, казалось, светил только им; и теперь, возможно, после оборота цикла, почти равного Великому году, они, возможно, приближаются к другому рассвету.

Сравнивая несколько греческих государств вместе, принято отдавать пальму первенства в энергии и воинской доблести спартамцам, которые сделали войну своей единственной профессией и провели свою жизнь лагере от колыбели до могилы. Но, принимая такое решение, едва ли можно отдать справедливость афинскому характеру; ведь если первые превосходили их в дисциплине, то вторым, бесспорно, принадлежало превосходство в природном мужестве. Обученные или необученные, они противостояли любому врагу и завоевали у Спарты на океане по меньшей мере столько же лавров, сколько дорийское государство за все свои войны собрало на суше. И, наконец, на Платее, среди какой расы, среди ионийцев или дорийцев, была проявлена наибольшая активность? В чьих рядах наблюдалось наибольшее стремление к участию? Кто первым принял на себя удар медийского коня и сломил страшный удар этого хваленного азиатского рыцарства, которое, как надеялся варвар, должно было растоптать своими бесчисленными копытами дух греческой свободы? Это сделали афиняне; эти веселые и, казалось бы, безропотные солдаты, которые выходили из своего прекрасного города, завитые, надушенные, одетые в пурпур, как на театральные бои. Дух их содружества, вся пышность снаружи и вся энергия внутри, побуждал их выйти на поле боя. При приближении царя они воскликнули: "Свобода или почетные могилы!" - такие, в каких их соотечественники всегда были склонны покоиться.

В самом деле, афиняне, жившие под свободным правительством, узнали, что такое жить, и впитали из своего воспитания чувство, что если их лишат такого правительства, если они будут вынуждены склониться под игом деспотизма, то умереть, если можно без упрека применить слова апостола, будет выгодой. Легко понять, что граждане такого государства испытывали горячую привязанность к своей стране - привязанность, непонятную для людей, живущих в любой другой форме гражданского правления. Афины были колыбелью их свободы и счастья. В любви, которую они питали к ней, была религия; согласно мифическим преданиям, в которые они верили, они возникли на этом месте из лона земли. Поэтому она была для них самым дорогим из всех отношений, будучи, если выразить все святое одним словом, - их Матерью; и они воплощали свое глубокое почитание священного места в всех

ласковых, всех ласкательных эпитетов, которые только мог предложить их великолепный язык. Даже боги, в своей патриотической пристрастности, считали Афины самым прекрасным, не менее чем самым славным городом на широкой земле, - идея, которую они выражали, изображая Посейдона и Афины, соперничающих за честь стать их божеством-покровителем.

Для таких людей никакое бедствие, кроме полного исчезновения их рода, не могло показаться столь невыносимым, как вид священного города с гробницами их предков, святилищами их богов, почтенными, но незыблемыми символами их веры и мифологической истории, отданного на растерзание или уничтожение мечом и огнем рабами-варварами, сильными только своей бесчисленной численностью. Но даже с этим афинский народ примирила любовь к свободе. Они оставили свое святое место и, взойдя на борт флота с женами и детьми, укрылись в Трезене и Саламине. История трогательным языком описала обстоятельства этого события, более жалкого, чем увод Иудеи и ее детей в плен. Я не стану нарушать его архаичную простоту. Никакое красноречие не сможет усилить ее эффект. Она сразу проникает в самое сердце и вызывает наши самые благородные симпатии. "Высадка афинского народа на берег была очень трогательной сценой. Какая жалость, какое восхищение стойкостью тех людей, которые, отправив своих родителей и семьи в далекие края, не разрывая объятий и криков, имели стойкость покинуть город и отправиться в Саламину! Усугубляло беду и количество горожан, которых они были вынуждены оставить по причине преклонного возраста. Некоторое умиление вызывали даже прирученные домашние животные, которые, выбегая на берег с жалобным воем, выражали свою привязанность и сожаление о людях, которых они кормили. Одна из таких собак, принадлежавшая Ксантиппу, отцу Перикла, не желая расставаться с ним, как рассказывают, прыгнула в море и плыла рядом с галерой, пока та не достигла Саламиса, где, совсем измученная трудом, тут же умерла. И по сей день показывают место, называемое Киносема - "могила собаки", - где, по их словам, она была похоронена"

Афинский народ в этом и подобных случаях мог решиться и смело действовать благодаря великодушному духу, вдохновленному его национальной системой образования. Кроме того, их институты были прекрасно рассчитаны на то, чтобы привести в действие энергию каждого отдельного гражданина и, как следствие, распространить по всему обществу величие чувств и героический энтузиазм, свойственные свободным государствам. В Афинах каждый, кто обладал средствами для служения своей стране, мог легко, независимо от своего ранга, сделать эти средства известными и привести их в действие. Если он был добродетелен, его добродетель отмечали и ставили на путь продвижения по службе. Если гений составлял его титул отличия, если природа одарила его способностью служить государству, государство, не спрашивая, беден он или богат, охотно пользовалось его способностями, награждало его при жизни политическими почестями и властью, а после смерти - нетленной славой. Если на войне он совершал какой-либо акт превосходного поведения или храбрости, его наградой было имя генерала; если он получал раны, это имя или надежда на него исцеляли их; если при совершении какого-либо героического поступка он погибал, его страна, он знал, почитит его прах, будет хранить его память и словами, обладающими силой успокоения и выражающими сочувствие нации, осушит слезы его родителей и любимых детей. Он знал, что слава его, возвеличенная непревзойденными мастерами красноречия, вспыхнет с трибуны, как молния; что прекрасные груди будут биться при его имени; что руки, самые прекрасные в Греции, будут ежегодно обвивать гирляндами его могилу; и что слезы будут вечно проливаться на этом месте храбрецами.

Если после него оставались дети, государство становилось их родителем; каждый афинянин делился с ними своей солью; передавал им лучшее наследство - чувство патриотизма и неугасимую ненависть к тирании; с нескрываемой гордостью повторял им хвалебные речи их отца и ежедневно указывал на лавры, вечно зеленеющие на его могиле. Афинянина с колыбели учили считать смерть прекрасной, когда он встречал ее на красном поле боя, защищая свой дом. И, согласно вероучению своей страны, он верил, что в таком случае его дух будет причислен к объектам общественного поклонения. Отсюда возвышенность, захватывающая сила клятвы Демосфена, который, поклявшись душами тех, кто пал при Марафоне, совершил их апофеоз и причислил их к богам Афин.

О том, что таковы были привычные чувства этого самого галантного и великодушного народа, свидетельствуют даже признания его злейших врагов. "Они, - замечает Фукидид о коринфских послых, подстрекавших Спарту к Пелопоннесской войне, - доводят победу до крайности и меньше всего унывают от поражения; они жертвуют телом за свою страну, как будто не имеют в ней никакого интереса, но при этом применяют свой ум на государственной службе, как будто это и их личный интерес - одно целое. Разочарование в предполагаемом приобретении они рассматривают как потерю того, что уже принадлежало им; успех в любом преследовании они считают лишь шагом к дальнейшим преимуществам; и, потерпев поражение в любой попытке, они немедленно обращаются к какому-нибудь новому проекту, с помощью которого могут загладить свою вину: так что, благодаря своей быстроте в выполнении всего, что они предлагают, они, кажется, обладают особым умением одновременно надеяться и обладать. Таким образом, они постоянно пребывают среди трудов и опасностей, не получая удовольствия от того, что приобретают; считая это лишь временем праздника, когда они осуществляют свои проекты, и считая отдых большим злом, чем самое трудоемкое дело. Подводя итог их характеру, можно сказать, что они рождены не для того, чтобы наслаждаться покоем самим и не для того, чтобы им наслаждались другие."^[2]

Чувство, что то, за что они сражаются, принадлежит им, которое объясняет героизм эллинских армий, также привело, особенно в Афинах, к благоустройству и украшению города и совершенствованию общественного вкуса. Народ не видел дворцов, предназначенных для частной роскоши деспотического двора, где люди, содержащиеся за государственный счет, учатся с презрением смотреть на честные руки, которые их поддерживают. Там все, что было великолепным, принадлежало всему народу, ни один частный человек в лучшие времена содружества не позволял себе, как бы ни были велики его таланты или влияние, присваивать себе больше, чем может причитаться отдельным людям, или укрывать свои бранные тела в зданиях, пригодных только для поклонения Богу. И все же в подлинном величии ни один монарх, имея в распоряжении по своему капризу богатства половины мира, никогда не соперничал с афинским народом. Истинный вкус, подлинное чувство прекрасного и возвышенного, пока существует мир, будет отказываться быть подданным тирана или жить с ним в одном городе; потому что никакие покровительства, пенсии или щедрые расходы не могут создать в одном обществе то, что принадлежит другому; а чистый вкус, являющийся не чем иным, как культивированным народным чувством, спонтанно распространяющимся, не может существовать нигде, кроме как в свободном государстве. Принц, несомненно, может знать, что доставляет ему удовольствие; но только народ может сказать, что доставляет удовольствие народу, а это несомненно, ничто, если оно не произведено специально для него, без малейшей ссылки на какого-либо другого человека.

Таковыми в лучшие периоды греческой истории были афиняне. Среди них природа обычно была предоставлена самой себе; от колыбели и выше она была их проводником. У них не было ни чистой религии, ни чистой морали. Далеко не так; они едва улавливали неясные

проблески того, что в вере и практике является истинным и прекрасным. Да и не могло быть иначе; ведь солнце тогда еще не взошло, и люди лишь неуверенно и робко нащупывали свой путь среди предрассветной мглы. Тем не менее, свет, который им был дан, они не отвергли. Согласно господствовавшим тогда представлениям, они были самыми благочестивыми из всех людей; и хотя этом благочестии многое, а может быть, и большая часть, было суеверием, но, несомненно, Бог, по слову апостола, вменил им в праведность, что, не имея закона, они были законом для самих себя.

Спартанцы же были простыми воинами-монахами, храбрыми, конечно, и верными, как их мечи, но не наделенными теми более высокими и утонченными чувствами, которые составляют красоту человеческого характера и являются единственными родителями любви. Немногие, возможно, если бы все было в пределах их досягаемости, предпочли бы быть гражданами Спарты; в то время как никто, для кого поэзия жизни имеет хоть какое-то очарование, не колеблясь, после своей собственной страны, возможно, избрал бы Афины своим домом. А то, что это не схоластическая фантазия, порожденная литературными предпочтениями, ясно из практики античности. Каждый человек, обладающий высоким гением, будь то представитель ионической или дорической расы, отправлялся в Афины, как в Грецию Греции - общую страну букв, наук и искусств. Туда же, как сейчас в Лондон, бежали угнетенные и гонимые из всех стран, и там они находили радушный прием и поддержку. Это был великий приют, общий город-убежище для всех людей. Чужаки, которые могли довольствоваться гостеприимством и щедрой защитой, никогда не были изгнаны оттуда. Там каждый человек мог жить, как ему заблагорассудится, думать, как ему заблагорассудится, и свободно высказывать то, что он думает. Зафиксированные случаи преследований едва ли достаточно многочисленны, чтобы служить исключениями из общего правила; а на примере Горгия Леонтийского, Полоса, Протагора, Продикоса, Гиппия, "и того, что произносили киники", мы узнаем, насколько велик был дух веротерпимости в Афинах. Было бы нелепо возражать против примеров Анаксагора, Аспазии и Сократа; ведь это всего лишь примеры ярости партийного духа, от которого, пока люди остаются людьми, ни одно государство никогда не будет свободным, и его нельзя вменить афинскому народу или духу его правительства в большей степени, чем казнь сэра Томаса Мора, Кранмера или Фишера можно вменить в вину английской конституции.

СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО ТОМА.

КНИГА I.

ГЛАВА

СТР АНИ ЦА

I. Первобытные обитатели Эллады

1

II.	Характер греков	29
III.	Географический очерк	51
IV.	Столичные города Греции - Афины	70
V.	Столицы Греции - Спарта	92

КНИГА II.

ОБРАЗОВАНИЕ.

I.	Теория воспитания.- Рождение детей.- Детоубийство	107
II.	Праздник рождения.- Наречение ребенка.- Ясли.- Сказки о яслях.- Спартанские праздники	128
III.	Игрушки, спорт и развлечения	144
IV.	Начальное обучение	164
V.	Упражнения для молодежи	189
VI.	Охота и рыбалка	206
VII.	Школы философов и софистов	233
VIII.	Воспитание спартанцев, критян, аркадян и т. д.	265
IX.	Влияние изящных искусств на образование	289
X.	Эллинская литература	314
XI.	Дух греческой религии	349

КНИГА III.

ЖЕНЩИНЫ.

I.	Женщины в героические века	369
II.	Женщины дорийских государств	382
III.	Состояние незамужних женщин - Любовь.	401

ИСТОРИЯ

ТОГО

НРАВЫ И ОБЫЧАИ

.

ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ.

КНИГА I.

ГЛАВА I.

ПЕРВОБЫТНЫЕ ЖИТЕЛИ ЭЛЛАДЫ.

Страна эллинов, которую мы, подражая римлянам, называем Грецией, была известна своим собственным жителям под именем Эллады. Но значение этого термина не было фиксированным: иногда он ограничивался собственно Грецией, а иногда охватывал и владения эллинов в Азии, то есть Элладу в пределах и за пределами Эгеиды, как мы сейчас говорим, что Индия в пределах и за Гангом.^[3] Прогресс этого названия, по-видимому, был следующим: первоначально оно обозначало^[4] город в Фессалии, построенный Эллином, сыном Девкалиона; затем Фтиотис; всю Фессалию; всю Грецию, за исключением иногда Пелопоннеса, иногда Македонии, иногда, что очень примечательно, самой Фессалии; иногда Эпейрос; затем вся Греция в пределах Эгеиды; затем все страны, населенные греками, в любой части света; и, наконец, похоже, что иногда это слово использовалось для обозначения одних Афин.^[5] Самое древнее название, Пеласгия, произошло от расы, которая первой, возможно, заселила эту часть Европы.

Почти все писатели, занимающиеся греческой историей или древностями, в большей или меньшей степени отваживались на расспросы о первоначальных обитателях страны: одни утверждали, что ее населяли многие независимые расы, другие довольствовались предположением об одном первичном роде. Вряд ли можно надеяться на достижение определенности в таких исследованиях, поскольку на всем поле факты так тесно соседствуют с баснями, "что самое большее, что остается, - это показ темных и неясных шагов, куда ушла часть истины". Однако, похоже, установлен факт, что эллины не были первыми, кто занял Грецию. Им предшествовал целый ряд племен, все из которых, очевидно, были пеласгами. Но кем и чем были пеласги, как и откуда они пришли в страну, какими градациями и влияниями они превратились в эллинов или были изгнаны ими с земли - это вопросы, на которые никогда не было дано удовлетворительных ответов, но которые все равно должны обсуждаться, какими бы ни были результаты исследования.

Даже название этого народа открывает бесконечный лабиринт догадок, по крайней мере, среди современных людей, поскольку древние, когда нужно было прояснить такие моменты, легко устраняли трудности, изобретая героя или полубога с точно подходящим для их цели названием. Так, от Эллина они получили название эллинов, от Геракла - Гераклидов, от Иона - ионийцев, а от Пеласга, сына то Зевса, то Посейдона, то Триопса, Инахоса, Ликаона, Палахтона или самой земли,^[7] - пеласгов. Аттический писатель, знакомый с этим вопросом и намекающий на часть теории, которую я принял, считает, что название "пеласги" было дано этой расе потому, что они обычно появлялись на берегах Эллады, как перелетные птицы весной.^[8] Но хотя предположения в таких вопросах могут развлечь, они вряд ли приведут к истине на таком расстоянии.

Древние, очевидно, не выработали никакой теории относительно того, откуда появились пеласги, но довольствовались представлением об их автохтонности,^[9] которое мы не можем принять. Однако следует признать, что мы не в состоянии с уверенностью проследить их существование за пределами Греции до их прибытия в эту страну. Мое собственное мнение таково: когда начались миграции из этой обширной и возвышенной столовой земли Центральной Азии, которая была первобытным местом обитания человечества и где впервые заговорили на родном языке санскрита, греческого, и многих других диалектах, прославленная раса, известная впоследствии под именем пеласгов, двинулась на запад по Каспию, вдоль Кавказского хребта, через Армению и Курдистан, пока не спустилась на

равнины Малой Азии. Здесь мы, кажется, касаемся самой туманной грани греческой басни, ибо традиция, отправившая Арго в Колхиду, на восточную оконечность Черного моря, очевидно, рассматривала жителей этой земли как родственную расу, со схожей верой, характером и нравами. По какому именно руслу поток населения катился на запад, определить невозможно: но то тут, то там, на южных берегах Эвксинского моря, мы обнаруживаем неясные следы родителей греков, продолжавших свой путь к земле, которую они впоследствии должны были окружить славой. Продвигаясь через Понто́с, Пафлагонию и Вифинию, они, по-видимому, везде создавали поселения на побережье, пока не достигли узкого потока Боспора, через который перекинулись в Европу.

До этого момента у нас мало на чем можно строить свои выводы, кроме того, что дает общая теория древних миграций, и того, что кажется фактами, смутно видимыми в крайней орбите мифологии. Сами древние, по-видимому, получили некоторые неопределенные проблески связей, соединяющих их предков с азиатской Скифией, поскольку среди них были те, кто представлял кавконов Пафлагонии, простирающихся вдоль берегов Парфения и между Мариандинами и морем, как народ скифского происхождения. Кавконы, несомненно, были пеласгами, как и фригийцы, карийцы и лелеги, которые, объединенные кровными узами, пришли на защиту Трои.^[10] В гораздо более отдаленную эпоху герои традиционного Арга, как говорят, были сбиты с толку ночью в Кизикосе,^[11] в Мисии, воинственными пеласгами, которые уже тогда были хозяевами моря и привыкли на своих галерах беспокоить побережье и грабить оседлых жителей. Я рассматриваю разработку золотых и серебряных рудников на южных берегах Эвксинского моря до Троянской войны как еще одно доказательство поселения пеласгов в этой части Малой Азии;^[12] и кто, кроме них, в период, недоступный для традиции, мог открыть те золотые рудники на берегах Фракии, которые при завоевании страны Филиппом Македонским были обнаружены давно разработанными и заброшенными каким-то неизвестным народом?^[13]

Как бы то ни было, именно через Боспор и Фракию пеласги, по-видимому, совершили свои самые ранние подходы к Греции. Сами фракийцы были пеласгийского происхождения. Фракийцы населяли оба берега Боспора; следы пеласгийских поселений и пеласгийских имен также встречаются по обе стороны. Поток знаний, несомненно, вливался через Фракию в Грецию; и весьма вероятно, что в более отдаленные времена поток населения протекал по тому же руслу. Оказавшись в Македонии, искатели приключений соблазнялись красотой климата и страны на юг; так что пока одни двигались вверх по долине Галиакмона, другие, возможно, завладевали хребтами Олимпоса, Оссы и Пелиона, где они были известны под именами кентавров и лапифов.^[14] С этих возвышенных хребтов они смотрели вниз на великое озеро, которое в те века покрывало всю равнину Фессалии, и, следуя разветвлениям гор, заселили пеласгийский Аргос, Фтиотис и корни Сѐта, пока низменности были еще под водой: отсюда они также перешли на Эвбею, где приняли имена *Macrones*^[15] и *Curetes*. Это последнее племя, поселившись в Халкисе^[16] и потерпев поражение в борьбе за Лалантийскую равнину, бежало через Эврипос и, пройдя через всю Беотию, основало новое поселение около Плерона в Этолии и дало название Куретис всей стране. Отсюда же, с течением времени, они были изгнаны эйтолийцами из Писы в Элиду, после чего укрылись в Акарнании.^[17]

Но главное племя, которое впоследствии распространилось по всей Греции, заполнив населением долину Галиакмона, пройдя через Каулавию и спустившись по течению Аозса, на берегах Селидноса, похоже, повернуло свои лица на юг. Следуя за этим потоком вверх к его истоку, они оказались в Эпейросе, земле, изобилующей водными ручьями, с прекрасными горами и прекрасными долинами, и в конце концов поселились и возвели себе

прочные жилища в священной окрестности Додоны,^[18] где под защитой пеласгийского Зевса процветал первый известный эллинам оракул.^[19]

До сих пор мы ступали, почти не имея света, чтобы направлять нас, по почве, которая была изменчивой, неуверенной и предательской; но здесь мы касаемся сравнительно твердой почвы, а свет поэзии рассветает вокруг и позволяет нам направить наши шаги к светящейся тверди истории.

Не стоит отрицать, что большая часть вышеизложенной теории построена на умозаключениях и предположениях. Тем не менее, отчасти она опирается на факты, которые историк не должен отвергать. Например, хотя нигде не сказано, что фракийцы были полностью пеласгами, различные обстоятельства заставляют нас поверить, что так оно и было: Во-первых, Самофракия на побережье, несомненно, была заселена пеласгами;^[20] во-вторых, македонцы, явно из одной группы с фракийцами, по общему признанию, были пеласгами;^[21] и поскольку иллирийцы также были родственным народом,^[22] мы имеем линию пеласгийских поселений, протянувшуюся вдоль всей северной границы Греции, Эгеиды, Геллеспонта и Пропонтиды, от Адриатики до Черного моря. Цепочка доказательств, правда, не полная, а попеременно появляется и исчезает, как поток Алфея, хотя мало кто сомневается в существовании звеньев, которые случайно оказались вне поля зрения. Почти в каждой части Македонии отчетливо видны следы пеласгов; в Крестоне,^[23] на Эхидоросе в Пионии; в Эматее и Боттии;^[24] и, глядя на язык страны, мы видим, что он во все времена был идентичен греческому. То же самое можно сказать и о Фракии, даже в самые отдаленные века, из чего неопровержимо следует, что ее барды, Фамирис и Орфей, обошли всю Элладу и воспевали ее жителям свою мудрость; а Олен, пришедший из Ликийи, пеласгийского поселения,^[25] также принес свои родственные песни в ту же терпимую и гостеприимную страну.

Но если проследить передвижения пеласгов по самой Греции, то, хотя хронология событий и не может быть предложена, наши взгляды опираются на прочный фундамент. Однако многое в наших рассуждениях будет путаным или, возможно, непонятным, если не учитывать, что название пеласгов, как и татар или арабов, было общим названием, применяемым ко всей расе, в то время как несколько племен носили отдельные наименования; например, хаоны,^[26] дриопы, лелеги, кауконы, крананы и многие другие,^[27] точно так же, как среди арабов, мы находим абабде, махази, бени саккер и т.д. Пеласгийское племя, которое впервые появилось и стало могущественным в Эпейросе, стране, не отделимой от Греции, было племенем хаонов, главной резиденцией которых была Хеймера,^[28] у подножия Кераунианских гор. Неизвестный схолиаст, правда, называет их варварами;^[29] но поскольку из лучших источников мы знаем, что они были пеласгами, это показывает значение термина в устах поздних авторов. Другой класс - левиты, возможно, из тех первобытных людей - поселился среди дубовых лесов, окружавших прекрасное Додонское озеро, где под именем Селли^[30] они основали самый знаменитый оракул ранней античности. По своим привычкам они напоминают саньясинов и других религиозных анкоритов Индии, живущих с видом на покаяние с нематыми ногами и спящих на голой земле. Другими племенами, издревле известными в Эпейросе и во всем Пеласге,^[31] были феспротийцы, молосцы, перребийцы и долопийцы, последние - грубые горцы, населявшие восточные и западные склоны Пиндоса.^[32]

Когда Эпейрос был густо усыпан поселениями, землетрясение, по-видимому, вызвало в хребте Пелиона узкую обрывистую щель, известную впоследствии как Темпе, через которую воды Фессалийского озера уходили в море. Это случилось, как нам рассказывают, когда некий Пеласигос^[33] царствовал над горами в районе Хемонии. Они праздновали большой

пир, когда некий раб по имени Пелорос принес им весть о случившемся, с восхищением рассказывая о бескрайних равнинах, которые виднелись сквозь прибывающие воды. В благодарность за эту весть они усадили его за стол, а царь и его приближенные в радости и полноте сердца прислуживали ему. Это, как говорят, послужило началом Пелорийского праздника, который впоследствии, вплоть до очень позднего времени, с большой пышностью и великолепием отмечался в Фессалии, где на день хозяева менялись состоянием со своими рабами и становились их слугами.^[34] Тот же праздник в пеласгийских поселениях Италии был известен вплоть до новейших времен под названием Сатурналии.

Когда внутренняя часть Фессалии стала пригодной для жизни, пеласги из Эпейроса, испытывая недостаток места и все еще чувствуя первоначальный бродячий импульс, перевалили через высоты Пиндоса в долины Гистиеотиса и двинулись на восток вдоль подножия Камбунийских гор, расселяясь повсюду по мере продвижения. Племя, которое двигалось в этом направлении, носило имя перребиев и оставило следы своих передвижений в большом Перребийском лесу, простирающемся до подножия Олимпоса, и в названии всего района, простирающегося от Пеней до северных пределов Фессалии. В этом богатом и плодородном районе они стали могущественными и распространили свое господство вдоль берегов Пеней, вплоть до моря. Но лапитеи, поднявшись на ноги и одолев перребиев в битве, подчинили часть племен своему игу, а остальные, полюбив независимость, отступили вглубь страны, снова переправились через Пиндос и обосновались в верхней долине Ачелооса. Примерно в то же время, возможно, часть этого племени, пройдя через всю Фессалию, перешла в Эвбею, где покорила и завладела Гистиеотисом. Возможно, именно приход этих искателей приключений на остров, подталкивающих свежие волны населения на юг, стал причиной борьбы за Лалантийскую равнину и эмиграции куретов на континент.

Другие пеласгийские племена утвердились и прославились в Фессалии. Например, кентавры - лелегийский род, обитавший на горе Пелион, где они, возможно, были первыми укротителями лошади, откуда и пошло предание об их двойном облике. Другие части лелегов также были найдены в Фессалии,^[35] как и дриопы. В этой стране,^[36] несмотря на то, что в целом она должна рассматриваться лишь как второй этап миграции пеласгов на юг, мы находим больше следов их власти и влияния, чем где-либо еще в Северной Греции. Здесь было два города, называвшихся Ларисса; здесь был пеласгийский Аргос;^[37] здесь также был большой район, известный под названием Пеласгиотис, а название Пеласгия, похоже, предшествовало Фессалии в качестве названия всей провинции.^[38] Этот народ, как и большинство других, имел ряд имен, к которым он был особенно привязан, и мы почти всегда находим их повторяющимися везде, где они создавали поселения. В целом, можно считать, что более северные поселения были самыми древними: так, мы находим Пелагонию в Македонском царстве и в Фессалии; Лариса^[39] на Пенеех; Лариса Кремасте у берега. Дриопы,^[40] опять же, появляются сначала в Эпейросе, недалеко от Додоны; затем мы находим их в Фессалии, затем в Дорисе, наконец, в Пелопоннесе; и Страбон осторожно отмечает, что последние были ответвлением от тех, кто жил на севере.

Из Фессалии поток населения покатился на юг;^[41] различные племена пеласгов под именами лелегов, гиантов, аонийцев и дриопов завладели горами и долинами Дориса, Локриса, Фокиса и распространили свои миграции на равнины Беотии. Оттуда, через перешеек, несколько разрозненных орд попали в Пелопоннес, где, как пастухи, постепенно рассеялись по богатым равнинам. Все пеласги, как и арабы и татары, изначально были кочевниками, различные племена которых, соблазнившись красотой отдельных регионов, оставили свою бродячую жизнь, как это сделали арабы в Египте, Йемене и других местах, и из пастухов

превратились в земледельцев. Со временем потомки поселенцев, привыкшие к легкой и роскошной жизни в городах, научились смотреть на своих бродячих предков как на жалкую и варварскую расу. Действительно, иногда о них говорят^[42] после их прибытия в Пелопоннес как о каннибалах, голых, бездомных, не умеющих пользоваться огнем, наравне, короче говоря, с самыми свирепыми и жестокими дикарями, обитающими на островах Тихого океана. Но эти ошибочные представления, очевидно, возникли на основе теории автохтонности, которая предполагает, что человек постепенно превратился из зверя в человека; в то время как низшие дикари, обнаруженные в различных частях света, не представляют собой изначальное состояние человечества, а являются лишь примерами крайнего вырождения. На самом деле, среди греков также преобладали различные традиции, которые, очевидно, относились к тому периоду, когда их предки были кочевниками, и с восторгом и энтузиазмом рассказывали об их счастливой и спокойной жизни, когда, следуя за своими стадами от долины к долине и от ручья к ручью, они питались спонтанными продуктами, которые природа распространяла перед ними. Поэты называли этот период Золотым веком, и, возможно, если подойти к этому вопросу философски, нет в истории цивилизации этапа, на котором можно было бы так много наслаждаться и так мало страдать, как когда весь народ - пастухи и случайно набредают на землю, где, будучи еще слишком малочисленными, чтобы причинять друг другу неудобства, они могут жить, не подвергаясь нападению чужих племен.

Теперь было показано, как Эллада могла быть полностью заселена с севера; но некоторые традиции, преобладающие с древнейших времен, заставляют нас признать, что, по крайней мере, часть ее населения достигла ее другим путем, то есть через Малую Азию и острова. Я уже кратко упоминал о существовании пеласгийского племени в Пафлагонии,^[43] то есть кавконов, чье поселение в этом регионе служит звеном в цепи доказательств, с помощью которых мы пытаемся связать пеласгов со скифами Центральной Азии; ибо признается, что кавконы были пеласгийского происхождения, а среди древних преобладало мнение, что они также были скифами.^[44] Таким образом, мы узнаем, что некоторые скифы, поселившиеся в Пафлагонии, назывались кавконами, что кавконы были пеласгами, и что пеласги населяли Грецию. Греки, таким образом, по этой версии, вели свое происхождение из Скифии. Обстоятельства, связанные с географией Малой Азии и Эллады, как представляется, дают возможность проследить путь пеласгов на запад. По-видимому, среди первобытных положений их верования было то, что божество любит пребывать на вершинах возвышенных и даже снежных гор; и всякий раз, когда в их поселениях черты земли представляли какую-нибудь такую возвышенность, они, похоже, давали ей название Олимпос, или Небесный особняк.^[45] Непосредственно к югу от кавконских поселений, на границах Вифинии и Галакии, мы, соответственно, находим гору с таким названием; опять же, двигаясь на запад, мы имеем еще одну гору Олимпос, на северной границе Фригии; Третья встречается на острове Лесбос;^[46] четвертая на Кипре, пятая в Аркадии,^[47] шестая в Элисе, а седьмая, самая известная из всех, близ колыбели эллинов в Фессалии. В Мисии^[48] следы этой расы многочисленны; пеласгийские города - Плакия, Сцилас, Кизикос, Антандрос - усеяли побережье; внутри страны была Лариса;^[49] а вечнозеленое дерево с прелестными листьями, укрывавшее склоны и скалы Троянской Иды, было названо пеласгийским лавром.^[50] Есть и другие факты, связывающие троянцев с пеласгами: так, кавконы, которых мы находим среди их союзников у Гомера, называются троянским племенем; язык Трои, очевидно, был пеласгийским диалектом, тесно связанным с греческим,^[51] который также можно отнести к фригийскому, лидийскому, карийскому, ликийскому, простиравшемуся вдоль всего западного побережья Малой Азии. Боги, оракулы, обряды, церемонии всех этих народов, похоже, в ранние времена были идентичны эллинским, а мифология представляет героев обоих континентов как произошедших от

одних и тех же богов. Кроме того, положительные свидетельства описывают пеласгов как великий народ, владевший всем западным побережьем Малой Азии от Микале до Геллеспонта;^[52] и говорит о лелегах как о населяющих часть Карию, где их заброшенные укрепления, называемые Лелегиями,^[53] очевидно циклопической постройки, были все еще найдены во времена Страбона,^[54] вместе с их гробницами, вероятно курганами, похожими на те, что разбросаны по Пелопоннесу и называются "Гробницами фригийцев". Подобные усыпальницы карийского владычества были найдены и вскрыты афинянами при очищении Делоса.^[56] Возможно также, что курганы, существующие по сей день в Тартарии и время от времени раскапываемые сибиряками, обозначают первоначальное местонахождение пеласгов в Азии; хотя подобные памятники встречаются и в других частях Востока, как в Нубии, где я насчитал скопление из десяти или двенадцати, и почти по всей Европе. Гомер говорит об одном из них на равнинах Трои, а сами греки воздвигают курганы над своими героями, как Аякс, где

"Далеко на одиноком берегу он спит".

Чтобы не упустить ни одного существенного факта, на котором основывается мой взгляд на пеласгийскую историю, я перейду к упоминанию по порядку основных пунктов на азиатском побережье, где видны следы пеласгов. Итак, мы узнаем, что они занимали большую часть Лидии,^[57] и во время ионийского переселения владели цитаделью Эфес. Они же вместе с нимфами были основателями храма Геры на Самосе^[58] и, переплыв Меандр, вновь появились в Милетосе на побережье Карию. Действительно, этот город^[59] первоначально, по имени его жителей, назывался Лелегейс, хотя впоследствии он был известен под разными именами, как Питуусса из-за окружающего соснового леса, Анактория, и, наконец, Милетос. Чуть дальше к югу находилось еще одно лелегийское поселение в Педасосе на реке Сатнеос.^[60] На основании отрывка из Гомера предполагалось, что карийцы и лелегийцы были отдельными расами, но на самом деле карийцы были лелегийским племенем;^[61] то есть пеласгами, которые, подобно эллинам в Греции, постепенно приобрели власть и господство и затмили своих собратьев. Сделать это им помогло увлечение оружием, которое в более поздний период привело к тому, что они стали торговать своей доблестью и сдавать свои мечи внаем тому, кто больше заплатит. В более ранние и лучшие времена они сами добивались завоеваний и, соперничая с финикийцами в морской предприимчивости и успехе, подчинили себе большую часть Эгейских островов,^[62] и даже часть самого Эллинского континента.^[63] Некоторые кланы этой воинственной расы искали выход своей неугомонной смелости, присоединяясь к киликийцам^[64] в их пиратских предприятиях, и, вероятно, именно в этом качестве они впервые получили во владение некоторые из небольших островов. Положительных исторических свидетельств для закрепления пеласгов за Кипром, похоже, нет,^[65] хотя мы не можем сомневаться, что он входил в их владения, судя по руинам циклопических крепостей, которые до сих пор там находят, и уже упомянутой Олимпийской горе. На Родосе, и Самосе античность говорит об их поселениях;^[66] они также были самыми первыми жителями Хиоса,^[67] откуда они отправили колонию на Лесбос,^[68] который получил от них название Пеласгия. Они изгнали минийцев с Лемноса,^[69] который впоследствии, опасаясь Дария, их царь уступил афинянам,^[70] и удержали Имброс^[71] и Самофракию^[72] на севере; Скирос тоже первоначально назывался Пеласгией.^[73] Андрос был заселен одной^[74] из их колоний, а Делос, как мы уже видели, хранил их кости, пока они не были изгнаны афинянами. Но нет необходимости перечислять каждый отдельный пункт, так как в целом мы знаем, что все острова Эгеиды издревле находились в их владении^[75] и что даже большой остров Крит в отдаленные века составлял часть их империи. Здесь под именами куретов, корибантов, телхинов и дактилей^[76] они процветали в мифические времена и, как считается, были хранителями и кормилицами младенца Зевса, бога, в высшей степени

пеласгийского, так что везде, где можно найти его поклонение, я считаю это доказательством того, что пеласги поселились там.

Переходя таким образом с острова на остров в самом начале развития мореплавания, пеласги, по-видимому, через Спорады и Киклады попали на Пелопоннес, высадившись сначала в Аргосе. Вероятно, по прибытии они обнаружили там немногочисленных жителей, которые перебрались через перешеек и на досуге рассеялись по полуострову. Но так это было или нет, несомненно, что древнейшие легенды эллинской мифологии говорят о заселении Аргоса по морю, представляя Инахоса, его первого правителя, как сына океана.^[77] От этого вождя, исторического или сказочного, получила свое название главная река Аргоса, а члены его рода дали свои имена сначала Арголиде, а затем и всему Пелопоннесу, который от Аписа стал называться Апией;^[78] от Пеласгоса - Пеласгией;^[79] и от другого князя, названного так, он получил имя Аргос.^[80] В этой части Эллады, которую лучи поэзии и мифологии объединяют, чтобы сделать светлой, пеласги^[81], кажется, рано пустили глубокие корни и быстро прогрессировали в цивилизации. Здесь, соответственно, в исторические времена были найдены самые многочисленные памятники их силы и величия; и здесь, в сокровищнице Атрея и на стенах Тирина, названных циклопическими, мы все еще можем наблюдать доказательства их роскоши и прогресса в искусстве. Среди них, по-видимому, существовал класс или каста под названием циклопы, чрезвычайно пристрастные к ремеслам, особенно к строительству. Именно они возвели стены и цитадель Аргоса,^[82] которую они называли Лариса, а также некоторые лабиринты, которые, как говорят, существовали в окрестностях Науплии. Микены, по-видимому, были древнейшей столицей страны, построенной в то время, когда Аргос был еще болотом^[83] или, возможно, под водой; затем появился Тиринс и, наконец, Аргос. Другие ранние резиденции пеласгов находились в Эпидавресе и Гермione.^[84]

Но провинцией Пелопоннеса, которую пеласги с наибольшим удовольствием считали своим домом, была грубая, дикая и возвышенная столовая земля Аркадия,^[85] мало напоминающая их первоначальную резиденцию в Центральной Азии; опоясанная горами со множеством ручьев и рек, текущих по их склонам: Здесь, долгое время закрытые от торговли с остальным человечеством, они размножились в простоте и безопасности и стали великим народом,^[86] который, чтобы выразить мысль о своей чрезвычайной древности, исповедовал себя старше луны.^[87] Утратив всякую традицию о своем прибытии в страну, они считали себя автохтонами, а свою горную землю рассматривали как великий резервуар пеласгийского населения,^[88] откуда его колонии, как ручьи, текли наружу и заселяли остальную Элладу; И, вероятно, именно оттуда первые эмигранты спустились в долину Евротаса, распространились по Лаконии и нашли гору, которой присвоили святое имя Олимпос. В этой провинции, по некоторым преданиям, зародилось одно из самых известных пеласгийских племен; ведь Лелекс,^[89] давший свое имя Лелегам, по легенде, был автохтоном Лаконии, и вплоть до времен Павсания в Спарте был воздвигнут герум в честь его имени. Несомненно, мифическая легенда, связанная с этим героем, была глубоко переплетена со сказочной историей Лаконии. Его сын Евротас был отцом Спарты, жены Лакедемона, который дал название стране. У него было две дочери, Амикла и Эвридика, последняя из которых стала женой Акрисия.^[90] Акарнанцы, однако, имели среди них традицию, которая делала Лелекса автохтоном Леукадии,^[91] а жители Мегары говорили о некоем Лелексе^[92], прибывшем в их страну по морю из Египта.

Перейдем, однако, к следам пеласгов в Пелопоннесе. Иногда считается, что нет никаких доказательств того, что они владели какой-либо частью этого полуострова, кроме Аргоса, Ахайи и Аркадии;^[93] но это ошибочно, поскольку мы видели лелегов, пеласгийское племя, в

Лаконии; и мы находим поселение пеласгов в Мессении. Здесь же, в Андании, процветал пеласгический культ Ди Кабири из Самофракии;^[94] колония лелегов, под началом Пилоса, сына Клизона, обосновалась в Пилосе на Корифейском мысе.^[95] Кауконы владели Кипариссом;^[96] то есть как во внутренних районах Мессении, так и на морском побережье мы находим поселения расы, населявшей весь полуостров. Пройдя на север в Элиду, мы сразу же по пересечении Неда находим Кауконов в Лепреатисе,^[97] где, вероятно, в доказательство того, что племя возникло именно там, они показали во времена Страбона^[98] гробницу Каукона. У них также была река Каукон^[99] на севере Элиса, и, в общем, вся страна от Неда до Лариссоса носила в древности название Каукония.^[100] Некоторые, однако, утверждают, что они были обнаружены только в трех местах на побережье, то есть на юге Трифилии,^[101] на севере возле Дима, и в Полем Элисе на Пенях, который Аристотель считал их главным местом пребывания.^[102] Тем не менее Антимах считал эпейцев кауконами,^[103] и поскольку они населяли все западное побережье от Мессении на север, мы должны считать Элис главным, хотя и не первоначальным местом обитания этого племени; ведь мы видим, что они вышли из Аркадии, и уже показали, что они обосновались в Пафлагонии и были названы троянским племенем.

Повернувшись лицом на восток от мыса Араксос, мы обнаруживаем вдоль побережья цепь пеласгийских поселений, основанных ионийцами из Афин.^[104] Чтобы завершить список доказательств того, что во всей Элладе не было места, которым бы не владели пеласги, мы находим принца этой расы по имени Пеласгос, принимавшего богиню Деметру в Коринфе в самые отдаленные периоды мифологии.^[105]

Таким образом, мы проследили этот прославленный народ под разными именами через все регионы Греции, кроме Аттики; и там они также были найдены, но прибыли ли они по суше или по морю, я, признаться, совершенно не в состоянии определить. Современный историк^[106], испытавший те же трудности, замечает, что ионийцы, похоже, спустились с небес в Аттику. Безусловно, мы не знаем, откуда они пришли, и поскольку их собственные легенды представляют их как автохтонов^[107], мы не можем ожидать помощи от традиции. Наиболее вероятное предположение состоит в том, что, когда переселенческие орды устремились на юг из Фессалии, некоторые кланы, более удачливые, чем остальные, преодолев высоты Китерона, вскоре оказались во владении этой неплодородной, но прекрасной земли, покрытой в те века лесами, разнообразными холмами и долинами, и благоухающей из каждой чащи. Последующая эмиграционная волна, разбившаяся о хребет Китерона, похоже, повернула на запад и потекла в Пелопоннес, оставив Аттику без защиты. Некоторые считают, что ее собственное бесплодие было тем валом, который защищал ее от вторжения. Но почему бы нам не предположить, что жители, находясь в процветании и спокойствии, рано решили бороться за свои владения и оградить себя от вторжения храбростью и оружием? Как бы то ни было, Аттика была первой частью Эллады, которая постоянно пользовалась освобождением от войны, так что олива, ее главное украшение и богатство, стала во все последующие века эмблемой мира. Поселившись в этой стране, пеласги никогда не были изгнаны оттуда,^[108] и никогда не принимали значительного количества иностранных поселенцев. Время от времени отдельным людям разрешалось поселиться среди них; но в этом благодатном месте, не замутненном иноземными примесями, пеласгический гений полностью развился и достиг наивысшей ступени цивилизации, известной древнему миру.

Самое раннее название пеласгийского племени, владевшего Аттикой, - краанааны;^[109] но были ли они так названы до переселения в Аттику или, что более вероятно, получили свое название из-за скалистой природы^[110] своей страны, не известно. Как и большинство

древних народов, они часто меняли свое название: сначала, возможно, просто пеласги, затем кранаи, потом кекропиды и ионийцы; затем, при Эрехтее, они получили от своего божества-покровителя имя афинян, под которым известны до сих пор. Среди басен мифологии мы обнаруживаем следы нескольких попыток оспорить с аборигенами суверенитет Аттики. Так, Эвмолпос с колонией фракийцев, по одной традиции, получил во владение всю страну^[111], в то время как другая, более вероятная легенда представляет его как поселившегося с небольшой группой в Элевсисе, где его семья на протяжении всего существования язычества исполняла обязанности жрецов Деметры.^[112] Критяне при Миносе снова попытались закрепиться в стране; но конец традиции, рассказывающей об этом вторжении, показывает, что, хотя оно и было позорным для Аттики, оно не имело постоянного результата. Впоследствии, когда неустроенные пеласги выродились в пиратов и вольных разбойников, мощная группа из них, по-видимому, нашла путь туда и получила поселение в непосредственной близости от столицы^[113], по-видимому, при условии, что они будут работать на возведении стен вокруг Акрополя. Часть укреплений, как говорят, была завершена этими мародерами и получила от них название Пеласгийской стены. Но и эти чужеземцы не могли остаться; ссоры возникали то из-за земли, которую пеласги получили на склонах Гиметтоса, то из-за насилия, оказанного некоторым афинским девушкам, спускавшимся за водой к фонтану Каллирроя. Эмигранты были изгнаны и нашли убежище на Лемносе. В отместку за нанесенную им обиду они унесли с собой несколько аттических девственниц, праздновавших праздник Артемиды в Брауроне, что впоследствии привело к захвату Лемноса Мильтиадом.

Из вышеизложенного следует, что все районы Эллады изначально были заселены пеласгами, что поэты последующих веков выражали словами, что царь этого народа царствовал над всей страной вплоть до Стримона во Фракии.^[114]

Мы показали, что их владения простирались гораздо дальше и включали не только Фракию за пределами Греции, но и большую часть Малой Азии и почти все острова в Эгейском море. Но даже эти просторные пределы не были достаточно широкими, чтобы вместить все пеласгическое население; ибо, пройдя через Адриатику, они проникли в Этрурию, и там, и в других местах Италии, под именем тирренцев, возвели циклопические города и заложили зародыши своей будущей цивилизации.^[115] Отсюда большое сходство, которое историки и антиквары отмечают между этрусками и греками. Оба они были ответвлениями от великого пеласгического ствола; хотя простота первоначальной расы в религии и манерах дольше сохранялась в Италии, чем под более теплым небом Греции. Однако в этих более западных поселениях возникли новые племена, которые по славе затмили материнскую расу, к которой они научились относиться с презрением, так что присвоили своим рабам имя пеласгов. Аналогичное обстоятельство ранее произошло в Малой Азии, где карийцы обратили в рабство тех своих собратьев, которые в более поздние времена сохранили имя Лелегов.^[116]

Если теперь мы бросим беглый взгляд на науку и цивилизацию пеласгов, то, вероятно, получим настолько полное представление об этом древнем народе, насколько позволят нам существующие памятники.^[117] Традиция приписывает им изобретение нескольких искусств первой необходимости, таких как строительство домов и изготовление одежды, которые они делали из шкур диких кабанов, животных, впервые убитых человеком для еды. Пережиток этого примитивного стиля одежды сохранился, как нам говорят, до очень позднего времени среди деревенских жителей Фокисы и Эвбеи.^[118] По другим преданиям, человечество питалось травой и травами, пока пеласги не научили их более изысканному способу питания

желудями. Но если оставить эти поэтические выдумки, то во многих подлинных памятниках и фактах мы найдем неоспоримые доказательства силы и знаний пеласгов. Прежде всего, именно они завещали своим эллинским потомкам некоторое знание, хотя и несовершенное и неясное, об истинном Боге.^[119] В их сознании признание единства Божественного Существа составляло основу теологии, и философы последующих веков, которые рассуждали лучше и мыслили правильнее всего, поднялись в этих вопросах не выше своих грубых предков.

Но естественная склонность человеческого разума к заблуждениям вскоре нарушила простоту их веры; поскольку, по мере того как племена разделялись, каждое из них выбирало свое направление, все они по очереди учились считать Бога своим покровителем, так что вскоре богов стало столько же, сколько племен, и возникло многобожие. Так пеласги, которые поначалу, подобно современным полированным народам, не имели имен для богов, поскольку верили только в одного, со временем выродились и придумали ту систему божеств и героев, которая впоследствии преобладала в Греции. Они же, развивая свое суеверие, сделали первые шаги к искусству, установив грубые изображения сил, которым они поклонялись, и им, соответственно, приписывается введение гермейских статуй в Афинах.^[120] Кроме того, в храме Деметры между горами Эборас и Тайгетос находилась деревянная статуя Орфея, предположительно работы пеласгов.^[121] Очевидно, поклонение Деметре и всем сельским богам также первоначально зародилось среди них, как и поклонение верховной власти и верховной мудрости Зевса и Афины.^[122]

Обычно пеласгов считают много странствующим народом,^[123] хотя правильнее было бы представить их, подобно англосаксонской расе в наши дни, как плодovitых родителей многих поселений, широко распространившихся, но пустивших корни везде, где они распространялись. Доказательством тому служат огромные сооружения^[124], которые они возвели, и руины которых до сих пор можно найти разбросанными по Азии, Греции и Италии. Эти циклопические здания, дворцы, сокровищницы, крепости, курганы, были творениями не кочевых орд, а людей, привязанных к земле и решительно защищавших ее. Они также культивировали мореплавание и были одними из самых ранних народов, обладавших морской мощью,^[125] что неизбежно привело к изучению астрономии, а также оккультной науки о звездах.^[126] Об их успехах в более обычных полезных искусствах мы знаем очень мало, но в "Илиаде" мы находим пеласгийскую женщину, окрашивающую слоновую кость для украшения боевого коня;^[127] им приписывается изобретение пастушьей колымаги; так же как и религиозный танец под названием Гипорхема;^[128] говорится об их мастерстве в музыке;^[129] и их превосходство в войне было обозначено представлением их как изобретателей щита.^[130]

О языке пеласгов существуют различные мнения. Некоторые, опираясь на отдельные отрывки из древних писателей, полагают, что он сильно отличался от греческого,^[131] но, хотя в поддержку такого мнения можно проявить немало изобретательности, есть обстоятельства, которые заставляют нас отвергнуть его. Например, афиняне и аркадяне, хотя и были пеласгами по происхождению, говорили, причем с самых отдаленных времен, на одном языке с остальными греками; и хотя эолийский диалект,^[132] древнейший в Аркадии, да и во всей Греции, был преобразован в латынь в Италии, мы не должны на этом основании заключать, что латынь имела более близкое сходство чем греческий с родным языком обоих. Пеласгийский язык действительно, по-видимому, был эллинским на ранних стадиях своего формирования, так же как и сами пеласги были греками под другим именем и в более грубом состоянии цивилизации. Обладали ли они какими-либо знаниями о письменных знаках до^[133] введения финикийского языка, мы сейчас не можем установить, поскольку отрывки, обычно

приводимые в пользу такого мнения, мало авторитетны. Однако именно им традиция приписывает введение письма в Лациуме,^[134] и нет никаких сомнений в том, что письменные знаки были известны в Греции еще до того, как ее жители перестали называться пеласгами.

Теперь я, как мне кажется, доказал, что пеласги, когда бы они ни появились, занимали под тем или иным названием весь континент Греции и большинство островов. Афиняне, а следовательно, и ионийцы, по общему признанию, произошли от пеласгов. Остается только доказать, что дорийцы также ведут свое происхождение от этого народа, и мы убедимся, что весь прославленный народ, известный истории под именем греков, происходил из одного и того же источника. Эллыны, одним из племен которых были дорийцы,^[135] занимали в более поздние времена юг Фессалии, но в гораздо более ранний период, вместе с селли,^[136] обитали в горных районах около Додоны, где они были известны под именем греков или горцев,^[137] что было первоначальным значением этого термина. Этот район Эпейроса, как было показано, был одним из самых ранних пеласгийских поселений, из чего само собой можно сделать вывод, что эллыны были пеласгами. Нам не остается полагаться в этом вопросе только на умозаключения, поскольку Геродот четко указывает, что они были фрагментом пеласгов.^[138]

Как видно, до сих пор я не делал никаких ссылок на распространенные басни о египетских и финикийских колониях.^[139] Тем не менее вполне возможно, что во многих случаях некоторые беглецы, как из Финикии, так и из Египта, могли укрыться в Греции, и им было позволено, как и в последующие века, поселиться там. Эти люди, прибывшие из более развитых в цивилизационном отношении стран, несомненно, принесли бы с собой более высокий уровень знаний во многих полезных искусствах, которые, в благодарность за гостеприимный прием, они, несомненно, передали бы жителям. Но самым активным агентом в распространении цивилизации была, вероятно, торговля, которая, приводя соседние народы в тесный контакт, расширяя сферу их опыта и обучая их преимуществам, которые можно извлечь из мирного общения, во все века смягчала и облагораживала человечество. Когда на Востоке впервые начали использовать буквы, неизвестно, но, вероятно, они рано попали к пеласгам вместе с материалами для письма; и какие бы изобретения ни были сделаны по обе стороны Средиземного моря, они быстро переходили с берега на берег, так что цивилизация египтян, финикийцев и греков развивалась одновременно, хотя зачатки усовершенствования, несомненно, были более древними на берегах Нила и среди приморских арабов, чем в Элладе. Однако количество восточных влияний, как я полагаю, было невелико, а что касается колоний, как их правильно называть, то, за исключением уже описанных малоазийских, я считаю, что их никогда не было.

ГЛАВА II. ХАРАКТЕР ГРЕКОВ.

В предыдущей главе мы попытались выяснить, какими расами изначально была заселена Греция, а затем поговорим о характере и физической организации ее жителей. При этом будет полезно рассмотреть их на трех различных этапах их развития: во-первых, в героические и поэтические времена; во-вторых, в исторические и цветущие века эллинского содружества; в-третьих, в их развращенном и вырожденном состоянии под властью македонцев и римлян.

Самой отличительной чертой эллинов, когда поэзия впервые ставит их перед нами, является глубокое почитание божества и всего, что связано со служением религии. Силой воображения небо и земля были приближены друг к другу, не столько, правда, возвышая последнее, сколько опуская первое в сферу человечества. Боги и люди двигались вместе по земле, сотрудничали в осуществлении событий, поддерживая постоянный обмен благодеяниями; бог помогал, смертный отплачивал ему благодарностью;^[140] бог направлял, смертный подчинялся, пока иногда, как в случае Одиссея и Афины, чувство благодати и благосклонности с одной стороны, и почитания и благодарности с другой, не перерастало в нечто похожее на дружбу и привязанность.

Ни один человек не брался за какое-либо важное дело, не посоветовавшись предварительно с богами и не вверив себя их покровительству путем жертвоприношений, гаданий и молитв.^[141] Они считали, согласно лучшим представлениям, которые давало им их грубое вероучение, что, хотя и существуют средства исказить суждения, извратить привязанности и опорочить решения их божеств, в целом и в естественном порядке вещей они справедливы и благодетельны, милосердно заботятся о бедных и чужестранцах, хранят дружбу и гостеприимство и сурово мстят за преступления, совершенные против их законов. Обычно, когда боги не были спровоцированы на месть нечестьем или преступлениями, они не только были благосклонны к людям, но и сами веселье и радость, любили музыку, песни и смех, весело пировали вместе в безмятежной и почти невозмутимой радости, если только их не прерывала забота о каком-нибудь благосклонном смертном. Философия в более интеллектуальные времена осуждала это грубое представление о божественных вещах; но представления людей, как и их предложения, зависят от состояния общества, в котором они живут, и греки героических веков без сомнения приписывали своим богам качества, наиболее почитаемые среди них самих.

Наряду с религией наиболее заметным чувством в сознании ранних греков было сыновнее благочестие.^[142] Нигде среди людей родители не пользовались большей честью. Почитание, оказываемое им, в значительной степени было связано с религиозными чувствами. Рассматриваемые как инструменты, с помощью которых Бог передал таинственный и священный дар жизни, они, как полагали их дети, навсегда обретали высокую степень святости как служители и представители Творца. Отсюда тревога за благословение отца и неопикуемый страх перед его проклятием. Особым божествам, ужасным Эриниям, неумолимым и неумолимым, было поручено опекать права родителей, и неопикуемы были муки и страдания, которые должны были обрушиться на нарушителей. Именно эти силы следили за матрицидами Орестом и Алкмеоном, пугая их призрачными ужасами и наполняя их дворцы тревогами и муками Тартароса. С другой стороны, ничто не может быть прекраснее картин сыновней почтительности, демонстрируемых благородными персонажами героических времен. Примеров тому бесчисленное множество, но ни один из них не является столь ярким и полным, как отношение Ахилла к своему отцу Пелею. Яростный, вспыльчивый, суровый в обычных жизненных отношениях, по отношению к своему престарелому отцу он нежен как ребенок. Его сердце стремится к нему с силой чувства, непостижимой для более слабой натуры. Он подчиняется его власти и могуществу не из опасения, что он будет властвовать, даже не из страха обидеть его, а от полноты своей любви, от естественного совершенства и чистоты своего сердца. Он воздвиг бы свою доблесть и мощь своей руки в вал вокруг старика, чтобы защитить его от ран и оскорблений; и даже в холодной области теней за могилой это чувство представлено как все еще живое, так что в смерти, как и в жизни, высшая тревога души героя - за счастье отца. Даже управляя своими буйными страстями во время земной жизни, выбирая объект своей любви, Ахилл выражает желание подчинить свои чувства чувствам родителя, тем самым преступая

пределы самоотречения и самоконтроля, мыслимые в естественном состоянии. Гомер хорошо понимал своих соотечественников, когда наделял героя этими качествами. Он знал, что без них никакая степень храбрости или мудрости не смогла бы сделать его популярным, и поэтому мы видим его не только выдающимся в своем благочестии по отношению к богам, но в то же время самым привязанным и послушным сыном, самым теплым, бескорыстным и неизменным другом.

И это заставляет нас рассмотреть еще одну замечательную черту греческого характера - его особую склонность к дружбе. История и традиции ни одной страны не изобилуют таким количеством примеров этой добродетели, как история Греции. По правде говоря, там она считалась самым несомненным признаком героической и великодушной натуры, будучи совершенно несовместимой ни с чем низменным, подлым или неблагородным, и процветая только в компании с самыми редкими и труднодостижимыми добродетелями. Поэзия, несомненно, облекла дружбу героических времен в великолепие, едва ли свойственное реальной жизни, но исторический опыт позволяет нам делать лишь незначительные выводы. Природа в те века, похоже, с удовольствием создавала людей парами, каждый из которых мог стать украшением и утешением другого, обладая разными качествами, несовершенными в разлуке, но совершенными в соединении. Составленные таким образом люди были своего рода нравственными близнецами, продолжением, если можно так выразиться, единства, одного и того же, но разного, объединяющего две души под игом одной воли, желающего одного и того же, ненавидящего одно и то же, обладающего одним и тем же, ценящего жизнь и дары жизни только в той мере, в какой они были общими, искать приключений, вместе противостоять опасностям, согласовывать свои мысли, мнения, чувства, каждый с другим, не имея ни отдельного интереса, ни отдельной надежды, но прививая две жизни к шансам судьбы одного человека, и обе погибают от одного и того же удара.

Некоторые полагают, что это чувство было обязано своей силой, по крайней мере отчасти, униженному положению женщин в обществе; об этом я еще скажу в дальнейшем, но здесь могу заметить, что такое мнение совершенно несовместимо с беспристрастным толкованием гомеровских поэм и более древних традиций Греции. Во все сказочные времена женщины были главными движущими силами всех великих событий; и уважение, которым они пользовались как матери, сестры, жены и дочери, хотя и выражалось в нелицеприятных выражениях, было, возможно, столь же велико, как и в любой другой эпохе или стране. Каждая выдающаяся женщина у Гомера - центр круга нежных и трогательных ассоциаций. Мы видим их любимыми родственниками, почитаемыми иждивенцами, пользующимися всеми приличествующими свободами, всеми удовольствиями, всем влиянием и авторитетом, присущими их полу. Так, Елена, как до, так и после своего падения, является полной хозяйкой своего дома, и к ней относятся со всем возможным почтением и деликатностью: так Гекуба, Андромаха, Пенелопа, Арета, Наусикаа и Ифигения в своих соответствующих положениях, находятся в самом высоком уважении, и получают такую же большую долю любви от тех, чьим долгом было любить и почитать их, как и любые другие женщины в истории или вымысле. Уважение и нежность не ограничивались только высокими и знатными особами; Гомер приводит бесчисленные доказательства того, что даже среди самых скромных слоев населения уже в ту эпоху было распространено то тонкое самоуважение, которое проявляется в уважении к другому "я" и может считаться стержнем цивилизации.

Но если греки героических времен обладали теми хорошими качествами, которые мы им приписываем, то еще больше, пожалуй, их отличали другие, которые часто заслоняли собой следы их добродетелей и казались руководящими принципами их жизни. Главным среди них

была страсть к войне и насилию,^[143] которая вовлекала их в вечную борьбу с соседями, чрезмерно развивала их свирепые и разрушительные качества и отбрасывала в сравнительную тень те их склонности, которые были более мягкими и гуманными. Войны на суше, пиратство на море наполняли всю страну непрекращающимися тревогами. Торговля была заторможена и ограничена очень узкими каналами, путешествия и навигация были крайне небезопасны, в то время как банды мародеров бороздили сушу и море в поисках грабежа и разбоя. В некоторых государствах не было другого способа достичь богатства, и более скромные слои общества полностью существовали за счет этого.^[144] Законы войны также были пропорционально дикими. Было принято либо не давать четверти, либо отдавать всех взятых в плен в рабство; и, соответственно, каждое мелкое государство было наполнено несчастными пленниками, многие из которых, обладая выдающимся рождением и качествами, были поставлены в самые унижительные условия, будучи вынуждены зарабатывать свой хлеб в поте лица своего. В мирной жизни и в собственных домах их воинственные привычки часто приводили к насилию; их страсти были сильны и необузданны, они обижались на оскорбления на месте, и многочисленные убийцы, как следствие, бежали из страны, чьи младенческие институты их страсти пытались ниспровергнуть.

Но на всех этапах развития общества Провидением было предписано, чтобы из человеческой порочности проистекало компенсирующее ее благо: так, из опасностей и трудностей, окружавших чужестранца, в великодушных умах зародилась добродетель гостеприимства^[145]. Из бед и страданий страстного или случайного убийцы человека возникли милосердные обряды искупления и все дружеские узы, существующие между очистителем и очищенным. Странники, изгнанные из дома, часто находили приют на чужбине; и таким образом даже проступки и несчастья людей, разрушая узкие рамки семей и кланов и связывая людей из далеких племен между собой выгодой и благодарностью, ускоряли прогресс утонченности и прокладывали путь к величию и славе последующих веков.

Из сказанного видно, что среди элементов греческого характера преобладали страсти; но даже с самых ранних времен было очевидно существование других мощных принципов, под влиянием которых нация быстро вышла из периода варварства. Это были врожденная любовь к великолепию и поразительная склонность ко всем социальным удовольствиям; первое привело к развитию торговли и промышленности, а второе дало необычайный толчок естественному стремлению человечества к общению и обществу. Но, развивая эти принципы, природа пошла в Греции особым путем. Вместо того чтобы создать общий центр, к которому могла бы устремиться энергия всего народа, общество распалось на множество частей, каждая из которых, если рассматривать ее отдельно, представляла собой единое целое, но была объединена со своими соседями идентичностью происхождения, языка, религии и национального характера.

Философы обычно ищут в географическом положении ключ к факту образования стольких отдельных государств, на которые было разделено эллинское население; но причина, вероятно, была иного рода. Среди любого другого народа всегда возникали трудности с поиском людей, способных вести государственные дела; а когда таковые появлялись, они легко подчинялись своей воле своих менее интеллектуальных и, следовательно, менее амбициозных соседей. Среди греков дело обстояло совершенно иначе: каждая провинция, каждый район, а то и каждый город и деревня изобиловали людьми, наделенными способностями и страстью к управлению. Эти чувства порождали отвращение к подчинению чужому правлению; это отвращение порождало раздоры; и только случайное численное

превосходство в одной части страны или появление государственного деятеля с необыкновенным гением позволяли одной деревне подчинить себе соседей на несколько миль вокруг и таким образом создать небольшое политическое сообщество.

История редко проникает так далеко в прошлое, как в период, когда существовало такое положение вещей. Но у нас есть пример в летописях Аттики, где двенадцать небольших муниципальных государств, если можно так выразиться, были, частично путем убеждения, частично силой, приведены под власть одного города, обладавшего преимуществами более высокого положения и более мудрыми и предприимчивыми лидерами.

Эти уменьшенные полисы, образовавшись, по многим причинам сохраняли свою целостность, из которых наиболее очевидной и сильной была расовая гордость, а рядом с ней - определенные религиозные чувства и особенности, которые размещали богов вдоль пограничной линии государств и делали нечестивым для поклонников других божеств вторгаться в их земли или отнимать их у них. Поначалу общины были изолированы друг от друга, но затем возникло множество обстоятельств, чтобы сделать разделение вечным. Готовая выдумка народа дала каждому государству своих героев и героические предания, основанные, возможно, на подвигах пограничных войн, в которых предки одной общины страдали или наносили увечья предкам другой. Появились поэты, которые воспевали эти подвиги в песнях, и каждое собрание, каждый праздник, каждое веселье звучали воспоминаниями о подвигах, столь же тяжких для одного народа, сколь и славных для другого. Эти предрассудки, этот кантональный патриотизм, это трибульное тщеславие, если можно подобрать новое слово для выражения новой идеи, составляли гораздо более непроходимый барьер между маленькими государствами Греции, чем горы или реки; хотя со временем произошло несколько случаев, когда очень маленькие общины были погружены и потеряны в больших. Однако героизм, с которым самое маленькое сообщество боролось за свое отдельное существование, бдительная ревность, неустанная забота, свирепая и кровожадная доблесть, с помощью которой оно ограждало свою независимость, неопишуемые муки политического исчезновения, можно увидеть на примере Игины, Мегары, Платеи и Мессении.

На самом деле самой замечательной особенностью греческого характера была некая центробежная сила, или отвращение к централизации, которая представляла непреодолимые препятствия для объединения всей эллинской нации под единым началом. Жители древней Италии проявляли в этом отношении совершенно несхожий характер. Хотя они сильно отличались друг от друга по нравам, обычаям и законам, но все же обладали таким сходством, которое позволило им последовательно объединиться с Римом и переплавиться в один великий народ. Причины этого кроются в их моральном и интеллектуальном облике: не обладая особым гением или воображением, но обладая большим здравым смыслом, они менее остро ощущали страдания неполноценности, муки поражения, пытки подчинения и более хладнокровно рассчитывали преимущества защиты и спокойствия, а также все другие выгоды жизни под сильным правительством. Там, где массы лишь слегка пропитаны огнем гения, они естественным образом склонны к слиянию и образуют огромное тело, обязательно подчиненное одному главе. Но там, где нация повсеместно пронизана и одушевлена гением, где воображение является универсальным атрибутом, где парить так же естественно, как дышать, где главным наслаждением жизни является осуществление власти, где люди больше жаждут славы, чем хлеба насущного, где сама жизнь без этих воображаемых удовольствий тускла и презренна, никакая сила, пока не угаснет сила национального характера, не сможет воздвигнуть центральное правительство или добиться обширных завоеваний, то есть подчинить одну часть нации власти другой. И,

возможно, когда мы еще больше усовершенствуем науку управления, окажется, что в политике, как и в физике, самые большие тела не являются самыми ценными или самыми трудноразбиваемыми. Алмаз сопротивляется, когда самая большая скала уступает. Поэтому истинная тенденция цивилизации заключается в том, чтобы превратить громоздкие империи в компактные тела, в которые может проникнуть свет образования и сделать их светящимися. Огромные империи - это лишь непрозрачные массы невежества.

Точно по тем же причинам возникли особые представления греков о государственном управлении, то есть граждане каждого государства применяли друг к другу принцип, который регулировал поведение общин. Каждый человек испытывал отвращение к повиновению своему соседу, каждый стремился к власти; но поскольку это было невозможно, возникла необходимость изобрести средство, с помощью которого можно было бы вести государственные дела, не нанося слишком большого ущерба национальному характеру. Отсюда возникли республиканизм и создание содружеств, в которых суверенитет признавался принадлежащим телу народа, и где те из граждан, которые по своим способностям, званию, друзьям были квалифицированы, могли править в порядке заместительной преемственности.

Но различные семьи эллинов не были в равной степени наделены энергией и интеллектом, присущими их расе; одни обладали большим этих качеств, другие меньшим, и, кроме того, действовали многочисленные специфические и местные причины, которые изменяли формы правления, принятые в различных государствах Греции. Более тяжелые, более холодные, более инертные, естественно, выбирали ту форму правления, которая меньше всего обременяла их умственные способности и наиболее полно освобождала их от забот о государственных делах, чтобы более тщательно заниматься своими собственными; в то время как более горячие, более занятые, более активные и энергичные предпочитали ту политическую конституцию, которая давала их энергичным натурам наибольшее занятие и обеспечивала законный выход для пылкости и стремительности их темперамента. Так, в одних сообществах склонялись к монархии, в других - к олигархии, в третьих - к аристократии, а Афины и несколько небольших государств предпочитали шум, суету и непрекращающееся оживление демократии.

И снова эти институты, возникнув сначала из национальных идиосинкразий, стали, в свою очередь, одними из самых активных причин, наложивших печать индивидуальности на население каждого отдельного государства: ведь принцип, одушевляющий форму правления, не бесплоден, но оплодотворяет, пропитывает и оживляет сообщество, подверженное его влиянию, и производит потомство, аналогичное источнику, из которого оно возникло. Так, в монархиях вершины нации богаты зеленью и славны светом; в аристократиях широкая столовая земля оплодотворяется и становится прекрасной; а в содружествах, правильно называемых так, вся поверхность общества разворачивается, как обширная равнина к солнцу, и получает свет, комфорт и живительное влияние его лучей: - и все эти различные модификации гражданского устройства в разное время и в разных частях страны наблюдались в Греции, где они приносили свои естественные плоды.

Среди основных результатов перечисленных нами причин были высокая интеллектуальная культура, глубочайшее изучение философии, горячее стремление к литературе, непревзойденный вкус к прекрасному в природе и искусстве, неудержимый энтузиазм в поисках знаний любого рода, и, вместе с ними, иногда как их причина, а иногда как их следствие, непобедимая и безграничная тяга к славе. И эти характерные качества народа проявлялись по-разному. Иногда, как в Фессалии, люди стремились отличиться богатством и пышностью, которыми они были окружены: иногда правящая страсть побуждала их добывать

среди крови и резни лавры войны, как на Крите и в Спарте, где военная дисциплина была доведена до крайнего совершенства, где люди жили вечным лагерем у домашнего очага, культивировали привычки, предпочтения, вкусы и чувства солдат и рассматривали господство как высшее благо: -Иногда религия с ее обрядами, пышностью и жертвоприношениями поглощала целый народ, как в Элисе, где поклонение верховному Зевсу и празднование священных игр придавало земле и народу святость, которую уважали все люди эллинской крови: -в других местах горцы,^[146] неукротимой доблести, сдавали свои мечи внаем лучшему покупателю и становились, так сказать, подмастерьями войны: -элегантные удовольствия во многих городах, торговля и великолепие, занимали и развращали все общество; в то время как другие,^[147] более грубых умов и гнусных наклонностей, проводили всю свою жизнь в праздном обжорстве вокруг праздничного стола, среди толп певцов, флейтистов и танцоров; Или же, подобно дельфийцам, их постоянно видели парящими среди дыма алтарей, точащими свои жертвенные ножи или пирующими на соленых жертвах; и все же триумфы фиванцев доказали, что даже самые низкие греки, когда обстоятельства заставляли их изучать военное искусство, были способны планировать и осуществлять великие замыслы и приобретать долговременную славу. Однако искусства, благодаря которым греки достигли величия,^[148] и стали наставниками и вечными благодетелями человечества, процветали главным образом в Афинах и в многочисленных колониях, которые она основала в различных частях Азии и на островах. Людям ионийской расы мы обязаны изобретением и наиболее успешной культурой поэзии и философии, а также теми пластическими и миметическими искусствами, которые добавили к миру реальности еще один мир, еще более прекрасный. Если греки и заимствовали у варваров некоторые виды и формы искусства и обучения, то они тут же настолько усовершенствовали и улучшили их, что первоначальные изобретатели уже не узнали бы в них творения своих рук. Им принадлежит слава рождения нескольких искусств и наук: они были изобретателями военного искусства; только среди них в древнем мире живопись и скульптура заняли подобающее им место; в политике и государственном управлении, а также в таком искусстве искусств, как философия, они возглавили путь и научили человечество шагам, по которым можно прийти к совершенству.

Греция, благодаря описанным нами способам, постепенно вышла из состояния природы, покрылась прекрасными городами, гаванями, доками, храмами, дворцами, украшенными бесконечным разнообразием произведений искусства, скульптурой из слоновой кости и золота, картинами, драгоценными камнями и вазами, которые превратили ее главные города в многочисленные музеи. Ее равнины, ее долины, ее горные впадины были усыпаны святилищами и священными рощами, придавая внешнюю красоту религии всему облику страны. Общественные дороги, ответвляющиеся от многочисленных столиц, пересекали землю во всех направлениях; мосты перекинулись через реки, сельское хозяйство покрывало урожаем холмы и равнины, виноградная лоза свисала фестонами с дерева на дерево, листва оливы покрывала склоны гор, а пояс прекрасных садов окружал каждый город, поселок и деревню.

Первопричину всей этой удивительной активности философы искали в различных обстоятельствах жизни греков, в форме их учреждений, в соперничестве стольких маленьких общин, в том, что они были изобретателями, и, как следствие, в свежести их занятий. Но хотя все эти и многие другие обстоятельства способствовали, как мы показали, ускорению прогресса греков в цивилизации, они не были тем источником, который находится далеко за пределами нашего понимания. В самом деле, так же легко было бы сказать, почему одна звезда отличается от другой славой, как и почему один народ или один человек возвышается в интеллекте над своими собратьями. Но звеном в цепи, соединяющей вышеупомянутые

эффекты с их причиной, нам служит физическая организация греков, обладавших самыми совершенными формами, в которых когда-либо появлялось человечество. Их каркас демонстрировал всю красоту, которой обладает человеческое тело, соединяя силу с легкостью, достоинство и элегантность с активностью, предельную крепость здоровья с чрезвычайной тонкостью контуров, мышцы, развитые упражнениями и одинаково развитые по всей структуре, наводили на мысль о силе и неутомимой энергии; рост, как правило, выше среднего, свободная и не стесняющаяся походка, черты лица^[149], полные красоты, выражение лица, полное интеллекта, и взгляд, сверкающий сознанием независимости: - все это вместе взятое придавало форме грека возвышенность, величие, величественность, которые мы до сих пор с восхищением наблюдаем в их скульптуре и называем идеалом. Прежде всего, форма греческой головы была наиболее изысканной, с ее гладким, расширенным, почти перпендикулярным лбом и величественными очертаниями, описывающими идеальный овал. Цвет лица, как правило, был оливковым, волосы и глаза - черными, темперамент - склонным к меланхолии, хотя встречались и многочисленные случаи появления сангвиников со светлыми глазами и каштановыми или русыми волосами, которые молодые люди носили, как и сейчас, в виде обильных колец, спадающих до плеч. Среди греков также встречались люди, у которых, подобно нашему Чаттертону, глаза были разного цвета. Так, поэт Тамирис^[150], как говорят, имел один глаз серый, а другой черный. Кроме того, эта особенность отмечалась даже у низших животных, особенно у лошадей.^[151]

Характерная красота нации проявлялась на всех этапах жизни, только принимая новые фазы в своем развитии от красоты младенчества до красоты старости, вызывая смешанные чувства любви и восхищения; и, несмотря на влияние времени и браков с варварскими расами, так происходит и сейчас. Ведь нигде в Европе мы не встретим младенцев, столь прелестных, юношей, столь нежных, столь девственных, столь прекрасных в своей зарождающейся мужественности, стариков, столь серьезных, величественных и с такими великолепными ликами, как среди живых потомков эллинов, судьба которых, возможно, когда-нибудь станет столь же завидной, как и их формы.

Чтобы продвинуть наше исследование еще на один шаг вперед, можно задаться вопросом, не является ли славная организация, которую мы описывали, сама по себе эффектом воздуха, климата и почвы.^[152] Во всяком случае, определенно можно сказать, что атмосфера Греции чище, прозрачнее, живее и эластичнее, чем в любой другой стране нашего полушария. Ночью, особенно ночью, воздух прозрачен, что, кажется, придает дополнительный блеск и величину звездам и луне. Вершины ее гор, как бы убирая промежуточное пространство, кажутся сливающимися с созвездиями, которые ярко светятся на краю горизонта.

Главной причиной такой ясности и прозрачности является преобладание северного ветра,^[153] который приносит с собой мало или совсем не приносит паров, но собирает облака в кучи и гонит их с суши в сторону Средиземного моря. Причина, по которой этот ветер так часто преобладает, может быть найдена в географической конфигурации страны, которая не отделена, как Италия, от остального континента цепью Альп, которые могли бы оградить ее от холодных порывов, а лежит открыто, как возвышенное молотильное поле, и со всех сторон очищается и омывается ветрами, которые во многих местах настолько сильны, что ни одно дерево не может достичь большой высоты, а низкорослые леса бросают все свои ветви в одну сторону, а виноградные лозы и другие вьющиеся кустарники лежат распростертыми вдоль скал. Однако эти ветры дуют не постоянно, а южные и западные бризы, дующие через определенные промежутки времени, приносят с собой теплую атмосферу Сирии или Египта или прохладную свежесть океана. Другой причиной, способствующей чистоте воздуха,

является легкость, рыхлость и сухость почвы, которая, распределенная большей частью тонкими слоями по уступам скал, не допускает застоя влаги, а позволяет выпадающим дождям просачиваться сквозь нее, собираться в ручьи и речушки и быстро добираться до моря. Равнины и неровные долины, которые являются исключением из этого правила, не настолько многочисленны и не настолько велики, чтобы повлиять на общее положение. Кроме того, кажется, что есть много особых свойств и достоинств в самой почве, заставляя все фрукты, пересаженные туда, достичь быстрой спелости и превосходного вкуса, в то время как душистые растения и цветы, как жасмин, дикий тимьян, и роза выдыхают более сладкий и восхитительный аромат. Это особенно характерно для Аттики, которая, соответственно, производила в древности, где должное внимание уделялось садоводству и сельскому хозяйству, самые лучшие фрукты и самый сладкий мед в мире.^[154]

Те же качества почвы и климата, которые влияют на растительность, также оказывают сильное влияние на характер и темперамент людей и животных. Например, в Леванте хорошо известно, что бедуины, населяющие собственно Аравию и Восточную пустыню, деградируют как по характеру, так и по физическому развитию, когда их переселяют в ливийские пустоши на западных берегах Нила. Но если конкретная почва и ситуация порождают конкретные болезни, если воздух болот и заболоченных мест притупляет чувства и парализует, в определенной степени, интеллектуальные способности, то обратное утверждение также должно быть верным; так что можно представить, что легкая почва и чистый воздух Греции могли произвести соответствующее воздействие на тела и умы ее жителей. Эксперимент, на самом деле, проводится ежедневно; ведь чужаки, прибывающие туда с зародышами болезней в их конституции, в большинстве случаев быстро уничтожаются силой климата; в то время как здоровые и энергичные приобретают бодрость, жизнерадостность, нервную и стремительную энергию самих туземцев и, подобно им, продлевают срок жизни до его предельной продолжительности. Греция, действительно, всегда была местом обитания долгожителей; ее философы в древности, монахи, анхориты и сельское население в наши дни представляют собой, возможно, больше примеров крайней старости, чем можно найти на той же территории в любой другой части земного шара.

Теперь этот избыток жизненной силы, этот избыток жизненного принципа, который составляет то, что мы подразумеваем под физической или моральной энергией, почти неизбежно производит, среди плохо управляемого, плохо образованного народа, большой урожай преступлений, и, соответственно, современные греки часто отличались дерзким злодейством; неустрашимая сила их характера, не контролируемая ни религией, ни философией, легко прорывается через ограничения тирании и несправедливых законов в погоне за властью или азартом. Тот француз сказал более искренне, чем думал, что греки все те же "capaille", что и во времена Фемистокла: дайте им те же законы, то же образование, те же стимулы к добродетели и героизму, и они, вероятно, снова станут такими же добродетельными, такими же мудрыми и такими же героическими, как их прославленные предки. Я сужу об этом отчасти по собственному опыту, ибо мне редко доводилось знакомиться с греком - а я знал многих, - который бы не улучшился после знакомства, не завоевал моего уважения и, в большинстве случаев, моей привязанности и не внушил мне твердую уверенность в том, что среди разнообразного населения Европы нет народа, который, если бы им управляли мудро и справедливо, проявил бы более высокие или более возвышенные качества. В этих взглядах я счастлив быть подтвержденным свидетельством месье Фредерика Тирша, чьи возможности для изучения современной Греции были гораздо шире моих, и чьи мнения отличаются осторожной остротой государственного деятеля с глубиной и оригинальностью философа.

Упомянув о причинах, извращающих чувства и направляющих энергию нынешней расы, я коснулся и великого источника преступности их предков - я имею в виду несовершенные законы и институты; ибо хотя греческий характер был по силе и совершенству всем тем, о чем я уже говорил, и даже больше, он, тем не менее, содержал и другие элементы, помимо описанных мною, о которых теперь я считаю своим долгом рассказать. С самого раннего периода в Греции существовали две политические партии, по-разному называвшиеся в различных государствах, но отстаивавшие, одна, доктрину, что многие должны быть подчинены немногим, другая, что немногие должны быть подчинены многим: другими словами, олигархическая и демократическая партии. Из борьбы этих двух фракций внутренняя история Греции приобретает свою форму и цвет, поскольку к ним можно отнести большинство страшных злодеяний в форме заговоров, резни, революций, которые, поучая и шокируя нас, запятнали греческий характер несмываемыми пятнами.^[155] Честолюбивые люди нигде не бывают скрупулезными. Чтобы получить удовольствие от власти, люди во все века подавляли веления совести; и там, где, как в современной Италии и в Древней Греции, граничат друг с другом многочисленные маленькие государства, достаточно могущественные, чтобы мечтать о завоеваниях, но слишком слабые, чтобы их осуществить, число честолюбцев неизбежно значительно увеличивается. Однако, пропорционально жажде власти в одном классе, любовь к свободе и независимости в другом, так что процесс посягательств и сопротивления, тирании и восстания, узурпации и наказания продолжался постоянно, - олигархия то преобладала, то отсекала или отправляла в ссылку народных лидеров, а демократическая партия, торжествуя в свою очередь, причиняла аналогичные страдания своим врагам. Постепенно возникли два знаменитых государства, представлявших эти противоположные принципы, и борьба между ними приобрела черты гражданской войны - упрямство, ожесточение, месть.

В этих схватках были пролиты моря крови и совершены преступления самой мрачной окраски. Города, некогда прославленные и богатые, были стерты с лица земли; целые народы преданы мечу или обращены в рабство; плодородные равнины стали бесплодными; люди, наиболее известные своими способностями и добродетелью, стали жертвой предательства или подлой зависти; нравы великих государств развратились, их слава затмилась, их власть подорвалась, и был проложен путь для вторжения варварских завоевателей, которые в конечном итоге положили конец величию эллинов.

Можно привести множество примеров этих ужасов. Достаточно вкратце остановиться на нескольких, скорее для того, чтобы напомнить, чем для того, чтобы проинформировать читателя. Во время бедствий на Корсире^[156] вельможи и общинники, попеременно торжествуя друг над другом, с величайшей безжалостностью вели дело истребления с обильной подлостью и вероломством, часть которых перешла к афинским полководцам: Обиды и страдания, причиненные спартанцами храбрым, но несчастным жителям Мессении, с ежегодной резней гелотов, вероломным уходом сторонников из святилища и их последующей резней,^[157] истребление жителей Гисии,^[158] сбрасывание нейтральных купцов в ямы,^[159] предательство городов Халкидики и островов, хладнокровное убийство платейцев, четырех тысяч афинян в Геллеспонте,^[160] обращение в рабство бесчисленных городов: истребление афинянами жителей Мелоса,^[161] убийство тысячи митиленцев, жестокости в Скионе, Эгине и Кифере;^[162] , но помимо всего этого - страшные эксцессы гражданской распри в Милете, где простой народ, называемый гергитами, подняв восстание против знати и победив ее в битве, забрал детей и бросил их в стойла для скота, где они были раздавлены и растоптаны до смерти разъяренными быками; Но дворяне возобновили состязание и, в конце концов, одержали победу, схватили своих врагов - мужчин, женщин, детей, обмазали их смолой и, поджегши, сожгли заживо".^[163]

Из этих ярких примеров вины и страданий мы можем узнать, до каких крайностей иногда доводили грека страсти и жажда власти. Но столь волчьей наклонности не были преобладающими в его натуре.^[164] Напротив, в частной жизни даже спартанцы и дорийцы обычно отбрасывали свои жестокие и суровые привычки и расслаблялись по любому подходящему случаю в веселости и веселье. В общественном общении, по сути, немногие народы были более веселы и пристрастны к шуткам и любезностям, чем греки, и прежде всего афиняне, чьи часы досуга были одним непрерывным кругом сплетен, спорта и смеха.^[165] Никогда ни в одном городе не было такого количества разносчиков новостей или даже их фальсификаторов. В устах молодых и старых ни один вопрос не звучал так часто, как "Какие новости?". Именно эти звуки передавались из уст в уста в народном собрании, прежде чем ораторы начинали свои речи, именно эти звуки [перекликались](#) на Агоре, именно эти звуки наполняли своим непрерывным повторением лавки цирюльников и парфюмеров.^[166] С этим зудом в ушах была связана страсть к показухе и великолепию, каждый человек, от высшего до низшего, стремился, насколько возможно, к просторным жилищам, великолепной мебели и дорогим нарядам. Даже храбрейшие из храбрых, герои Марафона, были *маленькими мэтрами* в своем туалете и выходили на поле боя в пурпурных плащах, с завитыми волосами, украшенными золотыми орнаментами и благоухающими эссенциями. Само изучение философии в большинстве случаев не смогло усмирить этот показной дух. Платон любил богатые ковры и великолепные одежды. Даже Аристотель был изысканным, а Эсхин - признанным сотрапезником.

От некоторых из этих слабостей спартанцы были свободны. Они мало заботились о новостях, еще меньше - об одежде и еще меньше - о чистоте, так что их прекрасные длинные волосы и развевающиеся бороды кишели теми автохтонными зверями, для изгнания которых в Спарте не было закона. Однако, несмотря на то, что они не отличались ни знанием, ни чистоплотностью, их остроумие было ярким и пронзительным. Ни один народ не произносил более остроумных и изящных изречений, а их вкус как в музыке, так и в поэзии был культивирован и утончен. Вероятно, поэтому в обеденных залах, гимназиях и общественных местах Спарты царило не меньшее веселье, чем в любом другом греческом городе, где обычно царила такая жизнерадостность, что "быть веселым, как грек" стало пословицей во всех странах.

О третьем периоде греческого характера нет необходимости говорить подробно. Большинство их хороших качеств ушло вместе со свободой, и они превратились в распущенную, лицемерную, лживую и двуличную расу, почти не уважающую истину, лишенную патриотизма и подлинной доблести. Литература, живопись и скульптура, которые они создали в период своей деградации, несли на себе явные следы их вырождения и были склонны, благодаря распространяемой ими коррупции, мстить своим завоевателям - римлянам, чьи умы и нравы они опошлили, а карьеру свободы и славы они оборвали. Однако из-за их пороков слава их более благородных и добродетельных предков сильно пострадала, потому что римляне, созерцая греков, которых они видели перед собой, и насаждая свое мнение во всем цивилизованном мире, завещали потомкам свои ложные и несправедливые взгляды; ведь до сих пор люди изучают греков в значительной степени благодаря римлянам.

1. Плутарх, Жизнь Фемистокла, в простом и энергичном переводе Лэнгхорна.

2. Митфорд, История Греции, iii. 53.

3. Paus. v. 21. 10. Palm. Desc. Gr. Ant. p. 32. Exercit. p. 397.

4. Il. β. 190. Strab. ix. 5. 297. Таухниц. с авторитетами, цитируемыми Пальмериусом, Græc. Ant. i. 3.

5. Fisch. ad Theoph. Char. p. 5. L. Bos. Ant. Gr. Zeun. i. 1.

6. Hooker, Ecc. Pol. i. p. 95.

7. Paus. viii. 1. 6; ii. 14. 4; 22. 1. Ирод, ii. 56. Æsch. Prom. 859. Supp. 248. Nieb. Hist. of Rome, i. 24. Apollod. ii. 1. Serv. ad Æn. i. 628; ii. 83. Sch. Apol. Rhod. i. 580. Tzetz. ad Lyc. 177. 481. Natal. Com. p. 96. и conf. Palm. Græc. Ant. p. 41. sqq. Exercit. p. 527. с Buttm. Lexil. p. 155.

8. Филохор. Siebel. p. 14.

9. Марш. Chron. Sec. ix. p. 130.

10. Strab. viii. 3. p. 127.

11. Apollod. i. 9. 18. Мифология описывает пеласгов как изгнанных из Фессалии эолийцами и под руководством Кизика овладевших одноименным полуостровом до экспедиции аргонавтов. Они сражались с аргонавтами, а затем были изгнаны тирренцами, которых, в свою очередь, изгнали милезийцы. Phot. Bib. p. 139. а. 25. Бекк.

12. Il. β 857.

13. Payne Knight, on the Worship of Priapus, p. 147.

14. Λέλεγας γάρ φασι πρότερον αὐτοῦς προσαγωρευομένους, διὰ τὸ ἀποκεντῆσαι τοὺς ἵππους προσαγορευθῆναι Ἴπποκενταύρους. Sch. Pind. Pyth. ii. 78. Cp. Schœell. Hist. de la Lit. Grecq. i. 4. seq.

15. Sch. Apoll. Rhod. i. 1024. Cp. Winkel. Hist. de l'Art. i. 317.

16. Strab. x. 3. p. 349.

17. Strab. x. 3. p. 349. Sch. Pind. Olymp. iii. 19. Плиний, iv. 2. Eustath. ad Il. β. 637. Некоторые древние писатели утверждали, что у Гомера этолийцы назывались куреты, а в еще более ранний период - гиганты, а страна - гигантиды. Byzant. v. [ΑἰτωλλΑἰτωλ](#). p. 71. а. Palm. G. Ant. p. 426.- Сама Аккарнания раньше называлась Куретис.-Demet. ap. Steph. v. Ἀθῆν. p. 45. а. Hard. ad Plin. iv. 2. p. 7.

18. Strab. vii. 7. p. 124. seq. Гесиод. Frag. 54. et 124. Gœttl.- Предполагается, что вторая Додона существовала в Фессалии - см. Thirl. Hist. of Greece, i. 36.- Cp. Buttm. Diss. de orac. Dodon. Orat. Att. vii. 133. sqq.

19. Il. π. 233.

20. Ирод. ii. 51.

21. Юстин. vii. 1. Фукид. ii. 99.

22. Müller, Dor. i. 2.

23. Herod, i. 57.- О положении этого города см. Porro, Proleg. ad Thucyd. ii. p. 383.

24. Юстин, vii. 1. *Æsch. Supp.* p. 261. *Cp. Thucyd.* iv. 109.
25. *Diod.* v. p. 396. Весселинг.
26. *Steph. Byz.* v. Χαορία, p. 753. g.
27. Герман, однако, (*Polit. Ant.* p. 14) считает, что кавконы, лелеги и т. д. были самостоятельными расами, хотя и менее цивилизованными и прославленными, чем пеласги.
28. *Плин.* iv. 1.
29. *Schol. ad Aristoph. Eq.* 78.
30. Аристотель. *Meteorol.* i. 14. p. 39.-II. п. 234. seq.
31. *Steph. Byz.* v. "Εφύρα, p. 367. с. *Strab.* vii. 7 p. 119. См. также *Müll. Dor.* i. 6. *Plut. Pyrrh.* 1.- См. авторитеты, собранные Нибуром, i. 26.
32. Долопс был сыном Гермеса и, умерев в городе Магнесия в Фессалии, воздвиг там гробницу на берегу моря. *Sch. Apoll. Rhod.* i. 587. 558.
33. *Palmer. Exercit.* p. 527.- *Sch. Apoll. Rhod.* i. 500.-*Dion. Hal.* i. 3. 1.
34. *Athen.* xiv. 45.
35. *Serv. ad. Æn.* viii. 725.
36. *Paus.* iv. 36. 1. *Sch. Apoll. Rhod.* ii. 1239.
37. *Плиний*, iv. 14. Даже сам Фтиотис, одна из самых ранних колыбелей эллинов, по некоторым данным, был пеласгийским поселением. *Sch. Apoll. Rhod.* i. 14.-*Cf. ad. i.* 40. 580.
38. *Sch. Apoll. Rhod.* iv. 26.; i. 906. 580.
39. *Steph. Byzant.* v. Λάρισσ. p. 511. b, c, d. *Sch. Apoll. Rhod.* i. 40.
40. То, что дриопы были пеласгами, следует из следующего: они получили свое национальное название от Дриопса, сына Ликаона (*Sch. Apoll. Rhod.* i. 1218,), который сам был сыном Пеласга.- *Suid.* v. Λυκ. *Cp. Etym. Mag.* 154, 7. 288, 32. *Paus.* viii. 2. 1.
41. *Just.* xiii. 4.- Эпикнемидские локрийцы в древности назывались лелегами, и ими было открыто русло Кефисса в море.- *Плиний*, iv. 12. *Solin.* vii. p. 55. Бипонт. Гесиод. *Frag.* 25. *Gœttl.* *Strab.* vii. 7. p. 115; ix. 1. p. 248. *Scymn. Chius*, p. 24.-*Phot. Bib.* 321. b.
42. Мнасеас из Патрæ ap. *Sch. Pind. Pyth.* iv. 104.-*Dion. Hal.* (Ant. Rom. i. 31) - один из тех авторов, которые считают пеласгов несчастными, потому что они были скитальцами. По этому поводу Пальмериус рассудительно замечает: "Sed si tales migrationes miseræ sunt, miserrimi olim Galli majores nostri, qui usque in Asiam, post multas errores, armis victricibus penetrâsse historiæ omnes testantur, et hoc seculo miserrimi Tartari et Arabes, qui Nomadice vivunt, et sedes identidem mutantes, non se miseros existimant, et id genus vitæ Attalicis conditionibus mutare recusarent."-*Græc. Antiq.* p. 60.
43. Согласно чтению Каллистена, Гомер сам определяет их местожительство в Пафлагонии.- *Cp. Strab.* xiii. p. 16. viii. p. 157. *Sch. Hom.* Y. 329.- Если мы не примем это чтение, мы должны предположить вместе со Схолиастом, что они не были отдельно упомянуты в каталоге, потому что Гомер спутал их с лелегами, или потому что они прибыли поздно во время войны.

44. Οἱ μὲν Σκύθας φασὶν, οἱ δὲ τῶν Μακεδόνων τινὰς, οἱ δὲ τῶν Πελασγῶν. Strab. xiii. p. 16.- На ту же традицию ссылается схолиаст: Ἔθνος Παφλαγονίας, οἱ δὲ Σκυθίας- οἱ δὲ τοὺς λεγομένους Καυνίους εἶπον. Ил. к. 429.

45. На диалекте дриопов эта гора была известна под именем Βηλὸς, этим словом халдеи обозначали самый высокий круг неба.-Etym. Mag. 196. 19 и далее.

46. Plin. v. 39.

47. Paus. viii. 38. 2. Sch. Apoll. Rhod. i. 599. Meurs. Cypr. i. 28. p. 76. Steph. Byzant. v. Ὀλυμπ. p. 612. e.- Упоминается, кроме того, восьмой Олимпос в Киликии. (Sch. Apoll. ut sup.) - Девятый в Ликийи. (Plin. xxi. 7.)

48. Phot. Bib. 139. a. 12. 25. Ирод. vii. 42. cf. i. 57. Помпа. Mela. i. 19.

49. Sch. Apoll. Rhod. i. 40.

50. Плиний, xv. 39.

51. Платон, Cratyl. I. iv. p. 58.- См. также Мюллера (Dor. i. 9-11), где, однако, проявляется слишком большая изобретательность. Еще одно доказательство родства дает Гомер (Il. p. 288), который изображает Гиппотооса, пеласга, оскорбляющего тело Патрокла.-Strab. xiii. 3. p. 142.- Нибур (i. 28) предполагает, что троянцы были не фригийским, а пеласгийским племенем; хотя в действительности и фригийцы, и троянцы произошли от одного и того же племени.

52. Strab. xiii. 3. p. 144.

53. Paus. vii. 2. 8.

54. W. f. 7. p. 114.- Сами карийцы, как говорят, жили среди неприступных скал.- Schol. Arist. Av. 292.

55. Athen. xiv. 21.

56. Thucyd. i. 8.

57. Paus. vii. 2. 8. Стеф. Визант. v. Ἀγύλλα, p. 30, d. Ed. Berkel.

58. Athen. xv. 12. Thirl. Hist. of Greece, i. 43. Sch. Apoll. Rhod. i. 14.

59. Плиний, ii. 31. Steph. de Urb. v. Μίλετ. p. 559. b. c. Eustath. in Dion. Perieg. 825. 456. Sch. Apoll. Rhod. i. 186.

60. Il. φ. 86. Cp. Sch. ad κ. 429.

61. Представление об этом факте можно получить из традиции, сохраненной Гекатэосом:- Τοὺς δὲ Λέλεγας τινὲς μὲν τοὺς αὐτοὺς Καρσίην εἰκάζουσιν. Strab. vii. 7. p. 114. Из других источников мы узнаем, что карийцы считались пеласгами: *Habitator incertæ originis. Alii indigenas, sunt qui Pelasgos, quidam Cretas existimant.* Pomp. Mela, i. 16.- См. также Barnes ad Eurip. Heracl. 317. Но самым сильным свидетельством является свидетельство Геродота, i. 171.

62. Strabo, xiv. 2. p. 208. Thucyd. i. 8.

63. Strabo, viii. 6. p. 204.

64. Strab. ap. Palmer. Gr. Ant. i. 10, p. 65. Serv. ad Æn. viii. 725. Мы снова находим эти два народа объединенными под Троей, но не упоминаем их в каталоге, потому что их вождь пал, и их осталось мало, чтобы выступить против Гектора. Их вождями были Геликон и его сыновья. Их столица "Фивы с высокими воротами" была разграблена Ахиллом. Strab. xiii. 3. p. 141.
65. Путешествия Али-бея.
66. Phot. Bib. 141. a.
67. Однако, по преданию, сохраненному Эфором, город Каридес на этом острове был основан теми, кто спасся вместе с Макаром от потопа Девкалиона. Athen. iii. 66.
68. Плин. v. 39.
69. Paus. vii. 22.
70. Suid. v. Ἑρμῶνιος χάρις. t. i. p. 1044.
71. Herm. Pol. Antiq. p. 13. Herod. vi. 138, 140. v. 26.
72. Ирод. ii. 51.
73. Thucyd. i. 98. cum not. Wass.
74. Phot. Bib. 139. a.
75. Phot. Bib. 141. a. И остров Лесбос, и его город Гимера назывались Пеласгией. Плиний, т. 39.
76. Serv. ad Æn. iii. 131. Страбон, х. 3. На острове до сих пор находят останки пеласгов. Пэшли, Путешествие по Криту, i. 152.
77. Аполлод. ii. 1. Keightley, Mythol. 405.
78. Ср. Афины. xiv. 63.
79. Tzet. ad Lyc. 177. Plin. iv. 5. Sch. Apoll. Rhod. i. 1024. Nic. Damasc. in Exc. p. 492.
80. Sch. Eurip. Orest. 1245.
81. Æsch. Supp. 642. 919.
82. Strab. viii. 6. p. 202. Müll. Dor. i. 90. Frag. Incert. Pind. p. 660. Diss.
83. Aristot. Метеорол. i. 14. p. 38.
84. Strab. viii. 6. p. 204.
85. Который, по словам Страбона (viii. 3, 157), был первоначальным местопребыванием Кауконов.
86. Sch. Apoll. Rhod. iv. 264.
87. Clem. Alex. i. 6.
88. Herod. i. 146. Плиний, iv. 10. Nic. Damasc. in Exc. p. 494. Paus. viii. 1. 4.
89. Paus. iii. 12. 5.-i. 1. Страна, кроме того, получила название Лелегия, iv. i. 1.

90. Аполлод. iii. 10. 3.
91. Strab. vii. 7. p. 115.
92. От которого народ назывался лелегами. Paus. i. 39. 6. Считалось, что он был сыном Посейдона и Ливии, а его гробница была изображена на берегу моря, 44. 3.
93. Thirl. Hist. of Greece, i. 38.
94. Paus. iv. 1. Müll. Dor. i. 116.
95. Paus. iv. 36. i.
96. Strab. viii. 3. 156.
97. Ibid. viii. 3. 152.
98. Там же, viii. 3. 157.
99. Ibid. viii. 3. 151.
100. Там же, viii. 3. 157.
101. Ibid. viii. 3. 151. Однако Кауконы, о которых упоминает Афина в "Одиссее" (θ. 366.), отличались от трифилийских. Трифилийские Кавконы владели всеми землями, лежащими к юго-востоку от Пилоса по дороге в Лакедемон. Strab. viii. 3. 157.
102. Strab. viii. 3. 157.
103. Там же.
104. Ирод. vii. 14.
105. Paus. i. 14. 2.
106. Müll. Dor. i. 12.
107. Sch. Арист. Acharn. 75.-Nubb. 971.
108. Ирод. i. 56. vii. 161. Лесбон. Prot rept. ii. 22. f. Conf. Wessel. ad Herod. p. 26.
109. Herod. i. 57. viii. 44.
110. Suid. v. *Κραυ*. t. i. p. 1518. d.
111. Strab. vii. 7. p. 114.
112. Palmer. Græc. Antiq. p. 62.
113. Paus. ii. 8. 3. Philoch. p. 13. Зибель. Herod. ii. 51. seq.
114. Æschyl. Suppl. 259. sqq.
115. Gœttl. ad Hes. Theog. 311. 1014. Οἱ Τυρσηνοὶ δὲ, Πελασγοί. Sch. Apoll. Rhod. 580. Пеласги были основателями Агиллы, впоследствии Сера в Этрурии. Steph. Byzant. v. Ἀγύλλα, p. 30. d. Plin. iii. 8. Serv. ad Æn. viii. 479, который также приводит другую традицию, согласно которой Агилла была построена тирренцами из Лидии. Ср. Вибий, Секвестр. 421, который говорит, что тосканцы были пеласгами. Посейдониаты, тосканское племя, полностью забыли свой родной язык, нравы своей страны и все ее праздники, кроме одного, на который они

собирались, чтобы повторить древние имена царей и вспомнить о своем родном доме. Затем они расходились со стонами, криками и смешиванием слез" - Athen. xiv. 81. Говорят, что бруттии были изгнаны из своей страны пеласгами (Plin. iii. 8); они также поселились в Лукании и Бруттии (9, 10). Пеласги вышли из Пелопоннеса в Лаций, поселились на Сарне, называли себя саррастами и построили, в частности, город Нуцерию (Serv. ad Æn. vii. 738). По другой традиции, они пришли из Аттики; по другой - из Фессалии, поскольку там было найдено множество пеласгийских реликвий.-Idem. viii. 600. Дион. Hal. i. 33.

116. Nieb. i. 22. Стеф. Byzant. v. Χῆρος, p. 758. b. Victor. Var. Lect. i. 10. Athen. vi. 101.

117. См. Nieb. i. 24.

118. Paus. viii. 1. 5.

119. Ирод. ii. 32. 51. Платон, Tim. t. vii. 22-31. 96. 142.

120. Ирод. ii. 51.

121. Paus. iii. 20. 5.

122. Мы также находим упоминание о пеласгийской Гере, Alex. ab. Alex. p. 321. Sch. Apol. Rhod. i. 14.

123. Strab. xiii. 3. p. 144.

124. Serv. ad Æn. vi. 630. Winkelmann, ii. 557. О циклопических стенах Кротоны. Mus. Cortonen. pl. i. Rom. 1756.

125. Пальма. Gr. Ant. p. 60. Herm. Pol. Ant. p. 13.

126. Пальма. Gr. Ant. p. 72.

127. δ. 142. Sch. Apol. Rhod. iii. 1323. Наталь. Com. 611.

128. Phot. Bib. 320. b.

129. Они были изобретателями трубы. Πελασγιδᾶς ἔβρεμε σάλπιγξ, Nonn. Dion. 47. 568. Ср. Paus. ii. 21. 3. Gœttl. ad Hes. Theog. 311.

130. Serv. ad Æn. ix. 505.

131. Nieb. i. 23.

132. Пальма. Gr. Ant. p. 55.

133. См., однако, вопрос, обсуждаемый в Palmerius, Gr. Ant. p. 49. sqq. Conf. Eustath. ad Il. β. 841.

134. Plin. vii. 56. Тацит. Annal. xi. 14. et Rupert ad loc. Hygin. Fab. 277. p. 336.

135. Serv. ad Æn. ii. 4.

136. Аристотель. Meteorol. i. 14. p. 39.

137. Palm. Gr. Ant. 5.

138. I. 58.

139. См. Митфорд (Hist. of Greece, 81. ff.), который много говорит об этих колониях. Herod. i. 2. Conf. Thirl. i. 185. Keightley, Hist. of Greece, p. 11. Müll. Dor. i. 16.

140. Cp. Plut. Pericl. § 13.

141. См. Man. Moschop. ap Arist. Nubb. 982.

142. Уважение к старости до сих пор является замечательной чертой греческого характера. Тирш. Etat Actuel de la Grèce, i. 292. О той же черте в их предках см. Mitf. i. 186. Odyss. ω. 254. Plat. Repub. vi. p. 6. f. Æsch. cont. Tim. § 7.

143. См. Thirlwall i. 180. sqq. и Mitford i. 181.- Среди савроматов во времена Гиппократы даже женщины садились на коней и сражались в бою. Им не разрешалось выходить замуж, пока они не убьют трех врагов.- De Aër. et. Loc. § 78. При парфянском дворе рассказывают одно обстоятельство, иллюстрирующее свирепость, которая в целом преобладала в древности. Говорят, что монарх держал скромного друга, которого кормил, как собаку, и бил до крови за малейший проступок за столом, очевидно, для развлечения гостей.- Athen. iv. 38. Этой черте варварства подражал царь Петр, которого подневольные историки называют Великим, жестоко издевавшийся над принцессой Галициной перед всем своим двором.- Памяти маркграфа Байройтского, т. I, с. 34.

144. Thucyd. i. 5.

145. Il. p. 212. seq. Слово ξένος обозначало, активно и пассивно, хозяина и гостя. Права гостеприимства были наследственными, потомки людей были вынуждены развлекать потомков тех, с кем их предки заключили гостеприимные связи. Πρόξενοι иногда обозначали лиц, публично принимавших послов, как Антенора у троянцев. Агамемнон имел гостеприимные связи с фригийцами, поскольку происходил из фригийских предков. Damm. v. ξένος. Sch. Aristoph. Eq. 347. Cp. Virg. Æn. viii. 165. et Serv. ad loc. Plat. Soph. t. iv. p. 125, где Сократ ссылается на отрывок из Гомера, в котором Зевс считается спутником странника, и шутливо замечает, что элейский странник, вероятно, мог быть каким-то переодетым божеством. Cp. Tomas. Tess. Hosp. c. 23. ap. Gronov. Thesaur. ix. 266. sqq. В Афинах ходила пословица, что двери Пританеона не пропускают ни одного чужака - Sch. Aristoph. Ach. 127. У луканцев закон выражался следующим образом: "Если незнакомец, прибывший на закате, попросит у кого-нибудь ночлега, пусть тот, кто откажется быть его хозяином, будет оштрафован за недостаток гостеприимства". Цель, как я полагаю, этого закона, говорит Илиан (Var. Hist. iv. i.), состояла в том, чтобы одновременно отомстить чужеземцу и гостеприимному Зевсу.

146. По словам Гиппократы, жители высоких гор, хорошо орошаемых, обычно выносливы и высоки ростом, но свирепы и свирепы. Говоря это, философ описывает аркадян, не называя их по имени. De Aër. et Loc. § 120.

147. Athen. iv. 74.

148. Clem. Alex. Strom. i. p. 355. l. 12. Wink. Hist. de l'Art, i. 316.

149. Среди древних скифов наблюдалось необычайное единообразие черт лица, как и среди египтян (то же самое происходит и в настоящее время), что, как предполагается, объясняется в одном случае суровостью, а в другом - крайней жарой климата. Hippoc. de Aër. et Loc. § 91. Но в каждой стране, где климат одинаков для всех, на все население должно оказываться одинаковое воздействие. Это сходство главным образом объясняется отсутствием всякого смешения с иноземными расами и одинаковым развитием ума.

150. Poll. iv. 141.
151. Aristot. de Gen. Anim. v. i.
152. Cp. Hippoc. de Aër. et Loc. § 125, seq. § 23, seq. Casaub. ad Theoph. Char. p. 94. seq.
153. Этот ветер, где бы он ни преобладал, усиливает аппетит; а греки были сытным народом - Aristot. Probl. xxvi. 45. Ветер Орнитиас часто был настолько холодным, что птицы замирали на крыльях. Schol. Aristoph. Ach. 842.
154. Aristot. Probl. xx. 20. Черный мирт, который гораздо крупнее белого, дико рос на холмах. Южные бризы считались очень полезными для растений Триасийской равнины (xx. 36.). (xxvi. 18.)
155. См. дикий анекдот о Стратокле у Плутарха. Демет. § 12.
156. Thucyd. iii. 70. sqq.
157. Ælian. Var. Hist. vi. 7. Cp. Eurip. Andr. 445. seq.
158. Thucyd. v. 83.
159. Thucyd. ii. 67.
160. Pausan. ix. 32. 9.
161. Фукид. v. 126; iii. 50.
162. Thucyd. v. 32; iv. 57.
163. Heracl. Pont. ap. Athen. xii. 26.
164. Cp. Wink. Hist. de l'Art, i. 320. Thiersch, Etat. Act. de la Grèce, i. p. 290. sqq; а об их бескорыстии - Pashley, Trav. in Crete, i. 221.
165. Громкий смех, тем не менее, считался у греков вульгарным - Plat. Repub. t. vi. 112. Афиняне пристрастились к языку пожимания плечами и кивания, к.т.л. Кивок вверх означал отрицание, вниз - признание. Sch. Aristoph. Ach. 112.
166. Аристотель говорит, что афинские ораторы, управлявшие народом, иногда проводили весь день, встречаясь с конюхами или жонглерами, или беседуя с теми, кто путешествовал до Фазиса или Бористена; и что они никогда ничего не читали, кроме Вечери Филоксена, да и то не все. - Athen. i. 10. Возможно, эти люди считали, что "большая книга - это большое зло" - Ид. iii. 1.
-

ГЛАВА III.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК.

Чтобы еще больше прояснить мысль, на которой мы настаивали в предыдущей главе, будет полезно сделать беглый обзор географии страны и несколько подробнее остановиться на ее особой конфигурации и производстве.^[167] Если рассматривать Грецию в целом, то наиболее примечательная черта в ее облике заключается в большом разнообразии форм, которые ее поверхность принимает на территории многочисленных маленьких государств, на которые

страна была разделена в древности. Среди них нет двух похожих друг на друга, будь то физическое строение, климат или производство; так что можно сказать, что в целом атмосфера Греции мягкая,^[168] но не во всех частях, поскольку в ее узких границах встречаются почти все температурные режимы. Жители Элиса и долины Евротаса подвержены жаре, мало уступающей египетской, в то время как поселенцы Олимпоса, Пиндоса и Додоны, а также грубые козьи стада Парнаса, Дориса и Аркадских гор испытывают суровые условия почти скандинавской зимы. В этой необычной стране пальма и мирт процветают на фоне северных сосен, лиственниц и серебристых пихт. На некоторых островах и на части континента давно натурализовались некоторые тропические птицы, такие как павлин и золотой фазан, а в других районах рано появляются бекасы и вальдшнепы^[169]; часто случаются бури со снегом и градом, а вершины гор покрыты вечным снегом.^[170] Не очень высокая гряда холмов отделяет болотные миазмы и утомляющие остроумием туманы Беотии,^[171] родины чревоугодия и глупости, от безвкусной прозрачной веселой атмосферы и сладкой полезной почвы Аттики, где земля, как место обитания человека, достигла своей высшей точки совершенства, и где, соответственно, ее самые благородные плоды, мудрость и красота, созрели наиболее благоприятно.

Однако перейдем к обзору страны: вдоль берегов, особенно на западе, над глубиной нависают изрезанные скалы большой высоты, и в штормовую погоду они выглядят очень пустынно и запретно. Но, спустившись к Ионическому морю и удвоив мыс Кριο, самый юго-западный мыс Крита, приближение к тропикам ощущается и в воздухе, и в пейзаже. Ночи не поддаются описанию, звезды увеличиваются в размерах и блещут,^[172] а утро расстилает над сушей и волнами красоту, но слабо отраженную даже в поэзии. Каждая скала и мыс, одетые двойным светом мифологии и солнца, выходят из неясности рассвета, сверкающие росой и свежие, как при сотворении мира. Склоны гор, покрытые развесистыми лесами, ведут взор вверх, к тем устремленным вершинам, колыбели многих эллинских легенд, где снега, бледные и сияющие, как на Монблане,^[173] спускаются со всех сторон волнистыми градациями к лесам, покоятся навечно, а в начале и конце дня демонстрируют тот пунцовый румянец, который мы наблюдаем среди высоких Альп. Все низменности у их подножия в это время покрыты, возможно, тяжелыми туманами, в то время как более легкие и нежные испарения висят то тут, то там на вершинах гор, увеличивая их величие, позволяя воображению, подобно титану, вздымать их к небу так высоко, как ему заблагорассудится. Берега восточной Эллады, включая Эвбею, вдоль всей Фессалии до границ Македонии, отвесные и скалистые, нависают, как валы свободы, над рабами азиатских равнин.

Почти во всех направлениях Грецию пересекают горные цепи, бесконечно разветвленные и возвышающиеся во многих местах на огромную высоту, а также возвышенные столовые земли, озера, болота, болота с обширными пустырями и пустошами. Располагаясь между тридцать шестым и сорок первым градусами северной широты и, за исключением иллирийской и македонской границ, повсюду окруженная морем, она во многих отношениях, можно сказать, занимает самое выгодное положение на земном шаре. От варварских стран Македонии и Иллирии ее отделяет ряд сопредельных горных хребтов, которые, начиная с Олимпоса (покрытого круглый год снегом, среди которого был погребен поэт Орфей^[174]) и включая Камбунский хребет с возвышенной вершиной Лакмоса, тянутся на запад через весь континент и заканчиваются на бурном Акроцераунском мысе. Самыми северными провинциями Эллады, расположенными непосредственно в пределах этой границы и к западу от Пиндосского хребта, были Хаония и Молоссия, а к востоку - Фессалия, окруженная цепями высоких гор круглая долина, отличающаяся необычайным плодородием. В этой провинции находятся самые большие и богатые равнины Греции; многие из имен, наиболее освященных религиозными традициями и прославленных в поэзии, принадлежат Фессалии.

Именно здесь, по сути, находилась предполагаемая колыбель эллинов. Отсюда отплыл "Арго" и несравненно величайший из всех героев, сражавшихся под Троей.

"--- смешанные со вспомогательными богами".

География Фессалии удивительна. Согласно уже упоминавшейся традиции, когда-то она была горным озером, воды которого, усиленные необычными дождями, прорвали свои грандиозные преграды и пробили себе путь к морю через противостоящие скалы. Среди племен северного Индустана преобладает аналогичное предание об образовании Долины Кашмира; и независимо от того, сохранил ли в этих случаях голос славы или нет историческую правду, подобные события можно считать неправдоподобными в странах, изобилующих горными озерами, чье дно лежит значительно выше уровня моря. Высокий хребет, окаймляющий берега Эгеана, который, как говорят, в далекой древности был разорван водами озера, предстает перед приближающимся мореплавателем в весьма разнообразном виде. Первым по курсу на север появляется Пелион: широкий хребет, поднимающийся из волн, как огромная ~~uncrenalateduncrenalated~~ стена, и покрытый в гомеровские времена свирепым колышущимся лесом. За ним следует Осса с ее крутой конической вершиной, покрытой прочными снегами и отделенной от Олимposa узкой сумеречной щелью. Эта щель - Темпе,^[175] чьи дикие красоты поэты и софисты наперебой описывали, хотя реальность все же прекраснее их изображений. При вступлении в дефиле гор узкая лощина, окруженная обрывистыми скалами, местами голая, местами зеленеющая развесистыми дубами, принимает воды Пеней, которые, подобно Роне у Сен-Мориса и Нилу у Сисилиса, местами заполняют всю ширину прохода, едва оставляя место для напряженной дороги, проложенной по скалистым уступам. Дальше они расходятся по широкому галечному руслу, и через лесистые прогалины открываются узкие перспективы в мягкие пастушеские уголки, покрытые изумрудным ковром и благоухающие цветами и кустарниками с богатейшим ароматом. Вскоре долина снова сужается, мрачные скалы нависают над потоком и печалат его поверхность своими тенями, пока, наконец, вся цепь не будет пройдена, и Пеньос не впадет своими смеющимися водами в Эгеан.^[176] Пересекая великий хребет Пиндос, мы попадаем в Эпейрос,^[177] страну, древним образом разделенную на множество провинций, и частично населенную полуварварскими племенами, где на берегах озера, необычайно красивого и живописного, стоял фан и оракул додонецкого Зевса. Гомер, привыкший к мягкому небу Ионии, говорит о ее климате как о грубом и суровом. Но Байрон, родившийся среди голодных скал Каледонии и привыкший к диким чертам севера, был сражен его диким очарованием и так описывает одну из сцен в окрестностях у истоков Ахерона.

Монастырская Зица, с твоего тенистого чела,

Ты малый, но благодатный уголок святой земли,

Куда бы мы ни взглянули, - вокруг, вверху, внизу,

Какие радужные оттенки, какие волшебные чары!

Скалы, реки, леса, горы - все в изобилии;

И голубое небо, гармонично сочетающееся со всем этим.

Внизу шум далекого потока

Где катаракт объемный катится.

Между нависшими скалами, которые потрясают и в то же время радуют душу.

Скопления островов, покрытых поэтической зеленью, тянутся вдоль побережья, густо изрезанного миниатюрными бухтами и устьями рек. На одном из участков акарнанского берега^[178] в устье Амбракийского залива потерпело окончательное кораблекрушение Римское содружество, положившее начало стольким соперничавшим государствам, а берега отомщенной Эллады были усеяны обломками римской свободы. Этолия, Дорис, Локрис, Фокис, в котором находился мистический пуп Геи,^[179] и глубокая долина Беотии, отделенные друг от друга горами или значительными реками, тонко пересекаемые ручьями и разбитые на вечную череду холмов и далей, ведут нас на юг к Коринфскому заливу и границам Аттики.

Оставив это прославленное подразделение Эллады и Мегарис, который первоначально был его частью, для завершения нашего быстрого обзора, мы вступаем на Пелопоннес - страну, примечательную как по своей физической конфигурации, и по расам, которые в древности населяли ее. Соединенный с континентом узким Коринфским перешейком, он сразу же расширяется на запад и на юг, превращаясь в полуостров больших размеров, по форме напоминающий потрепанный лист подорожника или вытянутую пальму.^[180] Как и северная часть Эллады, Пелопоннес изрезан горными цепями и опоясан скалами. К центру он превращается в возвышенное плато, известное античности под названием Аркадия. Иностранные поэты, неверно понимая природу страны, описывали эту провинцию как череду мягких пасторальных сцен.^[181] Но на самом деле ее характер совсем иной: она состоит в основном из обширной столовой земли, поддерживаемой огромными горными контрфорсами, которые в некоторых местах возвышаются до пиков необычайной высоты. Она разбита на бесчисленные долины и глубокие ущелья, над которыми нависают дикие обрывистые скалы, покрытые мрачными лесами и большую часть года утопающие в облаках и снегах. Жители были грубы и бесперспективны, как почва, и не отличались, подобно современным швейцарцам, ни одним качеством, кроме храбрости, которую, как и они, они продавали с наемническим безрассудством тому, кто больше заплатит.^[182] Ахайя - это приморское побережье, наклоненное к северу. Элис - череда прекрасных равнин с редкими возвышенностями, хорошо поливаемых и славящихся прекрасной породой кобыл. Эта святая земля эллинов, священный Зевсу каждый роод, была для греков местом паломничества, как Мекка для арабов и Палестина для христиан Запада. В гомеровскую эпоху она была ограничена узкими рамками, ее морское побережье простиралось только от Бупрасиона до мыса Гирмине, едва, правда, так далеко, поскольку Мирсинос, как говорят, был ее последним городом на севере, а Бупрасион упоминается скорее как отдельное государство. Она была отделена от Ахайи горой Сколлис, которую Гомер называет "скалой Оления", а границей на юге служит Алейсион; следовательно, ни гора Фолоз, ни Олимпия, ни Алфеи не входили тогда ни в Элиду, ни тем более в Трифилию.

Арголис, расположенный на противоположной стороне полуострова, пересекает широкая гряда холмов, которая, ответвляясь от горы Циллина и Парфениона в Аркадии, изобилует глубокими оврагами и просторными природными пещерами. Здесь есть несколько плодородных равнин, но, несмотря на болотистую местность и малярию, в окрестностях столицы не хватает хорошей воды. Слава Аргоса^[183] почти целиком покоится на сказочной

основе: он был велик в младенчестве Греции; он играл ведущую роль в Троянской войне; но с приходом полуварварских дорийцев на Пелопоннес слава старого героического рода

"сражавшегося при Фивах и Илионе".

заметно померкла, а Аргос и его город-близнец, Микены, стали сравнительно незначительными.

Лакония представляет собой пологое ущелье, заключенное между двумя горными цепями, отходящими от великого аркадского барьера, Парнона и Крониоса, и простирающимися на юг до моря. По центру этой долины протекает Евротас, истоки которого находятся выше Белемины, среди крутых выемок Тайгетоса.^[184] Хотя его расширяют несколько притоков, он сохраняет характер горного потока, пока не достигнет Спарты; но после падения в романтический сверкающий каскад, кажется, на некоторое время теряется в болоте. Однако, вырвавшись из болота, она течет по твердому гравийному дну до Лаконского залива. Непосредственно над Спартой долина сильно сужается, но в этом месте холмы внезапно отступают с обеих сторон, огибают небольшую круглую равнину и, на небольшом расстоянии под городом, снова приближаются и прижимаются к руслу Евротаса.^[185] Место расположения Спарты, таким образом, напоминает в малом масштабе египетские Фивы, которые точно так же окружены Аравийскими и Ливийскими горами. Из этого также следует, что состояние атмосферы в обоих местах должно быть в определенной степени одинаковым; ведь хребты Тайгетос и Торнакс, поднимающиеся на большую высоту, не только перехватывают прохладные бризы с запада и севера, но и, амфитеатрально огибая равнину, концентрируют солнечные лучи, которые, будучи голыми и скалистыми, отражают с большой силой. Поэтому летом здесь царит сильная жара, а зимой, напротив, их большой высоты хватает, чтобы утром и вечером исключить косые лучи, вызывая тем самым холод, мало уступающий, пожалуй, тому, что ощущается в горных районах Аркадии.

Но, несмотря на возвышенность и мрачность, возвышенности Лаконии не лишены способности к возделыванию, а во многих местах издревле были покрыты лесами платанов. Их восточные склоны также покрыты виноградниками, орошаемыми, как в Швейцарии и Бургундии, небольшими ручьями, проведенными по искусственным каналам из источников высоко в горах.^[186] Вершины Тайгетоса пусты и дики; изрезанные и раздробленные частыми землетрясениями, омываемые ливнями, то тут, то там скученные и подорванные прогрызающими путь в долину потоками, они представляют собой фрагмент природы в ее дряхлости. Однако к югу от горы Эворас открывается равнина со значительным плодородием, простирающаяся на восток к горе Заракс и морю. На границе с Мессенией также много плодородных долин. Эта часть Лакедемонии получила во времена Августа название, данное, возможно, в насмешку, как земля элевтеро-лаконов, или "свободных лаконян".

Защищенная со стороны суши труднопроходимыми горами и представляющая со стороны моря негостеприимное побережье без гаваней, Лакония, похоже, была предназначена природой для обитания необщительного народа. Как и во многих швейцарских кантонах, ее климат, как правило, суров и груб, досаждают холодными ветрами, чередующимися с обжигающей жарой, и, похоже, сообщает аналогичные качества умам ее жителей, которые во все века отличались доблестью, не сдерживаемой гуманностью. В такой стране благородные искусства никогда не могут быть полностью натурализованы. Вирус, впитанный от природы, найдет свой путь в характере и не поддастся влиянию культуры и правительства.

Мессения во всех отношениях представляет собой контраст с Лаконией. Вдоль морского побережья, особенно от Пилоса до мыса Аэритас, она совершенно бесплодна; ни леса, ни

зарослей, ни малейших признаков зелени не видно на красных шлакоподобных обрывах, свекольно возвышающихся над морем или уходящих в серые горы. Но, миновав этот альпийский барьер, мы видим, что земля опускается на богатые равнины, которые на берегах широкого Памисоса издревле, за их пышное плодородие,^[188] назывались "Счастливыми". К северу, у истоков Балыры, Амфитоса и Неды, пейзаж становится очень романтическим и живописным: почти с каждой возвышенности взору открывается бесчисленное множество узких извилистых лугов, каждый из которых с бурлящим потоком кружит вокруг зеленых возвышенностей, покрытых до самых вершин развесистыми лесами. Мессения, которая, как только заселилась, должна была стать богатой, похоже, была излюбленным местом отдыха поэтов в далекой древности. Здесь фракиец Фамирис в состязании с Музами потерял зрение и дар пения, а на маленьком скалистом острове на побережье, где, как я видел, обитали морские птицы и бакланы, Спарта получила от афинского полководца низких способностей одно из самых обидных поражений, занесенных в ее летописи.

Возвращаясь из Пелопоннеса через Истмос и покидая у Лаконских скал территорию Коринфа, мы попадаем в Мегарис,^[189] первоначально, как я уже отмечал, входивший в состав афинских территорий. Аттика - это треугольный мыс, небольшой по площади, выступающий в Миртоанское море между Арголидой и Эвбеей. Горная цепь, не имеющая большой высоты, образует под разными названиями границу между этой страной и Беотией, а гора Керата в более поздние времена отделяла ее от Мегариса. Со всех остальных сторон Аттика омывается морем, которое, вместе с почти всеми прилегающими островами, в древности считалось частью ее империи.^[190] Это минутное деление Греции, не принесшее ничего, кроме великих людей, редко рассматривается с живописной точки зрения. Удовлетворенные тем, что Афины стояли здесь, мы обычно не просим большего. Гений вдохнул в нее духи, более сладкие, чем тимьян ее собственных холмов, - нарисовал ее красотой, превосходящей земную, - сделал ее атмосферу вечно благоухающей человеческим величием и человеческой славой, - и наложил такую ослепительную иллюзию на ее пыль и руины, что они кажутся прекраснее самых богатых сцен и самых совершенных сооружений других земель.

Однако, независимо от своего исторического значения, Аттика наделена многочисленными прелестями. Состоящая из бесконечной череды холмов и далей,^[191] с множеством небольших равнин, перемежающихся между собой, и вздымающаяся к северной границе в значительные горы, она представляет собой миниатюру всей эллинской земли.^[192] В древности ее возвышенности, овраги и укромные впадины были покрыты лесом, - дубами, белыми тополями, дикими оливковыми деревьями или меланхоличными соснами. Арбут, агнус кастус, дикая груша, вереск, чечевица и другие цветущие кустарники украшали склоны холмов и поляны; на каждом возвышении дикий тимьян, сладкий майоран и множество различных видов душистых растений источали свой аромат под ногами;^[193] в то время как ручьи чистейшей и сладчайшей воды в мире, прыгали вниз со скал, или проводили свои искрящиеся потоки через его романтические и богато возделанные долины. Южнее, среди горных массивов горнодобывающего района, источники серебра^[194], можно сказать, узурпировали место фонтанов. Лицо страны почти везде засушливо и бесплодно, равнины иссушены, овраги завалены рыхлой галькой, возвышенности не живописны и унылы; однако везде, где есть растительность, достоинства аттической почвы проявляются в производстве ароматных цветов, из которых пчелы извлекают самый вкусный мед в мире, превосходящий по качеству мед с Гибла или Гиметтоса.

Однако сравнительное бесплодие в целом можно считать характерным для Аттики. Действительно, Платон,^[195] в очень любопытном отрывке, уподобляет истощенному болезнью

телу голодный район вокруг столицы, где почва обрушилась вокруг скал. Но из этого вытекают бесчисленные преимущества. Легкая и пористая земля позволяет всему, что выпадает после дождя, сразу же оседать и исчезать, как в Провансе,^[196] который, более чем какая-либо другая часть Европы, напоминает Аттику. Поэтому, за исключением нескольких незначительных мест,^[197] не существует ни болот, ни трясин, чтобы отравлять воздух холодными выделениями: гряда гор защищает его от северных порывов: мягкие бризы с океана преобладают почти во все времена года: снег редко лежит на земле дольше нескольких часов. Соответственно, атмосфера, постоянно свободная от маревых выделений, живительна и искрится, как в Ливийской пустыне, когда в полдень каждая возвышенная скала кажется окруженной светящимся ореолом.^[198] В таком чистом воздухе акт дыхания - роскошь, вызывающая улыбку удовлетворения на лице; ум выполняет свои действия легко и быстро; и жизнь, повсюду сладкая, кажется более приятной, чем в странах, подверженных водянистым и нездоровым туманам. Поэтому было совершенно философским, по Платону,^[199] рассматривать Аттику как место, предназначенное природой для доведения человеческого интеллекта до наибольшей зрелости и совершенства; это качество Аристотель распространил на всю Грецию. Те же свойства атмосферы благоприятствовали здоровью и долгой жизни, предотвращая многие заболевания, распространенные в других частях страны.

Эрудированный и изобретательный, но причудливый писатель^[200] считает Пелопоннес сердцем Греции. Следуя этой идее, мы, несомненно, должны признать Афины главой, средоточием мысли, местом, где созревали ее искусства и мудрость. Но прежде чем мы коснемся столицы, которую нельзя обойти беглым замечанием, необходимо вкратце рассказать о деми или сельских городах Аттики,^[201] которых во времена расцвета республики насчитывалось до ста семидесяти четырех. Из этих небольших муниципальных общин, о которых известно слишком мало, несколько были местами значительной важности, имели свои храмы, свои Агоры, свои театры, были заполнены гуляками и окружены неприступными укреплениями. Афиняне относились к Афинам, как евреи к Иерусалиму, в свете своего великого и святого города, святилища их религии и свободы. Но это не мешало им предпочитать спокойную простоту деревенской жизни шумным городским удовольствиям. Многие знатные семьи, соответственно, имели дома в этих деми, или виллы в их окрестностях. Здесь же родилось несколько величайших людей Афин: Фукидид был уроженцем Галимоса,^[202] Софокл из Колоноса, Эпикур из Гаргеттоса, Платон из Эгины, Ксенофонт из Эрхии, Тиртеос, Гармодиос и Аристоклейтон из Афидны, Антифон из Рамноса и Эсхил из Элевсиса.

Города и деревни Аттики представляют большой интерес и с другой точки зрения. Они долгое время оставались местами первобытного культа страны, где божествам-покровителям отдельных районов, рожденных землей, поклонялись с той привязанностью и той горячностью преданности, которые свойственны небольшим религиозным общинам. Боги, которым они поклонялись, казались почти их согражданами и существовали только для их защиты. По сути, они были святыми покровителями деревень. Сказочные легенды и исторические предания в сочетании с религией проливали свет на аттических демонов. Вряд ли на всей земле найдется хоть одно обитаемое место, которое не фигурировало бы в их поэзии или летописях как сцена какого-нибудь памятного подвига. Например, Афидна^[203] прославилась как место, откуда Диоскуры увезли свою сестру Елену после ее изнасилования Тесеем, в отместку за которое герои-юноши опустошили всю округу. "Седой Марафон", , как метко назвал его Байрон, был навеки забальзамирован персидской кровью и стал священным благодаря огромным курганам, воздвигнутым государством над прахом павших воинов. Рамнос на аттических Дарданеллах прославился статуей Немезиды, первоначально

Афродиты, работы Диодотоса или Агоракритоса с Пароса, недостойной сравнения по размерам и красоте с произведениями Фидия. Нашествие пелопоннесцев принесло Декелее меланхоличную славу,^[205] а Филы вошли в историю как крепость, где Фрасибул собрал небольшой, но доблестный отряд, отомстивший за свободу тридцати. Об Элевсисе^[206] достаточно сказать, что там совершались обряды посвящения в мистерии.

Столица Мегара, как и Афины, находилась на небольшом расстоянии от моря, но была соединена длинными стенами со своей гаванью Нисей, защищенной от непогоды минойским мысом. Плывая дальше к Пирею, мы проплываем мимо нескольких островов, ни один из которых, однако, не отличается величиной, кроме Саламиса, который в далекой древности был отдельным государством, управляемым по собственным законам. Старая столица, опустевшая еще во времена Страбона, стояла на южном побережье напротив Эгины; но главный город более поздних времен располагался в бухте у корня языка суши, выступающего в сторону той части Аттики^[207], где сидел Ксеркс, наблюдая, как его императорская армада была уничтожена республиканцами Эллады. Саламин издревле носил различные названия - Скирас, Кихрея и Питуус, от Питуса, или сосны, которой во многих местах были затенены его скалы и поляны. Непосредственно перед сражением, в котором был уничтожен его флот, персидский монарх попытался соединить Саламину с континентом плотиной длиной в две стадии; его проект, если бы он удался, погубил бы паромщиков Амфиале, класс людей, чьи действия Солон считал достаточно важными, чтобы регулировать их отдельной статьей в своем кодексе. О более мелких островах, составляющих часть побережья Аттики, мало что можно сказать, поскольку почти все они были бесплодны и населены лишь несколькими легендарными преданиями. Гробница Цирцеи была изображена на большем из Фармакусов; а остров Елены, расположенный к востоку от Самианского мыса, получил репутацию места, где неверная царица Менелая завершила свою вину.^[208]

Гигина принадлежала Аттике только в результате завоевания; но поскольку после покорения ее подчинение было полным и прочным, ее нельзя не упомянуть в этом обзоре родных территорий Великого Демоса. Как и сама Аттика, остров, лежащий в Сароническом заливе, имеет треугольную форму. По близости он относится к Пелопоннесу, находясь в тридцати стадиях от метанского Херсонеса, в то время как до Саламиса нужно проплыть девяносто стадий, а до Пейреев - сто двадцать. Но если само море считалось частью Аттики, чей флаг, подобно флагу Англии, веками триумфально развевался над его волнами, то и острова, которые оно окружало, один за другим переходили в руки народа, и этот маленький дорический островок в том числе. Вокруг берегов Эгины теснятся множество небольших островков или, скорее, скал, одни из которых бесплодны и лишены деревьев, а другие отличаются определенным плодородием и зеленеют сосновыми лесами.

Самые примечательные объекты в Эгине располагались по углам острова. На западе - город и гавань, на востоке, обращенном к Аттике, - храм Афины, а у южной оконечности - "великолепная коническая гора, которая по своему величию, форме и историческим воспоминаниям является самой примечательной среди природных особенностей Эгины". Такая возвышенность и такая красивая форма, естественно, должны были вызывать большой интерес таком маленьком острове. Местные суеверия обязательно сгруппировались бы вокруг него, как вокруг Иды на Крите и Олимпоса в Фессалии. Соответственно, на вершине этой горы, по преданиям Эгины, царь Эакос от имени всего эллинского народа молится Зевсу о дожде, как пророк молился за израильтян, и с таким же успехом. Поэтому недавний путешественник с большой долей вероятности определил место расположения Панхелениона, недалеко от того места, где сейчас стоит часовня, посвященная пророку

Илии. По размерам Эгина, согласно Сцилаксу, занимала двенадцатое место среди островов Эллады. Страбон приписывает ей окружность в сто восемьдесят стадий; но сэр [Уильям Гелл](#) в своей "Арголиде"^[210] считает, что ее периметр, без учета колебаний заливов и бухт, составляет не менее двухсот десяти стадий, а площадь - три тысячи сто шестьдесят четыре стадии, или сорок одну квадратную милю.^[211] Внутренняя часть города скалистая, неровная и пронизана пещерами, в которых, согласно сказочным легендам, жили мирмидоны, а впоследствии Хабрия устроила засаду для спартанца Горгопоса и его эгинетских союзников.^[212] Легкая тонкая почва питает скудную растительность на горах, но несколько небольших долин, заполненных землей, смытой дождями с возвышенностей, богаты и плодородны, орошены источниками и речушками и украшены рощами с нетленной зеленью.^[213]

Многое было написано о размерах и населении Аттики, в отношении которой большинство философов последнего поколения придерживались весьма ошибочных представлений. Рассмотрение их утверждений, возможно, и сейчас было бы интересным, но это вывело бы меня далеко за рамки моей нынешней работы и заняло бы место, которое можно было бы лучше заполнить. Согласно самым тщательным подсчетам, Аттика занимала семьсот и двадцать квадратных миль, или, с учетом острова Саламис, семьсот сорок восемь. Однако все это крайне ограниченное пространство кишело населением; ведь даже в столь позднем^[214] 317 году до н. э. после всех бедствий, которые пережила республика, в Аттике все еще проживало пятьсот двадцать семь тысяч шестьсот шестьдесят человек, или почти семьсот семьдесят три человека на квадратную милю, что намного больше, чем в самых густонаселенных графствах Англии.

Однако, принимая во внимание форму правления, трудолюбивые привычки и крайнюю бережливость жителей, это вполне вероятно. Но в том, что касается населения Эгины, расчеты, существующие среди ученых авторов, настолько экстравагантны, что превосходят все ожидания. Мюллер и Бёкх,^[215] которые в других случаях и иногда очень некстати проявляют скептицизм, безоговорочно признают рассказ Афинея, который приписывает эгинетянам четыреста семьдесят тысяч рабов.^[216] К ним первый добавляет свободное население в сорок тысяч, что в целом составляет до полумиллиона, или двенадцать тысяч четыреста пятьдесят семь человек на квадратную милю. Мистер Клинтон,^[217] ясно понимая абсурдность этого расчета, предлагает считать семьдесят тысяч, что оставляет население в пропорции две тысячи шестьсот восемьдесят два человека на квадратную милю. Отрывок в "Афинях", несомненно, как подозревает Бохарт,^[218] испорчен, и в этом случае ничего не остается, как определить по аналогии население Эгины, которое, если предположить, что оно было таким же плотным, как в Аттике, составило бы нечто большее, чем тридцать тысяч душ.

167. Cp. Hermann, Pol. Ant. § 6. Müll. Dor. ii. 425.

168. Варро отдавал предпочтение почве и климату Италии, где все хорошее производилось в совершенстве. Он считал, что ни ячмень не сравнится с кампанским, ни пшеница с апулийской, ни рожь с фалернской, ни масло с венафранской. Вся страна была так густо засажена деревьями, что казалась фруктовым садом. Даже сама Фригия не изобиловала виноградниками; Аргос не был так плодороден, как некоторые районы Италии, хотя, как говорят, давал от десяти до пятнадцати труб с кувшина. De Re Rustica, i. 2. p. 46. b.

169. "Вальдшнепы и бекасы, как мне сообщили, в значительных количествах посещали окрестности Аттики зимой. Я слышал крики кудряша и красного хохлача на болоте справа от Пирея". Sibth. in Walp. Mem. i. 76.
170. Cramer, Desc. of Greece, i. 8.
171. Βοιωτία ὕψ. Pind. Olymp. vi. 151. Cram. ii. 200.- Густая и туманная атмосфера. Hipp. de Aër. § 55. Plat. De Legg. v. t. vii. p. 410. seq- Цицерон замечает: "Etenim licet videre acutiora ingenia et ad intelligendum acutiora eorum, qui terras incolant eas, in quibus aër sit purus ac tenuis, quàm illorum, qui utantur crasso cœlo atque concreto." De Nat. Deor. ii. 16. "Пурпурная и серая цапли часто встречаются на болотах Беотии". Sibth. in Walp. Mem. i. 76.
172. Я никогда не видел, чтобы Плеяды казались такими большими, как на побережье Мессении". См. Coray, Disc. Prel. ad Hipp. de Aër. et Loc. § 115.
173. Даже холмы Чевиот иногда (как в 1838 году) все лето покрыты пятнами снега, и в таких случаях крестьяне, как говорят, не платят ренты. Тайн Меркьюри, 1 июля 1838 г.
174. Paus. ix. 30. 9. Антол. Græc. vii. 9. Menag. ad Diog. Laert. Proœm. § 5. Здесь же один из трех Корибантов, будучи убит своими братьями, нашел могилу. Clem. Alex. Protrept. c. xi. t. i. p. 16. Из крови этого человека выросла трава петрушка.
175. Æl. Var. Hist. iii. 1. Holland 291-95. Clarke iv. 290-97. Dodwell, 109. sqq. Gell. Itiner. of Greece, 280.
176. Аристотель объясняет то, что должен был заметить каждый путешественник, чрезвычайной синевой этого моря, которую он противопоставляет белесым волнам Понтоса Эвксинского. В последнем случае, замечает он, воздух, густой и белесый, отражается от поверхности мутных вод; в то время как в Эгейском море, прозрачном на большой глубине, отражается яркий насыщенный цвет неба.-Prob. xxiii. 6. Он добавляет, что море становится более прозрачным во время преобладания северного ветра.
177. Хотя географы обычно не включают эту страну в пределы Эллады, я считал ее частью Греции, потому что Гомер, очевидно, так ее считал. Он причисляет перреби и энианов, а также жителей холодной Додоны к последователям Агамемнона, то есть относит их к грекам" - Ил. β. 749-755. Древнее название страны, как говорят, было Æsa.-Etym. Mag. 39. 19. Ср. Steph. Byzant. v. Δωδών. p. 319. d. sqq.
178. Где стоял знаменитый храм Аполлона - Фукид. i. 29.
179. "Скалистая Пифо", впоследствии Дельфы. Илиада, β. 519.
180. Strb. viii. 2. 140. Дион. Perieg. ap. Palm. Gr. Ant. 16.
181. Ср. Пальма. Gr. Ant. 61. О климате Аркадии см. Аристотель. Problem. xxvii. 60. Он отмечает, что ветры, дующие с моря, там не холоднее, чем в других частях Греции; но во время штилей выдохи из застойных вод были особенно прохладными. См. также Hippoc. de Aër. et Loc. § 120.
182. Ср. Steph. Byzant. v. Ἀρκας. p. 166. b. seq.
183. Ил. β. 559. Масис, аргивский город, упоминается Гомером вместе с Эгиной, остров которой в то время также принадлежал Аргосу. В более поздние времена это место было гаванью гермионцев.-Pausan. ii. 36, 83. Ср. Müll. Æginet. p. 85.

184. Эта гора (которую Вибий Секвестр в одном месте превращает в реку, р. 19, ср. Virg. Georg. ii. 487,) была священна для Вакха. Serv. ad. Страбон подробно описывает его, а Павсаний отмечает, что он был приспособлен для погони. На ее вершине кони приносились в жертву солнцу - Paus. iii. 20. 2. Ср. Oberlin, ad Vib. Sequest. p. 375.

185. Коронелли, Mém. Hist. et Géog. du Roy. de la Morée, &c. p. 90. sqq. Пуквилль, Путешествие по Морее, стр. 87. Chateaubriand, Itinéraire, t. i. pp. 102-118. Ср. Thiersch, Etat Actuel de la Grèce, i. 287, который дает следующий романтический взгляд на Лаконскую долину: "Oh! que ce pays était beau, lorsqu'au mois de Mai 1832, nous traversâmes ses ravissantes vallées au milieu des montagnes de la Laconie, et ses villages situés au bord de ruisseaux limpides et entourés d'arbres fruitiers tout en fleurs! Quelle était belle cette terre, lorsque, le soir, revenant des ruines de Sparte à Mistra, nous étions comme baignés de ces parfums qu'exhalent les orangers qui remplissent la plaine, et rafraîchis par la brise délicieuse descendue des montagnes majestueuses du Taygète, dont les cimes, encore couvertes de neige, semblaient toucher le ciel parsemé d'étoiles! Nôtre sommeil fut interrompu la nuit par le chant mélodieux d'une troupe de rossignols."

186. Aleman, ap. Athen. i. 57.

187. Strab. viii. 6. p. 190. Paus. iii. 21. 6.

188. Ср. Sibth. in Walp. Mem. i. 60.

189. Strab. ix. i. p. 232.

190. Strab. ix. 1. Филох. Siebel. p. 28.

191. Мардоний, в самом деле, считал Аттику слишком холмистой для действий кавалерии: - οὕτε ἱππασίμη ἡ χώρα ἣν ἡ Ἀττική.- Herod. ix. 13.

192. См. в "Критиях" Платона, т. vii. с. 153. хвалебные отзывы о ее красоте и плодородии. В настоящее время "равнина Аттики, если не считать оливковых деревьев, крайне лишена древесины, и мы наблюдали, как по возвращении крестьяне гнали домой своих ослов, нагруженных Passerina hirsuta для топлива" - Сибторп в Mitchell, Knights, p. 155. Но это описание ни в коем случае не относится ко всей стране. У подножия Ситерона до сих пор есть леса длиной в четыре часа" - Sibth. in Walp. Mem. i. 64.

193. Это объясняется сухостью и чистотой атмосферы; ибо, как замечает Плиний, "hortensiorum odoratissima quæ sicca; ut ruta, mentha, apium, et quæ in siccis nascantur."-Hist. Nat. xxi. 18. p. 46.

194. Ἀργύρου πηγὴ τις αὐτοῖς ἐστὶ, βῆσαυρὸς χθονός.-Æschyl. Pers. 238. Во всех странах воды горных кантонов плохие.-Hippocr. de Aër. et Loc. § 35.

195. Critias, t. vii. p. 154. Слова. Афины и Аттика, 62.

196. Coray, Notes sur Hippocr. De Aër. et Loc. § 126. t. ii. p. 403.

197. Vide Sch. Aristoph. Lys. 1032.

198. Aristid. i. 187. Джебб. Аристофан, по-видимому, говорит о блеске ее атмосферы в следующем стихе (Ran. 155):

ὄψει τι φῶς κάλλιστον, ὥσπερ ἐνθάδε.

хотя Спанхейм полагает, что он имеет в виду свет мира вообще.- Not. in loc.

199. Plat. Tim. t. vii. pp. 12. 15. sqq. Bekk. Aristot. Pol. vii. 6. Cp. Coray, Disc. Prelim. ad Hippoc. De Aër. et Loc. p. cxxix. sqq.
200. Müll. Dor. i. 76.
201. См. Col. Leake, Trans. Roy. Soc. Lit. i. 114-283.
202. Poppo, Prolegg. in Thucyd. i. 22.
203. Paus. i. 17. 5.
204. Paus. i. 32. 3. sqq. "Мы наблюдали длинноногую ржанку около Марафона; серую ржанку и песочную ржанку на восточном побережье Аттики". Sibth. Walp. Mem. i. 76. Chandler, ii. 83.
205. Где были похоронены Софокл и его предки. Чандлер, ii. 95.
206. Клем. Алекс. Protrept. § 2. t. i. p. 16. seq. где он рассказывает историю Деметры и Баубо.
207. На одном из выступающих корней горы Игалеи, которая в древности, по словам Статия, была хорошо обсажена лесом и покрыта, как Гиметтос, тимьяном" - Theb. xii. 631. Suid. v. Μῦθος. На этой горе также в изобилии росли фиги (Theoc. Eidyll. i. 147), которые считались лучшими в Аттике.-Athen. xiv. 66. Meurs. Rel. Att. c. i. p. 4. seq. Cp. Leake, Topog. 71.
208. Il. γ. 445. где мы находим, что его древнее название было Kranäe.- Cp. Eurip. Helen. 1672. Strab. ix. 1. p. 245.- Павсаний (i. 35. 1) сохранил другую традицию, согласно которой Елена высадилась здесь по возвращении из Трои.-Chandler, ii. 7.
209. Wordsworth, Athens and Attica, p. 262.
210. Ib. 28. ap. Müll. Æginet. p. 8.
211. Cp. Clint. Fast. Hellen. ii. 335.
212. Xen. Hellen. v. 1. 11.
213. Чандлер (ii. 12) говорит о том, что весь остров покрыт деревьями.
214. Клинт. Fast. Hellen. ii. 386. sqq. Cp. Boeckh, Pub. Econ. of Athens, i. 44. seq. О количестве граждан см. Philoch. Siebel, p. 17. 28. Schol. Vesp. Aristoph. 709. Strab. ix. i. t. ii. p. 234. Hermann. Pol. Ant. § 18. Bochart, Geog. Sac. i. 286.
215. Æginet. 128. Экономика Афин, i. 55, seq.
216. Deipnosoph. vi. 103. Cp. Schol. Pind. Olymp. viii. 30.
217. Быстро. Hellen. ii. 423.
218. Geog. Sac. Pars Prior, l. iv. c. 20, p. 286.
-

ГЛАВА IV.

СТОЛИЦЫ ГРЕЦИИ - АФИНЫ.

От этих более общих соображений, в которые, возможно, было необходимо войти, перейдем к изображению главных столиц, оставленных нам античностью, ограничиваясь главным образом Афинами и Спартой, которые могут рассматриваться как представители всех остальных. Физиономии этих городов, как и черты лица, в некоторых отношениях можно считать ключом к характеру жителей; это замечание с большой долей правды можно применить ко всем столицам.

В строении одного, внешнем и внутреннем,^[219] повсюду было видно стремление воплотить принцип красоты, улучшить преимущества и преодолеть трудности положения. В других же мало что свидетельствовало о силе воображения, о жажде творчества, о стремлении ума к идеалу, о желании гения вдохнуть душу в камень, жить и обрести вечность существования в творениях своих рук, любоваться собственной красотой, отражающейся со всех сторон от его творений, как от вогнутого зеркала. В Афинах все общественное, все, что имело отношение к объединенным усилиям народа, носило отпечаток величия. Акрополь, населенный только богами, казался достойным быть жилищем бессмертных существ: здесь была вся поэзия архитектуры; казалось, он был обязан своим рождением концентрации лучшего религиозного духа древнего мира, стремившегося придать земле сходство с небом; населить его немymi божествами, говорящими только своей красотой, и окружить этих представителей невидимого Олимпа всем самым прекрасным, самым ценным, самым дорогим среди людей. В Спарте дух расчетливой экономии вошел в само поклонение богам. Казалось, что в том, как они размещались и развлекались, они всегда заботились об общих столах и черном бульоне. Между храмами Афин и Спарты, по сути, существовал тот же контраст, что сегодня между собором Святого Петра в Риме и кальвинистским монастырем. Соответственно, несколько древних писателей наперебой расхваливали Афины, которые они считали одновременно самым славным и самым красивым городом. Афиней называет их "музеем Греции", Пиндар - "пребыванием Греции", Фукидид в своей эпиграмме на Еврипида - "Грецией Греции", а пифийский Аполлон - "домом и местом совета всех греков". Другие называли их "Опулией", хотя основная часть их богатства заключалась в мудрых и великих людях, которых они породили, и чьи достижения покрыли их славой. В том же духе арабы называют Каир "Матерью городов"; и все народы в большей или меньшей степени сосредотачивают в своей столице свою привязанность и гордость.

Превосходное великолепие Афин объясняется тем, что греки всегда обращались к ним, когда хотели превознести великолепие своей страны по сравнению с тем, что можно было найти в других местах. Так, Дион Хризостом^[221] утверждает, что Афины и Коринф во всем, что составляет реальное величие, превосходили знаменитые столицы Персии, Сирии, Экбатаны, Вавилона и Бактрианы. По мнению этого писателя, Кранейон с его гимназиями, фонтанами и тенистыми аллеями и Акрополь с его Пропилеями, античными алтарями, храмами и сонмом богов превосходили по великолепию дворцы Великого Царя, хотя было нечто чрезвычайно поразительное в месте и структуре того, что можно правильно назвать Акрополем Экбатаны.^[222] Сам город был без стен, но цитадель, которая, вероятно, возвышалась посреди него, занимала склон конического холма, не похожего на гору Фавор, и была опоясана семью стенами разного цвета и высоты, концентрическими кругами поднимавшимися друг над другом к вершине. Считается, что окружность самой низкой из них равнялась окружности Афин, включая Пирей. Цвет этой стены был белым; следующая, черная для контраста, сменялась светло-фиолетовой, за которой следовали стены небесно-голубого, алого, серебряного и золотого цветов.

По своим масштабам великие столицы Востока значительно превосходили Афины. Например, окружность Вавилона, как говорят, составляла не менее четырехсот стадий, в то время как, по словам оратора Диона, окружность Афин равнялась в круглых числах двумстам стадиям, или двадцати пяти милям. Вероятно, Аристеид принял тот же расчет, когда объявил, что по компасу это день пути. Но в этих расчетах есть некоторое преувеличение, так как, согласно Фукидиду, общая протяженность стен не превышала ста семидесяти восьми стадий. Однако площадь города не соответствовала обширности его укреплений, состоявших из двух отдельных систем зданий - Асту, или собственно города, и Пейре, или гавани, соединенных тремя стенами длиной более четырех миль. В западном мире были и другие столицы, равные по размерам: Сиракузы, окружность которых составляла сто восемьдесят стадий, и Рим, который во времена Дионисия Галикарнасского не занимал большей территории, хотя пространство, заключенное в стенах, было гораздо больше.

Однако, чтобы составить более полное представление о древнем доме демократии и искусств, мы должны, насколько это возможно, открыть вид на внутреннюю часть Афин, которые с их гаванями, доками, арсеналами, рыночными площадями, базарами, портиками, общественными фонтанами и гимназиями, вероятно, представляли собой самое благородное зрелище из всех, когда-либо представлявшихся взору скоплений человеческих жилищ. С какой бы стороны ни приближался город, по суше или по морю, он казался одним огромным скоплением великолепия. Когда мы плыли вдоль берега от мыса Суниум, издали были видны сверкающие на солнце полированные медные шлем и щит колоссальной Афины,^[223] стоящей на гребне Акрополя. При приближении Парфенон, Пропилеи, храм Эректа и другие мраморные сооружения, венчающие скалу Кекропий, сверкали над пинаклями нижнего города и глубокой зеленой листвой окружающих равнин и оливковых рощ. Среди его главных украшений в поздние века республики был замечательный памятник на дороге в Элевсис - гробница гетеры Пифионики, которая умерла, когда ее красота еще цвела и ее сила очарования была не ослаблена, любовь, которую она вдохновила, пережила могилу и проявилась в возвышении дорогой мраморной глыбы над ее прахом.^[224]

Зайдя в Пейрею,^[225] где обычно стояли на якоре корабли со всех концов древнего мира, чужестранец сразу же был поражен проявлениями могущества народа и его пристрастием к статности и величию. Вход в порт, едва ли достаточно широкий, чтобы пропустить пару галер в одну сторону с веслами на полном ходу, находился между двумя круглыми башнями, в которых по обе стороны заканчивались морские укрепления города. Во время войны через устье протягивались огромные цепи, превращавшие Пирей в закрытый порт,^[226] прибыв в который, довольный глаз бродил по просторным набережным, причалам и длинным рядам складов, тянувшихся вокруг гавани, с гробницами и усыпальницами, возвышавшимися то тут, то там на открытых пространствах между ними. Среди них был кенотаф в виде алтаря, воздвигнутый раскаявшимся народом в память о Фемистокле,^[227] основателе военно-морской мощи Афин, чьи кости, как иногда предполагают, были привезены сюда из Магнесии. Пирей состоял из трех бассейнов: Зеи, Афродитиона, который был самым большим, и Кантароса. На западном берегу находились огромные доки и арсеналы содружества, возведенные Филоном,^[228] в которых во время мира вся часть государственного флота, не занятая защитой своей торговли в далеких колониях, размещалась в сухих доках, крытых и окруженных массивными стенами. К центру города примыкала Гипподамея,^[229] агора или рыночная площадь, которая, похоже, напоминала Ковент-Гарден, с рядами лавок на площади и окруженная жилыми домами. Это здание получило свое название от Гипподама Милетского, архитектора, который возвел его и выстроил весь приморский город в регулярном и красивом стиле, изобретателем которого он был.^[230] Здесь также было несколько других рыночных площадей или базаров, среди которых

можно назвать место^[231], напоминающее Лавру на Самосе, Сладкий Анкон в Сардах, Улицу Счастливых в Александрии и Тосканскую улицу в Риме, на которой продавались фрукты, кондитерские изделия, деликатесы и предметы роскоши всех видов. На этих агорах, как и сейчас в базарах Каира, Дамаска и Константинополя, в тесном соседстве друг с другом были представлены вина Испании и Португалии, янтарь с берегов океана, ковры, шали и драгоценности Востока, фрукты и золото с Тасоса, слоновая кость и страусовые перья из Африки, прекрасные рабыни из Сирии, Дардании и южных берегов Эвксинского моря, мегрелки и грузинки современного мира.^[232] Вокруг этих необычных групп можно было увидеть афинских юношей в почти восточной пышности костюмов, которые бездельничали, одни, возможно, покупали, другие просто смотрели, наполовину торопясь вернуться в гимнасий или на лекции Сократа.

Среди общественных зданий^[233] в гавани были Дейгма^[234] или Биржа, где купцы собирались для ведения дел, принося с собой образцы своих товаров; Серангион^[235] или общественные бани; великолепные храмы Зевса и Афины, украшенные изысканными картинами и статуями, где на открытом дворе, по-видимому, стоял знаменитый алтарь, воздвигнутый Демосфеном^[236] в качестве компенсации за штраф в тридцать талантов; Длинный портик, служивший агорой для тех, кто жил у берега;^[237] театр,^[238] и суд Фретиса^[239] на берегу, где обвиняемый выступал с речью с галеры, стоявшей на плаву. Где-то в Пирее находился алтарь "неизвестным богам", который, несмотря на использование формы множественного числа, возможно, был тем, на который ссылается святой Павел в своей речи к афинянам на холме Арейопагос.

Кроме Пирея, Афины владели еще двумя гаванями - Мунихией и Фалероном, которые были окружены одной линией укреплений и со временем образовали один город, превосходящий по размерам саму Асту. Последний из них был самым древним, и отсюда Мнестей отплыл в Трою, а Тесей - на Крит.^[241] Мунихийский мыс,^[242] изобилующий впадинами и искусственными выемками и соединенный узкой горловиной с континентом, был самым сильным местом на побережье и мог считаться ключом Афин, поскольку тот, кто им владел, мог командовать городом. В этом Демосе стоял Бендидейон^[243], где устраивались представления в честь фракийской Артемиды Бендис, на которые Сократ и его друзья спустились из города, когда в доме Кефала состоялся тот разговор с Глауконом и Адимантом, из которого возникла Республика Платона. В этой части порта также находился театр,^[244] и здесь происходили некоторые из тех сражений с тридцатью, которые восстановили свободу государства.

Продвигаясь вглубь Асту, или собственно Афин, незнакомец видел перед собой прямую улицу длиной более пяти миль, протянувшуюся от Пирея до подножия Акрополя, между стенами^[245] огромной высоты и толщины, фланкированными квадратными башнями на равных расстояниях. Вдоль вершины этих огромных каменных глыб шла терраса, с которой открывался великолепный вид на Саронический залив и далекие берега Пелопоннеса, а с другой стороны - на город, упирающийся в зеленые склоны Ликабеттоса^[246]. Пространство между длинными стенами изобиловало замечательными памятниками. Здесь находились гробницы Диопета, Менандра и Еврипида, храм Геры, сожженный персами и оставленный в руинах на память о мести, а также многочисленные кенотафы и статуи выдающихся людей.

Просторные и высокие ворота впускали вас в Асту через пояс неприступных укреплений, а внешний вид внутренних помещений,^[247] хотя улицы в военных целях были в основном узкими и извилистыми, а дома низкими, выступающими над мостовой или скрытыми возвышенными стенами, превосходил все обещания его далекого вида. Величие, присущее афинской демократии, было видно на каждом шагу. Но было бы утомительно водить читателя последовательно по всем общественным местам - Пниксу, Агоре, Керамику: давайте

поднимемся на Акрополь, с крепостных валов которого перед нами, как на карте, развернется план всего города.

Половина красоты всех цивилизованных стран проистекает из их религии. В Афинах почти все дорогое и великолепное принадлежало богам; даже Пропилеи,^[248] на первый взгляд просто светское или военное сооружение, вероятно, были обязаны своим возведением в столь дорогом стиле тому обстоятельству, что они украшали вход в священную обитель Афины и других божеств-покровителей Афин, а также прокладывали дорогу, по которой спускалась и поднималась на гору пышная процессия панафинейцев. Как бы то ни было, дорога^[249], которая, зигзагообразно поднимаясь по склону, была удобна для колесниц, вела из нижнего города на Акрополь, на краю платформы которого стояла Пропилеи, возведенная архитектором Мнесиклом за пять лет, во время правления Перикла. Подобная архитектурная громада обычно находится у входа во двор египетских храмов, а Пропилеи Луксора и Карнака, с их устремленными ввысь обелисками, сфинксами и грядами колоссальных статуй, могут считаться одними из самых целомудренных и прекрасных памятников в долине Нила. Афинская Пропилея, более богатая по замыслу и материалам, выполненная с изяществом и совершенством, неизвестными египтянам, имела огромное преимущество перед их самыми благородными произведениями, которые, за исключением пирамид и великого храма Кум-Омбос, стояли на мертвом уровне, в то время как этот храм занимает лоб обрывистой скалы, видный со всех сторон издали. Колонны, архитравы, фронтоны, стены и крыша - все из белоснежного мрамора, с лепниной ярко-красного и синего цвета, а потолки из лазури, усыпанной звездами.^[250] Снаружи, по обе стороны, стояли конные статуи сыновей Ксенофонта,^[251] размещенные на высоких квадратных цоколях; и, возвышаясь над всем этим слева, стояла колоссальная статуя Афины Промехос.^[252]

При входе через ворота Пропилеи взору открывалась сцена несравненного величия и красоты. Нигде не было видно следов человеческого жилья, но со всех сторон возвышались более или менее высокие храмы из пентелийского мрамора, прекрасные по замыслу и изысканно тонкие по исполнению, сверкавшие на солнце, как груды алебаstra. Слева возвышался Эректейон, или фантом Афины Полиас; справа - то неподходящее сооружение, известное в древности как Гекатомпедон, а в более поздние века - как Парфенон. Другие здания, все священные для афинского глаза, группировались вокруг этих главных сооружений, а на открытых пространствах между ними, в какую сторону ни посмотри, появлялись статуи, некоторые из которых поражали своими размерами, другие - красотой, и все - легендарной святостью, которая их окружала. Ни один город древнего или современного мира не мог соперничать с Афинами в богатстве искусства. Наши музеи, наполненные лучшими экспонатами, хотя и изобилуют ее трофеями, являются бедными коллекциями фрагментов по сравнению с тем собранием богов и героев, которое населяло Акрополь, подлинный Олимп искусств, где все божества языческого неба представляли в бессмертной юности и красоте вокруг Громовержца и его дочери-девственницы. В древности было написано много томов о картинах, статуях и архитектурных памятниках, украшавших вершину этой скалы, и хотя эти труды исчезли, можно было бы составить длинный и любопытный список объектов такого рода, которые, как мы знаем, существовали там.^[253] Однако достаточно будет просмотреть несколько наиболее ярких черт этой сцены.

С одной стороны от входа стояла колесница, запряженная четверкой бронзовых лошадей, а прямо напротив - часовня Афродиты, в которой находилась бронзовая львица со статуей самой богини работы Каламиса; чуть дальше взгляд останавливался на Дитрефе, пронзенном, подобно св. Себастьяну стрелами; две фигуры богини Здоровья; юноша из бронзы работы Ликиоса, несущий Перирхантерион, или кисть для окропления святой водой;

группа Мирона, изображающая Персея, отрубающего голову Медузе, и трех Граций, задрапированных Сократом,^[254] сыном Софронискоса. Пройдя мимо часовни Артемиды Брауронии, вы увидите среди многочисленных групп менее ярких памятников аттическую концепцию троянского коня; Афины, поражающую Марсия; Геракла, душащего змей в своей колыбели; Фрикса, приносящего в жертву барана; и Тесея, национального героя, убивающего Минотавра в критском лабиринте.^[255] Здесь также была Афина, выходящая из головы Зевса, вместе с фигурой быка, подаренного сенатом Арейопагоса; и, немного дальше, воплощение очень благочестивой и очень красивой мысли - фигура Земли, матери богов и людей, молящей правителя Олимposa о дожде. Зевса, громовержца облаков, изображали многочисленные знаменитые художники; фигура Аполлона работы Фидия, стоящая перед восточным фасадом Парфенона, освещалась первыми утренними лучами. Но боги-покровители Аттики, Афина и Посейдон, гении политической мудрости и морского могущества, представленные как борцы за власть над афинским разумом, встречали взор в разных частях Акрополя, - благочестие народа с удовольствием воспроизводило с различными атрибутами предметы своего умиленного обожания. Среди этих божеств были найдены статуи нескольких поэтов, ораторов и полководцев: Анакреона, Эпихарма, Формиона, Тимофея, Конона, Перикла и Исократа. Когда мы приблизились к Парфенону, его скульптурные фронтоны и метопы, изображающие легенды из мифологии и религиозные процессии Афин, вызвали восхищение, и до сих пор вызывают его, своим оригинальным дизайном и безупречным исполнением: и, подвешенные к его высоко окрашенным фризам и опирающиеся на его белые мраморные архитравы, были рядами высоко отполированных щитов из золота.^[256]

Технические описания зданий, как религиозных, так и гражданских, были бы неуместны в данной работе; но подробный рассказ об Эрехтейоне и Парфеноне, двух великих святилищах Акрополя, не мог быть пропущен. Начнем с первого, как более древнего и священного: это сооружение, неправильной формы, хотя и очень красивое, содержало три часовни с таким же количеством портиков. Часовня Эрехтея, вход в которую осуществлялся через портик с шестью колоннами, выходила на восток, где стоял алтарь верховного Зевса, никогда не запятнанный кровью или возлияниями вина. Мостовая этой части здания была поднята на восемь футов над уровнем остальных часовен. Здесь благочестивые афиняне воздвигли алтари Эрехтею, Посейдону, Бутасу и Гефестосу, а стены украшали картины, посвященные священному роду Этеобутада. В подземной камере под полом лежали бранные останки Эритониоса, человека, таинственным образом произошедшего от богов. Эрехтейон имеет площадь около двадцати четырех футов, поэтому некоторые полагают, что он должен был быть гигантским, если только каменные блоки крыши не опирались на колонны. Но древние использовали плиты гораздо больших размеров при строительстве и покрытии своих храмов; в египетских каменоломнях Хаджар Силсис и Эссуан мы наблюдали блоки длиной от сорока двух до семидесяти футов и подходящих пропорций, в то время как другие, столь же огромные, были удалены. Вольней, как помнит читатель, обнаружил в стенах сирийских храмов массы не меньшей величины: кроме того, несколько обелисков, стоящих сейчас на своих пьедесталах, не достигают и ста футов в высоту.

Между Эрехтейоном и часовней Афины Полиас не было ни одной двери для сообщения. Осмотрев первую, незнакомец снова вышел на открытое пространство и, повернув налево, вошел в величественный портик, ведущий с севера в храм Пандроса, где, построенный из пентелийского мрамора, стоял алтарь ладана. Миновав его и пройдя через Пандрос, он вошел в древнее святилище Афины, беззаконное и мрачное, куда не проникал даже тот "тусклый религиозный свет", который борется с неясностью в наших готических соборах. Так происходит и во многих египетских храмах, где адиты совершенно темные. Но солнечный

свет и дневное великолепие не подошли бы для мистических обрядов, которые здесь совершались; поэтому эти священные углубления освещались лампами, великолепными по форме и материалам, которые проливали мягкие бледные лучи на молящихся. Многоструйный^[257] золотой канделябр святилища Афины был снабжен асбестовыми фитилями и, по словам храмовых надзирателей, имел размеры, достаточные для хранения масла в течение целого года. Зажженный однажды, он горел вечным пламенем, а дым выводился на крышу с помощью полой бронзовой пальмы, повернутой назад.

Эту неугасимую лампу зажигали и поддерживали в горящем состоянии из почтения к античному изображению Афины в оливковом дереве, которое составляло одну из палладий Аттики. Кроме того, в честь этой первобытной статуи, как говорят, была учреждена Панафинейская процессия, во время которой, подобно велабруму храма Мекки, пеплос,^[258] чем бы он ни был, был с огромной помпой и церемонией посвящен служению богине.

Однако главный аргумент против того, чтобы считать, что пеплос был предназначен для статуи из золота и слоновой кости в Парфеноне, - то, что он не был нужен, - имеет очень мало веса. Ни одна из церемоний, сопровождавших его преподнесение, не была необходима. Подношение было делом преданности; и как бы дорого оно ни стоило и как бы тщательно ни было украшено, оно могло быть просто призвано защитить изображение от пыли и воздействия воздуха. То, что Фидий изобразил богиню без пеплоса, не является аргументом в пользу того, что его статуя нуждалась в нем, а наоборот. Возможно, он опустил его специально для того, чтобы он был обеспечен благочестием государства. Кроме того, скульптурные метопы Парфенона, изображающие панафинейскую процессию, сами по себе являются сильным аргументом в пользу того, чтобы связать вручение пеплоса и другие церемонии праздника с этим более великолепным сооружением и изображением, а не с Эрехтейоном. Поскольку афиняне полагали, что острова блаженных и место обитания их богов находятся где-то на западе, они привыкли молиться с лицом, обращенным в ту сторону;^[259] и так же хоронили своих мертвых. По этой причине, желая видеть лик своих божеств во время религиозной службы, статуи богов обычно устанавливали лицом на восток, и, следовательно, фасад храмов смотрел в том же направлении. Так было и с изображением Афины Полиас из оливкового дерева; в царствование Августа афиняне, ставшие еще более суеверными из-за своих несчастий, были сильно напуганы, узнав, что богиня отвернулась от них,^[260] как бы готовясь искать свой древний дом в Атлантическом океане. Но ее реальное присутствие покинуло город задолго до битвы при Херонее.

Но Афина, хотя и была главной, не была единственной обительницей своего святилища. По одну сторону от двери стояла фаллическая статуя Гермеса, первоначально установленная пеласгами,^[261] а в более поздние века почти скрытая облием миртовых ветвей. Здесь же, в очень необычном обиталище, были обнаружены следы того поклонения животным, которое так широко распространилось по всему древнему миру. В логове, построенном для его использования, жила огромная змея, считавшаяся стражем храма и оживленная душой Эриктониоса, который здесь исполнял роль, отведенную в храме Деметры Кадмосу, также считалось, что он претерпел подобное превращение после смерти. Змеиный бог Акрополя ежедневно получал пропитание от жрицы Афины; раз в месяц его умиляли благочестивыми подношениями лепешек из чистейшего меда.^[262] Реликвии этого культа до сих пор находят в Египте. В глубокой пропасти, среди диких скалистых гор на аравийской стороне Нила, нам показали расщелину в келье отшельника, откуда, как говорят, в определенные дни выходит большая рептилия этого вида, чтобы принять подношения пищи, которые приносят ему окрестные крестьяне. Предполагается, что это существо, как и страж афинского храма, обладает человеческой душой, душой святого шейха Хариди.

Как и большинство других эллинских святилищ, часовня богини была своего рода музеем, наполненным памятниками афинских побед и другими примечательными предметами. Здесь демонстрировались любопытные или прекрасные образцы оружия или доспехов, захваченные у врага; среди них были нагрудный знак и скимитар Масистия,^[263] командира медийской конницы в битве при Платее. Рядом с этими воинственными памятниками стоял складной походный стул, изобретение, как говорили, и работа Дейдалоса; архетип всех тех переносных сидений, которые несли вслед за девами Аттики дочери чужеземцев в грандиозной панафинейской процессии.

Не менее интересной частью этого необычного здания, посвященного поклонению стольким богам и героям, была небольшая часовня Пандросос, где, по преданию, жили Пандора и Талло, и где покоился прах Цекропса. Здесь же жила жрица, на несколько месяцев запертая с Эрсефорой. Таким образом, можно сказать, что эта келья принадлежала не только Пандросе, которая была одной из самых ранних служительниц этих обрядов, но и всем, кто от нее принял этот сан. С юга здание открывалось в портик, украшенный кариатидами вместо колонн и наполненный церемониальными и религиозными ассоциациями. Здесь росло Панкуфос, священное оливковое дерево, которое, сожженное персами, за одну ночь выросло на целый локоть, и считалось наделенным силой неугасающей вегетации, поскольку, если ствол срубали, на нем тут же вырастали новые побеги. Рядом со священной оливой находился соляной колодец, называемый морем Эректея, который, как говорят, Посейдон создал, ударив своим трезубцем по скале. В углублении этого фонтана во время преобладания южного ветра раздавался звук, похожий на рокот волн. Этот колодец не был обнаружен в наши дни; но в другой части цитадели существовал источник солоноватой воды, известный под названием Клепсидра, который при восходе звезды-собаки, когда дули этезианские ветры, переполнялся; но после их прекращения снова затихал.^[264]

Мы, пожалуй, слишком долго пробыли в сумрачных недрах этого древнего купели, околдованные чарами прекрасной мифологии. Теперь мы выходим на свет истории и приближаемся к воздвигнутому Иктиносом бесподобному сооружению, где афинский народ возносил свои ежедневные молитвы к небу.^[265] Парфенон занимает самую возвышенную платформу Акрополя, а мостовая его перистилия находится на одном уровне с капителями колонн Пропилеи. Он был построен полностью из белого пентелийского мрамора^[266] и состоял из целлы, окруженной дорическим перистилем с восемью колоннами по фронту и семнадцатью по бокам. Эти колонны высотой тридцать четыре фута опирались на тротуар, возвышавшийся на три ступени над скалистой платформой, откуда общая высота здания составляла около шестидесяти пяти футов. Внутреннее устройство, как и в великих храмах Египта, было связано скорее с полезностью и удобством общественного богослужения, чем с эффектом, который длинные ряды высоких колонн, тянущиеся через неограниченное пространство, могли бы произвести на ум: целла, шестьдесят два фута в ширину, была разделена на две неравные по размеру камеры: западная - около сорока четырех футов в длину, восточная - почти сто. В обеих палатах потолок поддерживали колонны.

Полковник Лик, к тщательному труду которого я прошу отсылать читателя, желающего вникнуть в мельчайшие подробности, завершает свое общее описание следующим образом: "Такова была простая конструкция этого великолепного здания, которое по совокупности превосходства материалов, дизайна и декора было самым совершенным из когда-либо возведенных. Его размеры - двести двадцать восемь футов на сто два, с высотой шестьдесят восемь футов до вершины фронтона - были достаточно велики, чтобы создать впечатление величия и возвышенности, которое не нарушалось никаким навязчивым делением на части, как, например, уменьшается эффект от некоторых больших современных зданий. В

Парфеноне, как на небольшом, так и на большом расстоянии, ничто не отвлекало зрителя от простоты и величия массы и очертаний, которые составляют первый и самый замечательный объект восхищения в греческом храме; и только когда глаз пресытился созерцанием всего здания, у зрителя возникло желание рассмотреть украшения, которыми это здание было так обильно украшено; Ибо статуи фронтонов, единственного возвышения, которое очень бросалось в глаза своей величиной и положением, будучи заключенными в рамы, составлявшие существенную часть дизайна обоих фронтонов, имели не более навязчивый эффект, чем декоративная капитель имеет для одной колонны."^[267]

Тот объект искусства, каковы бы ни были его размеры, достаточно велик, который наполняет разум высокими идеями величия и красоты. Кроме того, в простом размере есть точка, за которой, если мы продолжим, глаз не сможет охватить целое с первого взгляда и создаст ощущение отсутствия единства; но в той мере, в какой мы не достигнем этой точки, мы будем чувствовать отсутствие возвышенности. В таком затруднительном положении, пожалуй, оказались храмы Греции. Соображения экономии, которые в конечном итоге повлияли на образ мышления, сузили идеи архитекторов или заставили их направить свои исследования на красоту формы, не связанную с тем величием, которое истекает из массы и возвышенности.

Среди варварских народов Востока, где все ресурсы страны находились в распоряжении монарха или жреческой касты, как в Индустане, Персии и Египте, наоборот, был полный простор для воображения архитектора, который, если бы его изобретение было ему под силу, мог бы придать своим сооружениям высоту горы и простор огромного города. Таким образом, величие, истекающее из величины, в большинстве случаев присуще священным сооружениям Египта;^[268] и в некоторых случаях чувство симметрии, чувство прекрасного, похоже, сдерживало художника в должных рамках, как в великом храме Аполлинополя Магна, который, каковы бы ни были недостатки его архитектурных деталей, в целом наделен воздухом подлинного великолепия и возвышенности. Переходя от созерцания этих религиозных сооружений Греции, в большинстве умов, как я полагаю, возникнет легкое чувство разочарования, и хотя впоследствии восторг, вызванный присутствием необычайной красоты, - восторг безмятежный, мягкий и невыразимо успокаивающий, - с лихвой компенсирует отсутствие благоговения и восхищения, их отсутствие все равно будет ощущаться.

Но продолжим: богатыми и тщательно продуманными украшениями Парфенон напоминал храм Тентириаса. Каждая часть его экстерьера, где допускался орнамент, представляла взору какое-нибудь творение эллинского вкуса и фантазии, фигуры в высоком и низком рельефе, сгруппированные в действии или покое, задуманные и выполненные в стиле, достойном принца миметического искусства.^[269] Многие обломки этих великолепных композиций сегодня защищены от дальнейших разрушений в метрополии Великобритании, но при этом они настолько изуродованы и обветшали, что никто, кроме опытного глаза, не сможет разглядеть в них, сквозь разрушения возраста, весь тот солнечный свет красоты и прелести, который сиял в них, когда они только что сошли с резца Фидия. Одна из величайших работ этого художника наполнила интерьер Парфенона эманациями своей красоты - статуя Афины из слоновой кости и золота^[270], которая, представляя форму, отличающуюся всей мягкостью и округлостью, присущей женственности, и лик, сияющий высочайшим интеллектом, должна была в некоторых отношениях отнять пальму первенства у олимпийского Зевса; ведь в последнем, в конце концов, не могло быть ничего, кроме мужской энергии, достоинства, величия. Они действительно были так смешаны, так покорены в славном и богоподобном спокойствии, что это творение человеческого гения, подобно величественному существу,

немым прообразом которого оно было, обладало в какой-то степени небесной силой прогонять печаль и горе и проливать благодать и счастье на всех, кто его видел.^[271] Но, по крайней мере для мужчин, Зевсу, должно быть, не хватало некоторых качеств, которыми обладала Афина. Она была во всей своей эфирной прелести, все еще женщина, но без женской слабости и без единого пятнышка земли. Афиняне сделали наивысший возможный комплимент женственности, придав мудрости женский облик, и деликатность этой мысли усилилась, окружив это мифологическое создание атмосферой чистоты, на которую не могла претендовать ни одна другая богиня языческого рая. По красоте Афина не уступала даже самой Афродите. Ее прелести действительно отличались благородной строгостью, присущей добродетели, а чтобы подчеркнуть, что она скорее небесная, чем земная, ее глаза были цвета неба. Однако это духовное возвышение над страстями лишь усиливало в глазах афинян великолепие ее личной красоты, которая, подобно помету летнего облака, оказывала на ее поклонников исцеляющее и облагораживающее влияние.

Согласно Филохору,^[272] этот колосс был установлен во время правления Феодора, то есть в третий год восемьдесят пятой Олимпиады. Афиняне, по гениальному предположению, выбрали для посвящения статуи период празднования самого великолепного праздника в их календаре, Большой Панафинеи, которая, как своего рода юбилей, случалась лишь раз в Олимпиаду.^[273] Сколько времени Фидий потратил на завершение этой статуи, мы не можем определить; но поскольку сам Парфенон, как предполагается, не был завершен менее чем за десять лет, художник не должен был торопиться в своей работе.^[274]

В храме Зевса в Олимпии и во всех священных сооружениях, которые мы посетили в Египте и Нубии, имелась лестница, ведущая на крышу. Не сохранилось никаких положительных свидетельств, подтверждающих, что так было и в Парфеноне, хотя антиквары с большой долей вероятности предполагали, что так оно и было.^[275] Поэтому давайте предположим этот факт и, поднявшись на вершину здания, осмотрим окружающую сцену и великолепный город, окружающий скалу у наших ног. Немногие пейзажи в мире более богаты и разнообразны, ни один не вызывает такого глубокого интереса. История заселила каждое место в пределах видимости волнующими дух ассоциациями; а если история и обошла стороной какое-то место, то поэзия была занята тем, что создавала свои легенды из разрозненных фрагментов преданий. Проводя взглядом по дальнему краю горизонта, мы видим мыс Суний, Эгину, поднимающуюся из Миртоанского моря, Трезен, место рождения национального героя Тесея, горы Арголиды, враждебную цитадель Коринфа с Филами и Децелеей, слишком прославившимися в Пелопоннесской войне. Ближе к берегу находится "рожденный морем" Саламин и тот невысокий мыс, где варвар расположился, чтобы наблюдать за битвой в проливе. Вон там, у оконечности длинных стен, находятся порты Мунихия, Фалерон и Пирей; слева от нас - Гиметтос с его пчелиными роями и пахучими склонами;^[276] справа - Колонос, роща ужасных Эринниев и расщелина в скале, по которой несчастный Эдип, достигнув конца своей карьеры, спустился в адский мир.^[277] За ним находится Элевсис и Священный путь.^[278] Там, среди рощ, расположена Академия; здесь - Керамейкос^[279], наполненный памятниками, которые республика воздвигла своим героям, там - Киносирх и Лицей. Холм Арейопагос, примыкающий к скале Акрополя, отделяет Пникс от Агоры, засаженной Кононом платанами. Неподалеку, окруженные обычными жилищами, находятся Леокорион, храм Тесея, Одеон, Стоа Пицилия, Дионисийский театр и другие памятники, замечательные по своей красоте или историческому значению.^[280]

219. Dem. Olynth. iii. 9. Palm. Exercit. in Auct. Græc. p. 622. Zander, De Luxu Athen. c. iii. 5, § 6.
220. Athen. v. 12. Soph. Œdip. Col. 107. seq.
221. Orat. vi. t. i. p. 199.
222. Herod. i. 98. Bochart, Geog. Sac. Pars Prior, l. iii. c. 14. p. 222. Аристотель. De Mund. ch. 6. Apuleius, p. 19.
223. Paus. i. 28. 2.
224. Athen. xiii. 67.
225. Cp. Steph. De Urb. v. Πειραιός. p. 633. G. sqq.
226. Leake, Top. of Ath. p. 311. sqq.
227. Paus. i. 1, 2. Плут. Them. § 32. Meurs. Pir. c. 3.
228. Strab. ix. 1. p. 239.
229. Harp. v. Ἴπποδ. Xen. Hell. ii. 4. Dem. in Timoth. § 5. Andoc. de Myst. § 10.
230. Arist. Polit. vi. 8. p. 40. 16. vii. 11. p. 199. 25. Hesych. v. Ἴπποδ. νέμῃσις.
231. Athen. xii. 57, 58. Animad. t. 11. p. 468. Sch. Aristoph. Pac. 98.
232. См. авторитеты, Книга vi. главы 11 и 12.
233. Meurs. Pir. c. 4, 5, 6.
234. Harpocrat. in v. p. 74. Моссак. Etymol. Mag. 259. 51. Suid. in v. t. i. p. 665. Xen. Hellen. v. 1. 21. Аристоф. Eq. 975. et Schol. Dem. adv. Lacrit. § 7. Lys. cont. Tynd. frag. 120. Polyæn. Strat. vi. 2. 2.
235. Harpocrat. in v. p. 166. Suid. in v. t. ii. 734 a. Isaeus De Philoct. Hered. § 6.
236. Meurs. Pir. c. 7.
237. Paus. i. 13.
238. Xen. Hellen. ii. 4. 33.
239. Paus. i. 28. 11.
240. Paus. i. 1. 4; v. 14. 8.
241. Paus. i. 1, 2.
242. Strab. ix. 1. t. ii. p. 239.
243. Xen. Hellen. ii. 4, 11.
244. Thucyd. viii. 93. Lys. in Agorat. § 7.
245. Их было три. Plat. Gorg. t. iii. p. 22. Wordsworth, Athens and Attica, p. 187. Д-р Крамер, Desc. of Greece, ii. 346, seq. понимает, что длинных стен было всего две.

246. Marin. vit. Procl. p. 74. ed. Fabric.

247. Boeckh, Pub. Econ. of Athens, i. 88. seq.

248. Suid. in v. t. ii. p. 611. d. Harpocrat. in v. p. 254. Paus. i. 22. 4. Leake, Topog. p. 177. Wordsworth, Athens and Attica. p. 112.

249. По этой дороге никогда не разрешалось подниматься козам (Athen. xiii. 51). Говорят, что даже вороны никогда не садились на вершину священной скалы; Чандлер (ii. 61) замечает, что, хотя он часто видел этих птиц, летающих по Акрополю, он никогда не наблюдал ни одной на вершине. "Ворон в капюшоне, который на лето улетает из Англии, является постоянным обитателем Аттики и, вероятно, представляет собой тот вид, который древние отмечали под названием κορώνη. Именно это слово в настоящее время применяют к нему греческие крестьяне, которые являются лучшими комментаторами старых натуралистов". Sibthorp in Walp. Mem. l. 75.

250. Wordsworth, Athens and Attica, p. 114.

251. Paus. i. 22. 4.

252. Müll. De Phid. Vit. p. 18 и далее.

253. Где-то в пещере в скале Акрополя была плита, называемая столбом бесчестия, на которой были выгравированы имена предателей и других государственных преступников. Фрасибул обвинил Леодамаса в том, что его имя было на этом столбе. -Aristot. Rhet. ii. 23.

254. Paus. i. 22. 8.

255. О лабиринте, который в настоящее время демонстрируется на Крите, см. Tournefort, i. 76. sqq.

256. Это были вотивные подношения, и следы от них до сих пор видны на мраморе. Афины и Аттика, 117. Впоследствии Лахарес, когда Афины были осаждены Деметрием, унес их с собой в Беотию. -Paus. i. 25. 7. Чтобы облегчить свой побег, он, как говорят, разбросал по дороге горсти золотых дариков, которые, соблазнив преследовавшую его конницу, не позволили его схватить. -Polyæn. iii. 7. 1.

257. Догадка Мюллера, Minerv. Pol. v. 25.

258. Антиквары выдвинули множество хитроумных предположений; но мне кажется, что это была женская вуаль, подобная той, которую Еленос в "Илиаде" (σ. 734) велел принести в дар той же богине цитаделей своей матери и другим матронам Трои.

259. Plut. Sol. § 10. Visconti, Mem. p. 18. Müll. Minerv. Pol. p. 27.

260. Дион. Cass. iv. 7.

261. Ирод. ii. 51.

262. Ирод. viii. 41. Combe, Terra-cottas of the British Museum, pl. 28. Petit. Радель, Музей Наполя, iv. 33.

263. Paus. i. 27. 1. Афиняне в эпоху этого путешественника путали, кажется, Масистия с Мардонием, что не является чем-то очень необычным спустя несколько сотен лет после события, о котором идет речь. Павсаний говорит об этом как об ошибке; г-н Мюллер, который менее церемонен, - как о неправде. Минерв. Pol. 29. Страсть к реликвиям, которая привела к

сохранению этих предметов, существовала во всей своей причудливости у древних. Но они вряд ли были столь изобретательны, как римские католики континента, чьи священные сокровища включают в себя несколько перьев из крыльев ангела Гавриила, маленькую кость одного из херувимов и несколько лучей звезды, по которой восточные волхвы пришли в Вифлеем. У них также есть небольшая пиала, содержащая немного тьмы, окутавшей землю Египта. (Cp. Fabric. ad Cod. Pseud. epigr. v. i. p. 93. t. 11. и Christophori Carmen, ap Boissonade ad Eunap. p. 277. seq.) В храмах древности сохранялись почти столь же любопытные реликвии: у них было яйцо Леды, возможно, как предполагает Лобек, страусиное (Aglaoph. i. 52; Paus. iii. 16. 1); зубы эриманфского вепря (Paus. viii. 24. 2), чьи трофеи также были показаны в Терее (Lucian adv. Indoct. § 13); зубы калидонского вепря сохранились в Беневенте (Procop. Bell. Goth. i. 15. 349. c); у них же был меч Мемнона (Paus. iii. 3. 6); железное копье Эпея (Justin. xx. 7), медный сосуд, в котором варился Пелий, стрелы Тевкера, хламида Одиссея, хранились в храме Аполлона в Сикионе. (Ampel. Memor. viii. 68. Beckm. Hist. of Invent. ii. 364. Germ. in Lobeck.) В Троеде показывали наковальни, которые Зевс подвешивал к пяткам Геры, когда подвешивал ее между небом и землей (Eustath. p. 15. l. 30); здесь же каждый мог увидеть кифару Париса. (Как и католики, они показывали одну и ту же вещь в двух или трех местах; например, волосы Исиды можно было увидеть в Коптосе (Etym. Mag. v. κόπτος, 522. 12) и в Мемфисе. Римляне, по словам Горация (Carm. ii. 3. 21), обладали бронзовым умывальником Сисифа (Luc. adv. Ind. § 13). Гораздо более обширный список можно найти в Beckmann, Hist. of Inven. ii. 42. seq. Eng. Tr.

264. Этот фонтан также назывался Эмпедо (Empedo) - Sch. Arist. Vesp. 857. Здесь я могу упомянуть, кстати, что большинство древних городов снабжались водой по подземным трубам, как Сиракузы. - Thucyd. vi. 100. Cp. Sch. Arist. Achar. 1145.

265. Следует отметить, что из этого храма были исключены все лица дорийской расы. Поэтому царь Клеомен, желая получить вход, отрицал свое право на рождение и называл себя ахейцем. - Герод. ст. 72.

266. Каменоломни этой горы, которые в таком большом количестве разрабатывались древними, теперь снова заполняются мрамором, который быстро растет". - Chandler, ii. 191. Cp. Magius, Var. Lect. t. iv. 182. b. Gemme Fisica Sotterranea, l. 1. c. ix. § 6. p. 87. - О способе вегетации см. Tournefort, i. pp. 225. 228. sqq.

267. Topog. of Athens, pp. 211, 212. См. также Чандлер, ii. 49. sqq.

268. Об этих храмах Лукиан говорит: ὅμοιαι ... τοῖς Αἰγυπτίοις ἱεροῖς: καὶ κεῖ γὰρ, αὐτὸς μὲν ὁ νεῶς κάλλιστος τε καὶ μέγιστος, λίθοις τοῖς πολυτελέσιν ἡσκημένος, καὶ χρυσῷ, καὶ γραφαῖς διηριθμένος. ἔνδον δὲ ἦν ζητῆς τὸν βεὸν ἢ πιθηκός ἔστιν, ἢ ἴβις, ἢ τράγος, ἢ αἴλουρος. Imagin. § 11.

269. Вид. Müll. De Parthenon. Fastig. p. 72, sqq.

270. Thucyd. ii. 13. Schol. t. v. p. 375. Bipont. Müll. De Phid. Vit. p. 22.

271. Априан. Epict. l. 6. p. 27, seq.

272. Frag. ed. Siebel. p. 54. Müll. Phid. Vit. § 11. p. 22.

273. Boeckh. Corp. Inscrip. p. 182.

274. Quatremère de Quincy, Jup. Olymp. p. 222.

275. Leake, Topog. p. 215.

276. Примерно в полумиле от Афин в этом направлении находился храм Артемиды ("Ἄρτα), на Илиссосе, с алтарем Бореасу, где, согласно басне, бог унес Орифию, играя на скале с Фармацией - Plat. Phæd. i. 7. Вследствие заключенного таким образом союза Борея всегда испытывал особую дружбу к афинянам, на помощь которым он поспешил со своими аэриальными силами во время Медийской войны.- Герод, vii. 189.

277. Антигона у Софокла (Œdip. Col. 14-18) говорит о башнях Афин, которые видны из Колоноса, и описывает эту деревню, место рождения поэта, как прекрасную благодаря священной роще Эвменид, состоящей из лавра, оливы и виноградной лозы, в которой хор соловьев оглашает слух своей музыкой.

278. Недалеко от этой дороги стояла Гиера Суке. Афины. iii. 6.

279. Κεραμεικός, ἀπὸ τοῦ κεραμεύς. Etym. Mag. 504. 16. Ср. Suid. et Harpocrat. in voce. Париж, подобным образом, дал название Тюильри своим главным дворцам и садам, от изразцов (*tuiles*), которые в древности производились на этом месте.

280. Strab. ix. 1. 239-241.

ГЛАВА V.

СТОЛИЦЫ ГРЕЦИИ - СПАРТА.

Из всего сказанного читатель, возможно, составил довольно верное представление о городе Афины, его великолепии и размерах. Но оставшиеся фрагменты эллинской литературы не позволяют нам быть столь же ясными и обстоятельными в нашем рассказе о Спарте.^[281] В самом деле, настолько несовершенны и сбивчивы сведения, дошедшие до нас о ней, настолько туманны, неудовлетворительны и во многих отношениях противоречивы мнения современных ученых и путешественников, что после тщательного и терпеливого изучения их рассказов, и сравнив их с описаниями Павсания, намеками Ксенофонта, Ливия, Полибия и Плутарха, со случайными упоминаниями поэтов, я могу предложить следующую картину только как ряд вероятных предположений, основанных на нескольких неоспоримых фактах.

Читатель, пытавшийся обнаружить хоть что-то похожее на порядок в топографии Спарты Павсания,^[282] в полной мере осознает сложность создания на основе его информации чего-либо похожего на вразумительный план города. Тем не менее, отправляясь от определенной точки, кропотливо изучая нить его повествования, разгадывая тайный порядок, которому он, кажется, следует при перечислении и обрисовке различных общественных зданий, о которых он говорит, и сравнивая его фрагментарные раскрытия с нынешней физиономией места, я сформировал концепцию особенностей древней Спарты, которая, возможно, будет иметь некоторое сходство с оригиналом.

Представим себе, что мы прошли Евротас и стоим на вершине самого высокого здания Акрополя, например, Альпиона или храма Афины Халкиокос,^[283] откуда открывается вид на всю Спарту от Евротаса, где она течет между берегами, затененными тростником и высокими розовыми лаврами^[284] на востоке, до бодрого сверкающего потока Тиаса и корней Тайгетоса на западе. На севере и юге взгляд проносится вверх и вниз по долине,^[285] обнаруживая в последнем направлении древние города Ферापн^[286] и Амikleя,^[287] прославленные своими

поэтическими и героическими ассоциациями. За Евротой к востоку, занимая зеленые и лесистые склоны, от берегов ручья до бесплодных и красноватых высот Менелайона,^[288] были разбросаны виллы знатных спартанцев, наполненные дорогой мебелью и всеми другими признаками богатства,^[289] а тут и там, со всех сторон, утопая в рощах и зарослях, возвышались храмы и часовни богов, окруженные ореолом святости и придающие пейзажу особую красоту.

Сужая теперь круг нашего зрения и созерцая отдельные деревни или группы зданий, из которых в древности состояла столица Лаконии,^[290] мы видим лагеря пяти племен, простирающиеся по кругу вокруг Акрополя.^[291] Квартал Питанатов,^[292] начинавшийся у Иссориона и моста через Тиасу на западе, простирался на восток за Гиацинтовой дорогой^[293] до скал, нависавших над долиной Евротаса выше слияния этой реки с Тиасой. Непосредственно рядом с жилищами этого племени в северо-восточной части города, напротив того выщербленного острова в Евротасе, где находился храм Артемиды, Орфии и богини рождения, жили лимнаты^[294], обладавшие среди них храмом, воздвигнутым спартанцами в честь Ликурга. К северу от них, сгруппировавшись вокруг острой возвышенности, представлявшей собой как бы второй Акрополь, находились жилища цинозуров^[295], чей квартал, по-видимому, простирался от старого моста через Евротас до храма Диктинны и гробниц царей Эврипонтидов на западе. От этой точки до Дромоса, лежащего прямо напротив южной оконечности Острова платанов, образованного расходящимися и сливающимися водами Тиасы, располагалась деревня Мессоатæ,^[296] где находились гробница Алкмана, фонтан Дорсея и очень красивый портик с видом на Платаниды. Дорога, идущая от Дромоса к Иссориону, образовывала западные пределы племени эгидов,^[297] чей квартал, простирающийся вглубь города, по-видимому, включал в себя Акрополь, Леше-Писиль, театр и все другие здания, расположенные у подножия древнего города.

Перспектива, открывающаяся из всех этих деревень, почти соприкасающихся друг с другом и расположенных в окружности шести римских миль, была когда-то, несомненно, во времена славы спартанцев, необычайно оживленной и живописной. Лицо земли было изломанным и разнообразным, поднимаясь на шесть холмов неодинаковой высоты и представляя собой в целом небольшую столовую землю, в некоторых местах заканчивающуюся перпендикулярными утесами,^[298] в других, отходящих пологими склонами к лугам на берегах окружающих ручьев. Над всем распространялся яркий свет^[299], наполняющий атмосферу юга и окрашивающий, по общему признанию путешественников, красотой даже бесплодные скалы и разрушающиеся руины.

Сооружения, занимавшие вершину Акрополя, судя по всему, не были ни многочисленными, ни величественными. Центральной громадой, вокруг которой группировались все остальные, был храм Афины Халкиэкос,^[300] фланкированный с севера и юга веерами Зевса Косметаса и Муз. За ним возвышался храм Афродиты Арейской, храм Артемиды Кнагии, а впереди - различные другие сооружения и статуи, посвященные Эврилеонису, Павсанию, Афине Офthalmитис и Аммону. Где-то по соседству с теменосом Афины стояли два сооружения, одно из которых называлось Скенома, а другое - Альпион. Относительное положение всех этих сооружений сейчас определить крайне сложно, если вообще возможно. Поэтому давайте спустимся в агору и, кратко описав объекты, которые там открывались взору чужестранца, попытаемся проложить свой путь по различным улицам Спарты, указывая по ходу дела на наиболее примечательные памятники, которые она содержала.

Во всех греческих городах важнейшим пунктом рядом с цитаделью была рыночная площадь, где собирались граждане не только для купли-продажи, но и для ведения общественных дел, а также для совершения многих религиозных обрядов. Так, на агоре Спарты, в центре которой, вероятно, стоял алтарь, окруженный статуями Аполлона, Артемиды, Лето и прорицателя Агиаса, предсказавшего победу Лисандра при Игоспотаме, во время Гимнопедии выставлялись священные хоругви и процессии в честь Аполлона Фибоса, вследствие чего часть этого места, по крайней мере, получила название Хорос: Здесь же находилась колоссальная статуя, воздвигнутая в честь спартанца Демоса, с группой, изображающей Гермеса, несущего на руках младенца Диониса, и статуя царя Полидора, несомненно, установленная по соседству с его домом, Бунетосом, , лежащим между улицей Афет и крутой дорогой, ведущей к цитадели. Здания, которыми была окружена агора, хотя в большинстве случаев, возможно, далеко не великолепные, при отдельном рассмотрении представляли собой грандиозный *переворот*. Это станет очевидным, если, расположившись возле центрального алтаря, мы перечислим и кратко опишем их в том порядке, в котором они следовали друг за другом в большом круге агоры. Сначала, начиная с правого угла улицы Афетæ, мы видим дворец бидиев, пяти магистратов, которые следили за воспитанием молодежи; затем дворец номофилаков, или блюстителей законов; затем дворец эфоров; и, наконец, дом сената, стоящий на углу улицы, ведущей к Ферапне. Перейдя на юго-восточную сторону Агоры, мы видим просторный и величественный портик, называемый Персидским, так как он был возведен из трофеев персов. Его колонны из белого мрамора украшены басистами, изображающими персидских воинов, в том числе Мардония и Артемисию, дочь Лигдамиса, царицу Галикарнаса, которая лично сражалась в битве при Саламине. За дорогой в Амиклею мы встречаем ряд храмов Геи, Зевса Агореоса, Афины, Посейдона-хранителя, Аполлона и Геры; пройдя по западной улице, выходящей в Феомелиду, и мельком взглянув на гробницы царей Агидов, мы попадаем в древние залы Эфори, содержащие памятники Эпимениду и Афарею. К этому сооружению примыкают статуи Зевса Ксениоса и Афины Ксении. Далее следует храм судеб, возле которого находилась гробница Ореста, лежащая по левую руку от дороги, ведущей к святилищу Афины Халкиокос. На другой стороне стоит дом царя Полидора, который в последующие века получил название Бунетос, поскольку был куплен своей овдовевшей царицей вместе с определенным количеством быков. На этом список зданий, которыми была окружена Агора, заканчивается.

Оставив теперь эту центральную точку, мы движемся на север по улице, называемой Афетой, и видим по правую руку на небольшом расстоянии друг от друга три храма Афины Келевтии, а также геральи Иопса, Лелекса и Амфиараоса. На противоположной стороне, очевидно, стоял теменос тенарского Посейдона со статуей Афины, воздвигнутой дорийскими колонистами Италии. Далее мы попадаем в место под названием Эллинион, вероятно, не более чем большое открытое пространство или площадь, на которой собирались депутаты или послы иностранных государств по чрезвычайным случаям. Рядом с ним был воздвигнут памятник Талтибиосу. Чуть дальше находились алтарь Аполлона Акрейта, Гасептон, храм земли, и еще один алтарь, посвященный Аполлону Малеату. В конце улицы, у стен позднего города, находился храм Диктинны с гробницами царей, называемых Эврипонтитами.

Вернувшись в Эллинион и пройдя на восток по большой общественной дороге, ведущей к мосту Бабикус, вы увидели храм Арсинои, дочери Лисиппа и сестры жен Кастора и Полидевка. Далее, у Фрурии, или Барьеры, стоял храм Артемиды; немного продвинувшись вперед, вы пришли к памятнику элейских прорицательниц, называемых Иамидами, и храму Марона и Алфея, которые были одними из самых храбрых из тех, кто пал с Леонидом при Фермопилах. За ним возвышался фантом Зевса Тропеоса, воздвигнутый после падения

Амикла, когда все древние жители Лаконии попали под иго дорийцев. Далее следовали храм Великой Матери и героические памятники Ипполиту и Авлону. На возвышающемся над мостом месте стоял храм Афины Алеа.

Если снова выйти из Агоры и двигаться по улице, ведущей на восток, то первое здание по левую руку называлось Скиас^[301] примыкало дому сената: оно было круглой формы с крышей в виде зонтика и возведено примерно за семьсот шестьдесят лет до Рождества Христова Теодоросом Самосским, изобретателем искусства отливать статуи из железа. Здесь спартанцы проводили свои собрания даже в эпоху Павсания, который рассказывает, что лира Тимофея^[302] Милезийца, конфискованная в наказание за то, что он добавил четыре струны к семи уже имевшимся, была подвешена в этом здании в качестве предупреждения всем новаторам. Рядом со Скиасом находилось еще одно круглое здание, возведенное Эпименидом, в котором стояли статуи олимпийского Зевса и Афродиты. На другой стороне улицы, напротив скиаса, находились гробницы Идаса и Линкея, храм Кору Сотейры, построенный, как говорят, Орфеем или Абарисом Гипербореем, гробница Цинортаса и храм Кастора. Рядом с ними стояли статуи Аполлона Карнея и Афетæоса, последняя из которых обозначала место, откуда женихи Пенелопы начинали свою гонку за женой, пробегая вверх по улице Афетæ, откуда и название. Сразу за ней находилась площадь, окруженная портиками, где издревле продавались всевозможные дешевые товары. Далее стояли алтари Зевса, Афины и Диоскуров, все они носили фамилию Амбулиои; напротив находился холм под названием Колона, на котором был воздвигнут храм Диониса, а неподалеку - теменос, посвященный герою, который привел бога в Спарту. Недалеко от Дионисия находился храм Зевса Эуанемоса, дарителя легкого бриза, а сразу справа - героон Плерона. На вершине холма в некотором отдалении стоял храм аргивской Геры, а также фантом в честь Геры Гиперхейрии, возведенный по приказу оракула после того, как утихло наводнение Евротаса. В этом сооружении находилась очень древняя деревянная статуя Афродиты-Геры. Рядом с дорогой, которая проходила правой стороне холма, стояла статуя Этимокла, многократно побеждавшего в Олимпийских играх. Спустившись к Евротасу, вы увидите деревянную статую Афины Алеа, а чуть выше по берегу - храм Зевса Плусиоса. На другом берегу реки находились храмы Ареса и Асклепия.

Снова вернувшись к Агоре и выйдя из нее на улицу, ведущую на запад, первым примечательным объектом, бросившимся в глаза, был кенотаф Брасидаса, а чуть дальше - просторный и красивый театр из белого мрамора.^[303] Прямо напротив находились гробницы Леонида и Павсания, а рядом с ними - кipa, на которой были выгравированы имена героев, павших при Фермопилах, и имена их отцов. На этом месте ежегодно проводились игры, на которых никто, кроме спартанцев, не мог претендовать на призы. Здесь же произносились речи в честь умерших. Для сбора толпы на эти игры требовалось большое чистое пространство, и я предполагаю, что это было место под названием Феомелида, открывающееся по обе стороны дороги и простирающееся до гробниц царей Агидов и Леше Кротониатов. Рядом с этим сооружением стоял храм Асклепия, гробница Тæнароса, храмы Посейдона Гиппокуриоса и Артемиды Эгейской. Повернув назад к Леше, вероятно, вокруг подножия холма Иссорион,^[304] вы заметили на склоне возвышенности в сторону Тиасы храм Артемиды Лимнеи - Бритомартис критян, где-то поблизости от которого находились храмы Фетиды, хтонической Деметры и олимпийского Зевса.

Начиная с перекрестка у северо-западного подножия Иссориона, по пути к Дромосу, первым сооружением, показавшимся слева, был памятник Эвмеду, одному из сыновей Гиппокона. Чуть дальше стояла статуя Геракла, а неподалеку, у входа в Дромос, - древний дворец Менелая, в котором во времена Павсания жил частный человек. В самом Дромосе

находились две гимназии. Это было самое примечательное здание в западной части города, от которого ответвлялось множество улиц, а вокруг него группировались многочисленные общественные сооружения; на севере, например, храмы Диоскуров, Граций, Эйлитии, Аполлона Карнея и Артемиды Гегемоны; на востоке - храм Асклепия Агнитаса и трофей, воздвигнутый Полидеуком после победы над Линкеем. На западе, в направлении Платанисты, стояли статуи Диоскуров Апхетериев, а чуть дальше - героон Алькона, возле которого возвышался храм Посейдона Доматита, рядом с мостом, ведущим на остров, поросший платанами. По другую сторону дороги, очевидно, была воздвигнута статуя Киниске, дочери Архидама, первой даме, управлявшей лошадьми в Олимпии.

Вдоль берега Тиасы от Дромоса до линии, идущей на запад от храма Диктинны до верхнего моста, ведущего к Платанистам, пролегла дорога, украшенная многочисленными общественными зданиями, среди которых был портик, за которым находились два замечательных памятника, гераклы Алкимоса и Энарæфора. Сразу же за ними находились гераклы Дорсея и Себреса, а между ними протекал фонтан Дорсея. Весь этот небольшой квартал получил от последнего героя имя Себрион. Справа от последнего героона стоял памятник поэту Алкману;^[305] за ним находился храм Елены, а рядом с ним - храм Геракла у современной стены.

На узкой тропинке, уходящей в поле с дороги, ведущей на восток от Дромоса, стоял храм Афины Аксиопены, воздвигнутый, как говорят, Гераклом.

Покинув Дромос по другой дороге, идущей в юго-восточном направлении через середину квартала Эгиды, мы увидели, с одной стороны, храмы Афины и Гиппостена, а прямо напротив последнего - статую Ареса в цепях. На небольшом расстоянии за ними находился храм Леше Пициле, а перед ним - героон Кадмоса, сына Агенора, двух его потомков, Умеликоса и его сына Эгея, а также Амфилохия. Дальше находились храмы Геры Игофагос, названные так потому, что ей приносили в жертву коз, а у подножия Акрополя, рядом с театром, - храмы Посейдона Генетлиоса, по обе стороны от которых, вероятно, стояли герооны, один - священный для Клеодэоса, сына Хиллоса, а другой - для Σεβαλος.

Теперь мы должны вернуться к Леше Пициле и, следуя по дороге, огибающей холм Акрополя, в направлении восток-юго-восток, пройти мимо памятника Телеклосу и самого знаменитого из всех храмов Асклепия в Спарте, расположенного недалеко от Бунетоса. Миновав улицу Афетæ и пройдя по дороге, ведущей к Лимнам, первым слева будет храм Афродиты на холме, прославленный Павсанием как двухэтажный. Здесь сидела статуя богини, покрытая вуалью и скованная по рукам и ногам. Чуть дальше находился храм Илеира и Фебы, где стояли статуи двух богинь, лик одной из которых одна из жриц расписала и украсила в соответствии с позднейшими правилами искусства, но, предупрежденная сном, оставила другую в архаичной простоте. Здесь же хранилось яйцо, украшенное филейными частями и подвешенное к крыше, которое, по преданию, принесла Леда. В здании неподалеку некие женщины ежегодно ткали тунику для Аполлона Амиклейского, от чего само здание получило название Хитон. Далее следовали дом Тындаряда, кумирня Хилоня и Афинейя, храм Ликурга, за которым находилась гробница Эвкосмоса. Рядом с ними находился алтарь Латрии и Анаксандра, а прямо напротив - памятники Теопомпу, Эврибиаде и Астрабаку. На острове в болотах находились храм и алтарь Артемиды Орфии, а также фантом Эйлеитии.

На дороге, ведущей из Агоры в Амиклею^[306], было мало примечательных памятников. Только один, храм Граций, упоминается к северу от Тиасы, а за ним - Ипподром; к западу - храм Тындарядæ у дороги, и храм Посейдона Гайухоса у реки.^[307]

Теперь рассмотрим доказательства, на которых основано вышеприведенное описание. Павсаний сообщает нам, что цитадель была самым высоким из холмов Спарты. Полковник Лик отмечает, что возвышенность, обнаруженная в квартале, который я отнес к Цинозурам, равна по высоте той, что находится сразу за театром; но первая заострена и, похоже, сохранила свою естественную форму, в то время как вершина второй была выровнена для строительства. Теперь, если высота холма равна, он должен был быть значительно больше до того, как произошел процесс выравнивания. Поэтому холм за театром и был Акрополем. Если признать это, то просторная площадка или впадина у его подножия с юго-восточной стороны должна была быть Агорой,^[308] поскольку то, что Агора находилась рядом с цитаделью, ясно из истории, которая представляет Ликурга и царя Харилаоса бегущими туда с рыночной площади.^[309] Опять же из Павсания мы знаем, что она находилась немного восточнее театра, между ними не было ничего, кроме кенотафа Брасида. Положение Агоры, таким образом, не вызывает сомнений, и мы с уверенностью определяем направление четырех больших улиц, расходящихся от нее; во-первых, мы знаем, что дорога на Иссорион шла на запад, а дорога на Амikleю - на юг. Улица под названием Скиас заканчивалась на краю города между двумя небольшими холмами. Эти два холма до сих пор находятся на краю возвышенности, с которой открывается вид на долину Евротас на востоке. Таким образом, именно в этом направлении находился Скиас. В качестве дополнительного доказательства можно упомянуть, что храм Геры Гиперхейрии был воздвигнут в честь схода наводнения Евротаса, что свидетельствует о том, что он должен был находиться где-то почти в пределах досягаемости вод этого потока. Для улицы Апхетæ не существует иного направления, кроме северо-западного или северо-восточного; но последнее вело к храму Артемиды Орфии в Лимнах, а первое - к храму Диктинны. Таким образом, улица Апхетæ вела на северо-запад, причем не упоминалась никакая другая дорога, кроме той, что вела с горы Торнакс через мост Бабикс, которая не была улицей, называемой Апхетæ. Таким образом, мы неопровержимо определили направление каждой из великих улиц Спарты. Теперь приступим к определению положения по отношению к цитадели каждого из пяти племен, занимавших столько же кварталов города. Сначала мы узнаем от Павсания, что питанаты населяли квартал вокруг Иссориона:^[310] от Пиндара^[311] и его схолиаста, что они обитали также у берегов Евротаса. Таким образом, они занимали весь южный квартал города.^[312] Поскольку лимнаты получили свое название от болот, возле которых они жили, положение лимнатов, определенное цепочкой рассуждений, приведенной выше, доказывает, что они занимали восточный квартал города прямо напротив храма Артемиды Орфии. То, что племя эгидов населяло всю ту часть, которая простиралась в одном направлении от Иссориона до Дромоса, а в другом - от берегов Тиасы до Бунетоса, можно почти с уверенностью заключить из того обстоятельства, что гробница Эгея, их основателя, находилась в этом квартале, недалеко от Леше-Пицилия. Квартал мезоатеев находился на северо-западе, между Дромосом и храмом Диктинны; здесь была найдена гробница Алкмана, принадлежавшего к этому племени. Таким образом, вся остальная территория была занята, и для племени синосуров осталась только часть, лежащая между дорогой на Торнакс и храмом Диктинны, где, соответственно, мы должны предположить, они и жили.

Что касается моста Бабикса, то, если это действительно был мост, очень трудно^[313] поверить, что он перекинулся через Тиасу, хотя мы все еще находим массивные руины арок в русле этого потока. Гораздо больше оснований полагать, что она была перекинута через Евротас, где проходила дорога с перешейка.^[314] Под оракулом, повелевавшим Ликургу собрать свой народ между Бабиксом и Кнасионом, мы должны понимать^[315], что он должен был собрать его в любом месте в пределах города. Соответственно, во времена Ликурга мы видим, что Агора в центре Спарты была местом проведения Апеллеса^[316]. Это очевидно и по тому, как понимал этот вопрос Плутарх, который, рассказывая о победе беотийцев над спартамцами

при Тегире, замечает, что этим событием было доказано, что не Евротас, не пространство между Бабиксом и Кнасионом одно только производит храбрых и воинственных людей.^[317] Теперь мне кажется, что несколько лугов за городом, на которых время от времени созывались народные собрания, никогда не могли породить таких людей. Поэтому я предположил, что Бабикс был мостом, по которому путешественники, приезжавшие с перешейка, попадали в Спарту.

281. План, сопровождающий настоящую главу, основанный на описании Павсания, во многих основных пунктах совпадает с планом, приведенным г-ном Мюллером в его карте Пелопоннеса. Очерк топографии Спарты М. Барби дю Бокажа, в целом ошибочный, тем не менее, по моему мнению, прав в отношении той части моста Бабикс, которую М. Мюллер перебрасывает через Тиасу, вопреки всем разумным выводам, которые можно сделать из истории. План полковника Лика, приведенный в его путешествиях по Морее, дает иное представление о топографии Спарты; но я не могу согласовать его взгляды с рассказом о городе у Павсания, хотя мне очень жаль, что принятый мною план не может быть рекомендован при поддержке столь ученого и столь изобретательного писателя.

282. III. 11-20. Cp. Polyb. v. 22. Liv. xxxiv. 26. seq.

283. В предместьях этого храма, очевидно, самого сильного места в городе, укрылись этолийские наемники после убийства Набиса - Liv. xxxv. 36.

284. Plut. Instit. Lacon. § 10. Chateaubriand, Itin. xi. 110. Описание этого ручья у Пуквилля поразительно и живописно: "Берега, - говорит он, - окаймлены неувядающими лаврами, которые, склоняясь друг к другу, образуют арку над его водами и, кажется, все еще посвящены божествам, для которых его чистота является справедливой эмблемой; а лебеди, даже более ослепительной белизны, чем снега, покрывающие вершины гор, постоянно плавают вверх и вниз по течению" - Путешествия, стр. 84. Виконт Шатобриан, однако, тщетно искал этих поэтических птиц, и поэтому, очевидно, считает их сказочными.

285. Краткое описание Страбоном этого места заслуживает упоминания: ἔστι μὲν οὖν ἐν κοιλότηρῳ χωρίῳ τὸ τῆς πόλεως ἑδαφος, καίπερ ἀπολαμβάνον ὄρη μεταξύ. viii. 5. т. ii. с. 185.

286. Xen. Hellen. v. 5. 2.

287. В этом древнем городе Кастору и Полидевку поклонялись не как героям, а как божествам. Isoc. Encom. Helen. § 27. Cp. Pind. Pyth. xi. 60, sqq. Nem. x. 56. Диссен полагает, что эти гробницы были склепами под землей в Фиваиде - Comm. p. 508.

288. Steph. de Urb. v. Μεγέλαος, p. 551, a. Berkel.-Polyb. v. 22.

289. Xen. Hellen. vi. 5. 27.

290. Thucyd. i. 10.

291. См. Müller, Dor. ii. 48.

292. Paus. Olymp. vi. 27. Diss. ἡ Πιτάνη φυλή. Хесих. Cp. Herod. iii. 55. ix. 53. Eurip. Troad. 1101. Thucyd. I. 20. et schol. Plut. de Exil. § 6. Apophth. Лакон. Miscell. 48. Plin. H. N. iv. 8. Athen. i. 57.

Рядом с этой κώμη находились деревни CEnos, Onoglæ и Stathmæ, славившиеся своими винами.

293. Athen. iv. 74.

294. Strab. viii. 4. p. 184. 5. p. 187. Болота, существовавшие в этом квартале в древности, были осушены к эпохе Страбона: -ἀλλ' οὐδέν γε μέρος αὐτοῦ λιμνάζει- τὸ δὲ παλαιὸν ἐλίμαζε τὸ προάστειον, καὶ ἐκάλουν αὐτὸ Λίμνας- καὶ τὸ τοῦ Διονύσου ἱερὸν ἐν Λίμναις ἐφ' ὕγροῦ βεβήκος ἐτύγγαν- νῦν δ' ἐπὶ ξηροῦ τὴν ἴδρυσιν ἔχει. 5. p. 185. seq.

295. Hesych. in v. Berkel. ad Steph. Byzant. p. 490. Schol. ad Callim. in Dian. 94. Spanh. Observ. in loc. p. 196.

296. Steph de Urb. in v. p. 554. b., который ссылается на Страбона (viii. 6. p. 187). Слова географа: Μεσόαν δ' οὐ τῆς χώρας εἶναι μέρος, τῆς Σπάρτης δὲ καθάπερ καὶ τὸ Λιμναῖον. Paus. vii. 20. 8.

297. Ирод. iv. 149.

298. Leake, Trav. in Morea, v. i. p. 154.

299. Cp. Chateaub. Itin. i. 112. Аналогично и свидетельство г-на Дугласа. "Смесь романтического с богатым, которая до сих пор разнообразит ее облик, и необычайно живописная форма всех ее гор не позволяют нам удивляться тому, что даже Вергилий в целом оставил свою родную Италию ради пейзажей Греции; тот, кто видел ее в оттенках средиземноморской весны, согласится со мной, приписывая большую часть греческого гения влиянию пейзажа и климата". Essay, &c. p. 52.

300. Plut. Апофтег. Лакон. Архид. 6. Ликург. 7.

301. Σκιάς, τὸ ὥδεῖον ἐκαλεῖτο τῶν Λακεδαιμονίων κατὰ τὴν ἀρχαίαν φωνήν. κ. τ. λ.-Etym. Mag. 717. 36. seq.

302. Cp. Plut. Agis, § 10.

303. Этот театр, как заметил мистер Дуглас, является единственным сохранившимся фрагментом древней Спарты, остальные руины, все еще видимые на его месте, относятся к римским временам" -Essay on certain Points of Resemblance between the Ancient and Modern Greeks, p. 23.

304. Ἰσώριον, ὄρος τῆς Λακωνικῆς ἀφ' οὔ ἡ Ἄρτεμις Ἰσσωρία.-Steph. Byz. in v. 426. d. с примечанием Беркеля. Cp. Hesych. in v. Polyæn. Strat. ii. 1. 14. Плут. Agesil. § 32.

305. Ἀλκμάν, Λάκων ἀπὸ Μεσσόας.- Он был эротическим поэтом, который, как говорят, происходил от подневольных родителей.- Suid. i. p. 178. ed. Port.

306. Οὗ τὸ τοῦ Ἀπόλλωνος ἱερὸν. Strab. viii. 5. т. ii. с. 185.

307. Xen. Hellen. vi. 5. 30.

308. Плут. Lycurg. § 11. Лакон. Apoph. Lycurg. 7.

309. Плут. Lycurg. § 5.

310. Полиэн. Stratag. ii. 1. 14. с примечаниями Касауба и Маасвика.

311. Olymp. vi. 28. Cp. Spanheim, ad Callim. in Dian. 172.

312. Cp. Athen. i. 57.

313. Это, однако, мнение г-на Мюллера, Dor. ii. 456.

314. См. отрывок, в котором Ксенофонт (т. 5. 27) описывает наступление фиванцев на Спарту.

315. Plut. Lycurg. § 6.

316. Goettl. ad Aristot. Pol. Excurs. i. p. 464.

317. Pelop. § 17.

КНИГА II. ОБРАЗОВАНИЕ.

ГЛАВА I.

ТЕОРИЯ ВОСПИТАНИЯ.- РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ.- ДЕТОУБИЙСТВО.

Думали ли греки о воспитании более мудро, чем мы, или нет, ^[318], но они определенно рассматривали этот вопрос с более возвышенной точки зрения. Они рассматривали его как матрицу, в которой формируются будущие поколения и получают тот особый темперамент и характер, который принадлежит институтам, управлявшим их рождением. Их теории были настолько масштабны, что охватывали все развитие индивидуального существования, начиная с момента, когда человеческий зародыш пробуждается к жизни, и заканчивая могилой, и во многих случаях заглядывали еще дальше; ведь обряды инициации и большая часть их этики относились к другому миру. По этой причине мы видим, что их законодатели были крайне озабочены характером тех учителей, в чьи руки должны были быть отданы души людей, чтобы получить первые принципы добра или зла, чтобы быть оживленными, возвышенными и очищенными первыми, или же извращенными вторыми, или скатиться по склонам порока и женолюбия, благодаря которым народы опускаются от свободы к рабству. Кроме того, среди них никогда не возникало сомнений, следует ли позволить свету знаний струиться только на вершинах общества или спускаться в его глубины и посещать домики бедняков. Все, что должно было дать образование, в большинстве государств давалось всем гражданам в той мере, в какой их досуг или способности позволяли им его получить. Целью образования у греков было воспитание хороших граждан, из чего некоторые сделали вывод, что они ограничивали свои взгляды только светским обучением. Но это узкий и невежественный взгляд на предмет, поскольку религия была не только элементом образования, но и считалась более важной, чем все остальные его элементы вместе взятые. Ведь от эллинских законодателей не ускользнуло, что во многих жизненных обстоятельствах человек оказывается вне досягаемости и контроля законов и общественного мнения, где он должен свободно действовать по велению совести, которая, если не будет правильно воспитана, очищена и прозорлива с помощью религии, часто будет диктовать неверные решения. Поэтому крайне важно, чтобы в этих уединенных ситуациях человек не считал себя недосягаемым для всех глаз и не поддавался искушению заложить фундамент привычек, которые, начавшись в тайне, вскоре могут обрести смелость выстоять перед светом и

поставить под сомнение сами законы. Соответственно, в те уединенные моменты, когда человек, на первый взгляд, общается только с самим собой, религия была призвана учить, что существуют невидимые инспекторы, которые регистрируют не только злые поступки и злые слова, свидетелями которых они становятся, но даже злые мысли и эмоции сердца, первые импульсы к преступлению в самых низких безднах разума. В соответствии с этой точкой зрения мы обнаруживаем повсюду в греческой истории и литературе следы почти пуританской скрупулезности во всем, что казалось принадлежащим религии, так что сам святой Павел, обращаясь к афинянам, был вынужден упрекнуть их в чрезмерной набожности, которая слишком часто вырождалась в суеверие. Но первоначальный замысел, с которым культивировался этот дух, был мудрым и благим: он был призван избавить людей от власти низменных страстей - зависти, скупости, эгоизма - и внушить им веру в их естественное достоинство, представляя их действия как достаточно важные, чтобы вызвать внимание, гнев или благосклонность бессмертных богов. Эта религия, которую низкие и подлые умы считают унижительной для человечества, рассматривалась греческими законодателями и основателями государств как своего рода святая закваска, предназначенная самим Богом для того, чтобы пропитать, ускорить и расширить общество до его предельных размеров.

Вопрос, который привлекает столько внимания в современных государствах, а именно: должно ли образование быть национальным и единым, также занимал мысли древних государственных деятелей, и известно, что в большинстве случаев они принимали утвердительное решение. Однако можно принять за аксиому, что среди флегматичного и пассивно настроенного народа, где правительство еще не приобрело должной формы и развития, создание национальной системы образования, полной во всех своих частях и распространяющейся на все тело граждан, должно быть безусловно пагубным. Ибо каким правительством будет в начале своего существования, таким оно почти всегда и останется, что было доказано на примере Крита и Спарты. Ведь критские законодатели, остановив прогресс общества в определенный момент путем установления железной системы образования, прежде чем народное сознание достигло своего полного роста и расширения, полностью обезглавили критский народ и, помешав ему идти в ногу со своими соотечественниками, сделали его в исторические времена ниже всех своих соседей. В Спарте, опять же, форма правления, данная государству Ликургом, замечательная для эпохи, в которую она была создана, обрела вечность исключительно благодаря действию его феодальных институтов. Однако несовершенство этой системы объясняется тем, что спартанское правительство было создано слишком рано на пути цивилизации. Если бы его законодатель жил на столетие или два позже, он бы создал свои институты на более широкой и возвышенной основе, чтобы они дольше оставались почти на одном уровне с прогрессивными институтами соседних государств. Но он закрепил форму спартанского сообщества, когда общее сознание Греции едва вышло из варварства; и поскольку жесткий и непреклонный характер его законов не допускал никаких значительных улучшений, Спарта продолжала носить в себе в самые утонченные века Греции бесчисленные следы того грубого периода, в который она поднялась. Из этого обстоятельства проистекали многие ее преступления и несчастья. Не имея возможности идти в ногу со своими соседями в знаниях и утонченности, которые, делая их изобретательными, предприимчивыми и опытными, возносили их к власти, она была вынуждена, чтобы сохранить свои позиции, прибегать к хитрости, стратагеме, а зачастую и к вероломству.

Спартанская система, как известно, поначалу и в течение нескольких веков практически не использовала книги. Но на определенных этапах развития общества это едва ли было злом;^[319] знания могут быть переданы, добродетели привиты и возвращены, а великие умы

созрели до зрелости без их помощи. В этом случае учитель, ставший мудрым благодаря размышлениям и опыту, занимает место книги и посредством устного общения, наставлений и примеров наставляет, дисциплинирует и формирует из своего ученика того, кем он хотел бы его видеть. Этот процесс приносит пользу обоим. Ум наставника, находящийся в постоянной активности, ежедневно приобретает новую силу и расширяется, а ум ученика - аналогично. Поэтому в государстве, подобном Спарте, в эпоху Ликурга можно было получить все необходимые знания без книг, которых, правда, было очень мало. Но потом, когда ионийские республики стали утончаться и возвышаться благодаря философии и литературе, Спарта, не в силах им противостоять, отошла на второй план: сохраняя, однако, свои воинственные привычки, она не раз могла их побеждать и покорять.

Среди афинян,^[320] хотя знания распространялись повсеместно, не существовало, собственно говоря, системы национального образования. Народ, как и его государство, находился в вечном прогрессе, стремясь к совершенству, а иногда и приближаясь к нему, но от избытка интеллектуальных и физических сил впадал в многочисленные и постоянно повторяющиеся ошибки. В то время как Спарта, как мы уже видели, довольствовалась мудростью, присущей ее земле, скудной и несовершенной, Афины превратились в один огромный рынок, куда с нетерпением спешил каждый, кто хотел сообщить что-то новое, и находил верное вознаграждение за свою изобретательность. Философы, софисты, геометры, астрономы, художники, музыканты, актеры со всех концов Греции и самых отдаленных ее колоний стекались в Афины, чтобы получить от их проницательных, разносторонних, беспристрастных и самых щедрых людей то одобрение, которое в древнем мире составляло славу. Поэтому, хотя законы регулировали материальное положение школ и гимназий, предписывали часы, в которые они должны открываться и закрываться, и тщательно следили за нравственностью как наставников, так и учеников, в них постоянно присутствовал приток свежих наук, Постоянно растущий опыт и знания о мире, и, как следствие этого, глубоко укоренившееся убеждение в своем превосходстве над соседями, нетерпение к устаревшим формам и дерзкая уверенность в собственных силах и ресурсах, которые предавали их самым опасным планам амбиций.

Но, слишком усердствуя в литературных и философских занятиях, афиняне в конце концов пренебрегли военным искусством, которое они считали низкой и подневольной работой. И эта капитальная ошибка, несмотря на все их приобретения и достижения в красноречии и философии, несмотря на их возвышенные рассуждения и "стиль богов", привела их государство к преждевременному распаду; в то время как Спарта, с более низкими институтами и невежеством, над которым посмеялись бы даже афинские дети, смогла гораздо дольше сохранить свое существование благодаря своему страстному применению оружия, чему способствовало, возможно, более сильное и уединенное положение. Из этого следует, что из всех наук военная - самая главная, поскольку, если она культивируется, нация может сохранять свою независимость без помощи других; в то время как самые знающие, утонченные и культурные люди, если они пренебрегают применением оружия, не смогут устоять против горстки варваров. Ошибаются и те, кто рассматривает литературу и науки как своего рода палладиум против варварства,^[321] ибо целый народ может читать и писать, как жители Бирманской империи, не будучи ни цивилизованным, ни мудрым; может обладать лучшими книгами и способностью их читать, не будучи в состоянии извлечь пользу из содержащихся в них уроков мудрости, как это доказывает пример греков и римлян, которые погибли скорее от избытка знаний, чем от недостатка обучения. Но пора, пожалуй, оставить эти общие рассуждения и перейти к разработке, насколько нам позволят существующие памятники, нескольких систем образования, которые преобладали в разных частях Греции.

Среди эллинских законодателей забота о детях начиналась еще до их рождения. Их матери во время беременности подчинялись определенным правилам; их питание и упражнения были регламентированы, и в большинстве случаев законы или, по крайней мере, нравы требовали, чтобы они вели сидячую, неактивную и, прежде всего, спокойную жизнь.^[322] Врачи, руководствуясь опытом, предписывали несколько воздержанную диету; вино было запрещено или разрешалось принимать только с водой, что, если обратиться к разуму, мы считаем практикой и в наши дни. Но Ликург в статье об упражнениях заложил или, по крайней мере, санкционировал совершенно иные обычаи.^[323] Даже во время *Энсинта* его женщины должны были находиться за границей, занимаясь своими обычными атлетическими упражнениями, питаясь как прежде и выпивая как прежде.

По этому случаю, как и по всем другим, проявилось глубоко укоренившееся благочестие народа. Молитвы и жертвы по обычаю возносились всеми замужними за детей, как впоследствии христианскими дамами святым;^[324] и, конечно, не прекращались, когда по недвусмысленным признакам становилось ясно, что их желания начали исполняться. Что это были за божества, к которым в этих случаях афинские матроны обращались под именем *Тритопадорес*, определить, по-видимому, трудно. Демон в *Suidas*^[325] полагает, что это были ветры; но Филохор, самый ученый из древних авторов по древностям Аттики, считал их тремя первыми сыновьями Гелиоса и Геи. По мнению одних, они назывались Коттос или Корос, Гигес или Гиес и Бриарей; по мнению других - Амальсид, Протокл и Протоклеон, наблюдатели и хранители ветра. Кроме того, есть авторы, которые путают их с Ди Кабири из Самофракии.

Предполагается, что в период своего заточения женщины находились под защитой Эйлеитии. Эта богиня, которую Олен Ликийский считал старше Кроноса,^[326] имела честь, как гласят некоторые мифические легенды, быть матерью любви,^[327] хотя некоторые древние авторы, похоже, путали ее с Пепроменой или Судьбой, другие с Гера, а третьи снова с Артемидой или Луной. Мифологические традиции, связанные с этим божеством, были разнообразны. Поклонение ей, по-видимому, впервые возникло у греков на острове Делос, куда она, как говорят, прибыла из страны гипербореев, чтобы оказать помощь Лето, когда под пальмой, которую Зевс заставил вырасти над ней,^[328] она родила богов ночи и дня. С тех пор ее почитали делийцы, которые в ее честь приносили жертвы, распевая гимны Олена, из чего можно сделать вывод, что она была пеласгийским божеством.

Оттуда ее имя и поклонение распространились по другим островам и государствам Эллады, хотя критяне утверждали, что она родилась в Амнисосе на территории Кносса и была дочерью Геры. Афиняне, воздвигшие храм Эйлитии, по-видимому, поддерживали обе традиции, так как из двух статуй, найденных в ее феине, более древняя была привезена с Делоса Эрисихтоном, а вторая, посвященная Федре, прибыла с Крита. Только среди афинян, в знак национальной скромности, деревянные изображения этого таинственного божества были значительно завуалированы до пят.^[329]

Простая деликатность более отдаленных веков требовала, чтобы женщины, становясь матерями, были окружены особами своего пола. Но противоположная практика, ныне распространенная среди цивилизованных народов, рано возобладала в Афинах, где изучение медицины, в которую включено искусство *accoucheur's*^[330], было запрещено женщинам и рабам. Последствия этого свидетельствуют об утонченном вкусе и истинно женских чувствах афинских дам сильнее, чем тысячи панегириков. Многие из них, вместо того чтобы подчиниться нескромным предписаниям моды, отказывались от всякой помощи и погибали в своих гаремах: Наблюдая за этим и движимая желанием сохранить жизнь своих благородных соотечественниц, одна гражданка по имени Агнодице, переодевшись

мужчиной, приобрела в медицинской школе Герофилоса компетентные знания теории и практики врачевания; затем она открыла свой секрет женщинам, которые повсеместно решили воспользоваться ее услугами, и в результате ее практика стала настолько обширной, что ревность других практикующих врачей была жестоко возбуждена. В отместку, поскольку она все еще сохраняла маскировку, они выдвинули против нее обвинение в суде Арейопагоса как против общей соблазнительницы. Чтобы оправдаться, Агнодис открыла свой пол, после чего завистливые эскулапы преследовали ее в соответствии с положениями старого закона. В защиту своей благодетельницы в суд явились главные дворянки и, смешав самые высокие свидетельства в пользу Агнодики со многими горькими упреками, добились не только ее оправдания, но и отмены пагубного закона, а также разрешения любой свободной женщине стать акушеркой.^[331]

Древние писатели упоминают несколько грубых и выносливых племен, чьи женщины, как и женщины Хиндустана в наши дни, очень мало нуждались в помощи повитухи. Так, Варро,^[332] говоря о грубых пастушках Италии, замечает, что среди деревенских женщин Иллирии рождение детей считалось делом незначительным, так как, отойдя от работы в поле, они возвращались с младенцем на руках, предварительно искупав его в каком-нибудь фонтане или ручье, и казалось, что они скорее нашли, чем родили ребенка. Не изменились нравы этих бескультурных людей и в наши дни, как явствует из анекдота, рассказанного Пьетро Витторе^[333] Франческо Сардонати, профессором латыни в Рагузе, который поведал, что видел, как женщина отправилась с пустыми руками в лес за дровами и вскоре вернулась с вязанкой на голове и новорожденным младенцем на руках. В Афинах же, где женщины были особенно нежны и деликатны, молодая мать оставалась в дверях целых шесть недель,^[334] когда отмечался праздник сорокового дня, после чего она, как и наши дамы, отправлялась в церковь, чтобы принести жертвы и возблагодарить в храме Артемиды или какого-либо другого божества.

Новорожденных младенцев, предназначенных для воспитания, в Афинах и в остальной Греции купали в холодной воде, в Спарте - в вине, с целью вызвать судороги и смерть, если ребенок окажется слабым, тогда как, если бы его телосложение было крепким и энергичным, он, по их представлениям, "приобрел бы большую степень твердости и получил бы нрав, соразмерный, как выражается Поттер^[335], как сталь при закалке". Пеленальные повязки^[336], которые использовались во всей остальной Греции, были изгнаны из Спарты, что привело к улучшению системы ухода за младенцами, которую пропагандировали Руссо, Ласепед и другие,^[337] и которая теперь в целом принята в этой стране, хотя и частично во Франции. Церемонии и обычаи греков были своего рода символическим языком, во многих случаях содержащим важный смысл, и всегда, возможно, указывающим на характер и привычные чувства расы. Большое внимание уделялось тому, куда клали младенца при его появлении на свет. У афинян это была обертка, украшенная вышитой фигуркой головы Горгоны, изображенной на щите Афины, божества-покровительницы государства. С самого начала казалось, что каждый гражданин находится под непосредственной защитой эгиды этой богини, которая должна была простираться над ним и в мире, и в войне. В других частях Греции первой и слишком часто последней постелью ребенка был щит.^[338] В соответствии с этим обычаем мы видим, как Алкмена укладывает своих мальчиков-близнецов Геракла и Ификла в пряжку Амфитриона; та же практика преобладала, как и следовало ожидать, в Спарте, где война была для мужчин единственной целью жизни.^[339] В других местах другие символы говорили о будущем смысле, а не о настоящем нового гражданина. В сельскохозяйственных странах военный символ заменялся веялкой, нередко из золота или других дорогих материалов,^[340] хотя можно сомневаться, не означает ли слово, переданное таким образом, скорее колыбель в виде этого деревенского орудия.

В другом обычае, давно наблюдаемом в этих случаях, мы обнаруживаем следы того поклонения змеям, которое в разные эпохи так широко распространилось по миру. Среди богатых и знатных семей в Афинах на новорожденных детей надевали золотые амулеты в виде драконов, которыми они, как предполагалось, отмечали вручение Афиной Эрихтония на попечение двух опекунов такого рода.^[341]

Но при определенных обстоятельствах вместо радости и ликования, с которыми знатные и великие встречают свое появление на свет, рождение ребенка, как во Фракии,^[342] событием, чреватом горем и несчастьем. Оно возвещало о приближении врага, того, кто, если он выживет, должен будет отнять у них часть того, что и так с трудом поддерживало жизнь. Поэтому вместе с известием о его рождении пришло ужасное сознание того, что против него должна быть развязана война, что он должен стать козлом отпущения за грехи общества, а не за свои собственные, что его родители, которые должны были лелеять его, чьим лучшим утешением он должен был стать, должны закалить свои сердца и закрыть уши против голоса природы и стать его палачами. Греческие законы о бедных, вернее, их заменители, были крайне несовершенны, а больницы для подкидышей еще не были введены. Они избавлялись от избытка населения, как многие народы до сих пор делают, путем убийства; ведь детоубийство в различных формах в большей или меньшей степени преобладало во всех цивилизованных странах, если термин "цивилизованные" может быть правильно применен к народам, среди которых обычно совершаются столь деморализующие преступления. Несомненно, угрюмое нежелание отца обгадить руки кровью своего ребенка ежедневно вызывало множество душераздирающих сцен; несомненно, жало нужды должно было остро ощущаться, прежде чем привычка к резне утвердилась; -но, как только установилась мода, детей бросали в глиняный горшок и выставляли в горных и пустынных местах, чтобы они погибли от холода или стали жертвой плотоядных птиц^[343] или волков, так же хладнокровно, как их убивают их молодые и хрупкие матери в нашей собственной христианской стране.

При всех обстоятельствах, однако, преступные родители вызывают жалость. Страдание слепо, а преступление слепо. Но что мы скажем этим жрецам человечества, этим святым и благоговейным толкователям природы, философам, которые выступают вперед, чтобы одобрить и оправдать эту практику? Было бы преступно скрывать тот факт, что и Платон, и Аристотель, великие представители мудрости языческого мира,^[344] считали детоубийство, при определенных обстоятельствах, допустимым. Поэтому, как ни близок был первый к истинам христианства, между ним и ими все равно стояло облако. То, что он видел, он видел как сквозь темное стекло. Христос тогда еще не наложил печать божественности на человеческую природу, не пролил на нее тот свет, благодаря которому только и можно обнаружить истинные черты преступления, не меньше, чем истинные черты святости. Философия прекрасна, но с красотой невольной загрязненной. Одна лишь религия, дышащая небом, сияющая светом, отраженным от лица Божьего, прекрасна без единого пятнышка и изъяна. Греки, лишенные этого руководства, сбились с пути. Они смотрели на вопрос о численности населения как грубые утилитаристы - все, кроме грубых, неинтеллектуальных фиванцев, которые, полагаясь на огромное плодородие своей земли или руководствуясь каким-то лучшим инстинктом, в этом вопросе высоко поднялись над своими культурными соседями - пример того, как глупости этого мира, даже в невозрожденном состоянии природы, могут иногда смущать мудрых. Среди тирренцев,^[345] также, народа пеласгийского происхождения, детоубийство было неизвестно, возможно потому, что среди них не считалось позором быть родителями незаконнорожденного потомства; в любом случае, чувство стыда не могло быть очень острым среди народа, чьи женщины-рабыни подавали за стол обнаженными, и где даже дамы появлялись на общественных развлечениях в том же состоянии, пили шампанское и свободно присоединялись к разговору мужчин.

В современном мире лишение жизни младенца является смертным преступлением, однако мы видим, как мало страха и церемоний вызывает это преступление. Поэтому легко предположить, что в тех странах древности, где ни закон, ни общественное мнение не противостояли этой практике, но в одних случаях подмигивали, в других - поощряли ее, число детоубийств должно было быть огромным. Спарта очень естественно взяла на себя лидерство в этом преступном курсе.^[346] Здесь частным лицам не разрешалось скрываться со своим потомством тайком, с теми знаками стыда и сожаления, которые неотделимы от индивидуальной вины. Государство монополизировало право на иродизацию и, разделив преступление между большим количеством людей, казалось, заставило замолчать возражения совести. Отцы были вынуждены по закону приносить своих новорожденных младенцев к определенным должностным лицам, старым, серьезным людям,^[347] которые проводили свои заседания в леше своего племени и после должного обсуждения решали вопрос о том, жить или умереть каждому ребенку. По каким правилам они принимали решения, грубые и невежественные в физиологии, сейчас невозможно утверждать наверняка. Несомненно, они не обладали достаточными навыками, чтобы обнаружить скрытые семена силы и физической энергии, а тем более великолепных умственных способностей, таящихся в пунцовом личике беспомощного младенца. Те, кто мог бы стать мудрым и добрым представителем своего поколения, несомненно, часто выбирали простое животное. Однако, отдав приказ выхаживать сильных и внешне здоровых, слабых и нежных, часто самых благородных людей и самых храбрых солдат, как, например, Луций Сулла, приговаривали к тому, чтобы их бросали, как щенков, в Апотеи, глубокую пещеру у подножия горы Тайгетос. Это логово смерти избавило спартанцев от необходимости возводить работные дома или принимать законы о бедных. Избыток населения отправлялся в эту яму.

В некоторой степени и в смягченной форме та же практика преобладала в Афинах. Здесь, однако, это был скорее вопрос обычая, чем закона, и в этом отношении она существенно отличалась^[348] от практики Спарты, где решение судьбы своих детей полностью оставлялось на усмотрение отца. Соответственно, более хладнокровные прибегали к убийству, а менее жестокие выставляли их в кувшинах в пустынных местах, чтобы они погибли, или в людных кварталах города в надежде, что они вызовут у других сострадание, в котором он, их отец, им отказывал.^[349] И часто находились гуманные люди, которые, подобно нашему сквайру Олворти, сочувствовали этим покинутым существам.^[350] Многочисленные примеры встречаются у комических поэтов. В этих случаях мотивом, несомненно, была бедность, особенно если подвергались опасности мальчики; но даже состоятельные люди, рассуждая, как раджпуты в Северной Индии, предпочитали подвергать своих дочерей опасности, чем заботиться и тратить средства на их воспитание для неопределенной судьбы. В таких случаях ребенка одевали и пеленали более или менее тщательно, помещали в большой глиняный сосуд, называемый читра,^[351] - тот самый, в котором варили суп, и который, следовательно, должен был вызывать гуманные ассоциации, - и клали в устье какой-нибудь пещеры без стен или в таких местах, которые я описал выше. На этот обычай делается ссылка в анекдоте о подкидыше, который развлекался тем, что катал читру, прежде чем ее ногой: "Что! воскликнул кто-то, желая напомнить ему о его происхождении, - неужели ты настолько нечестив, чтобы пнуть свою мать в живот?"

Иногда, когда целью было скорее избежать позора, чем уклониться от расходов на образование, кольца, драгоценности или другие ценные знаки подвешивали к ребенку или клали вместе с ним в читру.^[353] А у комических писателей они обычно помогают совершить открытие. Если они попадали в руки бедняков, то дорогие знаки благородного происхождения, всегда почитаемые невежественными и нуждающимися, могли склонить их к тому, чтобы хранить и лелеять снятые с себя личины, как в случае с шекспировской

Пердитой, а в случае смерти - покрыть расходы на похороны. Иногда суеверие действовало на их умы, побуждая их в насмешку делиться своим имуществом с маленькими несчастными, которых они бросили.^[354] Так, Сострата, жена Хрема, в "Самоистязателе" отдала вместе с маленькой дочерью тому, кто должен был ее разоблачить, кольцо с собственного пальца, чтобы оно осталось с ребенком, чтобы в случае его смерти он не был полностью лишен всей доли их имущества. Таково же поведение Креусы у Еврипида; ведь Гермес, которого поэт вводит, разворачивая аргументацию драмы, рассказывает, что когда молодая царевна положила своего новорожденного сына погибать в пещере, где он был зачат, она сняла с себя дорогие украшения и украсила ими своего преданного мальчика.^[355]

Из другой части той же пьесы можно сделать вывод, что детей часто выставляли на ступени храма Аполлона в Дельфах, и их выхаживала пифонесса.^[356] Действительно, жрица, обнаружив Иона, привезенного Гермесом из Аттики, сразу же делает вывод, что какая-то несчастная дельфийская девушка^[357] является его матерью, и усыновляет его под этим впечатлением. Из дальнейшего изложения следует, что такие дети были рабами храма и находились под непосредственной защитой бога.^[358]

На равнине Элевтера, недалеко от храма Диониса, находится пещера, а рядом с ней - фонтан. Здесь, по словам поэтов, Антиопа родила Зетоса и Амфиона, сыновей-близнецов Зевса, которых, чтобы скрыть свой позор, она бросила там, где они родились. Сразу после этого младенцев обнаружил пастух, который, искупав их в соседнем источнике, взял их к себе в койку, где они воспитывались как его собственные дети.^[359] Катастрофа многих античных пьес была вызвана открытием реальных характеров людей, разоблаченных в младенчестве. Так, Эдип, история которого слишком хорошо известна, чтобы ее повторять, был брошен на горе Китерон. Дочери Финея,^[360] о которых до нас больше ничего не дошло, были брошены в младенчестве и сохранены, а затем их привели, чтобы предать смерти на том же месте; благодаря указанию на это их жизнь была спасена. Сыновья^[361] Тира, Пелей и Нелей, были брошены матерью, которая поместила их в маленькую кору или сундук на берегу Энипея, и это обстоятельство впоследствии помогло установить происхождение близнецов. История Ромула и Рема, которых таким образом бросила их мать-весталка, знакома каждому читателю; а из примера Моисея, записанного в священном томе, можно сделать вывод, что обнажение детей было распространено в Египте в более отдаленные времена. Пиндар,^[362] рассказывая о рождении пророка Иамоса, представляет нам поэтическую картину одной из этих несчастных операций. Эвадна, дочь Посейдона от речной нимфы Питаны, живущая при дворе аркадского царя Эпитоса, отправившись, подобно дочерям патриархов, за водой к фонтану, была настигнута родовыми клыками.

"Ее малиновый пояс был спущен,
Серебряный сосуд рядом с ней,
Среди спутанных зарослей, увешанных
С пологом из коричневых теней;
Когда она принесла славного младенца,
Душа его затрепетала от небесных мыслей.
Его послал златокудрый бог,
Рядом с ней судьбы снисходительные стояли,

С Эйлитией кроткой.

Один короткий сладостный удар освободил ребенка,

И Иамос взошел на свет.

Вскрикнув, она оставила его,

где он лежал на земле;

И тут появились два дракона,

С глазами лазурного пламени,

По воле божественной пробудились из логова;

И пчелиным ядом невредным они

Вскормили его и кормили день и ночь.

Царь тем временем пришел

Из каменистого Пифона, и дома

Всех о мальчике расспрашивал.

Рожденного от Эвадны; ибо, сказал он, отцом его

был Фибос, и что он

должен быть мудрейшим из земных пророков,

И что род его не прервется.

Не видя и не слыша его, они поклялись,

родившемуся пять дней назад. Но он, на камышах укрывшись,

Был укрыт в том широком колючем лабиринте;

Его нежное тело было встречено

С желтыми и пупырчатыми лучами

От многих фиалок:

И вот мать велела ему взять

Навеки это нерушимое имя".

Как правило, незаконнорожденных детей выставляли в окрестностях Гимнасия, в Киносирге, поскольку, как предполагает Суидас, у Геракла, который сам был незаконнорожденным, был там храм.

В отношении детоубийства фиванцы,^[363] как я уже говорил, придерживались более справедливых взглядов, чем остальные их соотечественники. По их законам это преступление каралось смертной казнью; но поскольку суровые законы не могли обеспечить неимущих средствами для содержания детей, которых им запрещалось убивать, они приняли другой закон, предусматривающий их содержание. Если бедняк оказывался не в

состоянии содержать прибавление в семействе, ему предписывалось сразу же после рождения, завернув детей в пеленки, нести их в магистрат, который за небольшую сумму отчуждал их состоятельным людям, нуждающимся в детях или слугах: ведь по фиванским законам те, кто брал на себя заботу о подкидышах, если их можно так назвать, имели право на их услуги в обмен на уход за ними и их воспитание.

С детоубийством связана и другая тема, не менее важная, но очень сложная; это практика уничтожения младенца до его рождения.^[364] В современных странах все подобные преступления теоретически наказываются законом очень строго, а общественное мнение так решительно осуждает их, что никто, заботящийся о поддержании респектабельного характера в обществе, не осмелится быть их апологетом. В древности было иначе. Во многих государствах ощущался сильнейший страх перед избытком населения, который приводил к обычаям и поступкам весьма гнусного характера; за некоторые классы, если не за все, ратовали писатели самого высокого ранга. Так, Плиний,^[365] обычно великий критик в защиту добродетели, признает, что женская продуктивность должна быть ограничена искусственно; и Аристотель, несмотря на свою гораздо более благородную и великодушную этику, не имел на этот счет более возвышенных взглядов. В этом же ряду стоят и предписания критянина Миноса - но пусть они останутся в неизвестности, которая покрывает весь его кодекс.

Некоторые современные авторы предполагают, что среди римлян существовали более гуманные чувства, которые, конечно, было бы трудно объяснить. Древний закон, приписываемый Ромулу, ввел их в заблуждение. Согласно ему, ни один ребенок мужского пола не должен подвергаться риску; из дочерей первой разрешалось жить, а остальные, воспитанные до трех лет, могли быть уничтожены, если это будет сочтено целесообразным.^[366] Законодатель, как утверждается, слишком хорошо знал человеческую природу, чтобы опасаться, что родители, сохранившие своих детей на три года, после этого лишат их жизни. Но младенцев, сильно изуродованных или обезображенных, можно было убить сразу, предварительно показав их пяти соседям, и эти соседи, как и надзиратели за убийствами в Лакедемонии, вероятно, были вялыми в толковании закона, который, признавая принцип, легко допускал отклонения в практике.^[367] Как бы то ни было, но детоубийство и избавление от детей в императорские времена были обычным явлением в Риме. На Гербовом рынке стоял столб, называемый "Молочной колонной", куда приносили подкидышей, чтобы их сосали общественные кормилицы или кормили молоком - отрывок из Фестуса можно толковать и так, и эдак, и, судя по всему, их количество было значительным. Христианские писатели постоянно возражают против практики детоубийства у римлян. "Вы бросаете своих сыновей", - говорит Тертуллиан,^[369] "чтобы их подобрала и вскормила первая проходящая женщина". А бедняки, как замечает Амвросий, бросали и выставляли своих малышей, а если их ловили, отрицали, что они их.^[370] Другие принимали более решительные меры и вместо того, чтобы выставлять, душили их.^[371] Вероятно, именно этот зверский способ законодателей избавиться от избыточного населения послужил причиной возникновения обряда жертвоприношения детей, который, как известно, был распространен среди финикийцев, передававших своих детей через огонь Молоху; и среди их потомков - карфагенян,^[372] которые приносили младенцев в жертву своим богам, как в наши дни наши собственные идолопоклонники на Востоке выбрасывают своих первенцев на острова в устье Ганга, чтобы их пожирали аллигаторы. В Китае христианство выполняло по отношению к младенцам тот же гуманный долг, что и в Древнем Риме, поскольку многие новообращенные иезуиты состояли из подкидышей, которых они подбирали, когда родители бросили их на произвол судьбы на улице.

318. Дион Хризостом рассказывает любопытную историю об ошибке афинян в этом вопросе. Однажды Аполлон велел им, если они хотят стать хорошими гражданами, вставлять в уши своих сыновей все самое красивое, и они, не понимая смысла слов бога, высверлили одну из мочек и вставили золотую серьгу. Но это украшение больше подошло бы их дочерям или сыновьям лидийцев или фригийцев; а для потомства греков бог не мог предназначить ничего, кроме образования и разума, обладатели которых, вероятно, стали бы хорошими людьми и хранителями своей страны.-Orat. xxxii. t. i. p. 653. sqq.- Популярная максима, что знание - это сила, может быть прослежена до Платона.-De Rep. v. t. vi. p. 268.

319. Монтань в своих "Путешествиях" (т. iii. с. 51) приводит пример того, как ум может быть развит, особенно в поэзии, людьми, не владеющими искусством чтения и письма. Его импровизатор Луккезе может считаться равным древним рапсодам.

320. Cp. Plat. De Legg. vii. t. viii. p. 1.

321. Несмотря на то, что Платон рассматривает знание как лекарство души -Crit. t. vii. p. 145.- Cf. t. viii. p. 2. seq.-Aristot. Ethic. vi. 13.

322. Plat. de Legg. l. vii. t. viii. pp. 4. et 11.- Во время беременности женщины тщательно следили за тем, чтобы не приносить в дом древесину остролиста или карпины остролистной, появление которой предвещало трудные роды или даже внезапную смерть. Theoph. Hist. Plant. iii. 10. 3.

323. Xenoph. de Rep. Laced. i. 3. Perizon. ad Ælian. Var. Hist. x. 13.

324. Theodoret. iv. 921.

325. v. *Τριτοπ.* t. ii. p. 947. b. seq. Cp. Siebel. ad Frag. Philoch. p. 11. Meurs. Græc. Fer. p. 264. Lect. Att. iii. 1. Vales. in Harpoc. p. 223. seq.

326. Paus. viii. 21. 3.

327. Paus. ix. 27. 2. Cp. Cic. de Nat. Deor. iii. 23.

328. Callim. ii. 4.

329. Paus. i. 18. 5. Cp. Keightley, Mythol. p. 193. В Аркадии эта богиня также была так плотно задрапирована, что не было видно ничего, кроме лица, пальцев рук и ног.- Paus. vii. 23. 5.

330. Обязанности акушерки кратко перечислены Max. Typ. Dissert. xxviii. p. 333. Cp. Pignor. de Serv. 184.

331. Hygin. Fab. 274.

332. De Re Rust. ii. 10.

333. Var. Lect. xxxiv. 2.

334. Meurs. Græc. Fer. p. 260. sqq. Censor. de Die Natali. c. 11.

335. Antiq. ii. 320.

336. Копей, ad Hippoc. de Aër. et Loc. ii. 309.

337. Уже в эпоху Монтеня ощущалась необходимость некоторых перемен. "Les liaisons et emmaillottements des enfans ne sont non plus necessaires". Далее он ссылается на практику спартанских кормилиц - Essais, ii. 12. Однако при определенных привычках тела пеленание не просто полезно, но и необходимо: как отмечает Гиппократ в своем рассказе о скифах (de Aër. et Loc. § 101), и как подтверждает его умелый комментатор Корей, примеч. *ubi sup.*
338. Theoc. Eidyll. xxiv. 4. ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τὰς. Плут. Lacæn. Apophtheg. t. ii. p. 187.
339. Nonn. Dionys. xli. 168. seq. Sch. Thucyd. ii. 39.
340. Каллим. Гимн. в Иов. 48.
341. Eurip. Ion. 15. sqq.- Существовали также определенные амулеты, называемые περίαπτα, которые суеверные матери вешали на шею своим детям, чтобы защитить их от очарования и сглаза. Поллукс, iv. 182. Vict. in Arist. Ethic. Nicom. p. 42.
342. Sext. Empir. p. 186.
343. Vict. (Var. Lect. ii. 3) имеет полезную главу об обнажении младенцев, в которой он собрал несколько ценных свидетельств.
344. Платон, de Rep. v. § 9. p. 359. Stallb. Aristot. Pol. vii. 16. Cp. Lips. Epist. ad Belg. Cent. 1. c. 85. с работой Герарда Нудта, озаглавленной "Юлий Паулюс", в opp. Lugd. Bat. 1726. pp. 567, seq. 591. и далее. Elmenhorst. ad Minuc. Felic. Octav. 289. ed. Ouzel.
345. Athen. xii. 14.
346. Сравните прохладу Hase. p. 190. Müller. ii. 313. с Lamb. Bos. p. 212. seq. и гуманные замечания Уббо Эммиуса iii. 83. Поттер тоже (ii. 326. sqq.), кажется, не одобряет эту практику.
347. Plut. Lycurg. 16.
348. Петит придерживается противоположного мнения, но его авторитеты ни в коем случае не подтверждают его.- Legg. Att. lib. ii. tit. 4. p. 144.
349. Paulus, ap. Petit. *ubi sup.*
350. О церемонии усыновления см. Potter ii. 335. Сравните "Сочинения леди Монтегю", iii. 12.
351. Sch. Aristoph. Vesp. 289, или иногда ὄτρακον, Ran. 1221.
352. Sch. Aristoph. Thesmoph. 509.
353. Vict. Var. Lect. ii. 3. Aristot. Поэт. xvi.
354. Терент. Heautontim. iv. i. 36 seq. Виктор. Var. Lect. ii. 3. Cp. Ter. Hecyr. iii. 3. 31. sqq.
355. Эврип. Ion, 26. seq. Cp. 15. sqq.
356. Conf. Hypoth. Ion.
357. Δελφίδων τλαίη κόρη. κ. τ. λ. Ion, 44. sqq.
358. Ион, 53. sqq.
359. Paus. ii. 6. 4.- Cp. Casaub. Diatrib. in Dion. Chrysost. ii. 469.
360. Аристотель. Poet. xvi. 8. cum not. Herm. p. 156.

361. Арист. Поэт. xvi. 3.

362. Olymp. vi. 39. sqq. Дисс. Я привожу этот отрывок в изящном переводе мистера Кэри.

363. Илиан, Var. Hist. ii. 7.- Cp. Phil. Jud. de Legg. Special. p. 543.

364. См. в Pollux, ii. 7. и iv. 208. целый словарь терминов, связанных с этой практикой. В своем примечании к первому отрывку, стр. 297. Юнгерманн ссылается на комментарии Камерария, с. 32. Cp. Comm. in Poll. p. 507. seq. p. 541. et 891. seq. Tim. Lex. Plat. v. ἑξαμβλοῦν. cum. not. Ruhnken. p. 62. ed. Lond. Plat. Theæt. t. iii. p. 190. Max. Tyr. xvi. p. 179. Иаков Генсий ("Victimæ Humanæ", pt. ii. p. 247. seq.) подробно останавливается на вопросе об аборте, который в Риме, согласно Юстину, производился для сохранения формы. Та же практика преобладает на Формозе.- Richteren, Voyage de la Compagnie des Indes, v. p. 70. Сравните Lactant. v. p. 278. Phocyl. v. 172. seq.

365. Hist. Nat. xxxix. 27. t. viii. p. 404. Франц. Impie satis, как замечает Кюн в своем примечании к Илиану, Var. Hist. ii. 7. Arist. Pol. vii. 15. 253. Goettl. Cp. Foës. Œcon. Hippoc. vv. Ἀμβλῶσαι и ἀποφθορά.

366. Dion. Hal. Ant. Rom. i. 81; ii. 15.

367. Сенека, de Irâ, l. i. Apuleius Metam. x., где муж дает команду на уничтожение своей дочери сразу после ее рождения.-Ap. Lips. Epist. ad Belgas, Cent. i. p. 818. seq.

368. Fest. v. Lactaria Columna.

369. Apolog. c. 9.

370. Hexæm. l. v. c. 18.

371. Arnob. cont. Gent. viii. Lactant. Instit. vi. 20. ap. Lips. Epist. ad Belg. 819.

372. Vid. Festus, v. Puelli.- В Сирии детей приносили в жертву богине, как и другие жертвы, завязывая в мешок и сбрасывая с возвышенного пропитея ее храма, а их родители тем временем осыпали их презрением и утверждали, что они не дети, а волы.- Лукиан. De Syriâ Deâ, § 58.

ГЛАВА II.

РОЖДЕНИЕ-ПРАЗДНИК-НАРЕЧЕНИЕ РЕБЕНКА.-НЯНЬКА-НЯНЬКА СКАЗКИ - СПАРТАНСКИЙ ПРАЗДНИК.

Однако оставим эту меланхоличную тему: пока бедняки, как мы видели, от отчаяния мазали руки кровью своих отпрысков, их более состоятельные соседи отмечали рождение ребенка^[373] чередой банкетов и ликований. Первый из них проводился на пятый день от рождения, когда происходила церемония под названием Амфидромия, которую некоторые античные авторы путают с праздником десятого дня.^[374] По этому случаю акушерка или кормилица, на попечение которой теперь окончательно передавался ребенок,^[375] очистив руки водой,^[376] выбегала обнаженной^[377] с младенцем на руках, и в сопровождении всех остальных женщин семьи в таком же состоянии обходила вокруг очага,^[378] который считался алтарем Гестии, Весты римлян. Этим обрядом ребенок посвящался в религиозные обряды и

оказывался под покровительством богини огня, вероятно, с той же целью, с какой у нас крестят младенцев.

Тем временем проходим сообщали, что внутри празднуется праздник пятого дня, с помощью символов, развешанных на дверях, которые, в случае мальчика, состояли в оливковой короне; а в случае девочки - из локона шерсти, что указывало на ее будущие занятия.^[379] Афиней, говоря о капусте, которую ели по этому случаю, а также о дамах "в соломе", как о способствующей образованию молока, приводит комическое описание Амфидромии из драмы Эфиппа, которое доказывает, что они были хорошо знакомы с искусством веселья.

"Как это

Ни одна гирлянда не украшает праздничную дверь,

Не проникает в ноздри ароматный запах.

Поскольку это праздник рождения? Обычай, так сказать, требует

Ломтики сыра из Херсонеса,

Поджаренные и шипящие; капуста тоже в масле,

Поджаренной до хруста, с тушеной бараньей грудкой.

Зяблики, горлицы и жирные дрозды

Теперь должны быть в перьях; ряды веселых гостей

Вместе очищайте кости каракатиц,

Грызут вкусные лапки полипов,

И пейте большими порциями едва смешанное вино.^[381] "

В этот день также приносилась жертва^[382] за жизнь ребенка, вероятно, богу Амфидромосу, впервые упомянутому и, следовательно, придуманному Эсхилом.^[383] Кроме того, предполагалось, что теперь нарекалось имя, а подарки преподносили друзья и домашние рабы.^[384]

Но именно на седьмой день ребенок обычно получал свое имя,^[385] среди празднеств очередного пира; хотя иногда это откладывалось до десятого.^[386] Причину называет Аристотель.^[387] По его словам, они так долго откладывали наречение, потому что большинство детей, умирающих в младенчестве, умирают до седьмого дня, который прошел, и они считали свою жизнь более безопасной. Восьмой день выбирался другими людьми для присвоения имени и, считаясь днем рождения, ежегодно праздновался как годовщина его рождения, по этому случаю было принято, чтобы друзья семьи собирались вместе и преподносили ребенку подарки, состоящие иногда из полипов и каракатиц^[388], чтобы съесть их на празднике. Однако десятый день^[389], по-видимому, соблюдался очень часто. Так, Еврипид:^[390]

"Скажи, кто в восторге от материнских притязаний

Средь пиров десятого дня даровал имя предков?"

Аристофан тоже, по случаю названия своего города-птицы, который, как утверждает голодный поэт, давно прославил, вводит Пейстетæрос, говоря,

"Что! Не я ли теперь жертву

Десятого дня завершил и даровал

Имя, как ребенку?"

С этим обычаем связан очень хороший анекдот в Полиэносе, из которого Мерсий^[392] делает вывод, что среди греков существовало что-то вроде должности спонсора. У Ясона, тирана Фера, большинство козней которого было разыграно против членов его собственной семьи, был брат по имени Мерионес, чрезвычайно богатый, но до последней степени жестокий, особенно по отношению к нему. Когда у Ясона родился сын, он пригласил в номиналии многих главных фессалийских вельмож, в том числе и своего брата Мериона, который должен был руководить церемониями. Этим он был занят, вероятно, целый день, в течение которого тиран, под предлогом, по-видимому, предоставления гостям какой-нибудь дичи, вышел на несколько часов со своими собаками и обычными последователями. Однако вскоре выяснилась его истинная цель. Направляясь прямо в Пагасэ, где стоял замок его брата, он взял его штурмом и, захватив сокровища Мериона на сумму в двадцать талантов, со всей скоростью вернулся на пир. Здесь, в знак братского уважения, он передал брату честь возлияния и наречения имени, что было прерогативой отца. Но Мерион, получив от одного из приближенных тирана намека на происшедшее, назвал мальчика Порфаоном, или Расхитителем.^[393] В Афинах пир и жертвоприношение проходили ночью, с большой помпой и всем тем ликованием, которое должно было внушить такое событие.^[394]

Информация о присвоении имени у Поттера особенно полна. Возможно, он прав и в своем предположении, что в большинстве стран главной целью созыва столь большого числа друзей в качестве свидетелей этой церемонии было предотвращение разногласий, которые могли возникнуть, когда ребенок выходил в свет. Но в Афинах Закон о регистрации^[395] сделал таких свидетелей едва ли необходимыми. Право навязывать имя принадлежало, как уже говорилось выше, отцу, который, судя по всему, также обладал правом изменить его впоследствии, если считал нужным. Они не были вынуждены следовать точному прецеденту, но общее правило напоминало то, которое, очевидно, соблюдала природа, которая, пренебрегая сходством в первом поколении, иногда воспроизводит его с необычайной точностью во втором. Так, внук, наследуя часто черты лица, наследовал также, как правило, имя своего деда,^[396] и точно такое же правило применялось к женщинам; внучка почти всегда получала имя своей бабушки.^[397] Так, Андокид, сын Лигора, носил имя своего деда; отец и сын Мильтиада носили имя Цимон; отец и сын Гиппоникоса - Клейния.^[398] Исключение из этого правила составляет оратор Лисий, деда которого звали Лисаний.^[399] Словом, хотя закона по этому вопросу не существовало, древний и почти неизменный обычай действовал с силой закона.^[400]

В далекой древности имена детей часто получали на основании каких-то обстоятельств, связанных с их рождением или историей их родителей. Иногда имя получали и за собственные поступки, как в случае с современными титулами; а может быть, за какое-нибудь несчастье, постигшее их. Так, Марписса у Гомера, унесенная^[401] Аполлоном, получила имя Халкиона, потому что ее мать, подобно Халкионе, была безутешна в связи с потерей своего потомства.^[402] Скамандрий, сын Гектора, был назван Астианаксом, потому что его отец был τοῦ ἄστεως ἄναξ, "защитник города"; и Одиссей, превращенный римлянами в Улисса, как предполагают, был назван так τοῦ ἄστεως ἄναξ διὰ τὸ ὀδυσσεύσθαι τοῦ Αὐτολύκου, от гнева Автолиха.^[404] Опять же, сын Ахилла, сначала названный Пирром, как наш второй Вильгельм,

Руф, по цвету волос, впоследствии получил имя Неоптолемос, "юноша-воин", из-за того, что в раннем возрасте участвовал в осаде Трои. Впоследствии стало считаться неприличным, чтобы люди скромного положения носили имена героических родов. Так, низкого льстеца Калликрата при дворе Птолемея Третьего считали дерзким, потому что он наделил своих сына и дочь именами Телегон и Антиклея, а в перстне носил изображение Одиссея, которое, казалось, претендовало на родство с этим прославленным вождем. На самом деле, чтобы предотвратить осквернение почитаемых имен, сам закон запрещал брать их рабам или женщинам с плохим характером^[405], хотя, вопреки его постановлениям, мы видим, что существовали гетайры, получившие свое название от священных игр Греции, Неми, Истмии и Пифионики.^[406]

Но об этом достаточно: теперь мы перейдем к управлению и воспитанию детей, начиная с самого раннего младенчества. В старые времена женщины Греции всегда сосали свое потомство, и для выполнения этой обязанности они были прекрасно приспособлены природой,^[407] так как они не успевали стать матерями, как их груди наполнялись молоком так обильно, что оно не только текло через сосок, но и распространялось по всему лону. Греки придерживались многих суеверных взглядов на небольшие отклонения в работе организма, свойственные кормилицам; например, они считали, что нитевидные углубления, которые иногда появляются в груди, вызваны проглатыванием волосков, которые затем выходят вместе с молоком, поэтому это заболевание называлось трихиазисом.^[408] Питательные вещества, поставляемые такими крепкими и кормящими матерями, часто были настолько богатыми и обильными, что, подобно перекармливанию, вызывали спазмы и конвульсии, которые, как предполагалось, были наиболее сильными, когда они происходили в полнолуние и начинались со спины. Обычным средством среди кормилиц, по-видимому, было вино, поскольку Аристотель,^[409] говоря об этом расстройстве, отмечает, что белое, особенно разбавленное водой, менее вредно, чем красное, хотя даже от первого он считал, что лучше воздержаться. Единственным безопасным лечением он считал прием послабляющих лекарств и отказ от всего, что может вызвать метеоризм. Медсестры, однако, иногда возлагали большие надежды на мозги кролика.^[410]

В "Республике" Платона кормилицы должны были жить отдельно в отдельном квартале города и сосать без разбора всех детей, которые должны были быть сохранены; ни одной матери не разрешалось знать своего собственного ребенка.^[411]

Каждый, наверное, не хуже Платона,^[412] заметил, что дети не успевают родиться, как уже проявляют недвусмысленные признаки страсти и гнева, в усмирении и направлении которых заключается главная трудность воспитания. Большинство людей, в силу природных недостатков или ранней дисциплины, живут долго, прежде чем овладевают этим мастерством, которого многие вообще никогда не достигают. В целом, однако, там, где оно есть, многое, несомненно, можно отнести на счет той подготовки, которая начинается с момента рождения, так что из всех инструментов, используемых в^[413] формировании характера, няня, вероятно, является наиболее важным. В этом, как представляется, были убеждены древние, и прежде всего спартанцы и афиняне. Лакедемонские няньки, на которых была опробована сила дисциплины, пользовались высокой репутацией во всей Греции и были особенно почитаемы в Афинах.^[414] Они, несомненно, заслужили ее. Им принадлежит первая попытка отказаться от тех пеленок и повязок, которые в других странах сковывали конечности и мешали движениям младенцев, а умелое и просвещенное лечение в сочетании с бдительностью и нежной заботой, как говорят, уберегло их маленьких подопечных от искажений, столь распространенных среди детей. Но их заботы простирались не только на человека. Они стремились формировать манеры, регулировать

нрав, закладывать фундамент добродетельных привычек, сеять семена, которые в последующей жизни могли бы созреть в мужественный, откровенный и великодушный характер. В вопросах питания, регулирование которого, как признается Локк, сопряжено со значительными трудностями, спартанские кормилицы действовали в соответствии с предложениями самой суровой философии, приучая детей, находившихся под их опекой, довольствоваться тем, что им давали, и без ропота переносить периодические лишения. Страх перед привидениями тоже был побежден. Эмпуза, Мормолукейон и все другие отвратительные призраки, которые в детстве ассоциируются с идеей темноты, уступили дисциплине спартанской няни.^[415] Ее подопечный мог без страха оставаться один или в темноте, и та же суровая система, которая преодолела первый отпрыск суеверия, также уладила такие нравственные пороки, как раздражительность, хмурость, привычку хныкать и лепетать, которые, когда им потворствуют, делают детей помехой для всех вокруг. Неудивительно, что эти дорические воспитатели были востребованы повсюду. В Афинах среди богачей стало модным нанимать их, и Клиний, как хорошо известно, отдал под опеку одной из этих педерасток Алкивиада, чей честолобивый характер, не сдерживаемый никакими ограничениями дисциплины или философии, оказался гибелью его страны и бичом Греции.^[416]

Платон, однако, создавая по своему усмотрению воображаемую систему и склоняясь в целом к лаконизму, в некоторых отношениях придерживается обычаев своей страны и предписывает, чтобы младенцы были заключены в пелену до двух лет. Из упоминания этого возраста можно сделать вывод, что в Афинах дети обычно не ходили намного раньше, что происходит на Востоке, как мы можем узнать из истории Ала-ед-дина Абушамета. Платон также хотел, чтобы няни были энергичными и крепкими женщинами, склонными часто посещать храмы, чтобы, вероятно, внедрить в сознание своих подопечных ранние религиозные впечатления, и прогуливаться по полям и скверам, пока дети не смогут бегать самостоятельно; и даже тогда, до трех лет, он настаивал на необходимости часто носить их на руках, чтобы предотвратить искривление ног и деформацию лодыжек. Но поскольку все это могло давить на одну няню, их нанимали несколько, как у нас:^[417] и своего рода гувернантка в яслях. Герула или младшая кормилица была в более поздние времена человеком, на которого падал основной труд по уходу за младенцем; но в более отдаленные века греки, особенно их царские и знатные семьи, нанимали в этом качестве байулоса^[418] или кормилицу-отца, который, как в случае с Фениксом, иногда сам был из знатного рода. Хейрон, пеласгийский горный князь, также исполнял эту священную обязанность для сына своего друга Пелея.

Наши читатели, мы уверены, не откажутся зайти в греческие ясли,^[419] где мать, независимо от количества помощников, обычно сосала своих собственных детей. Их колыбели были разных форм, некоторые из них, как и наши, требовали укачивания^[420], а другие подвешивались к потолку, как матросские гамаки, и мягко раскачивались взад-вперед, когда хотели утихомирить ребенка или убаюкать его:^[421] как в мифологии Титонос был подвешен в старости.^[422] Другие колыбели были в форме маленьких переносных корзин, в которых их переносили из одной части гарема в другую.^[423] Вероятно, как и на Востоке, детей богачей укачивали в колыбелях, завернутых в покрывала из милезийской шерсти.

Иногда в Элладе,^[424] как и везде, молоко у кормилицы заканчивалось или было скудным, тогда прибегали к очень оригинальному средству, чтобы заглушить плач младенца: обмакивали кусочек губки в мед и давали ему сосать.^[425] Вероятно, при подобных обстоятельствах детей баловали инжиром; греки придерживались мнения, что этот фрукт

способствует их упитанности и здоровью. Кроме того, у них существовало суеверие, что если натереть свежим инжиром глаза детей, то они будут защищены от офтальмии.^[426]

Персы приписывали такую же профилактическую силу лепесткам только что распутившейся розы.^[427] Когда ребенок полностью или частично находился на сухом вскармливании, девушка, ухаживавшая за ним, под предлогом охлаждения его соски, обычно сделанной из мелкой муки полбы,^[428] клала ложку в собственный рот, проглатывала лучшую часть пищи, а остатки отдавала младенцу; эту практику Аристофан приписывает Клеону, который, по его словам, сам проглатывал лучшие из государственных благ, а остатки оставлял людям.^[429]

Во всем мире пение кормилицы вошло в поговорку. Музыка вдыхает свои сладчайшие ноты вокруг наших колыбелей. Женский голос успокаивает младенчество и старость, и в Греции, где у каждого класса общества была своя песня, кормилица, естественно, себе одну.^[430] Эта сладчайшая из всех мелодий -

"аромат радости и молодости"

технически называлась Katabaukalesis, от которой до нас дошли лишь обрывки и фрагменты, как и от деревенской песни, сохранившейся в памяти Руссо. Первый куплет римской детской песенки, которую, по словам Пиньориуса^[431], в его время пели матери Италии, звучал так: "Лалла, лалла, лалла".

"Lalla, Lalla; dorme aut lacte.

Лалла, Лалла; спи или соси".

Сицилийский поэт, чьи картины древнего мира все еще так свежи и ароматны, завещал нам Катабаукалесис чрезвычайной красоты и краткости, который я здесь перефразирую:^[432] -

"Спите вы, что в груди моей лежали,

Дремотой сладкой и светлой,

И проснитесь, мои славные близнецы, снова

Чтоб радовать материнский взор.

О счастливые, счастливые ваши сны,

И блаженно ваше пробуждение,

Когда золотые и румяные лучи утра

Вернут мне ваши улыбки".

Философ Хрисипп^[434] считал важным регулировать песни кормилиц, а Квинтилиан^[435] с причудливым, но простительным энтузиазмом хотел бы, чтобы мальчик, которому предназначено стать оратором, находился под присмотром кормилицы с отточенным языком и превосходным умом. Он замечает,^[436] также, что дети, которых сосут и воспитывают немые кормилицы, сами остаются немymi, что неизбежно произошло бы, если бы у них не было другого человека, с которым можно было бы поговорить. Когда младенец был очень бодр, успокаивающее воздействие песни усиливалось с помощью маленьких бубенчиков и погремущек, увешанных колокольчиками.

Анакреон рассказывает очень характерный анекдот о кормилицах.^[437] Однажды добродушная девушка с ребенком на руках, прогуливаясь по Паниониону, или Большой Агоре Ионии, столкнулась с тейским поэтом, который, возвращаясь с вакхического Олимпа, обнаружил, что улицы слишком узки для него, и стал шататься туда-сюда, словно решив извлечь из своей прогулки максимум пользы. Кормилица, надо полагать, не испытывала желания спорить с ним о проходе; но Анакреон, привлеченный, возможно, ее миловидным лицом, вовремя сделав крен, отправил и ее, и ее подопечного в кружение по тротуару, одновременно пробормотав что-то непочтительное в адрес "отродья". Девушка, со своей стороны, не обижалась на него, ибо видела, кто из божеств виноват; но, любя, как и положено няньке, своего мальчика, она молилась, чтобы поэт однажды произнес много слов в похвалу тому, кого он так грубо очернил; так и случилось, ибо младенцем оказался прославленный Клеобулос, чью красоту Тейан впоследствии прославил во многих одах.^[438]

Следы далекой древности до сих пор сохранились в детской. Слово *babu*, которым мы привычно называем младенца, с небольшими изменениями использовалось много тысяч лет назад у сирийцев, в чьей детской диалекте *babia*^[439] имело то же значение. *Tamma*, *папа* и *мама*^[440] были первыми словами, которые произносили дети Эллады. Из различных намеков, сделанных древними авторами, становится ясно, что те же дикие истории и суеверия, которые до сих пор процветают здесь, преследовали детские ясли в давние времена. Ребенка учили бояться Эмпузы, Оноскелиса или Оносколона,^[441] чудовища с одной человеческой и одной медной ногой, которое обитало среди ночных теней и скользило по сумрачным покоем и мрачным переходам, чтобы пожирать "непослушных детей". Басни, наполнявшие эту неясную часть эллинской мифологии, были едва ли менее дикими, чем те, что арабы рассказывают о своих маридах, эфритах и джиннах; ведь Эмпуза, призракный служитель Гекаты,^[442] мог принимать любые формы божьих созданий, появляясь то в виде быка, то дерева, то осла, то камня, то мухи, то прекрасной женщины.^[443] Шекспир, уловив, возможно, некий проблеск этого суеверия или придумав его в родственном духе, приписывает подобную силу превращения своему озорному эльфу в "Сне в летнюю ночь", который находится на родной земле Эмпузы.

"Я пойду за тобой, я проведу тебя вокруг, вокруг,

Через болото, через кусты, через тормоза, через бриары.

Иногда я буду лошадью, иногда гончей,

Боровом, медведем без головы, иногда огнем,

И кличу, и лаю, и хрюкаю, и реву, и горю,

Как конь, гончая, боров, медведь, огонь на каждом шагу".

Именно это призракное существо, как говорят, являлось тем, кто совершал жертвоприношения мертвым, людям, одолеваемым несчастьем,^[444] и путникам на отдаленных и мрачных дорогах; как это случилось со спутниками Аполлония Тианского, которые, путешествуя в светлую лунную ночь, были поражены появлением Эмпузы, которая, дважды или трижды встав на их пути, внезапно исчезла.^[445] Для защиты от этого демона суеверные люди имели обыкновение носить при себе кусочек яшмы, вставленный в кольцо или подвешенный на шее.^[446]

Ламия, свирепая и прекрасная, прародительница наших "белых дам" и Катаханы, или вампира современных греков, бродила по уединенным местам, чтобы напугать, ввести в заблуждение или погубить добрых людей, больших или маленьких, которые могли

заблудиться среди залитых лунным светом скал или берегов, усыпанных костями и морскими раковинами. Они любили рассказывать "у ночного костра", как Ламия когда-то была прекрасной женщиной, которую Зевс ласкал и сделал матерью прекрасного сына; как Гера из ревности погубила мальчика; и как после этого Ламия ушла в кусты и посвятила свое жалкое бессмертие уничтожению детей других женщин.^[447] Согласно другой форме предания, на ливийском побережье,^[448] где-то в районе Большого Сиртиса, среди песчаных холмов, скал и пустошей необозримой засушливости, обитало множество Ламий, названных так из-за вместительных челюстей. Сверху они были похожи на женщин непревзойденной красоты, а внизу заканчивались змеями. Их голос был похож на шипение гадюки, и все, что приближалось к ним, они пожирала.^[449]

Другой расой диких и гротескных духов были Кобалои,^[450] спутники Диониса, которые, несомненно, до сих пор обитают в наших лесах и перелесках под именем гоблинов и хобгоблинов. Наши эльфы, тролли и феи, похоже, принадлежат к тому же выводу, хотя в этих северных широтах они стали менее озорными и более романтичными, радуя глаз путника своими забавами и шалостями, вместо того чтобы пожирать его.

"Сказочные эльфы,
Чьи полуночные забавы, у леса,
или у фонтана, видит какой-нибудь запоздалый крестьянин,
Или ему снится, что он видит, пока над головой луна
Сидит, как хозяйка, и ближе к земле
Колесит бледным курсом; они веселятся и танцуют.
Намерены веселой музыкой очаровать его слух,
Одновременно с радостью и страхом его сердце отскакивает".

Хотя, как мы видели, слабых детей в Спарте бессовестно приносили в жертву, они все же делали подношения богам в пользу сильных. Эта церемония происходила ежегодно во время определенных праздников, называемых Титенидиями,^[451] когда, в минуту гостеприимства, они не только веселились сами, но и забывали о своей ксенеласии, и щедро угощали всех чужеземцев, которые случайно оказывались рядом. Банкет, устраиваемый по этому случаю, назывался Копис, и для подготовки к нему на берегу Тиасы возле храма Артемиды Кориталис были разбиты палатки. Внутри них были сложены лежа из куч трав и покрыты коврами. В день праздника кормилицы отправлялись туда с детьми мужского пола на руках и, представляя их богине, приносили в жертву несколько поросят-сосунов. На последующем пиршестве вместо современного пирога гостям подавали испеченные в печи хлебы. Хоры кориталистов, или танцующих девушек, также исполняли в честь богини; а в некоторых местах люди, называемые кириттои, в деревянных масках, устраивали развлечения для гостей.^[452] Вероятно, именно в таких случаях кормилицы, как и она в "Ромео и Джульетте", давали волю своим распутным языкам и предавались обзывательствам, которые сохранила толерантная античная литература.^[453]

Когда детей нужно было отлучать от груди, они, как и современные люди, намазывали сосок чем-то горьким,^[454] чтобы юный республиканец мог рано научиться тому, как...

"Полно в фонтане радостных источников

И в цветок горький вливает свой яд".

373. Особенно это касается сына. Char. p. 307.

374. Sch. Aristoph. Lysist. 757.

375. Etym. Mag. 89. 54.

376. Suid. in v. t. i. p. 214. d.

377. Hesych. in. v. δρομιάφιον. Meurs. Græc. Fer. p. 20. Brunck, in Aristoph. Av. 922.

378. Harpocrat. in v. Cf. not. Гронов. стр. 26.

379. Hesych. ap. Meurs. Græc. Fer. p. 20.

380. Potter, ii. 322.

381. Athen. ix. 10. Cp. Ludovic. Nonn. De Pisc. Esu. c. 7. p. 28.

382. Cp. Aristoph. Lys. 700. cum not. et schol.-Plaut. Truc. ii. 4. 69.

383. Semel. fr. 203. Hy.

384. Meurs. Gr. Fer. p. 21.

385. Alex. ab Alex. 99. a.

386. Harpocrat. v. Ἐβδομ. p. 92. Cp. Lomeier, De Lustrat. Vet. Gentil. c. 27. p. 327. sqq.

387. Hist. Anim. vii. 12. Bekk.

388. Suid. v. Ἀμφιδ. t. i. p. 214. d.

389. Isæus, Pyrrh. Hæred. § 5. Dem. Adv. Bæot. §§ 6, 7. Lys. in Harpocrat. v. Ἀμφιδρομ. p. 19.

390. Ægei. Frag. i.

391. Aves, 922. seq.

392. Græc. Feriat. p. 22.

393. Polyæn. Strat. vi. i. 6.

394. Suid. v. Δεκάτην ἐστιάσαν, t. i. p. 654. c. d.

395. Harpocrat. v. Μείον, Poll. iii. 53. Schol. ad Aristoph. Ran. 810. Etym. Mag. 533. 37. Meurs. Lect. Att. iii. 1.

396. Palmer, Exercit. p. 754. Sluiter. Lect. Andocid. c. i.

397. Isæus de Pyrrh. Hæred. § 5.

398. Аристоф. Ав. 284.

399. Plat. Rep. l. i. t. vi. p. 9.

400. Dem. c. Macart. § 17. Taylor, Lect. Lysiac. c. 5.

401. См. в Winkel. iii. p. 248 рассказ о картине, изображающей эту операцию.

402. Il. i. 552. seq.

403. Поттер, ii. 225.

404. Odyss. т. 406. sqq.

405. Athen. xiii. 51.

406. Anim. ad Athen. t. xii. p. 170.

407. Когда дело обстояло иначе, врачи рекомендовали множество средств, среди которых был халимос, колючий кустарник, растущий у северных берегов Крита.- Dioscor. i. 120. Tournefort. i. 44.

408. Arist. Hist. An. vii. 10. Foës. Œconom. Hippoc. v. Τριχίασις.

409. Hist. An. vii. 11.

410. Dioscor. ii. 21.

411. Plat. Rep. v. t. vi. p. 236.- Желание философа состояло в том, чтобы народ, или государство, считался отцом ребенка. Среди наших предков незаконнорожденные дети назывались "сыновьями народа", что в то время считалось равносильным тому, что они были ничьими сыновьями. Отсюда следующий дистих:-

Cui pater est populus, pater est sibi nullus et omnis,

Cui pater est populus, non habet ipse patrem.

Fortescue, Laud. Legg.

Angl. c. 40.

412. Repub. i. 315. Stallb.- О суровости и жестокости кормилиц замечает Телес в той любопытной картине человеческой жизни, которую он нарисовал вполне в духе меланхоличного Жака. Stob. Floril. Tit. 98. 72.

413. Ср. Cramer de Educ. Puer. ap. Athen. 9. Odyss. β. 361. seq. Terpstra, Antiq. Homer. 122. seq.

414. Плут. Alcib. § 1.

415. А если нет, то спартанский законодатель прибегнул к другим способам искоренения этих суеверных страхов в последующие годы. У лаконцев было принято умеренно пить в сисситиях, говорит Плутарх, и они возвращались домой без факела, не имея права пользоваться светом ни в этих, ни в других случаях, чтобы приучить себя ходить ночью и в темноте смело и без страха. Instit. Lacon. § 3.

416. Plut. Ликург. § 16.

417. Plat. de Legg. vii. t. viii. p. 5. Pignor. de Serv. p. 185.

418. Pignor. de Serv. p. 186. seq.

419. См. у Винкельмана, виньетка к л. iv. гл. 3. вид древних яслей, где мать, педагог, кормилица и т. д. занимаются воспитанием, т. i. с. 414. Ср. Max. Tyr. Diss. iv. p. 49. Sch. Aristoph. Eq. 713.

420. Pignor. de Serv. p. 186.

421. Schweigh. Animadv. in Athen. vi. 74.

422. Eudoc. ap. Villos. Anecd. Græc. t. i. p. 396. Tzet. ad Lyc. v. 16.

423. Mus. Real. Borbon. t. i. pl. 3.

424. Еще тогда было замечено, что дети-сосуны прорезываются гораздо лучше, чем те, которых кормят сухим способом -Aristot. de Gen. Anim. v. 8. Hist. Anim. vii. 10.

425. Sch. Arist. Acharn. 439.

426. Athen. iii. 15.

427. Геопон. xi. 18.

428. Диоскор. ii. 114.

429. Equit. 712. Casaub. ad Theoph. Char. p. 326.

430. Ilgen. de Scol. Poes. p. xxvi. Casaub. ad Theoph. Char. p. 204. seq.

431. De Serv. p. 186. seq. Ср. Athen. xiv. 10.

432. Распространенная среди наших предков присказка кормилицы может не случайно найти здесь свое место:

"Теперь соси, дитя, и спи, дитя, радость матери твоей,

Ее единственное сладкое утешение, чтобы утолить все раздражения;

За красоту, превосходящую лазурный небосвод,

Я люблю тебя, мой милый, как шар моего глаза".

Д'Израэль, Amenities of

Литература ii. 287.

433. Theoc. Eidyll. 24. 7. sqq.

434. Квинтилий. i. 10.

435. Instit. Orat. i. 1.

436. Квинтилий. Inst. Orat. l. x. c. i. Herod. ii. 2.

437. См. в Mus. Cortonens. pl. 35. фигуру кормилицы, несущей младенца Вакха.

438. Макс. Тип. Diss. xi. p. 132.

439. Phot. Biblioth. 31. l. 11. Менаж проникательно полагает, что Baby, Babble и т. д. произошли от Babel.- D'Israeli, Amenities of Literature, i. 5.

440. Pignor. de Serv. p. 187. Sch. Aristoph. Nub. 1365.-Pac. 119.

441. Lil. Гиральд. Синт. xii. Hist. Deor. 361 и далее. Ср. Лукиан. Ver. Hist. lib. 2 § 46. Этот призрак, как говорят, скользит перед глазами людей, празднующих обряды посвящения, и поэтому мать Эсхина, которая принимала участие в обрядах, а также являлась посвященным, Демосфен с большим дурным вкусом назвал Эмпузой (Empusa) - De Coronâ, § § 41. 79. Адам Литтлтон в своем Кембриджском словаре предполагает, что это было ее настоящее имя, которое, однако, было Глаусис или Глаукотея. Stock. and Wunderl. ad loc. Ср. Harpoc. in. v. Sch. Aristoph. Concion. 1056. Ran. 293, 294. ὁρᾷ τὸν Αἰσχίνην ὃς τυρπανιστρίας υἱὸς ἦν. Лукиан. Somn. § 12.

442. Эта богиня была также известна под именем Артемиды Фосфорос. Аристоф. Concion. 444 et schol.

443. Aristoph. Ran. 293. Epicharm. ap. Nat. Com. p. 854. См. также Sch. Apol. Rhod. iii. 478. iv. 247.

444. Meurs. Lect. Att. iii. 17.

445. Филост. Вит. Аполл. Tyan. l. ii. c. 2.

446. См. De Boot, De Lap. p. 251. sqq. о свойствах и достоинствах этого камня.

447. Sch. Aristoph. Vesp. 1035. Philost. Вит. Аполл. Тиан. iv. 25.

448. Схол. Аристоф. Vesp. 1035.

449. Lil. Gyrald. Hist. Deor. Synt. xv. 447. seq.

450. Схол. Аристоф. Plut. 279.

451. Афины. iv. 16.

452. Meurs. Græc. Fer. 261. seq.

453. Casaub. ad Theoph. Char. 161.

454. Athen. vi. 51.

ГЛАВА III.

ИГРУШКИ, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ.

Описав, насколько это возможно, управление младенцами и маленькими детьми, не лишним будет кратко остановиться на их игрушках, спорте и развлечениях; ибо, хотя дети во все века и во всех странах были в основном одинаковы, формы их развлечений были бесконечно разнообразны, и там, где они были похожи друг на друга, не менее поучительно отметить это сходство. Древние^[455], однако, завещали нам очень мало сведений о хрупких орудиях, с помощью которых в значительной степени было построено счастье яслей. Даже о развлечениях, которые сменяли и развлекали досуг мальчиков, наши материалы для составления картины скудны, так что мы вынуждены довольствоваться лишь набросками. Тем не менее, несмотря на скудость сведений, дошедших до потомков, они придавали большое значение самому предмету, так что величайшие законодатели и философы

снисходили до того, что издавали правила, касающиеся его. Так, Платон, стремясь воспитать глубокое почтение к древним национальным институтам, запретил варьировать с безрассудным непостоянством даже досуг мальчиков; ведь привычка к новшествам, однажды заложенная в характере, впоследствии будет продолжать оказывать на него влияние, так что те, кто в детстве без причины менял свои виды спорта, в зрелом возрасте без колебаний протянут свои смелые руки к законам и институтам своей страны.^[456]

Среди эллинов самая ранняя игрушка состояла, как и в большинстве других стран, из погремушки, которая, как говорят, была изобретением философа Архитаса.^[457] К ней добавились разноцветные шары^[458] с маленькими колесницами, которые иногда покупали в Афинах на ярмарке во время праздника Зевса.^[459] Обычная цена подобных игрушек, по-видимому, составляла обол. Сами дети, как можно с уверенностью предположить без всякого авторитета, занимались возведением стен из песка,^[460] строительством маленьких домиков,^[461] строительством и резьбой кораблей, вырезанием тележек или колесниц из кожи, в придании кожуре граната формы лягушки,^[462] и в формировании из воска тысячи уменьшительных изображений, за что впоследствии в школьные часы их время от времени подвергали жестоким наказаниям.^[463]

Другим развлечением, которое дети Эллады делили со старшими, были куклы,^[464] которые, вероятно, были изобретением самой далекой древности. Многочисленные женщины, по-видимому, зарабатывали себе на жизнь тем, что таскали из деревни в деревню эти смешные и забавные изображения, которые обычно были около локтя в высоту, и могут считаться законными предками Панча и Джуди. Прикоснувшись к одной струне, скрытой от зрителей, оператор мог привести немых исполнителей в действие, заставить их последовательно двигать всеми конечностями, разводить руки, пожимать плечами, поворачивать шею, закатывать глаза и, казалось, смотреть на зрителей.^[465] После этого, с помощью других приспособлений внутри изображений, их можно было заставить пройти через множество юмористических эволюций, напоминающих движения танца. Эти экспоненты, часто мужского пола, были известны под названием *Neurospastæ*. Это искусство вместе с другими греческими изобретениями перешло в Италию, где оно было знакомо публике уже во времена Горация, который, говоря о принцах, управляемых фаворитами, сравнивает их с марионетками в руках шоумена.

"Tu, mihi qui imperitas, aliis servis miser; atque

Duceris, ut nervis alienis mobile lignum."

Необыкновенная кукла в виде серебряного скелета была, по словам Петрония Арбитра,^[467] выставлена при дворе Нерона; как и египтяне, этот императорский распутник, похоже, был возбужден чувственных удовольствий воспоминанием о могиле: "Давайте есть и пить, - кричал он, - ибо завтра мы умрем". Скелет, поставленный на стол, в разгар оргии тирана странно раскидывал конечности и с удивительной гибкостью изгибался в различных позах, которые раз за разом повторялись, а потом вдруг перестали двигаться, и хозяин пиршества воскликнул: "Увы, увy! Какое ничтожество - человек! Такими же должны быть и мы все, когда Оркус унесет нас отсюда. Поэтому давайте жить, пока удовольствие в наших силах". Но вернемся к детям Эллады. Одним из самых ранних видов спорта греческого мальчика была порка бембикса или топа,^[468] которая, по-видимому, обычно практиковалась на открытых пространствах, возникающих на пересечении нескольких дорог: - "Там, где встречаются три дороги, мальчики с плетью наперевес".

"Там, где сходятся три дороги, можно встретить мальчиков с верхушками,

Которые бьют плетью и толкают их туда-сюда"

Иногда, как и у нас, они крутили свои верхушки с помощью шнура. Тибулл описывает это развлечение так:^[470]

"Namque agor, ut per plana citus tota verbere turben,

Quem celer assuetâ versitat arte puer."

Обруч, столь знакомый нашим школьникам, также был одной из игр эллинских детей. Иногда его делали из бронзы, диаметром около трех футов,^[471] и украшали маленькими шарообразными колокольчиками и подвижными кольцами, которые звенели, когда он катился. Этот инструмент использовался для того, чтобы

"скорость катящегося круга".

как выражается Грей в своих воспоминаниях об Итонской игровой площадке, был изогнут в острие и назывался плектром: его точную копию можно в любой день, в подходящее время года, увидеть на улицах Лондона, побуждающую к движению железный обруч наших собственных детей. Отрывки античных авторов, в которых упоминается трохо, по-видимому, были плохо поняты до обнаружения бассо-релиево, выполненного из мрамора, на дороге из Рима в Тиволи, впоследствии перенесенного в виноградник кардинала Александра Альбани. На некоторых гравированных геммах, хранящихся в кабинете Стоша, есть несколько изображений мальчиков, играющих в обруч, где трохо в одних случаях доходит до талии, в других - до груди, и где ребенок очень маленький до подбородка. Винкельманн предположил,^[472] что круг, изображенный на одной из картин Геркуланума, был не чем иным, как древним трохосом. Катание обруча составляло часть упражнений палестры, которые выполняли даже совсем маленькие дети. Так, кормилица описывает сыновей Медеи, вернувшихся после игры в обруч в тот самый день, когда они были убиты своей матерью.^[473] Это развлечение кратко описано римскими поэтами. Так, Марциал:^[474] -...

"Garrulus in laxo cur annulus orbe vagatur

Cedat, et argutis obvia turba trochis."

Проперций^[475] обращает внимание на кривую форму плектра, или клависа:-.

"Increpat et versi clavis adunca trochi".

Гораций^[476] также упоминает эту игру:-.

"Indoctusque pilæ discive trochive quiescit".

Этот поэт ясно сообщает нам, что римляне получили игру от греков:^[477] -.

"Ludere doctior,

Seu Græco jubeas trocho,

Seu malis vetita legibus alea".

Другим менее невинным развлечением было^[478] прядение золотых ключей, что, по-видимому, доставляло греческим ежам такое же удовольствие, как мучение петухов их северным приемникам. Этот вид жуков, появляющийся в период цветения яблонь, назывался *Melolanthé*, или яблоневый цветок. Поймав его и привязав к его лапкам льняную нить, его

отпускали на волю, и было весело наблюдать, как он движется по спирали в воздухе, когда его закручивает нить.^[479]

У детей Греции было принято, когда солнце заслонялось облаком, восклицать: "Ἔξεχ' ὦ φίλ' ἥλιε!" - "Выходи, любимое солнце!". Стратис ссылается на этот обычай во фрагменте своей Phoenissæ:-.

"Тогда бог прислушался к крикам мальчиков,

Когда они воскликнули: "Выходи, солнце любимое!"

К счастью, наши английские мальчики не испытывают такой страсти к солнцу; иначе, поскольку бог Аполлон месяцами скрывает свое лицо в этом благодатном климате, мы оказались бы в худшем положении, чем Дионис среди лягушек Ахерона, когда его страсть к Еврипиду заставила его навестить Персефону. В некоторых частях страны, однако, у детей есть грубый дистих, который они часто выкрикивают хором, когда в летнее время их занятия спортом прерываются продолжительным ливнем: - "Дождь, дождь, иди в Испанию!

"Дождь, дождь, уезжай в Испанию;

Хорошая погода, приезжай снова".

Муинда - это наш "слепец-буфф", "слепой хоб", "слепой хоббл" и "слепой худ-мен", в которых, как и у нас, мальчик передвигался с перевязанными глазами, раскинув руки, и кричал "Осторожно!". Если он ловил кого-нибудь из тех, кто скакал вокруг него, то пленник был вынужден вместо него изображать слепца. Другая форма игры заключалась в том, что провидцы прятались, а слепой рыскал вокруг, пока не находил их; все это, вероятно, было грубым изображением Полифема в его пещере, ищущего ослепивших его греков. Третья форма заключалась в том, что прохожие били или трогали мальчика с завязанными глазами до тех пор, пока он не мог сказать, кто его трогал, и тогда указанный человек занимал его место. На это ссылались римские солдаты, когда завязывали глаза Спасителю и били его, восклицая: "Пророчествуй, кто ударил тебя". В "Коллабизме",^[482] французском "Капифолете", один человек закрывал глаза своими руками, а другой наносил легкий удар, и смысл заключался в том, чтобы человек с завязанными глазами угадал, какой рукой он был поражен. Χαλκή Μυῖα,^[483] или Brazen Fly, была разновидностью Blindman's-buff, в которой мальчик, завязав глаза филейной частью, ходил по кругу, восклицая: "Я ищу Brazen Fly". Его товарищи ответили: "Можешь искать, но не найдешь", - одновременно ударяя его шнурами из внутренней коры папиросы; и так они продолжали, пока один из них не был схвачен. В аподидраскинду ("прятки" или "уп и холлоа!") играли так же, как и сейчас. Один мальчик закрывал глаза, или их закрывал для него один из его подозрительных товарищей, а остальные прятались. Затем он отправлялся на поиски затаившихся, а каждый из них старался занять место ищущего; первый, кому это удавалось, выдавал его и занимал его место.

Другой игрой был эфедрисмос, в котором камень, называемый диорос, устанавливался на определенном расстоянии, и в него целились чашами или камнями. Тот, кто промахивался, брал удачливого игрока на спину и вынужден был нести его с завязанными глазами, пока тот не проходил прямо от точки стояния до Диороса. Эта последняя часть игры была описана несколькими древними авторами под названием Encotyle, хотя они справедливо, по мнению Гесихия,^[484] рассматриваются как разные части одного и того же вида спорта.

Разновидность, называемая Encotyle, - "Pick-back" или "Pick-a-back" английских мальчиков - заключалась в том, что один мальчик закладывал руки за спину и получал в них колени

своего победителя, который, накладывая пальцы на глаза носителя, водил его по своему усмотрению. Эта игра также называлась "Кубезинда" и "Гиппас"^[485], хотя, по предположению доктора Хайда, последнее название означало скорее нашу игру в "прыгающую лягушку" - "мазиду" персов, в которой несколько мальчиков опускались, опираясь руками на колени, в ряд, причем последний перебирался через спины всех остальных, а затем вставал первым.

В игре под названием Chytrinda, в английском^[486] "Hot-cockles", "Selling of pears" или "How many plumbs for a penny", один мальчик сидел на земле и назывался chytra или pot, а его товарищи, образовав кольцо, бегали вокруг, отщипывая, щипая или ударяя его на ходу. Если тому, кто изображал читру, удавалось схватить одного из буфетчиков, пленник занимал его место. Возможно, именно во время этого спектакля озорной подкидыш, вопреки правилам толкнувший ногой мальчика, стоявшего в центре, вызвал у последнего язвительный вопрос: "Что! Ты пинаешь свою мать в живот?", ссылаясь на то, что та была выставлена в читре.^[487] Другая форма читринды требовала, чтобы мальчик в центре двигался с горшком на голове, где он держал его левой рукой, а остальные били его и кричали: "У кого горшок?". На что он отвечал: "Я Мидас", стараясь все время дотянуться до кого-нибудь ногой, - первый, кого он таким образом коснулся, был вынужден нести горшок вместо него.^[488]

Другой игрой, свойственной девочкам, была "чели челоне", или "черепаха", аналогов которой я не помню среди английских забав. Она несколько напоминала "Читринду" мальчиков. Одна девочка садилась на землю и называлась черепахой, а ее подруги, бегая вокруг, спрашивали: "Черепаха, что ты делаешь там, в середине?". "Пряду шерсть, - отвечала она, - нить милезийского полотна"; "А чем, - продолжали они, - занимался твой сын, когда погиб?" "Он спрыгнул со своих белых коней в море". Если это, как следует из языка, дорийская пьеса, я должен считать ее практической сатирой на привычки других эллинских женщин, которые, как черепахи, сидели дома, чесали и пряли, пока их сыновья занимались упражнениями в палестре или на стадионе. Возможно, также, что первоначально название имело некоторую связь с καλλιχέλωνος "красивая черепаха", фигура этого животного была изображена на деньгах пелопоннесцев; в самом деле, во фрагменте Эвполисских гелотов мы находим оболос, отличающийся эпитетом καλλιχέλωνος.^[490]

Кинитинда была названа так от глагола κυνέω целовать, как явствует из "Игр" Кратеса, пьесы, в которой поэт ухитрился представить рассказ об этом и почти всех других юношеских забавах. Форма этого вида спорта малоизвестна, поэтому ученые иногда путают его с приветствием, которое в античности называлось "читра", а в современной Италии - "флорентийский поцелуй", когда целующийся брал другого за уши. Джиральди^[491] рассказывает, что в детстве он помнит, как его отец и другие друзья, целуя его, иногда брали его за оба уха, что они называли "флорентийским поцелуем". Впоследствии он с удивлением обнаружил, что это древнейшая практика, о которой упоминают как греческие, так и латинские авторы. Свое название она получила, как он полагает, от глиняного сосуда под названием читра, который имел две ручки, за которые обычно держались пьющие из него люди, как это до сих пор принято в Испании с подобной посудой. Этот писатель упоминает о подарке, присланном с полуострова Льеву Х, состоявшем из большого количества красных гончарных сосудов, если их можно так назвать, из которых он сам получил один. Кратес, как изобретательно полагает Хемстерхуис^[492], представил распутную женщину, играющую в эту игру среди юношей, чтобы она могла наслаждаться поцелуями красивых.

Эпостракизмос^[493] - это то, что английские мальчики называют "Утки и драки", а иногда, по крайней мере у наших предков, "Утка и драка и белый грошовый пирог", и играли в него устричными раковинами. Стоя на берегу моря в Пейре, например, они бросали раковины в воду так, чтобы они ударялись о нее и снова и снова взлетали вверх с ее поверхности. В игре

побеждал тот мальчик, чья раковина совершала больше всего прыжков, прежде чем погрузиться в воду. Минуций Феликс дает очень красивое описание этого юношеского вида спорта. "Вот, - говорит он, - мальчики, играющие в резвом соперничестве с ракушками на морском берегу. Игра состоит в том, чтобы подобрать с берега раковину, ставшую легкой от постоянного воздействия волн, и, стоя на ровном месте, наклонив тело, держать раковину плоской стороной между пальцами и бросать ее с максимально возможной силой, чтобы она рассекала поверхность моря или проносилась по нему, двигаясь мягким потоком, или проглядывала над вершинами волн, когда они вскакивают на ее пути. Тот мальчик считается победителем, чья раковина проделает самый длинный путь или сделает больше всего прыжков, прежде чем утонет."

Акинетинда - это состязание между мальчиками, в котором один из них старался сохранить свою позицию непоколебимой. Хорошим развлечением должна была стать следующая игра под названием Schœnophilinda, или "Прячущий веревку". В ней несколько мальчиков садились в круг, у одного из них была спрятана веревка, которую он старался незаметно бросить рядом с одним из своих товарищей. Если ему это удавалось, неудачливый парень пускался, как заяц, по кругу, а его противник следовал за ним и обнимал за плечи. Но, с другой стороны, если тот, против кого был задуман заговор, обнаруживал его, он получал в свое распоряжение веревку и с удовольствием порол заговорщика на той же дистанции.

Василинда^[495] - игра, в которой один из участников по жребию получал звание короля, а побежденные, будь то один или много, становились его подданными и делали все, что он прикажет. Она перешла к христианам и особенно часто практиковалась во время праздника Богоявления. Он широко известен под названием "неустойка", а раньше назывался "один пенни", "один пенни иди за мной", "вопросы и команды", "выбор короля и королевы в двенадцатую ночь". В последнем значении он до сих пор распространен во Франции, где у пекарей принято делать подарок семьям, которые они обслуживают, в виде большого торта в форме кольца, в котором спрятан маленький почечный боб. Торт разрезается, кусочки распределяются по компании, и тот, кому достанется боб, становится королем праздника. В Греции эта игра вошла и в развлечения взрослых людей, как мужчин и женщин, так и детей, и с ней связан анекдот о Фрине, которая однажды оказалась на смешанной вечеринке, где в нее играли. По воле случая ей выпало играть королеву; заметив, что ее спутницы грубы и сиреневы на вид, она злобно приказала принести таз и полотенце, чтобы каждая женщина умыла лицо. Сознавая собственную красоту, она приступила этой операции и выглядела только свежее и прекраснее. Но, увы, остальные! Когда анчуса, псиммутион и пхукос были удалены водой, их веснушчатая и грубая кожа подверглась всеобщему смеху.^[496]

Остракинда была игрой чисто юношеской. Комок мальчиков, проведя на земле черту, разделялся на две партии. Затем изготавливался небольшой фаянсовый диск или остракон, одна сторона которого была черной от смолы, а другая - белой, и каждая сторона выбирала себе сторону, белую или черную. Диск бросали вдоль линии, и та сторона, которая оказывалась наверху, считалась победившей и готовилась к преследованию, а остальные разворачивались и убегали. Мальчик, пойманный первым, получал имя осла, и его заставляли сесть, игра продолжалась до тех пор, пока все не были пойманы и поставлены в положение hors de combat. Тот, кто бросал остракон, кричал "ночь или день": черная сторона называлась *ночью*, а противоположная - *днем*. Это называлось "кручение остракона". Платон упоминает о нем в "Федресе".^[497]

Диелькустинда, "французская и английская", игралась главным образом в палестре, а иногда и в других местах. Она заключалась в том, что две партии мальчиков брали друг друга за руки

и тянули до тех пор, пока один за другим более сильный не перетягивал слабого на свою сторону земли.

Фригинда - игра, в которой, держа несколько гладких и тонких осколков керамики между пальцами левой руки, они последовательно ударяли по ним правой, чтобы, по-видимому, создать некое подобие музыки.^[498]

Была еще одна игра под названием "киндалисмос", в которую играли короткими дубинками и которая требовала значительной силы и быстроты глаза. Палку закрепляли в рыхлой влажной земле, и задача заключалась в том, чтобы выбить ее, бросая в нее другие дубинки с расстояния; отсюда пословица: "Гвоздь выбивается гвоздем, а дубинка дубинкой".^[500] Человек, игравший в эту игру, назывался некоторыми дорическими поэтами *Kyndalopactes*. В Англии играют в похожую игру, в которой приз кладется на верхушку вертикальной палки. Игрок выигрывает, когда приз падает без отверстия, из которого была выбита палка.

Игра "Асколиасмос"^[501] разветвилась на несколько разновидностей и доставляла афинским деревенщинам немалое удовольствие. Первая и самая простая форма заключалась в прыжках на одной ноге, иногда в паре, чтобы посмотреть, кто из них сможет пройти дальше всех. В других случаях прыгун стремился обогнать некоторых своих товарищей, которым разрешалось использовать обе ноги. Если ему удавалось догнать одного из них, он выходил победителем. Эта разновидность игры, по-видимому, была "*Empusæ ludus*" римлян. "Шотландские попрыгунчики", или "Лиса в нору", в которой мальчики, прыгая на одной ноге, били друг друга перчатками или кусками кожи, привязанными к концу веревки, или завязанными платками, как в *diable boîteux* французов. В других случаях победа зависела от количества прыжков: все прыгали вместе и считали свои пружины, - побеждал, конечно, тот, кто был выше. Но самой забавной разновидностью игры была та, что практиковалась во время дионисийского праздника в Асколии. На землю клали шкуры, наполненные вином или надутые воздухом и очень хорошо смазанные маслом, и на них прыгали на одной ноге необутые деревенщины, стараясь удержаться на ногах, что им редко удавалось из-за их скользкости. Однако тот, кому это удавалось, уносил с собой шкуру с вином в качестве приза.

Игра, очевидно, тоже деревенская, - *Trygodipthesis*, *Tantali ludus*, "Ловля вишни", "Боб вишни", в которой в чашу с винным отстоем бросали что-нибудь очень вкусное, и исполнитель, заложив руки за спину, должен был вылавливать это губами. Забавно было наблюдать за смехотворной фигурой, которую он изображал с лицом, вымазанным и обесцвеченным выжимками.

Phitta Maliades, *Phitta Meliai*, *Phitta Rhoiai*, "Спешите, нимфы!" можно рассматривать как возгласы поощрения, произносимые дорийскими девушками, когда они участвовали в скачках.^[502]

Игра в мяч была широко распространена и получила различные названия. Эпискирос, Фенинда, Апорраксис и Урания. Первая из этих игр была также известна под именами Эфебика и Эпикойнос. Играли в нее так: несколько юношей, собравшись вместе на площадке, покрытой песком или пылью, проводили через нее прямую линию, которую называли Скайрос, и на равных расстояниях по обе стороны от нее еще одну линию. Затем, положив мяч на скайрос, они делились на две равные партии и отступали каждая на свою линию, откуда сразу после этого бросались вперед, чтобы схватить мяч. Тот, кто подбирал мяч, бросал его в сторону крайней линии противоположной стороны, чьим делом было перехватить его и бросить обратно, и побеждали те, кто силой или хитростью заставлял своих противников переступить пограничную линию".

Дэниел Соутер^[503] утверждает, что это была английская игра в футбол, в которую, возможно, со временем она была преобразована. Этот грубый и, надо признаться, несколько опасный вид спорта, первоначально, по всей вероятности, завезенный в эту страну римлянами, до сих пор можно наблюдать в масленичный вторник в некоторых городах Южного Уэльса. Шары состоят из бычьих мочевого пузыря, защищенных толстым слоем кожи, и туго надуваются. Для этого случая готовят шесть или восемь шаров, к рассвету закрывают все окна в городе, и в это время вся молодежь из окрестностей собирается на улицах. Мяч бросают перед ратушей, и толпа, разделившись на две части, с невероятным рвением и энтузиазмом пытается одолеть своих противников, каждый из которых старается отбить мяч ногой на другой конец города. В ходе борьбы наносятся сильные удары и ранения, происходит множество ожесточенных сражений. Мяч иногда поднимается на тридцать или сорок футов над верхушками самых высоких домов и падает далеко за их пределы, или же летит прямо в сады, где за ним немедленно следует толпа молодых людей. Игра продолжается весь день, а изголодавшиеся участники время от времени восстанавливают силы обильными рогами эля и обильным количеством вкусных блинов, которые женщины продают в корзинах на углу каждой улицы. Чтобы посмотреть на этот вид спорта, тысячи людей собираются со всей округи, так что для уединенного населения этих районов он в некотором роде то же самое, что битва в Платанидах для спартанцев, или даже то, чем были Истмийские и Немейские игры для всей Греции.

Предполагается, что Фæнинда^[504] получила свое название либо от своего изобретателя Фæнида (называемого Фæнестом в "Атене" ^[505] и Etymologicon Magnum), или от глагола $\Phi\epsilon\nu\alpha\kappa\acute{\iota}\zeta\epsilon\iota\nu$ ^[506] "обманывать", потому что, делая вид, будто бросают в одного человека, они тут же посылали его в другого, тем самым обманывая ожидания первого. По-видимому, сначала в нее играли маленьким мячом, называемым арпастоном, хотя впоследствии игра с большим мягким мячом, возможно, также называлась фениндой. Разновидность игры под названием Aporaxis заключалась в том, что мяч с некоторой силой бросали о землю и постоянно отталкивали, когда он отскакивал; тот, кто делал это чаще других, выигрывал. В игре под названием Ourania игрок, отклоняясь назад, подбрасывал мяч всей своей силой в воздух; при этом среди его товарищей возникал спор, кто первым поймает его во время падения, о чем, по-видимому, упоминает Гомер в своем описании этого фейского вида спорта. Они также играли в мяч на современный манер у стены, в которой побеждал тот, кто дольше всех держался, и назывался царем; тот, кто проигрывал, получал имя осла и по законам игры был вынужден выполнять любое задание, поставленное перед ним царем.^[507]

В гимназиях обычно играли в скаперду. В ней устанавливали столб с отверстием в верхней части и пропускали через него веревку. Два молодых человека брались за один конец веревки и, повернувшись спиной к столбу, изо всех сил тянули своего противника вверх по балке. Побеждал тот, кто поднимал своего противника выше. Иногда они испытывали свои силы, связывая себя вместе, спина к спине, и тянули в разные стороны.

Гимантелигмос, "укалывание подвязки", в Ирландии "укалывание петли", был действительно гениальным развлечением. Она заключалась в том, что стринги складывались вдвое и скручивались в многочисленные лабиринтные складки, после чего другая сторона вводила конец колышка в середину в поисках точки дублирования. Если он промахивался, то нить разматывалась, не опутывая колышек; если же он опускал ее в нужное кольцо, то колышек попадался, и игра была выиграна. Хемстерхуис^[508] полагает, что Гордиев узел был не чем иным, как разновидностью Гимантелигмоса. Он предполагает, что мальчики Абдеры увлекались этой игрой, по причине чего софизмы Демокрита назывались $\dot{\iota}\mu\alpha\tau\epsilon\lambda\acute{\iota}\kappa\tau\epsilon\alpha\dot{\iota}$, и

поэтому, вероятно, софист, как тот, кто скручивает слова вместе, чтобы *поколотить* других, назывался Гимантеликтеем.

Другой игрой, не совсем предназначенной для детей, была "мелочь", которая заключалась в том, чтобы быстро крутить на доске или столе денежную купюру и так ловко класть острие пальца на ее верхний край, чтобы остановить ее движение и не дать ей упасть. Это было любимым развлечением гетеры Фрины, как строительство карточных домиков было любимым развлечением красавицы Стюарт.^[509] Некоторые из этих видов спорта были свойственны женскому полу,^[510] как пенталита, в которую до сих пор играют девушки в некоторых отдаленных провинциях нашего острова, где ее называют "денди". Весь аппарат игры состоял из пяти астрагалов - костяшек пальцев - камешков или маленьких шариков, которые, быстро набирая, подбрасывались в воздух и пытались поймать, падая на тыльную сторону руки или между слегка расставленными пальцами. Если таковые падали, их разрешалось подбирать, при условии, что это делалось пальцами той же руки, на которой лежали остальные астрагалы.^[511] Девушки Франции, по словам Бюленгера, до сих пор развлекаются пенталитой, в которую играют пятью маленькими стеклянными шариками, которые подбрасываются в воздух и ловятся так ловко, что редко падают либо на стол, либо на землю. Однако я никогда не видел, как в нее играют в этой стране.

Астрагалы,^[512] которые римляне называли *talorum* или *taxillorum ludus*, (по Гайде через греческое *τάσσαντος*, происходящее от гебрейско-пунического *Assila*,) у арабов *Ка'б* или *Шезн*, у персов *Шеш-бужул бази*, у турок *Депшельм*, (в которую играют в их стране как девочки, так и мальчики), у французов *Гариньон* или *Оселец*, в английском "*Cockall*". В игре астрагалов персы, как следует из приведенного выше названия, часто используют шесть костей, в то время как греки - только четыре, которые бросают либо на стол, либо на пол. Согласно Лукиану,^[514] кости для астрагала иногда использовались кости африканской газели.

Несколько сторон астрагала или косточки-буравчика выражали свой характер цифрами и получали отдельные названия, которые определяли ценность броска.^[515] Так, сторона, показывающая монету, называлась Собакой, противоположная сторона - Киясом, а бросок - Хиосом. В кокалле, как и в игральных костях, нет ни двоек, ни пятерок. Наибольшее число, шесть, называлось коан (*συνορίκδς* или *ἑξίτης*); собака или один назывались чиан или собачий шанс; на это указывала старая пословица *Κῶος πρὸς χῖον*, шесть к одному. Выпадение собаки означало проигрыш, отсюда, возможно, и выражение "идти к собакам", то есть играть в проигрышную игру. Бросок восьмерки назывался "Стесихорос", потому что могила поэта в Гимере представляла собой идеальный восьмиугольник. Среди сорока, сменивших тридцать в Афинах, был и Еврипид, и поэтому, если бросок астрагалов достигал сорока очков, они присваивали ему имя Еврипида. У всех животных, у которых встречается астрагал, он находится в хюге или бараньей части задних ног. *τὸ πρᾶνξ* - двуглавая сторона или пустая, потому что она не имеет никакого значения; *τὸ κοῖλον* - полая сторона или "поставленная"; *χῶα* - извилистая сторона, "кокалл" или "возьми все", названная так потому, что она выигрывает ставку; гладкая сторона *τα χῖα* - "возьми половину", потому что из поставленных денег она выигрывает половину. У греков и римлян *поставленные* деньги назывались *trias*, пустые - *tetras*, полумонас - *half-monas*, а кокарда - *hexas*.^[516] У арабов они называются вор, баран, везир и султан; у турок - разбойник, пахарь, кихайя, или собака, и бей; у персов - разбойник, деревенский, везир и шах; у армян - вор, пахарь, управитель и господин. Число бросков у греков, по словам Евстафия, достигало тридцати пяти.^[517] Плиний^[518] говорит о работе Поликлета, изображающей голых мальчиков, играющих в эту

игру, а читатель, вероятно, помнит изуродованную группу в Британском музее, на которой мальчик, очевидно, избитый в астрагалах, кусает в отместку ногу своего победителя.

Играть в чет или нечет^[519] было обычным делом; так, мы находим у Платона описание узла мальчиков, занятых этой игрой в углу комнаты для раздевания в гимнасии. Существовал и вид гадания на астрагалах: кости прятали под рукой, а один участник угадывал, четные они или нечетные. В эту же игру иногда играли бобами, грецкими орехами или миндалем, или даже деньгами, если верить Аристофану, который описывает некоторых слуг, играющих в чет или нечет золотыми статерами.^[520] Была игра под названием *Eis Omillan*,^[521] в которой чертили круг на земле и, стоя на небольшом расстоянии, бросали в него астрагалы; выигрыш состоял в том, чтобы они остались внутри кольца. Другая форма *Eis Omillan* заключалась в том, что дрессированного перепела помещали в круг, например, на стол, из которого его нужно было выгнать, постучав по нему средним пальцем. Если при ударе она взвизгивала и отступала за черту, хозяин проигрывал пари. Пьеса под названием *Tropa*^[522] также обычно разыгрывалась с астрагалами, которые бросали в небольшую яму, предназначенную для приема таких предметов при умелом броске. Обычный желудь и плоды дуба часто заменяли астрагалы в этой игре. Эфентинда, похоже, заключалась в том, чтобы бросить остракон в круг, чтобы он там остался. Скептинда заключалась в том, чтобы положить на землю остракон или кусок денег и бросить в него другой, чтобы он повернулся.^[523]

455. Платон в высшей степени верил в силу воспитания как ума, так и тела; но его система охватывала гораздо больше, чем обычно понимается под этим термином: он брал на себя заботу о младенце до его рождения и сразу после него в надежде разумно регулировать его физическое развитие. Поскольку ребенок растет больше всего в течение первых пяти лет, а в последующие двадцать его размеры редко удваиваются, он считал, что именно в это время следует позаботиться о том, чтобы не противодействовать великим импульсам природы. В это время потребляется много пищи, а физических упражнений очень мало; отсюда множество смертей в младенчестве и болезней в последующей жизни, семена которых посеяны в это время. По этой причине он поощряет буйное резвление и спорт детей, чтобы избавиться от избытка питания. *De Legg. vii. t. viii. p. 2. seq.*

456. *Plat, de Legg. vii. t. viii. p. 21. seq.*

457. Аристотель. *Polit. viii. 6. 1.*

458. Дион. *Chrysost. Nat. viii. p. 281.*

459. Аристоф. *Nub. 862. sqq. et Schol. Rav. in loc. Cp. Suid. v. Ἀραγῖς, t. i. p. 194. b. Pollux, x. 168.*

460. *Damm. v. Ἀθῦρμα.*

461. Лукиан. *Гермот. § 33.*

462. Аристоф. *Nub. 877. sqq. et Schol.*

463. *Lucian. de Somn. § 2.*

464. Buleng. de Theat. l. i. c. 36. sqq. Muret. ad Plat. Rep. p. 645. Eustath. in Odyss. δ. p. 176. Mount. Not. ad Dem. Olynth. ii. § 5. Perizon. ad Æl. Var. Hist. viii. 7. См. также статью Marionnette во Французской энциклопедии; и Caylus, Rec. d'Antiq. t. vi. p. 287. t. iv. pl. 80. no. i.
465. Aristot. de Mund. c. 6. в переводе Апулея, p. 20. Herod. ii. 48. См. Comment. ad Poll. vii. 189. Duport. ad Theophr. Char. p. 308. Этот жонглер, которого за плохое поведение изгнали из Афин, перебрался к Филиппу, у которого такие люди всегда были в фаворе. Dem. Olynth. i. § 7.
466. Sat. ii. 7. 81. seq. Plerumque simulacra de ligno facta nervis moventur.-Vet. Schol.
467. Satyric. p. 80. Helenop. 1610. Wouwer. Anim. p. 418. Эрхард. Symbol. p. 611. Plut. Conv. Sept. Sap. ch. 2. Рассказывают об ионийском жонглере, который отправился в Вавилон, чтобы совершить перед великим царем то, что он считал чудесным подвигом, а подвиг заключался в следующем: закрепив на стене длинное стальное острие и отойдя на значительное расстояние, он бросил в него несколько мягких круглых шариков из теста, причем так метко, что каждый из них был пробит, а последний шарик отбросил все остальные. Макс. Тир. Diss. xix. p. 225. Anim. ad Poll. vii. 189. p. 532.
468. Schol. Аристоф. Vesp. 1517. Diog. Laert. i. 4. 8. Cp. Hyde Nerdilud. p. 259.
469. Каллим. Ep. i. 9. seq. p. 180.
470. I. 5. 3.
471. Cp. Caylus, Rec. D'Antiq. t. vi. 318. seq.
472. Descr. des Pierres Grav. du Cab. de Stosch. 452. seq.
473. Eurip. Mod. 45. et Sch.
474. L. xiv. Ep. 169.
475. iii. 12.
476. Ars Poet. 380. где древний схолиаст, кажется, сомневается, был ли трохус обручем или верхом: "Trochus dicitur turben, qui flagello percutitur, et in vertiginem rotatur, aut rota quam currendo pueri scuticâ vel virgâ regunt."
477. Carm. iii. 24. 56. sqq.
478. Об играх, которые в настоящее время практикуются в Греции, см. Dodwell, ii. 37. sqq.; и Douglas, Essay on certain points of resemblance between the Anc. and Mod. Greeks, p. 127. sqq. Греки, стр. 127. sqq.
479. Poll. ix. 124.
480. Poll. ix. 123.
481. Это заметил Хемстерхуис, ad Poll. t. vi. p. 1173, где только его комментарий может сделать текст понятным.- Cp. Матфей, xxvi. 68. Марк, xiv. 64. Лука, xxii. 65.
482. "Jeu de la main chaude". Steph. Thes. Ling. Græc. v. Κολλαβισμός.
483. Hyde, Hist. Nerdilud. p. 266.
484. В ст. Ἐφεῶριζεν.

485. Hyde, Hist. Nerdilud. p. 241.
486. Hyde, Hist. Nerdilud. p. 263.
487. Sch. Aristoph. Thesm. 509. Но см. выше, p. 122.
488. Poll. ix. 114.
489. Poll. ix. 125.
490. Id. ix. 74. Cp. Suid. v. Καλλικολώνη t. i. p. 1359. c. Meurs. De Lud. Græc. p. 41.
491. Opp. ii. p. 880. Theocrit. v. 133. Wart.-Poll. x. 100.
492. Comment. ad Poll. t. vi. p. 1180.
493. Poll. ix. 119.
494. Себер ad Poll. t. vi. p. 1188.
495. Poll. ix. 110.
496. Гален. Protrept. § 10. Kühn. Сравните восхитительное примечание Хемстерхуиса к Poll. t. vi. p. 1066. seq.
497. Poll. ix. 111. seq. Plat. Phæd. t. i. p. 29. seq. Бекк.
498. Turneb. Advers. xxvii. 33. Poll. ix. 114. Comment. t. vi. p. 1178.
499. Vid. Vatic. Append. Притча. Cent. ii. prov. 12. et lb. not. And. Schotto. Kühn ad Poll. t. vi. p. 1190.
500. Meursius, Græc. Lud. p. 26. и вслед за ним Пфайффер, Ant. Græc. iv. p. 120. читают κινδαλοπαίκτης, что, по мнению Хемстерхуиса, противоречит авторитету МСС.
501. Phurnutus, De Nat. Deorum, c. 30. p. 217. seq. Gale.-Poll. ix. 121. Sch. Aristoph. Plut. 1130. Kust.-Meurs. Græc. Fer. p. 52; Græc. Ludibunda, p. 6.
502. Poll. ix. 127. с примечанием Хемстерхуиса.
503. Palamedes, iii. 4. p. 207. Alex. ab Alex. iii. 21.
504. Cp. Souter. Palam. iii. 3. p. 201.
505. Deipnosoph. i. 26.
506. Cp. Schweigh. ad Athen. t. vi. p. 248. seq.
507. Poll. ix. 106.
508. Ad Poll. t. vi. p. 1186. sqq. Cp. Plut. Symp. i. 1.
509. Poll. ix. 118.
510. Игра в астрагалы, правильно называемая так, была общей для обоих полов (Paus. vi. 24. 7), который видел в Элисе одну из Граций, представленную с астрагалом в руке, в то время как две ее спутницы держали одна розу, другая ветку мирта, символизируя их связь с Афродитой. Поэты иногда переносят эти земные виды спорта в олимпийские залы, где мы

видим Эроса и Ганимеда, играющих с золотыми астрагалами - ср. Apollon. Rhod. iii. 117. seq. Ср. Odys. α. 107. ll. χ. 87. и далее.

511. Poll. ix. 126.

512. Детей, по мнению Лисандра, нужно было обманывать астрагалами, а мужчин - клятвами - Plut. Lysan. § 8.

513. Hyde, Hist. Talor. § 2. t. ii. p. 314.

514. Amor. § 16. Theoph. Char. c. 5. См. Никсон. Acc. of Antiq. at Hercul. Phil. Trans. vol. 50. pt. i. p. 88. Hyde. Hist. Talor. p. 137.

515. Hyde. Hist. Talor. p. 141. sqq. Poll. ix. 100.

516. Arist. Hist. Anim. ii. 2. p. 30. Бекк.

517. Meurs. Græc. Lud. p. 7.

518. xxxiv. 19. Vid. Calcagnin, Dissert. de Talis. J. Cammer. Comment. de Utriusque Ling. c. 846.

519. Hyde, Hist. Nerdilud. p. 261.

520. Plut. 817. sqq. Cp. Sch. in loc.

521. Suid. et Hesych. in v. Poll. ix. 102. Cp. Meurs. Græc. Ludib. p. 69.

522. Cp. Meurs. de Lud. Græc. p. 61. Hesych. v. Τρόπα.

523. Poll. ix. 117.

ГЛАВА IV.

НАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ.

В Греции, как и везде, воспитание^[524] начиналось в яслях; и хотя время сильно затушевало все оставшиеся следы обучения, которое получали там дети, мы не остались в этом вопросе совершенно без информации. С самого дня своего рождения человек начинает испытывать на себе действие тех причин, которые питают его разум идеями. По мере того как его интеллект набирает силу, пять шлюзов, впускающих весь тот поток знаний, который впоследствии захлестывает его разум, расширяются, и образование вначале и в течение некоторого времени заключается в наблюдении за природой и качеством идей, передаваемых внутрь по этим каналам. Трудно сказать, когда началось реальное обучение: но среди самых ранних формальных попыток внушить традиционные знания младенческому уму было повторение матерями и нянями басен и историй, не всегда, если верить Платону, построенных с религиозной или этической целью.^[525] Они, по сути, внедряли в сознание своих детей легенды мифологии, под формами которых иногда скрывались истины величайшей важности, такие, как развил Бэкон в своей "Мудрости древних", хотя чаще, возможно, они не несли никакого полезного урока, а были просто спортивными творениями фантазии, а если и содержали какое-то моральное ядро, то оболочка, в которую оно было заключено, была слишком твердой для зубов вульгарного человека. Такова, например, легенда Гесиода о Зевсе, изувечившем своего отца Кроноса, которую, по мнению Платона,

не следовало передавать пустоголовой толпе или необученным детям, а, принеся в жертву не борова, а самую драгоценную жертву, в таинственной тайне передать немногим.

Совершенно иначе, однако, назывались басни^[526], которые, придуманные, по-видимому, Гесиодом,^[527] (по крайней мере, его "Ястреб и соловей" - самый древний пример, сохранившийся в эллинской литературе), были впоследствии рассыпаны величайшими поэтами в их сочинениях или произнесены спонтанно в экстренных случаях, чтобы предостеречь своих соотечественников от приближения тирании. Орел и лисица Архилоха^[528] прославились на всю античность, как и Конь и Олень, рассказанные Стесихором^[529] жителям Гимеры, чтобы усыпить их бдительность перед макиавеллистской политикой Гелона. Но самым полным, пожалуй, из этих древних сочинений является басня о льве, которую Евмен обратил к македонским генералам по своему приказу, когда те подверглись нападкам со стороны Антигона, который хотел убедить их распуститься.^[530]

"Говорят, - заметил принц, - что однажды лев, влюбившись в юную деву, пришел к ее отцу с предложением о браке. Старик ответил, что готов отдать ему свою дочь при одном условии: он должен вырвать себе зубы и когти, так как боится, что его величество может в брачную ночь забыться и нечаянно погубить невесту. Лев согласился на эти условия и позволил вырвать себе зубы и когти, после чего отец, видя, что лишился единственного, что делало его страшным, набросился на него с дубиной и забил до смерти". Эзоповы басни^[531], которыми Сократ за несколько дней до смерти развлекался, перелагая их в стихи,^[532] известны нам только по сравнительно современным подражаниям, а о тех, что назывались сибаритскими, мы не знаем ничего^[533] кроме названия; И хотя один схолиаст сообщает нам, что в сибаритских баснях на сцену выводились люди, как в иссопских - животные, другой утверждает прямо противоположное. Однако в более ранние и грубые века Греции эти сочинения были в большом почете, как и сейчас среди народов Востока. Для младенчества наций и отдельных людей содержащаяся в них мудрость, по сути, всегда приятна; по этой причине Мартин Лютер высоко ценил их как особенно подходящие к духу его времени.

Несомненно, мы слишком мало знаем о том, как закладывался фундамент республиканского характера в древних содружествах; но он был заложен женщиной, и на протяжении веков не мог быть заложен неправильно, о чем в полной мере свидетельствует возведенная на нем славная надстройка добродетели и патриотизма. В этом вопросе мы должны отвергнуть свидетельство академической мечты Платона. Исторические поля Марафона, Платеи, Фермопилы и тысячи других опровергают его причудливые теоретизирования, неопровержимо доказывая, что любовь к славе и независимость могли в тех самых полисах, которые меньше всего почитались, достичь триумфов, неизвестных подданным других правительств.

В семь лет^[534] мальчиков забирали из гарема и отправляли под присмотром правителя в государственную школу, что, как мы узнаем из рассказа Бедреддина Хасана, раньше было принято у арабов даже для сыновей знатных мужчин и везиров. "Когда ему минуло семь лет, его дед (Шемседдин, везир султана Египта) отдал его в руки школьного учителя, которому поручил воспитывать его с большой заботой"

Несомненно, мальчики Эллады были озорными, как и все мальчики, и много шалостей они вытворяли, несмотря на ворчливых старых рабов, приставленных к ним родителями; возможно, именно поэтому Платон считает мальчиков из всех диких зверей самыми дерзкими, заговорщическими, свирепыми и несговорчивыми.^[536] Но теперь урчи

обнаружили, что одно дело - сидеть дома под маминым крылом, а другое - под руководством дидаскалоса, да еще в школьные часы, копаться в горьких корнях знаний. Ведь греческие школьники почти не вкушали сладостей постели после рассвета. "Они вставали со светом, - говорит Лукиан, - и чистой водой смывали остатки сна, который еще задерживался на их веках". " Позавтракав хлебом и фруктами, к которым, благодаря соблазнам своих пæдагогов, они иногда добавляли вино,^[538] они отправлялись в дидаскалейон, (летом и зимой, независимо от того, пахло ли утро бальзамом, или его уродовал снег, стекавший по камням Акрополя, как мука из сита.

Аристофан оставил нам картину, нарисованную со свойственной ему гротескной энергией, как отряд аттических мальчишек зимним утром идет в школу.^[540]

"Теперь я набросаю древний план обучения,

Когда справедливость была в моде, а мудрость процветала.

Сначала скромность сдерживала юношеский голос.

Чтобы не было слышно ссор. По порядку выстроились,

Мальчики со всей округи,

Маршируя в школу, голые, хотя с неба

И снег хлопьями сыпался, как мука из сита.

Прибыв в школу и усевшись широко, учитель

Сначала научил их воспевать хвалу Афине,

"Паллас непобедимый, гроза городов!" или

"Кричи далеко и звонко" в тех же нотах.

которым научились их отцы. И если из простого тщеславия

Какой-нибудь охотник за новшествами напрягал горло

С пронзительными звуками и кряхтеньем,

как какой-нибудь сифнийский или чианский пижон.

Как это слишком модно с тех пор, как Фринис^[541]

Принесенный с ионийского воздуха, быстро бич

Посыпался на его плечи, как град, как один

Замышляя гибель муз. В Палестре

Обычай требовал, чтобы они прилично сидели,

Прилично подниматься, выравнивая песчаный пол.

Чтоб следы их формы не остались

Неприглядные на пыли. Когда они принимали ванну.

Они были скромны, их поведение было целомудренным.

За столом тоже никаких возбуждающих блюд,
не ели рыбу или анис, украденные у старших,
Петрушка, или редис, или дрозды, пробуждали
Дремлющие страсти."

Отправка мальчиков в школу преследовала две цели: во-первых, развивать и гармонизировать их ум с помощью искусств и литературы; во-вторых, так их занимать, чтобы не оставалось времени на дурные мысли и привычки. Поэтому Аристотель, перечисляя погремушку Архита среди главных детских игрушек, называет образование погремушкой мальчиков.^[543] Для того чтобы эффект был более надежным и постоянным, не допускалось никаких праздников^[544], или каникул, а нерегулярное или позднее посещение строго наказывалось.^[545] Теории, выдвинутые Монтань, Локком и другими, о том, что мальчиков нужно держать в порядке с помощью разума и убеждения, не были предвосхищены афинянами.^[546] Они считали, что для того, чтобы подчинить упрямую волю послушанию и обеспечить соблюдение полезных законов дисциплины, мастера должны быть вооружены силой исправления, и, соответственно, их учителя и гимнасиархи проверяли розгами^[547] малейшие проявления упрямства или несговорчивости.^[548]

Не менее строго вели себя по отношению к ним и их педагоги^[549] или губернаторы. Это были люди - в большинстве своем рабы, - которым в Афинах, как и во всей остальной Греции, не исключая Спарту, с ранних лет поручалась забота о мальчиках, и от чьего служения ни в каком случае нельзя было отказываться. Платон^[550] даже эти меры предосторожности считал недостаточными. В своем идеальном государстве он хотел, чтобы сами педагоги, как в Спарте, находились под строжайшим контролем, чтобы каждый гражданин был обязан следить за ними и был наделен властью исправлять их проступки, а также проступки мальчиков, находящихся под их опекой. Кроме того, должен был быть назначен генеральный инспектор, наделенный полномочиями наказывать за нерадивость, кем бы она ни была допущена. В этих вопросах взгляды афинян были, несомненно, разумными, ибо, поскольку мальчики среди них не переходили сразу из рук матери и домашней опеки в руки государства, как в Спарте, такие гувернеры были необходимы для сохранения их нравов от осквернения и загрязнения.^[551] Их главная обязанность состояла в том, чтобы вести мальчика в школу и обратно, сопровождать его в театр, на общественные игры, на форум и везде, куда он считал нужным пойти.^[552] Некоторые предполагают, что, пока мальчики находились под присмотром школьного учителя, гувернеры оставались в доме или в прилегающем здании, называемом *paedagogeion*, чтобы ожидать их возвращения; Но вывод, сделанный главным образом из названия здания, ошибочен; *paedagogeion* использовался для обозначения самой школы,^[553] и у нас есть свидетельство Платона, доказывающее, что *paedagogue*, передав мальчика дидаскалу, обычно возвращался в дом своего хозяина.

О характере этих правителей^[554] античность, похоже, передала нам больше сатиры, чем информации. Если верить некоторым авторам, забота о мальчиках поручалась не только рабам, но зачастую самым жалким и мерзким из рабов - низкого ума, развращенных нравов, - чья опека, когда они бывали угрюмы и раздражительны, могла быть не иначе как отвратительной для их подопечных, а при склонности к снисхождению - самой пагубной. Да и сами они, если бы были развращены, что могло бы иметь более дурную тенденцию, чем их собственный пример? Те, кто придерживается такого взгляда на дело, кажутся мне нелогичными и непоследовательными.^[555] Хотя и знают, что эти люди были выбраны родителями, чтобы уберечь своих детей от дурного примера, от заразы порочных манер, от соблазнов порочных товарищей, эти авторы убеждают себя, что они добровольно дали им в

спутники и опекуны людей, хуже которых невозможно найти. Разумнее заключить, что, когда эти пажи оказались недостойны возложенного на них доверия, они были достаточными мастерами лицемерия, чтобы скрывать свои пороки дома, и раскрывались перед своими юными хозяевами лишь постепенно, по мере того как их уроки приносили свои дурные плоды. Так, очевидно, что отец, которого комический писатель Платон в своем "Друге-обманщике"^[556] представил обличающим педагога, развратившего его сына, ничего не знал о его злых путях, когда отдавал отрока на его попечение.

"Юноша, негодяй, которого я вверил тебе.

Ты извратил, приучив его к мерзким привычкам.

Некогда чуждые его уму; ибо теперь он пьет

Даже по утрам, что было ему не свойственно".

С большим основанием можно предположить, что из всех домочадцев семьи для выполнения этой важной обязанности были выбраны самые стойкие и трезвые, самые привязанные, самые верные, такие, как Плавт описывает честного пæдагога.

Eademque erat hæc disciplina olim, cum tu adolescens eras?

Nego tibi hoc annis viginti fuisse primis copiæ,

Digitum longe a pædagogo pedem ut efferres ædibus,

Ante solem exorientem nisi in palæstram veneras,

Gymnasii præfecto haud mediocres pœnas penderes.

Idque ubi obtigerat, hoc etiam ad malum arcessabatur malum

Et discipulus et magister perhibebantur improbi.

Ubi cursu, luctando, hasta, disco, pugillatu, pila,

Saliendo sese exercebant magis, quam, scorto aut saviis:

Ibi suam ætatem extendebant, non in latebrosis locis.

Inde de hippodromo et palæstra ubi revenisses domum,

Cincticulo præcinctus in sella apud magistrum assideres:

Cum librum legeres. Si unam peccavisses syllabam,

Fieret corium tam maculosum quam est nutricis pallium

* * * * * Id equidem ego certo scio.

Nam olim populi prius honorem capiebat suffragio,

Quam magistri desinebat esse dicto obediens.^{[[557]]}

Лукиан, говоря о сопровождающих юношей в лучшие времена республики, также описывает их как почетную компанию, которая следовала за своими молодыми господами в школы, не с гребнями и зазеркальями, как сопровождающие дам, но с почтенными инструментами мудрости в руках, многолистыми скрижалями или книгами, записывающими славные деяния

их предков, или, если они шли к музыкальному мастеру, неся вместо них мелодичную лиру.^[558]

На самом деле военная судьба часто в те времена низводила добродетельных и способных людей до состояния рабов, когда они, естественно, были бы избраны в качестве правителей молодежи. Так, мы видим Диогена Киника, купленного богатым коринфянином, который доверил ему воспитание своих сыновей. Рассказ, который античность оставила нам о его продаже, приеме хозяином и способе обучения, был чрезвычайно кратким, поэтому мы приведем его полностью. Гермипп^[559], написавший небольшой трактат под названием "Продажа Диогена", отмечает, что когда философа выставили на рынке рабов и допросили о его квалификации, он ответил, что "может повелевать людьми", а затем, обратившись к глашатаю, велел ему спросить, есть ли среди присутствующих тот, кому нужен хозяин. Когда ему запретили сесть, он сказал: "Это не имеет значения, ведь рыбу покупают в любом виде". Он также заметил, что его удивляет, что когда люди покупают горшок или блюдо, то осматривают его со всех сторон, а когда покупают человека, то довольствуются тем, что просто смотрят на него. Впоследствии, став рабом Ксениада, он сообщил своему хозяину, что ожидает от него такого же послушания, какое люди оказывают лоцману или врачу.

Далее Эвбул, который также написал трактат об этом инциденте, рассказывает, что Диоген с особой тщательностью следил за воспитанием детей, находившихся под его опекой. Помимо обычных занятий, он учил их ездить верхом, стрелять из лука, пользоваться пращей и метать копье. Кроме того, в палестре, где, вопреки афинскому обычаю, он оставался присматривать за мальчиками, Диоген не позволял хозяину гимнасии упражнять их по примеру атлетов, но только в тех частях гимнастики, которые имели тенденцию оживлять их и укреплять их телосложение. Они также выучили наизусть,^[560] под его руководством, многочисленные фразы из поэтов и историков, а также из его собственных сочинений. Кроме того, он имел обыкновение сильно сокращать свои объяснения, чтобы их легче было запомнить. Дома он приучил их ждать себя, довольствоваться скудной пищей и пить воду, из чего можно сделать вывод, что другие пили вино. Он приучил их стричь волосы, не быть привередливыми в одежде и ходить с ним за границу босиком и без хитона, молча и с опущенными глазами.^[561] Он также выходил с ними на охоту. Со своей стороны, они очень заботились о нем и отстаивали его интересы перед своими родителями. Поэтому он состарился в семье, и они совершили над ним обряд погребения.

То, что Диоген находился в доме Ксениада, несомненно, было обнаружено во многих других частях Греции. Но большинство, как считается, было открыто для порицания; и так было везде, и так было бы, если бы они были взяты из лучших классов человечества. То есть это были люди со многими недостатками, далекими от желаемых; но о том, что их характер в целом был достойным уважения, мне кажется, свидетельствуют полномочия, делегированные им родителями. Ведь они не только могли, как мы уже говорили, прибегать к угрозам и грубым выражениям, им даже разрешалось прибегать к ударам, чтобы уберечь своих учеников от пороков, которым никто не научил бы их скорее, чем они сами, если бы их характеры были такими, как принято считать. Например, стали бы они делать пьяницу хранителем трезвости мальчика? вора - хранителем его честности? распутника - хранителем его целомудрия? грубого и грубого шута - воспитателем скромности и чистоты языка?^[562]

Дома, конечно, влияние и пример родителей превосходили все другие влияния, особенно матери, которая до самого совершеннолетия сохраняла над сыновьями величайший авторитет. Игривая иллюстрация этого содержится в "Лисисе" Платона.^[563] Сократ, расспрашивая юношу о ходе его обучения, архисложно спрашивает, не разрешалось ли ему

в гареме, как само собой разумеющееся, играть с маминой корзиной для шерсти, ткацким станком, лопаткой и челноком?

"Если бы я к ним прикоснулся, - ответил Лисий, смеясь, - то вскоре почувствовал бы тяжесть челнока на своих пальцах".

"Но, - продолжал философ, - если твоя мать или отец требуют, чтобы им что-то читали или писали, они, наверное, предпочтут твои услуги любому другому человеку?"

"Несомненно".

"И в этом случае, поскольку вы были обучены чтению и правописанию, они позволяют вам действовать в соответствии с вашими собственными знаниями. Точно так же, когда вы играете им на лире, они разрешают вам, как вам угодно, расслаблять или затягивать аккорды, касаться их пальцами или ударять по ним плектром, - не так ли?"

"Конечно".

Из этого следует, что власть родителей была равной; хотя в целом в Афинах, как жалуется Платон^[564] в другом месте, больше почитали веления матери, чем отца. Действительно, недостаток уважения к ней считался там *ne plus ultra* разврата.^[565] Отец, однако, по необходимости принимал значительное участие в обучении и нравственном воспитании сына,^[566] который дома извлекал пользу из его разговоров, а достигнув соответствующего возраста, сопровождал его за границу.^[567] Когда дети становились сиротами, республика брала их под свою защиту, не считая безопасным вверять их единоличному руководству мастеров или педагогов.

Также заботились о том, чтобы общественные школы, созданные для развития добродетели и нравственности, сами не превратились в питомники порока. По закону^[568] их запрещалось открывать до восхода солнца, а закрывать на закате; в течение дня туда не могли входить никакие другие люди, кроме учителей,^[569] хотя из некоторых диалогов Платона следует, что это постановление соблюдалось не очень строго.^[570] Чтобы предотвратить привычку к дракам, мальчикам запрещалось собираться толпами на улицах по дороге в школу. Эти законы не считались достаточными; но для защиты нравственности мальчиков были избраны десять ежегодных магистратов, называемых софронистами, по одному от каждого племени,^[571] единственным делом которых было следить за нравами молодежи. Эта магистратура, датируемая еще эпохой Солона,^[572] продолжала действовать до новейшего времени. Гимнасиарху, другому магистрату,^[573] было поручено руководство гимназией, которая, как и общественные игры и праздники, требовала особой заботы; и, если мы можем принять свидетельство Плавта^[574] для классических веков содружества, нарушители подвергались суровому наказанию.

Иногда полагают, что в Греции для школ не возводились отдельные здания, как у нас, а дидаскалос и философ обучали своих учеников в полях, садах или тенистых рощах.^[575] Но это не было общепринятой практикой, хотя многие школьные учителя, похоже, не имели другого места для сбора своих учеников, кроме портика храма^[576] или какого-нибудь укромного уголка на улице, где, несмотря на шум дел и толпу пассажиров, публично совершалось поклонение обучению. Здесь же мастера музыки часто давали свои уроки, будь то пение или игра на лире. Эта практика объясняет анекдот о музыканте, который, услышав, как толпа аплодирует одному из его учеников, дал ему по уху, заметив: "Если бы ты хорошо играл, эти болваны не стали бы тебя хвалить". Похожий обычай преобладает на Востоке, где в открытых

для улицы нишах мы часто видим школьного учителя в тюрбане с толпой маленьких мусульман, выводящих буквы на своих больших деревянных табличках или читающих Коран.

Но это были школы для низших слоев населения. Для детей знатных и богатых возводились просторные сооружения, обставленные столами, партами, - ведь тот особый вид грамматики^[577], который напоминал тарелочный шкаф, мог быть не чем иным, как партой, - формами и всем остальным, чего требовали их занятия. Упоминается школа на Хиосе^[578], в которой училось сто двадцать мальчиков, и все они, кроме одного, погибли от обрушения крыши. Из другой трагической истории мы узнаем, что в Астипалее,^[579] одном из Кикладских островов, была школа, в которой училось шестьдесят мальчиков. Происшествия, связанные с их гибелью, описаны в романтическом стиле древних. Клеомед, уроженец этого острова, убив в боксе эпидавра Иккоса, был обвинен в несправедливости и отказался от приза, после чего сошел с ума и вернулся в свою страну. Там, войдя в общественную школу, он подошел к столбу, поддерживающему крышу, и, подобно другому Сампсону, схватил его в приступе бешенства и, вырвав из основы, обрушил все здание на детей. Сам он, однако, спасся, но, преследуемый камнями жителей, укрылся в храме Афины, где спрятался в священном ларце. Люди, не проявлявшие почтения к святыне, все равно преследовали его и пытались открыть крышку, которую он удерживал с гигантской силой. В конце концов, когда ларец был разбит на куски, Клеомеда нигде не было ни живого, ни мертвого. Ужаснувшись этому чудачеству, они послали обратиться к дельфийскому оракулу, который велел воздать божественные почести атлету как последнему из героев.^[580]

В глубине школы обычно находился ораторий^[581], украшенный статуями муз, где, вероятно, в своеобразной купели, хранился запас чистой воды для мальчиков. Притворяясь, что их часто мучает жажда, они крались в узелках к этому ораторию и там развлекались, разбрызгивая воду друг на друга; по этой причине законодатель предписал строго следить за этим. Каждое утро пряли бланки,^[582] школьный зал был чисто выметен, чернильница готова к использованию, и все вещи приводились в порядок для дел дня.

Устройство^[583] древней школы было довольно сложным: Здесь были математические инструменты, глобусы, карты и схемы небес, а также доски, на которых можно было чертить геометрические фигуры, таблички, большие и маленькие, из дерева, ели или слоновой кости^[584] треугольной формы, некоторые складывались из двух, а другие из многих листов; книги, а также бумага, пергаментные кожи, воск для покрытия табличек, которые, если верить Аристофану,^[585] люди иногда ели, когда были голодны.^[586]

К этому добавлялись линейки, тростниковые ручки,^[587] футляры для ручек, ножи для ручек, карандаши и, наконец, хотя и не в последнюю очередь, стержень, который заставлял их постоянно пользоваться всеми этими вещами.

В Афинах эти школы не финансировались государством. Это были частные предприятия, и каждый мастер регулировал свои расходы в зависимости от репутации, которую он приобрел, и состояния своих учеников. Некоторые из них, по-видимому, были чрезвычайно умеренны в своих требованиях.^[588]

Например, был такой школьный учитель по имени Гиппомах, при поступлении в заведение которого мальчики должны были заплатить мину, после чего они могли оставаться у него столько, сколько хотели, и пользоваться его наставлениями. Дидаскалои, однако, не пользовались достаточным уважением, хотя, поскольку их ученики иногда были очень многочисленны,^[589] например, до ста двадцати человек, должно быть, часто случалось, что они становились богатыми. Из жизни Гомера, приписываемой Геродоту,^[590] мы почерпнули несколько сведений о положении школьного учителя в более отдаленные века.

Фемий, как рассказывается, содержал школу в Смирне, где обучал мальчиков письму и всем другим частям образования, которые тогда объединялись под термином "музыка". Его рабыня Хритис, мать поэта, пряла и ткала шерсть, которую Фемиос получал в качестве платы от своих учеников. Она также привнесла в его дом большую элегантность и бережливость, что так понравилось школьному учителю, что побудило его жениться на ней. У этого человека, согласно традиции, принятой в Греции, учился Гомер и настолько преуспел в знаниях, что вскоре смог сам стать наставником. Поэтому он отправился на Хиос,^[591] и открыл там школу, где приобщал юношей к красоте эпической поэзии, и, исполняя свои обязанности с большой мудростью, приобрел много поклонников среди хиосцев, разбогател и взял жену, от которой у него было два сына.

Самым ранним заданием в школе было освоить греческие иероглифы, большие и малые, затем правописание, затем чтение. Софист Ирод очень досадовал на тупость, проявленную при выполнении этого задания его сыном Атикком, память которого была настолько вялой, что он не мог вспомнить даже крестообразный ряд. Чтобы преодолеть эту необычайную тупость, он воспитал вместе с собой двадцать четыре маленьких раба своего возраста, которым дал названия букв, чтобы юный Атиккус был вынужден учить алфавит, играя со своими товарищами, называя то "Омикрон", то "Пси".^[592] При обучении искусству письма их практика почти напоминала нашу; мастер выводил карандашом (*γραφίς*) ряд символов на доске, а ученик, следуя пером за слабыми линиями^[593] перед ним, приучал свои пальцы к ловкому выполнению необходимых движений.^[594] Эти вещи обязательно были первым шагом в первом классе занятий, которые назывались *музыкой*,^[595] и включали в себя все, что связано с развитием ума; и они были доведены до определенной степени, прежде чем началось второе подразделение, называемое гимнастикой. Они отменили общепринятый у нас план, поскольку у них поэзия^[596] предшествовала прозе, что, в сочетании с их восприимчивым темпераментом, наложило на национальный ум отпечаток той образности, которой он отличался прежде всего. И поэты, в чьи произведения они были впервые посвящены, были самыми поэтичными из всех, авторами лирических и дифирамбических произведений, отрывки из стихов которых они заучивали наизусть, таким образом рано приобретая богатый запас предложений и образов, готовых быть использованными в качестве аргумента или иллюстрации, служить источником знакомых аллюзий или вплетаться в структуру их стиля.^[597]

Однако в практике разных учителей существовали значительные различия. Некоторые, полагая, что разнообразие знаний поможет им стать красноречивее, рекомендовали изучать поэтов без разбора,^[598] независимо от того, писали ли они гекзаметром, триметром или любым другим видом стиха, на смешные или серьезные темы. Были и такие поэты, которые, подобно Фенелону и притворному Оссиану, писали свои произведения в прозе,^[599] относительно использования которых у Платона были некоторые сомнения.

Другие философы осуждали безудержное блуждание по просторам литературы. Они хотели отделить золото от окаины, утверждая, что люди, привыкшие с младенчества к более возвышенным и чистым вдохновениям музыки, будут с презрением относиться ко всему низменному и нелиберальному, тогда как те, кто научился наслаждаться низкими и вульгарными сочинениями, будут считать всю остальную литературу приторной и бессодержательной. Ибо так велика сила подражания, что привычки, заложенные с самых ранних лет, переходят в манеры и характер человека, влияя даже на его голос и телесное развитие, а то и изменяя саму природу мыслей.

Среди других отраслей знаний^[600], которые необходимо изучать и к которым они прикладывали свои усилия почти с самого начала, была арифметика, без некоторого

представления о которой человек, по мнению Платона, едва ли мог быть гражданином вообще. Ведь, как он замечает, нет ни одного искусства или науки, которые бы не нуждались в ней, особенно военное искусство, где многие комбинации полностью зависят от чисел. И все же Агамемнон у некоторых старых трагических поэтов представлен Паламедом как совершенно не умеющий считать, так что, возможно, как шутливо замечает Сократ, он не мог сосчитать свои собственные ноги.^[601] Важность, придаваемая этой отрасли образования, нигде не проявляющаяся так явно, как в диалогах Платона, служит одним из доказательств того, что афиняне были в первую очередь людьми дела, которые при всем своем восхищении добрым и прекрасным никогда не упускали из виду те вещи, которые способствуют комфорту жизни и позволяют человеку эффективно выполнять свои обычные обязанности. С такими же взглядами развивались геометрия и астрономия. Ведь в "Республике" Глаукон,^[602] который, как можно предположить, представляет народное мнение, при упоминании геометрии сразу же признается, что, поскольку она применима к военному делу, она будет наиболее полезна. Он мог обнаружить превосходство геометра^[603] над невежественным человеком в разбивке лагеря, в занятии мест, в сокращении или расширении рядов армии и во всех других военных движениях, практикуемых в сражениях, маршах или осадах. Однако для Платона это была наименьшая рекомендация. Он считал, что в поисках добра и истины изучение этой науки особенно полезно для ума, потому что она имеет дело с положительными истинами и, таким образом, порождает любовь к ним, а также прививает привычку искать их путем длительного исследования и довольствоваться меньшим.

В изучении астрономии^[604] грубая и очевидная польза была почти необходимостью, и даже в век Сократа, когда философские потребности остро ощущались в дополнение к потребностям животной и гражданской жизни, были, очевидно, учителя, которые считали необходимым оправдать такие занятия, показав их влияние на систему потерь и прибылей. Ведь когда Сократ в своей идеальной схеме воспитания затрагивает эту науку, практик Глаукон сразу же признает ее полезность не только в земледелии и мореплавании, но и в военном деле. Не стоит презирать и такие плоды этой науки. Но философия ставит перед собой более высокую цель, утверждая, вопреки распространенному мнению, что с помощью таких занятий душа может очиститься, а ее способности к познанию истины, перекрытые и почти погашенные другими занятиями, вновь разгорятся и запылают, как пламя.

Важность музыки,^[605] в образовании греков, общеизвестна. Она использовалась для достижения нескольких целей. Во-первых, чтобы успокоить и умиротворить свирепость национального характера и подготовить почву для уроков поэтов, которые, произносимые под звуки мелодичных струн, когда душа восторгалась и возвышалась гармонией, волнением чисел, магией самых приятных ассоциаций, прочно овладевали умом и, как правило, сохранялись на всю жизнь. Во-вторых, это позволяло гражданам изящно исполнять свою роль в общественных развлечениях: каждый человек в свою очередь был призван на увеселения петь или играть на лире. В-третьих, она была необходима для того, чтобы они могли присоединиться к священным хорам, которые часто устраивались из-за благочестия государства, а также для того, чтобы в преклонном возрасте исполнять многие религиозные обязанности, ведь священнодействие в большей или меньшей степени принадлежало всем гражданам Афин. В-четвертых, поскольку большая часть образования грека была военным и предназначалась для того, чтобы он мог защищать свою страну, ему требовалось некоторое знание музыки, чтобы на поле боя его голос мог гармонично сливаться с голосами его соотечественников, исполняя те волнующие, стремительные и ужасные мелодии, называемые *ræans*, которые предшествовали первому удару в бою.

По некоторым или всем этим причинам музыкальная наука начала культивироваться среди эллинов в период, почти недоступный даже для традиции. Барды, которых мы видим бродящими на самом отдаленном краю сказочного горизонта, неизменно держат в руках арфы или лиры, а величайший из героев поэзии, вершина эпического совершенства, представлен наслаждающимся исполнением музыки и воспевающим на берегах Геллеспонта подвиги былых воинов. В те века музыка всего народа, очевидно, обладала серьезным и возвышенным характером; но поскольку музыка ионийцев впоследствии изменилась под влиянием более мягкого климата и подражания азиатской, а дорийская осталась почти неизменной, предполагается, что последняя изначально обладала превосходством над первой, чего на самом деле не было. Со временем, однако, было признано существование трех различных мер: дорийской, эолийской и ионийской: Первая была серьезной, мужественной, полной энергии и, хотя и несколько однообразной, специально приспособленной для вдохновения боевого пыла; последняя отличалась совершенно другим характером, богатым, разнообразным, гибким, дышащим мягкостью и удовольствием, украшающим мирный час и пронзительно журчащим в рощах и храмах Афродиты, Аполлона и муз; вторая же, огненная, с примесью веселья, составляла промежуточную ступень между этими двумя мерами, привнося что-то от характера каждой. Гипермиксолийский и гиперфригийский, в свое время культивировавшиеся среди ионийцев, были сравнительно недавними изобретениями.^[606]

Фригийская мера, отличающаяся возбуждающим и восторженным характером,^[607] часто использовалась на сцене, поэтому поэт Агиас говорил, что стираксы, сжигаемые на алтаре в оркестре, имеют фригийский запах, поскольку их запахи напоминают о диких фригийских мерах, которые там звучат. Национальным инструментом фригийцев была флейта, и стоит отметить, что до позднего периода флейтистов в Афинах обычно называли фригийскими именами. Олимпос, величайший музыкант, известный грекам, вероятно, сам был уроженцем Фригии, поскольку, как говорят, он был учеником Марсиаса. На самом деле варвары древности, хотя и несколько иначе, использовали музыку не меньше, чем сами греки. Они напевали песни своих бардов, отправляясь на битву, пели погребальные песнопения на могилах и даже заставляли своих послов, отправляющихся с миссией в чужие государства, сопровождать их музыкой.^[608] Ни один народ, однако, не довел свою любовь к музыке до такого абсурда, как тирренцы, которые заставляли своих рабов пороть под звуки флейты.

Музыка флейты^[609] считалась особенно восхитительной для богов, так что тем, кто умирал, когда ее звуки доносились до их ушей, разрешалось вкушать дары Афродиты в Аиде, как выражается Филетэрос в своей "Флейте-любовнице":

"О Зевс! Как славно умереть, когда рядом пронзительные флейты

Вливая свои волнующие мелодии в слабеющее ухо;

Лишь на них улыбается Эрос в этих царствах ночи,

Где пошлые призраки, дрожащими группами, Всех чуждаются восторгов,

В дырявых бадьях из Стикса ледяные воды несут,

Осужденные за женский голос прекрасный, стоны его слышат. "слышат".

Учителя музыки делились на два класса: китаристы, которые просто играли на инструменте, и китари-ди, которые аккомпанировали себе на китаре песней.^[610] Из них скромные и бедные преподавали, как мы уже заметили, на углах улиц, а более знатные и удачливые открывали музыкальные школы или давали свои уроки в частных домах знати. Китара, однако, не была в древности в использовании в Афинах, если верить традиции, которая приписывает Фринису ее введение из Ионии.^[611]

Дамон, великий афинский музыкант^[612], заметил, что там, где разум способен к сильным эмоциям, будут песни и танцы, и что там, где люди свободны и благородны, их развлечения будут либеральными и благопристойными, а там, где люди благородны, - наоборот. Очень рассудительное замечание сделал и флейтист Кафесий. Наблюдая за тем, как один из его учеников пытается издавать громкие звуки, он ударил его по земле и сказал: "Мальчик, не всегда хорошо то, что прекрасно; но прекрасно то, что хорошо".^[613]

Силу музыки в усмирении страстей и гнева хорошо иллюстрирует анекдот о пифагорейском философе Клинии, человеке, отличавшемся добродетелью и мягкостью. Если в какой-то момент он чувствовал, что его охватывает гнев, он брал свою лиру, касался аккордов и напевал на ней какую-нибудь оду, а если кто-нибудь спрашивал, почему он так поступает, отвечал: "Я ищу спокойствия".

Подобно евреям, жители Эллады приписывали музыке еще более чудесные достоинства,^[615] считая, что она способна излечивать болезни как души, так и тела. Так, звуки флейты якобы избавляли от эпилепсии, радикулита, обморока, страха и пароксизмов давнего безумия,^[616] что, вероятно, напомним читателю, как Давид играл перед Саулом, когда его разум был в смятении.

В более поздние века содружества рисование, а также элементы искусства вошли в список занятий, которыми занимались юноши, отчасти с целью привить им правильный вкус, умение ценить и наслаждаться благородными произведениями карандаша и резца, а отчасти, возможно, из простой любви к новизне и желания, которое человек всегда испытывает к расширению круга своих приобретений. Аристотель,^[617] действительно, предполагает гораздо более скромный мотив, замечая, что знание рисунка позволит людям более точно оценить произведения полезных искусств; но это, возможно, было сказано скорее из почтения к духу утилитаризма, который тогда начал проявляться, чем из убеждения в его обоснованности.

524. Среди древних писателей о воспитании, из которых большее число погибло, был Клеарх Солийский, о котором см. Voss. de Hist. Græc. i. Athen. xv. 54. Men. in Diog. Laert. p. 4. b.

525. Rep. ii. t. vi. p. 94.- Cp. Adolph. Крамер, 8, 9.

526. Cp. Suid. v. Καὶ τὸ τοῦ λύκου. i. 1427.

527. Opp. et. Dies, 202-212. Quintil. v. 2.

528. Плат. Rep. l. ii. cap. 8. c. p. 117. Schol. Aristoph. Av. 652. Philostrate. Imag. i. 3.

529. Phot. Bib. 139. b. 8. Hor. Epist. i. 10. Gyraldi, de Poet. Histor. p. 462. a. sqq. Aristot. Rhet. ii. 20.

530. Diod. Sic. l. xix. c. 25.

531. Aristoph. Pac. 128. Vesp. 1392, sqq. et Scholia.
532. Diog. Laert. ii. 5. 22.
533. Sch. Аристоф. Av. 471. Sch. Весп. 1251.
534. Аристотель. Polit. vii. 15.
535. Арабские ночи, i. 286. Перевод Лейна.
536. De Legg. vi. t. viii. p. 41. Creuzer. de Civ. Athen. p. 556.
537. Amor. § 44.
538. Athen. xiii. 61. sqq.
539. Poll. iv. 19.
540. Ср. Платон, de Legg. vii. t. viii. p. 41. seq.
541. Об этом музыканте см. Pollux iv. 66. с примечаниями Kühn и lungermann, t. iv. p. 709. sqq.
542. Аристоф. Nub. 961. sqq. Ср. Plaut. Bacchid. iii. 3.
543. Polit. viii. 6. 268. Goettl.
544. Casaub. ap. Theoph. Char. p. 273.
545. Plaut. Bacchid. iii. 3. 22.
546. Платон, действительно, одно время придерживался подобной фантазии -De Rep. t. vi. p. 385. (Ср. Muret. in Aristot. Ethic. 71.) Но затем, в старости, принял общее убеждение человечества, что тот, кто щадит розгу, портит ребенка.-De Legg. t. viii. p. 12. seq. Варро, который, однако, много писал о воспитании, замечает, что "remotissimum ad discendum formido, ac nimius timor, et omnis perturbatio animi. Contra delectatio pro telo ad discendum". Victor. Var. Lect. l. xv. c. 2. У Теодориха, готского короля Италии, была еще одна причина щадить розги в воспитании. Ребенок, говорил он, который дрожал перед розгой, никогда не осмелится взглянуть на меч" (Гиббон, vii. 19). Этот готский принц, следовательно, не был знаком со спартанской системой воспитания.
547. Sch. Aristoph. Nub. 959.
548. Ср. Cressoll. Theat. Rhet. v. 6. p. 471. seq.
549. Об этих и других лицах, занимавшихся воспитанием молодежи, см. Bergmann, ad Isoc. Areop. § 14.
550. De Legg. vii. t. viii. p. 42. См. с. 11 превосходной маленькой брошюры Крамера, которую я часто находил чрезвычайно полезной.
551. Xenoph. de Rep. Laced. ii. 1. 2.
552. Plat. Lysis. t. i. p. 118. De Legg. iv. t. viii. p. 325. De Rep. iii. t. vi. p. 128.
553. Poll. iv. 19. Ulp. ad Demosth. de Cor. § 78. Orat. Att. t. x. p. 113. Plat. Lysis. t. i. p. 145.

554. Plut. de Lib. Educ. § 7. Афиняне стремились создать высокое представление об этом классе людей, ежегодно принося жертвы Коннидасу, предполагаемому педагогу Тесея - Plut. Thes. § 4.
555. Cram. de Educ. Puer. ap. Athen. p. 12.
556. Athen. xiii. 61. 63.
557. Плаут. Вакхиды. Act iii. Sc. 3.
558. Амор. §. 44.
559. Diog. Laert. Vit. Diog. vi. ii. 4. sqq. с замечанием Menage, t. ii. p. 138.
560. Я могу сказать вместе с Herault de Sechelle: "Apprendre *par cœur*; ce mot me plait. Il n'y a guère en effet que le cœur, qui retienne bien, et qui retienne vite."-Voyage à Montbar, &c. p. 77.
561. Ср. Люк. Amor. § 44. Καὶ χλανίδα ταῖς ἐπωμίαις περόναις συρράψας ἀπὸ τῆς πατρῶας ἐστίας ἐξέρχεται κάτω κεκυφώς, καὶ μηδὲνα τῶν ἀπαντῶν τῶν ἐξ ἐναντίου προσβλέπων. В своем увещании Демоникосу Исократ собрал воедино множество наставлений, которые почти представляют собой кодекс морали и вежливости. Они намного превосходят наставления лорда Честерфилда даже там, где рекомендуются только грации; их преимущество заключается в том, что к правилу почти всегда прилагается причина.
562. Ср. Дион. [ChrysostChrysost](#). ii. p. 261; i. 299.
563. Opp. t. i. p. 118. Влияние подражания на жесты, голос и мысли молодежи убедительно показано в "Республике" - т. vi. p. 124.
564. Repub. viii. 5. t. ii. p. 182. Stallb.
565. Aristoph. Nub. 1443. Δυοῖν δ' ὀνομάτοιν σεβασμίον πᾶσαι τιμαὶ μένουσιν, ἐξίσου παρτὶ μητέρα προσκυνούντων.-Luc. Amor. § 19.
566. О силе примера и подражания см. Платон, de Rep. t. vi. p. 124.
567. Plat. Lach. t. i. p. 269.- В число общественных мест, куда отец мог водить своих сыновей, не входили суды, хотя мы видим, как Демосфен, будучи мальчиком, пытался представить себя, где незаметно для судей он мог бы послушать красноречие Каллистрата.- Victor. Var. Lect. l. xxx. c. 20.
568. Æsch. cont. Timarch. § 5, 6.
569. См. Theoph. Char. c. 5. Sch. Aristoph. Nub. 180.
570. Lysis. t. i. p. 145. Theætet. t. iii. p. 179.
571. Etym. Mag. 742. 38.
572. Cramer de Educ. Puer. ap. Athen. p. 13.
573. Vandale Dissert. pp. 584-727.
574. Bacchid. iii. 3.
575. См. Coray, Disc. Prelim. sur Hippoc. de Aër. et Loc. § 41. t. i. p. 46. seq.

576. В "Античите ди Эрколано" (т. iii. с. 213.) мы находим изображение одной из таких школ во время применения телесных наказаний. Многочисленные мальчики сидят на формах и читают, а один провинившийся скачет на спине другого в истинно вашингтонском стиле. Один из плотников держит его за ноги, а другой прикладывает розги к голой спине. Иногда в Греции мы видим, что вместо розги свободных мальчиков пороли луком-пореем. Sch. Aristoph. Ran. 622. Schneid. ad Theoph. Hist. Plant. vii. 4. 10. p. 574.

577. Poll. iv. 18, 19. x. 57. seq.

578. Ирод. vi. 27.

579. Называется Столом Богов, из-за своей красоты и удобства. - Steph. de Urb. in v. p. 189. b.

580. Paus. vi. 9. 6. seq. Plut. Rom. § 28.

581. Sch. Æsch. cont. Tim. in Orator. Att. t. xii. p. 376 a.

582. Dem. de Cor. § 78. seq.

583. Поллукс, iv. 19. Cp. Herod. vii. 239. ii. 21. Sch. Aristoph. Весп. 529.

584. Poll. i. 234. Лукиан. Ner. § 9. Amor. § 44. Antich. di Ercol. t. ii. p. 55. t. iii. p. 237.

585. Poll. x. 58, 59.

586. По этому поводу в Isidorus Hispal. vi. 9. есть любопытный отрывок: "Cerae literarum materies, parvulorum nutrices. Ipsae dant ingenium pueris primordia sensus, quarum studium primi Græci tradidisse produntur. Græci enim et Thusci primum ferro in ceris scripserunt. Postea Romani jusserunt, ne graphium ferreum quis haberet. Unde et apud scribas dicebatur, Ceram ferro ne lædito. Postea institutum est, ut in cerâ ossibus scriberent, sicut indicat Alsa in Satyrâ dicens: Vertamus vomerem in ceram, mucroneque aremus osseo. "["osseo"](#)". Cp. Pfeiffer, Antiq. Græc. p. 413.

587. Именно как инструмент литературы тростник покорила полмира, хотя Плиний отмечает его завоевание только в качестве стрелы. "Ac si quis Æthiopas, Ægyptum, Arabas, Indos, Scythas, Bactros, Sarmatarum tot gentes et Orientis, omniaque Parthorum regna diligentius computet, æqua ferme pars hominum in toto mundo calamis superata degit. "["degit"](#)". - Hist. Nat. xvi. 65.

588. Так было даже среди софистов, как мы видим, Прокл предоставлял вечный вход на свои лекции за сто драхм. - Philost. Vit. Soph. ii. 21. § 3. Это было тем лучше, что он занимался купеческим бизнесом - § 2. Плата профессоров, по-видимому, часто оспаривалась, так как у многих авторов мы находим упоминания о судебных тяжбах между ними и их учениками. - Лукиан. Икароменип. § 16. "Заработок промышленников справедлив и почетен, но Исократ проливал слезы при первом получении стипендии" - Гиббон, vii. 146.

589. Athen. xiii. 47.

590. Vit. Hom. §§ 5. seq. 25. seq.

591. Говоря о древностях этого острова, Чандлер замечает: "Самым любопытным остатком является тот, который был назван, без всякого основания, "*школой Гомера*". Она находится на побережье на некотором расстоянии от города, в северном направлении, и, по-видимому, была открытым храмом Кибелы, образованным на вершине скалы. Он имеет овальную форму, а в центре находится изображение богини, голова и рука. Она изображена, как

обычно, сидящей. На стуле с каждой стороны и на спинке высечен лев. Оно ограничено низким бортиком или сиденьем, а его длина составляет около пяти ярдов. Все это высечено из горы, грубо, нечетко и, вероятно, имеет весьма отдаленную древность". i. 61.

592. Филост. Vit. Soph. ii. 10.

593. Quint. i. 1. Poll. vii. 128. Aristoph. Thesm. 778.

594. Plat. Protag. t. i. p. 181.

595. См. Plat. de Rep. ii. t. vi. p. 93. seq. Sch. Aristoph. Eq. 188. seq.

596. В гомеровскую эпоху, как нам говорят, мужчины получали умственное образование от бардов, а физическое - в гимназиях -Athen. i. 16.

597. Cp. Plat. de Rep. t. i. p. 149. Stallb.

598. Cp. Plato de Legg. t. viii. p. 44. sqq. О стиле декламации, использовавшемся в греческой и римской школах, см. Schömann, de Comit. p. 187.

599. Кроме того, существовали поэмы, написанные на языке простого народа -Athen. xiv. 43.

600. Cp. Plat. de Legg. t. viii. p. 62. где он описывает египетский метод обучения арифметике с помощью наград и соблазнов. Локк, однако, осудил эту практику. "Тот, кто дает своему сыну яблоки, или сахарные сливы, или что-либо еще в этом роде, что ему больше всего нравится, чтобы заставить его выучить свою книгу, только поощряет его любовь к удовольствиям и разжигает эту опасную склонность, которую он должен всеми средствами умирять и подавлять в нем". Воспитание § 52. Vid. Plat. de Rep. t. vi. p. 340. seq. Muret. Orat. iv. 43. У сэра Джозайи Чайлда есть несколько хороших замечаний о ценности арифметики как отрасли образования: "В природе арифметики замечено, что, как и другие части математики, она не только улучшает естественные способности, но и склоняет тех, кто в ней разбирается, к бережливости и хорошему хозяйству, и предотвращает в какой-то мере как мужей, так и жен от истощения их имений, когда они всегда держат в голове, каковы их расходы и как скоро их настигнет разорение" - Discourse of Trade, p. 5.

601. Plat. de Rep. vii. t. vi. p. 340. sqq.

602. Plat. de Rep. t. vi. p. 349. seq. De Legg. t. viii. p. 371. Sch. Aristoph. Nub. 180. Cp. Cicero de Orat. iii. 32. t. ii. 319. ed. Lallemand.

603. См. в Sch. Aristoph. Nub. 181. Анекдот о том, как Фалес прорубил новое русло для реки Галис.

604. Plat. de Rep. t. vi. p. 357. seq.; de Legg. t. viii. p. 370. Sch. Aristoph. Nub. 860. 208.

605. Vid. Ilgen. de Scol. Poes. xiv.- "Post Persica demum bella musicæ assidue operatos Græcos dicit. Et præmia diebus festis nonnullis constituta iis pueris adolescentibusque, qui lyrica carmina Solonis aliorumque optime cecinissent."-Creuzer. de Civ. Athen. Omn. Hum. Par. p. 55. seq.

606. Athen. xiv. 20. sqq. Cp. Schol. Aristoph. Eq. 984. Clem. Alex. i. 3. 5.

607. Люк. Нигрин. § 37.

608. Athen. xiv. 24.

609. О влиянии музыки на ум см. Magius, Var. Lect. p. 204 b.

610. Kühn ad Poll. iv. p. 711. Cp. Plat. de Legg. t. viii. p. 49.
611. Schol. Aristoph. Nub. 958; Vesp. 574.
612. Cp. Plat. Repub. t. vi. p. 133.
613. Athen. xiv. 26.
614. Πραῦνοροι. Cham. Pont. ap. Athen. xiv. 18.
615. Таким образом демоны изгонялись звуком медных колоколов.-Magius, Var. Lect. p. 205. b.
616. Афины. xiv. 18. Apollon. ap. Schweigh. Animad. xii. p. 399. об этой истории и бронзовых вотивных приношениях на тэнарском мысе музыканта Ариона.-Herod. i. 23. seq. Дион. Chrysost. Orat. xxxvii. p. 455. Pausan. i. 24. Ælian. de Nat. Animal. xii. 45.
617. Polit. viii. 3.
-

ГЛАВА V. УПРАЖНЕНИЯ МОЛОДЕЖИ.

Одновременно с вышеупомянутыми исследованиями,^[618] что весьма запутанная и искусственная система упражнений, называемая гимнастикой, занимала значительную часть времени молодежи. Среди северных народов влияние образования необходимо для смягчения нравов и сдерживания свирепости; но на юге выносливость должна быть плодом дисциплины и процветает только тогда, когда ее усердно культивируют. Так, мы видим, что персы,^[619] действуя по совету Крёзоса и обучая лидийцев музыке и лавочникам, полностью искоренили их воинственный дух. Однако в Греции в период расцвета ее истории существовала большая опасность того, что страсть к войне заглушит все остальные, чем того, что ее влияние окажется слишком слабым. Среди афинян, в частности, неугомонная энергия характера, столь удивительная и столь неприятная для дорийцев, находила выход в опасных и далеких войнах и грандиозных амбициозных планах. Эту характерную черту Платон приводит для того, чтобы показать контраст с соперничающей расой. Он рассказывал своим критским и спартанским спутникам об упражнениях, необходимых для беременных женщин,^[620] и, видя их удивление, сказал, что понимает, как это может показаться им необычным, но в Афинах его рекомендации были бы совершенно понятны, так как там люди были скорее слишком активны, чем наоборот. Трудность всегда заключалась в том, чтобы найти себе занятие по душе. Поэтому, за неимением ничего лучшего, не только мальчишки, но и взрослые мужчины, не понимая ничего в *dolce far niente*, занимались разведением петухов, перепелов и других птиц для боев, уход за которыми налагал на них необходимость много упражняться. Конечно, эти петухи-бойцы во время своих профессиональных прогулок представляли собой зрелище бесконечно смехотворное. Всякое внимание к внешности было отброшено. С парой маленьких петушков^[621] в руках и старым петухом под мышкой, они выходили вперед, как бродяги, ограбившие курятник, чтобы дать своим любимым животным воздух и легкие упражнения, и, нагруженные таким образом, часто прогуливались на несколько миль по деревне.

Для таких людей гимназия открывала источник особого наслаждения и в конце концов стала страстью, пагубно влияющей на воспитание ума. Но в пределах умеренности она

предписывалась философами вместо лекарств и как противоядие против бледных лиц и истощенных фигур, слишком часто встречающихся там, где увлеченно занимаются интеллектуальными занятиями.^[622] По закону Солона, каждый афинянин^[623] должен уметь читать и плавать; и весь дух аттического законодательства, оставляя беднякам возможность заниматься трудолюбивыми и тяжелыми занятиями, стремился создать у богатых и знатных людей вкус к полевым видам спорта, верховой езде и всем боевым и мужественным упражнениям.^[624] Трудность, конечно, заключалась в том, чтобы подчинить их умственному воспитанию и так хитро соединить их вместе, чтобы получилась прекрасная и гармоничная система дисциплины, хорошо приспособленная для созревания и доведения до наибольшего совершенства каждой силы и способности тела и ума.

Занятия в гимнастическом зале можно проследить до глубокой древности, и, вероятно, они зародились среди воинов героических веков,^[625] в мирные промежутки между походами, из желания развлечь свой досуг имитационными представлениями более серьезных состязаний. Поначалу, несомненно, упражнения, часто выполнявшиеся в честь богов,^[626] были немногочисленными и грубыми; но к эпохе Гомера они приобрели искусственную и регулярную форму и включали в себя почти все те разделы искусства, которые преобладали в более поздние времена. Поддерживать их заставляли иные соображения, нежели те, с которыми они были созданы. Когда размышления пробудились, стало ясно, что в этих дружеских состязаниях мужчины приобретали не только силу и ловкость, боевую выдержку, уверенность в силе, красоту и легкость форм, но вместе с ними и ту легкую жизнерадостность, в которую естественно переходит крепкое здоровье.^[627] На самом деле, законодатели Греции были так далеки от намерения создать с помощью гимнастики, как полагает Монтескье^[628], нацию одних атлетов и бойцов, что они прямо отвергают эту идею, утверждая, что легкость, ловкость, компактный каркас, здоровье, но главным образом хорошо поставленный и энергичный ум, были целью этой части образования. Чтобы лучше достичь этой цели, Платон в своей республике предписывает, чтобы мальчики завершали свои интеллектуальные занятия, которые в его идеальном государстве должны были быть завершены в шестнадцать лет, прежде чем они поступят в гимназию, упражнения которой должны были быть спутниками простой музыки. Превратить своих граждан в атлетов им помешал опыт, ибо быстро обнаружилось, что люди, сделавшие профессией гимнастику, приобрели, правда, благодаря своей диете и особой дисциплине огромный рост и огромную силу, но были совершенно бесполезны на войне, будучи сонными, вялыми, непомерными едоками, неспособными переносить жажду или голод и подверженными приступам внезапных и смертельных болезней, если они хоть на йоту отступали от своих обычных привычек и режима.^[629]

Уже в гомеровскую эпоху гимнастика, хотя она еще так не называлась, была главным предметом воспитания, и многие отрасли этого искусства уже тогда были доведены до высокой степени совершенства.^[630] Страсть к ней не ослабела и у спартанцев, чье правление, созданное исключительно для сохранения национальной независимости и приобретения славы в войне, не вызывало особого интереса к умственным занятиям, но оставляло молодежь в основном под влиянием гимнастики, которая постепенно создавала в них темперамент, состоящий из бесчувственности и свирепости,^[631] не похожий на тот, что был у североамериканских индейцев. Это, однако, они ценили превыше всего, хотя, как было справедливо замечено, их упражнения ни в коем случае нельзя отнести к средствам интеллектуального развития.^[632]

В Афинах они вошли в моду позже, хотя и были распространены в эпоху Солона. Однако когда этот пылкий и восторженный народ начал изучать гимнастику, восхищаясь силой и

крепостью тела в сочетании с мужественной красотой, его пластический гений вскоре превратил ее в искусство, достойное быть перечисленным среди занятий молодежи. В очень ранние века они подражали спартанскому обычаю принимать в гимназии даже мальчиков. Но вскоре от этого отказались, сочтя более выгодным сначала обучить их несколькими из описанных выше отраслей обучения, и возник класс людей^[633], называемых *pædotribæ* или гимнастами, которые обучали гимнастическому искусству частным образом, в подчинении к другим своим занятиям, и считались незаменимыми в прогрессе образования.^[634] Эти мастера давали свои наставления в палестрах,^[635] которые обычно составляли часть гимнасий, хотя и не всегда были соединены с этими зданиями и должны были тщательно от них отличаться. Доподлинно неизвестно, в каком возрасте мальчики начинали заниматься гимнастикой, но представляется вероятным, что не раньше, чем завершалось их грамматическое и музыкальное обучение, то есть где-то, возможно, как советует Платон, в возрасте шестнадцати лет. Ибо не считалось целесообразным приобщать их сразу ко многим занятиям, так как для тела, еще не наделенного всей силой, чрезмерное напряжение считалось вредным.

Прежде чем перечислять и объяснять упражнения, следует рассказать о самих гимназиях. Таких заведений в Афинах было много;^[636] хотя известность приобрели только три: Академия, Лицей и Киносирх. Место первой из этих гимназий, низкое и болотистое, в древности было заражено малярией, но после того, как Кимон осушил его и засадил деревьями, оно стало любимым променадом и местом для упражнений.^[637] Здесь, на прогулках, затененных священной оливой, можно было увидеть молодых людей,^[638] с кронами цветущих камышей на голове, наслаждающихся сладким ароматом смилакса и белого тополя, в то время как платаны и вязы смешивали свой шелест с весенним ветерком. Луга Академии, по словам грамматика Аристофана, были засажены апрагмозуном,^[639] цветком, названным так потому, что он пах всяким благоуханием и безопасностью, подобно нашему Сердечному облегчению или цветку Троицы. Предполагается, что это место получило свое название от Экадамоса, общественного деятеля, который завещал свои владения для поддержания их в порядке. Вокруг него были рощи морисов, священных Афине, откуда брали оливковые короны, используемые в Панафинейх. Причину, по которой оливковые деревья, а также деревья в Акрополе назывались мориями, следует искать в мифологических легендах, где рассказывается, что Халирротиос, сын Посейдона, задумал срубить их, поскольку за открытие этого дерева Афине было присуждено покровительство над городом. Однако, подняв топор и нанеся удар по стволу, орудие соскочило, и он нанес себе рану, от которой умер.^[640]

Название Ликей^[641], иногда происходящее от имени Лика, сына Пандиона^[642], вероятно, обязано своим происхождением расположенному здесь теменосу ликийского Аполлона. Он лежал у берегов Илиссоса и был украшен величественными зданиями, фонтанами и рощами. Здесь стояла знаменитая статуя Аполлона в изящной позе, как бы отдыхающего после трудов, с луком в левой руке, а правая небрежно склонилась над его головой. Стены также были украшены картинами. В этом месте в древности проводил свой суд Полемарх^[643] и упражнялись силы республики перед выходом на войну.^[644]

К названию Циносаргов, или третьего гимнасия, окруженного рощами^[645] приложили легенду, согласно которой, когда Диомос приносил жертву Гестии, белая собака вырвала часть жертвы из алтаря и, выбежав из города, положила ее на том месте, где впоследствии был воздвигнут этот гимнасий.^[646] Здесь было несколько великолепных и знаменитых храмов Алкмене, Гебе, Гераклу и его спутнику Иолаосу. Однако главным его покровителем был Геракл,^[647] который, находясь под подозрением в незаконнорожденности, очень естественно

стал считаться защитником бастардов, полуграждан и вообще всех лиц поддельного происхождения, которые, соответственно, в более отдаленные века прибегали сюда для выполнения своих упражнений.

Впоследствии Фемистокл, уговорив нескольких молодых дворян сопровождать его в Циносарг, уничтожил его позор и поставил его на один уровень с другими гимназиями.^[648]

Здесь в древности находился суд, в котором рассматривались дела о незаконнорожденности, ложной регистрации и т. д. Но перейдем к общему описанию. "Гимназии были просторными зданиями, окруженными садами и священной рощей. Первый вход был через квадратный двор, два стадия в окружности, окруженный портиками и зданиями. По трем его сторонам располагались большие залы с сиденьями, в которых философы, риторы и софисты собирали своих учеников. С четвертой стороны находились помещения для купания и других занятий гимнасием. Портик, выходящий на юг, был двойным, чтобы зимние дожди, гонимые ветром, не проникали внутрь. Из этого двора вы проходили в ограждение, такое же квадратное, затененное посередине платанами. По трем сторонам тянулись колоннады. Та, что выходила на север, имела двойной ряд колонн, чтобы укрыть от солнца тех, кто гулял там летом. Противоположная площадь называлась Ксistos, в центре которой и по всей ее длине было устроено нечто вроде дорожки шириной около двенадцати футов и глубиной почти два, где, укрытые от непогоды и отделенные от зрителей, расположившихся по бокам, молодые ученые упражнялись в борьбе. За Ксistosом находился стадион для пеших состязаний".

Основными частями гимнасия были: во-первых, портики, оборудованные сиденьями и боковыми постройками, где молодые люди собирались для беседы. 2. Эфебейон,^[650] та часть здания, где занималась только молодежь. 3. Аподитерион, или комната для раздевания.^[651] 4. Конистерийон, или малый двор, в котором хранился хафе, или желтый песок, которым борцы посыпали свое тело^[652] после помазания церомой, или маслом, закаленным с воском. Важная часть багажа Александра в его индийской экспедиции состояла из этого мелкого песка для гимнастического зала. 5. Палестра, если рассматривать ее как часть гимнасия,^[653] была просто местом, отведенным для борьбы: вся ее площадь была покрыта глубоким слоем грязи. 6. Сферистерийон,^[654] - та часть гимнасия, в которой играли в мяч. 7. Алейптерион или Элайотесион,^[655] - та часть палестры, где борцы помазывали себя маслом. 8. Площадка: большой двор и некоторые места в портиках, использовавшиеся для бега, прыжков или метания квоита. 9. Ксistos были описаны выше. 10. Ксистерийон^[656] - это открытые прогулки, на которых в хорошую погоду молодежь занималась бегом или любым другим подходящим видом отдыха. 11. Баланей, или бани, где в многочисленных бассейнах находилась вода разной температуры, в которой юноши купались перед помазанием или после упражнений. 12. За Ксistosом и параллельно ему располагался стадион,^[657] который, как следует из его названия, обычно имел в длину восьмую часть мили. Он напоминал сечение цилиндра, закругленного на концах. От площадки внизу, где бегуны выполняли свои упражнения, боковые стороны, из зеленого дерна или мрамора, поднимались вверх на значительную высоту и были покрыты сиденьями, поднимавшимися друг за другом до самого верха для размещения зрителей.

Таковы были здания, которые Афины выделили для упражнений своей молодежи; и если мы рассмотрим удобства, которые они содержали, большие пространства, которые они ограждали, а также вкус и великолепие, которые они демонстрировали, мы, вероятно, заключим, что ни одна страна в мире никогда не уделяла физическому воспитанию своих граждан столько просвещенной заботы.

Первым шагом в гимнастике было приучение юношей переносить обнаженными самые жаростные лучи солнца и холод зимы, которым они подвергались во время своих инициационных упражнений. Это очень живо иллюстрирует Лукиан, где он представляет скифа Анахарсиса, стремящегося укрыться от палящих лучей полудня в тени платанов; в то время как Солон, получивший образование по эллинской системе, стоит без неудобств с обнаженной головой на солнце. Следующим по порядку шагом была борьба, всегда считавшаяся главной среди гимнастических состязаний, как из-за ее превосходной полезности, так и из-за большого искусства и мастерства, которых требовала ее правильная практика. Приобретению совершенства в этом упражнении были почти полностью посвящены палестра и наставления пæдотрибæ, в то время как почти все остальные виды гимнастики проводились в гимнасиях. Они, по словам Лукиана, делились на два класса, один из которых требовал для своего выполнения мягкой или грязной местности, другой - песка, или арены, правильно называемой так.^[659] Во всех этих упражнениях юноши были обнажены, а их тела были помазаны маслом.

Чтобы сделать, однако, наш рассказ об упражнениях более полным, будет уместно дать отдельное, хотя и краткое, описание каждого из них. Первым или наиболее простым был дромос или курс,^[660] выполнявшийся, как было замечено выше, на территории стадиона, которая, чтобы создать большую трудность для гонщиков, была глубоко покрыта мягким и податливым песком. Чтобы еще больше усилить труд, юноши иногда бегали в доспехах, что прекрасно готовило их к превратностям войны, к преследованию после победы или к быстрым движениям при отступлении. О том, как высоко греки ценили быстроту, можно узнать из поэм Гомера, где также можно найти самые наглядные и яркие описания различных упражнений. Некоторые из них мы приведем здесь из версии Поупа, которая в этой части отличается особой выдержанностью и нервностью. Говоря о состязании между ойлейским Аяксом, Одиссеем и Антилохом, он говорит:

"Выстроившись в линию, стоят готовые гонщики,

Пелидес рукой указывает на барьер.

Все стартуют сразу, Олей возглавил гонку;

За ним Улисс, меряя шаг за шагом,

За ним, старательно приближаясь, он мчался,

Внимательно следя за ним, как ленивая нить

За веретеном, и показывает прелести

Грудь и руки прекрасной девы.

Грациозно двигаясь, он обходит врага,

И ступает каждый шаг, пока не поднялась пыль;

Сияющее дыхание играет на его плече,

Восхищенные греки громко восклицают,

Ему они желают, сердцем и глазами,
И посылают свои души за ним, когда он летит.
Трижды повернувшись в ожидании цели,
Задышающийся вождь к Палласу возносит душу;
Помоги, о богиня, - мысленно взмолился он.
И в ответ на его мысли спускается дева;
Подхваченный ее небесной силой, он, кажется, плывет,
И чувствует, как шестеренка поднимает все конечности".

Следующим в естественном порядке, начиная с самых простых и заканчивая самыми искусственными упражнениями, были прыжки, в которых греческая молодежь с удовольствием преуспевала. При выполнении этого упражнения они обычно прыгивали с искусственного возвышения (βατήρ) и опускались на мягкий плес, который, вспарывая пятками, назывался ἑσκαμμένα.^[662] Чтобы лучше держать тело и иметь возможность переплетаться на большее расстояние, они носили в руках металлические гири, называемые *хальтерами*,^[663] в форме полудиска, имеющего на внутренней стороне рукоятки, как у щита, через которые продевались пальцы. Об этих древних прыгунах рассказывают необыкновенные подвиги. Спартанец Хионис и кротонец Фаиллос, как рассказывают, преодолели одним рывком пространство в пятьдесят два, а по другим данным, в пятьдесят пять футов.

С последним утверждением согласуется надпись на статуе кротонца:

"Phaüllos leap full five and fifty feet,

Диск метнул на сто пять".

Гомер кратко описывает прыжки среди видов спорта феакийцев:

"Амфиалос стремительно бросился вперед,

превосходя в прыжке длину земли"

К этому добавилось бросание квоита, которое в гомеровскую эпоху, по-видимому, практиковалось с большими камнями или грубыми кусками железа. Предполагается, что в обычных случаях использовался только один диск. Но Одиссей, желая продемонстрировать свою силу феакийцам, превращает в квоит первую попавшуюся под руку каменную глыбу.^[666]

"Тогда, устремившись вперед с яростью.

Он вырвал из земли обломок скалы,

гораздо более громоздкий и большой.

Чем то, что сыны Фейсии в воздух подняли;

С яростью сбрасывает он с руки огромный груз,

И звучно поет он в тенистом воздухе;

Прижатый к земле, бурный полет,

Толпа смотрит ввысь, пока он рассекает небо.

За пределами всех знаков, с множеством головокругительных кругов,

Вниз устремляясь, он вздымает холм земли".

Диск^[667] в более поздние времена сильно различался как по форме, так и по размерам и материалам. Как правило, он представлял собой циклоид, раздувающийся в середине и утончающийся к краям. Иногда он был продырявлен в центре и бросался вперед с помощью веревки, а в других случаях, по-видимому, приближался к сферической форме, когда его называли соло.^[668]

Другими упражнениями были стрельба из лука по кускам соломы, нанизанным на шест,^[669] и метание копья, иногда голой рукой, а иногда с намотанным на центр оружия шнурком. На стадионе в Олимпии площадка, на которой прыгали пентатли, бросали квоит и метали копье, была выделена двумя параллельными траншеями: но если они существовали и в гимнасиях, то, должно быть, были очень мелкими, так как у Антифона^[670] мы видим мальчика, который погиб, неосмотрительно перебежав через площадку, когда юноши занимались этим упражнением. Вместо того чтобы бросать на дальность, они, судя по выражениям оратора, должны были попасть в цель.

Борьба^[671] состояла из двух видов: первый, называемый Ортопале, был тем стилем, который до сих пор широко используется, в котором противники, бросая руки на тело друг друга, пытались повалить его на землю. В другом, называемом Анаклинопале, борец, который не верил в свои силы, но был уверен в своей храбрости и выносливости, добровольно бросался на землю, увлекая за собой своего противника, а затем щипками, царапинами, укусами и другими способами раздражения пытался заставить его сдаться.

Пример борьбы в обоих ее видах встречается у Гомера, где Аякс Теламон и Одиссей соревнуются в погребальных играх за приз.^[672]

"Средь ринга каждый нервный соперник стоит,

Обнявшись крепко, с неявными руками;

Сверху тесно сомкнуты, головы и руки смешаны;

Внизу их посаженные ноги на расстоянии друг от друга.

Как два крепких стропила, которые строитель формирует

Против ветров и бурь;

Их верхушки соединены, но на более широком пространстве

В центре стоит их прочная основа.

Теперь каждое мужественное тело сгибается для захвата,

Влажный пот струится из каждой поры,

Их кости гудят от ударов, бока, плечи, бедра

раздуваются от каждого удара, и на них появляются кровавые опухоли.

Не мог и Улисс, искусством своим прославленный,

Не смог Улисс, искусством своим прославленный, Опрокинуть силу Аякса на землю;

И не мог Аякс силой одолеть

Бдительную осторожность хитрого врага.

А долгая борьба даже утомила зрителей,

Так говорил Улиссу великий Теламон:

Или позволь мне поднять тебя, вождь, или ты подними меня,

Докажи, что мы сильны, а остальное пусть укажет бог.

Сказал он; и, напрягшись, поднял его с земли

С несравненной силой; тогда Улисс нашел

Силу уклониться, и там, где нервы соединились

Удар пришелся по лодыжке: великан упал без сил.

Улисс вслед за ним ложится на его грудь,

Крики аплодисментов разносятся по небу.

Аякс поднимает Улисса в следующем сочинении;

Он еле-еле расшевелил его, но поднять не смог.

Его колено скрепилось, и враг не поддался,

И, схватившись вплотную, они повалились бок о бок,

Оскверненные почетной пылью, они покатались,

Все еще дыша раздором и не покорившись душой".

Бокс, который очень правильно называть грубым упражнением, хотя и осуждался врачами и философами, все еще практиковался в гимназиях, иногда с голым кулаком, но чаще с цестом, который состоял из ряда ремешков, обвязанных вокруг кисти и руки до локтя или даже выше.^[673] Это упражнение, однако, кажется, мало практиковалось, за исключением тех, кто намеревался стать атлетом по профессии. Гомер описал бой с цестом в его самой ужасной форме.^[674]

"В кругу теперь каждый чемпион стоит,

И поднимает в воздух свои железные руки:

С лязгающими перчатками они крепко сцепились,

Их трещащие челюсти повторяют удары,

И болезненный пот течет по всем их членам.

В конце концов Эпей нанес увесистый удар

по щеке неосторожного врага.

Под мощным взмахом его руки
Он упал, бессильный, и лежал.
Как большая рыба, когда ревут ветры и воды,
Когда огромная волна прибивает его к берегу,
Лежит, задыхаясь, не менее израненный,
Истекающий кровью герой лежит на земле.
Чтобы поднять павшего врага, победитель протягивает
Сжав руку, он отдает его друзьям,
чьи руки поддерживают его, протаскивая сквозь толпу,
и тащат за собой его искалеченные ноги.
Кивая, он опускает голову на плечи,
изо рта и ноздрей вытекает сгусток крови.
Окутанный туманом, он лежит, потеряв мысль,
Его друзья принимают чашу, купленную слишком дорого".

Среди упражнений гимнастического зала, которые Гиппократ советует выполнять зимой^[675] и в плохую погоду, когда необходимо оставаться под укрытием, - хождение по натянутому канату. Этот подвиг, по-видимому, был настолько любим молодежью древности, что они занимались им с постоянным усердием и в конце концов достигли степени мастерства, мало уступающей мастерству наших альпинистов. Кажется, в гимнасиях было принято бегать по натянутому канату. Римляне, стремясь в чем-то превзойти греков, научили слона совершать подобный подвиг.

Другая отрасль гимнастики заключалась в различных формах танца, незнание которых в Афинах считалось признаком нелиберального образования. Превосходство в этом занятии почти все греки^[676] считали абсолютно необходимым, либо в качестве подготовки к надлежащему исполнению движений и эволюций на войне, поддержанию надлежащей роли в религиозных хорах, либо регулируя посадку с требуемым изяществом и приличием в различных отношениях частной жизни. Таким образом, критяне, спартанцы, фессалийцы и беотийцы держали этот раздел гимнастики в особом почете, главным образом с целью войны, в то время как афиняне и ионийцы в целом рассматривали его скорее как средство развития красоты формы и придания легкости и элегантности походке и жестам. Но поскольку при рассмотрении театра я намереваюсь полностью описать несколько разновидностей сценических танцев, я считаю уместным собрать в этом месте все, что я могу сказать по этому вопросу.^[677]

Ко всем этим видам гимнастики греческая молодежь^[678] относилась с особым рвением, а по выходе из школ посвящала им значительную часть своего времени, поскольку они рассматривались и как подготовка к победе на Олимпийских и других играх, и как лучшее средство для укрепления здоровья и созревания физических сил. Невозможно придумать ничего более подходящего для гения их республик. В первую очередь, как я уже отмечал, дикий и упрямый период юности был отстранен этими приятными упражнениями от желаний

и мыслей о зле, в то время как полезное чувство равенства культивировалось, и что-то вроде братства зарождалось в людях, которым суждено было жить и действовать вместе. Кроме того, что могло бы лучше подготовить их к выполнению обязанностей граждан и особенно к защите своей страны, чем система физической подготовки, которая в то же время доводила до совершенства их силу, бодрость и мужественную красоту, а также подготавливала их к приобретению той особой славы, которую давал успех в священных играх? Кроме того, приобретение крепкого здоровья и сопровождающей его бодрости духа было соображением, не имеющим себе равных. Легко понять, что разумная система упражнений, подобная той, что мы описали, обязательно сделает людей терпеливыми к труду, недоступными для страха и будет способствовать формированию изящных привычек и возвышенных и благородных чувств.

618. Ср. Платон, de Rep. t. vi. p. 139, seq.

619. Herod. i. 155. Ср. Polyæn. vii. 6. 4. Юстин, i. 6.

620. De Legg. vii. t. viii. p. 3. cf. p. 11.

621. Платон, de Legg. vii. t. viii. p. 3. seq.- О практике боя перепелов см. Poll. vii. 16. Comm. p. 237. Büd. Com. Ling. Græc. p. 615. Париж. Iungermann ad Poll. vii. 136. p. 427, отмечает, что в Афинах было принято устраивать публичные перепелиные бои. Но Лукиан, утверждающий это (Anach. § 37), путает перепелиные и петушиные бои.- Илиан. V. Н. ii. 28. Ср. Ludovic. Nonn. de Re Cib. ii. 22. p. 228. Полиарх, афинянин, великолепно похоронил своих собак и петухов.- viii. 4. В том же духе одна французская дама воздвигла мавзолей для своей кошки с такой эпитафией:

"Ci-gît une chatte jolie,

Sa maîtresse qui n'aima rien

L'aima jusques à la folie.

Pourquoi le dire? On le voit bien."

Собака, обнаружившая грабителя храма Асклепия, при жизни получила знаки общественной благодарности и содержалась как герой за народный счет - Элиан. V. Н. vii. 14.

622. Аристоф. Nub. 185. Plat. Repub. t. vi. p. 146.

623. Petit. de Legg. Att. l. ii. tit. iv. p. 162. Æsch. cont. Tim. § 2-4.

624. Plat. de Legg. vii. t. viii. 17. seq.

625. Ср. Athen. i. 16.

626. Hom. Гимн. Apoll. 149.

627. Плат. Горг. т. iii. с. 14.

628. Esprit des Loix, l. iv. с. 8.

629. Ср. Plat. de Rep. t. vi. p. 151.- Чтобы выразить пот, полученный в результате упражнений или труда, греки говорили ξηρὸς ἰδρῶς, или "сухой пот".-Phæd. t. i. p. 26. Бегуны, как было замечено, имели большие ноги; борцы - маленькие.-Xenoph. Conv. ii. 17.

630. Feith, Antiq. Гомер. iv. 6. 304. Cramer. p. 35.
631. Plat. de Rep. t. vi. 154.
632. Hermann. Polit. Antiq. § 26. n. 2.
633. Cp. Æsch. cont. Tim. § 37. Casaub. ad Theophr. Char. p. 200.
634. Cramer, p. 36.
635. Poll. iii. 149.
636. Возле Пейрейских ворот находился гимнасий, посвященный Гермесу, - Leake, Topog. of Attica, p. 124.
637. Cp. Xenoph. de Off. Mag. Equit. iii. 14.
638. Aristoph. Nub. 1001.
639. Sch. ad Aristoph. Nub. 1003.
640. Sch. Aristoph. Nub. 992.
641. Pausan. i. 19. 3. Harpocrat. v. Λύκειον, p. 190.
642. Здесь Аристотель преподавал (Cic. Acad. Quæst. i. 4.), как и ранее в Стагире, где в эпоху Плутарха сохранились каменные сиденья и крытые стены его школы. § 7.
643. Suid. v. Ἀρχων. i. p. 452. с.
644. Аристоф. Рас. 355. seq. Suid. v. Λύκειον, t. ii. p. 66. b. Xenoph. de Off. Magist. Equit. iii. 6.
645. Liv. xxxi. 24.
646. Suid. v. Κυνόσαυ. t. i. p. 1550. е.
647. В гимнасиях статуя Эроса обычно ставилась рядом со статуями этого божества и Гермеса -Athen. xiii. 12.
648. Плут. Them. § 1.
649. Бартел. Trav. of Anach. ii. p. 133. sqq.
650. Vitruv. v. 11.
651. Плин. xxv. 13.- Даже старики выполняли свои упражнения обнаженными.- Plat. de Rep. t. vi. p. 221.
652. Casaub. ad Theoph. Char. p. 172.
653. Poll. iii. 149.
654. Suet. Vesp. с. 20. с примечанием Торренция, p. 375.
655. В гимнасии Асклепия в Смирне софист Гераклид возвел комнату для помазания, содержащую фонтан или колодец с маслом и украшенную позолоченной крышей - Philostr. de Vit. Sophist. ii. 26. p. 613.

656. Vitruv. v. 11. Ср. о ксистои, Xenoph. Œconom. xi. 15.- Цицерон, Acad. iv. 3; ad Att. l. 8. Об этой крытой прогулке упоминает Аристей в одном из фрагментов своего "Орфея":...

Ἦν μοῖ παλαίστρα καὶ δρόμος

ξυστὸς πέλας.

Poll. ix. 43.

657. Potter, Book i. chap. 8.

658. Лукиан, Амор. § 45. и далее.

659. Лукиан, Анах. § § 1-3. 28.

660. Аккумен, друг Сократа, советовал людям ходить по большой дороге, предпочитая места для упражнений, как менее утомительные и более полезные - Plat. Phæd. t. i. p. 3. О быстроте общественных бегунов см. Herod. vi. 106. Ср. о пятиборье Вест, Диссертация об Олимпийских играх, с. 77. По-видимому, они приобрели настолько ровный и устойчивый темп, что время измерялось по их движениям, как расстояние по движениям караванов на Востоке. Так, Диоскорид, ii. 96. дает указание, что желчь следует варить, пока человек может пробежать три стадия.

661. Il. ψ. 754. sqq. Ср. Odyss. η. 119.- В качестве иллюстрации необходимости проходить через всевозможные упражнения Ксенофонт упоминает, что у бегунов были большие ноги, а у борцов - маленькие.-Conviv. ii. 17.

662. Poll. iii. 151.

663. Paus. v. 26. 3; 27. 12.

664. Eustath. ad Odyss. θ. 128. Schol. Аристоф. Acharn. 210.

665. Odyss. θ. 128.

666. Odyss. θ. 186. sqq. Ср. Il. ψ. 836. seq.

667. Schol. Hom. Il. β. 774.

668. Schol. Hom. Il. β. 774.

669. Лукиан. Гермот. § 33.

670. Tetral. ii. 1. Ср. Plat. de Legg. t. viii. p. 51. sqq. 142.

671. Ср. Sch. Aristoph. Eq. 569.

672. Il. ψ. 708, sqq. et Heyne ad loc.

673. Theoc. Eidyll. xxii. 3. et 80. Mercurial. de Art. Gymnast. ii. 9. Virg. Æn. v. 401. sqq. Paus. viii. 40. 3. Poll. ii. 150. Скалиг. Поэт. i. 22. p. 92.

674. Il. ψ. 684. sqq.

675. Но Гален предостерегает молодежь от бесполезных приобретений, которые, по его словам, вовсе не являются искусствами: например, πῆττευρίπτεϊν, бросание тали, - хождение по маленькому натянутому канату, - кружение вокруг себя без головокружения, как у афинянина Мирмекида и спартамца Калликрата - Protrep. § 9. p. 20. Кюн.- Затем он очень

пренебрежительно отзываясь о гимнастических упражнениях. Он рекомендует следующие занятия: медицина, риторика, музыка, геометрия, арифметика, диалектика, астрономия, грамматика и юриспруденция, к которым можно добавить лепку и живопись - § 14. Ср. Foës. Œcon. Hip. p. 366.

676. Vid. Aristot. de Poet. i. 6. Herm.

677. См. книгу IV. Глава 8.

678. Ср. Plat. de Legg. t. viii. p. 97.- Гимназии в поздние века Греции так мало посещались, что их территория была засеяна кукурузой. Дион. Chrysos. i. 223.

ГЛАВА VI.

ОХОТА И СТРЕЛЬБА.

Среди видов спорта и развлечений греков, которые можно рассматривать как своего рода дополнение к гимнастике, мы должны отнести прежде всего охоту, которую, как тщетно надеялся Ксенофонт, можно было бы сделать сдерживающим фактором роскошных и женоподобных привычек его современников.^[679] Но каждая эпоха имеет свои отличительные черты, и мало пользы от того, чтобы пытаться привить обычаи одного периода цивилизации другому. Мир будет идти своей собственной походкой. Чакфартинг и пирсинг с таким же успехом можно рекомендовать молодым джентльменам и дамам, умирающим от любви, как и охоту жителям тщеславного и модного города, для которых кабаны и волки должны казаться верной смертью. Однако деревенские джентльмены и вообще сельскохозяйственное население долгое время в свою защиту продолжали заниматься охотой, хотя в Аттике отсутствие диких животных, вызванное высокой и тщательной культивацией, очень рано свело ее к простому развлечению.

Но в более отдаленные времена и в тех частях страны, где дичь всегда водилась в изобилии, никогда не было недостатка в людях, которые наслаждались азартом погони. Особенно пастухи и пастушки считали это частью своего занятия.^[680] Так, мы видим Анхиза, молодого троянского вождя, который обитал в горной стране, устроившего себе логово из медвежьих и львиных шкур, добытых его собственным копьем.^[681] Спорт, конечно, был для смелых и безрассудных молодых людей, как охота на львов и тигров для наших соотечественников в Северной Индии; но от этого отдыха в какой-то мере зависела их безопасность, поскольку там, где диких зверей много, они не только опустошают страну,^[682] вытапывая кукурузные поля и пожирая стада и отары, но иногда, если им случается найти их безоружными, обедают и их охотниками. Так, погоня за калидонским кабаном, таль-хо и вид-хало, о котором до сих пор поют свежие песни, была предпринята этолийцами и кюретами, чтобы избавить деревенское население от вредителя;^[683] и точно такой же мотив побудил мальчика Алкмены вступить в знаменитый конфликт с Немейским львом,^[684] которого он сбил своим непобедимым луком и добил своей дубиной из дикой оливы. Таким же образом Тесей, его соперник в славе, убил марафонского быка и избавил критян от другого чудовища того же рода.^[685] Он также вступил в бой со свиноматкой огромных размеров в Кроммионе на границе Коринфии и зарезал ее, что было очень полезно и не менее славно.

Оружие и амуниция этих первобытных спортсменов соответствовали грубой службе, которой они занимались. Иногда на атаку дикого быка или кабана они выходили с грозными боевыми

топорами.^[686] Но когда их дичь была легкой и безобидной, достаточно было горсти легких копьев и лука, как, например, когда Одиссей и его спутники бродили по стране в поисках диких коз.^[687] В "Энеиде" мы также видим героя, который с помощью лука совершает великую казнь среди стада оленей. Кабаньи копья использовались и до Троянской войны, как Одиссей, который, по-видимому, чрезмерно увлекался погоней, изображен выходящим в таком вооружении на поле с сыновьями Автоликоса, когда его ранил боров.^[688] С тем же оружием мы видим Адрастоса, который занимается тем же спортом, убивая сына Крёзоса.^[689] Погоня за львом, которой во времена Ксенофонта уже не могли наслаждаться в самой Греции, требовала самой смелой отваги и самого грозного оружия - копий, копьев, дубин и горящих факелов, с помощью которых, наконец, его отгоняли ночью от стойла для скота. Гомер, как обычно, изображает поединок с жизнью:^[690]

"Он повернулся, чтобы уйти, как медленно отступает лев из стойла,

На которого нападают люди и собаки, а вокруг сыплются копья.

Всю ночь они бдят над своими стадами, чтобы он не набросился на добычу.

не унесет цветок всех их полей, самого жирного быка.

Он стремительно несется вперед - шипящие копья летят

Из смелых рук, а факелы взмывают далеко в небо.

Он боится, хотя и свирепствует, ослепительного пламени, густо вспыхивающего в его глазах,

И, голодный, дыша яростью, уходит с утренним светом".

Существование диких зверей в стране некоторые перечисляют среди причин цивилизации, и при определенных обстоятельствах это может заслуживать такого рассмотрения, хотя в целом подобные способы объяснения вещей крайне нефилософские. Митфорду, который отстаивает эту идею,^[691] достаточно бросить взгляд на Средиземноморье, чтобы развеять всю его теорию, поскольку нигде нет более диких зверей или менее цивилизованных людей, чем в Африке. Египет, Халдея, Ассирия, самые ранние населенные страны, пользовались лишь немногими из этих факторов, способствующих утонченности. Причины цивилизованности греков лежат не в их стране и не в ее случайностях, а в самой расе, которая, как одна семья в народе отличается от своих соседей высшим гением, так и отличалась от других рас людей. Однако лев, как мы видели, ранее существовал среди них, хотя, вероятно, никогда не был в большом количестве, и даже в эпоху Геродота все еще водился в дикой местности, простирающейся от Ачелооса в Акарнании до Нестоса во Фракии,^[692] где в сказочные времена Олинф, сын Стримона,^[693] как говорят, был убит на охоте на льва. Однако в эпоху Диона Хризостома это свирепое животное уже не было известно в Европе.^[694]

Собаки во всем мире и с самых отдаленных времен были спутниками человека в погоне, и Гомер, самый благородный художник древнего мира, завещал нам множество зарисовок античной охотничьей породы. Выше уже говорилось о том, что в компании с человеком они не боялись напасть даже на льва. Знаменитый пес Одиссея Аргос был гончей, которая

"Никогда не упускал в глухих лесах быстрой дичи, чтобы преследовать

Если она хоть раз промелькнула перед его глазами, он знал каждый след.^[695] "

И снова, когда тот же пронизательный Нимрод совершает обход в поисках "брюхатой древесины", перед ним бежит свора собак, "изучая следы", а он с кабаньим копьём в руке следует за ними по пятам.^[696] Но уже в те времена в моду вошла привычка держать больше кошек, чем ловить мышей - именно среди великих людей, поскольку мы видим грандов с их κύνας τραπέζῃς или "столовыми собаками", ценимыми просто за их красоту. Патрокл содержал девять этих красивых животных, и Ахилл, понимая его вкусы, бросил двух из них в пламя своей погребальной кучи, чтобы их тени сидели за его столом в нижних мирах.^[698]

Фаулинг тоже, если верить Афиней, ^[699] вошел в список героических развлечений. Однако очевидно, что спортсмены тех времен были ярыми браконьерами, поскольку, не довольствуясь нападением на свою добычу в открытом бою, они не гнушались расставлять для нее сети и ставить джинны для ее ног. Однако, будучи искусными стрелками из лука, они могли иногда, когда им не хватало провизии, подстрелить дрозда, голубя или голубку стрелой, ловко, как тот еврей из Евсевия^[700], который демонстрировал свою меткость, чтобы показать ошибочность предсказаний. Ведь в погребальных играх Патрокла мы видим, как один из героев со значительного расстояния поражает голубя, привязанного маленьким шнуром к вершине мачты.^[701]

Кроме того, они не только ловили рыбу сетями - занятие, ничуть не предосудительное для героя, нуждающегося в ужине, - но даже рыбачили с "кривыми О'Шонесси", , как выражается Гомер; хотя отрывок из "Илиады", где упоминается сеть, нельзя привести в подтверждение, поскольку он может относиться как к ловле рыбы, так и к рыбалке.^[703] Некоторые стихи в "Одиссее", однако, неопровержимо доказывают, что греки уже начали получать значительную часть своего пропитания из моря;^[704] а гомеровские герои даже понимали ценность устриц, которые, как явствует из "Илиады", добывались путем ныряния.^[705]

Тем не менее эти древние герои, хотя и не гнушались, как мы видели, голубей и устриц, в основном наслаждались погоней за более крупными животными, и в этом они были согласны с Платоном, который считал все остальные виды недостойными человека. Похоже, что он питал особую неприязнь к Исааку Уолтону древнего мира, и в его советы молодежи убедительно призывают их отказаться от крючков и рыболовных ловушек, которые он небрежно приравнивает к пиратству и разбою в доме: так же он поступает и с ловлей рыбы. Его великодушная философия также не одобряет браконьерство с сетями, жилами и силки. Его спортсмены, созданные по образцу старых гомеровских, должны были садиться на своих коней,^[706] и в сопровождении своих собак вступать в ближний бой с дикими врагами при свете дня и покорять их силой личной храбрости.^[707] Точно такие же взгляды преобладали в героическую эпоху, когда вожди и главные мужчины с детства упражнялись в погоне, как видно из примеров Ахилла и Одиссея;^[708] из которых первый, по словам Пиндара, попробовал свои силы во льве в возрасте шести лет, ἔξέτης τοτρωτοῦ. Будучи быстрым, как те арабы Северной Африки, которые, как говорит Лев^[709], могут сравниться с любой лошастью, он без помощи собак догонял и убивал оленей своим копьём, и любую добычу, которую он брал, он нес своему старому хозяину Хеирону. Этот отрывок мистер Кэри перевел в следующей энергичной и изящной манере: - "В доме Филиры.

"В доме Филиры льняной мальчик

Ахилл часто в восторженной радости

Свои силовые подвиги совершал.

Вдаль, как ветер, летело его маленькое копье,

И льва, и вепря он убивал;

А потом домой к старому Херону привел

Их пыхтящие туши.

Так прошло шесть лет;

И все последующее время

Его ликующего расцвета

Диан и голубоглазых дев.

Удивлялись, как он довел до земли

Оленя без труда и гончей.

Он был так быстроног".

Подобные нравы, если верить Вергилию,^[710] преобладали среди старых жителей Лациума, а Ксенофонт^[711] в своей монархической Утопии прививает молодежи те же привычки.

Об охоте,^[712] как она практиковалась в цивилизованные века Греции, мы располагаем более подробными сведениями, и именно благодаря мельчайшим штрихам картина такого рода может быть интересной и полезной. Ксенофонт, аристократический деревенский джентльмен, живший в развращенный век, который, как я уже говорил, был благоразумно равнодушен к благородным нравам прошлого, рассматривает погоню как отрасль образования.^[713] Он, однако, не придерживается в этом вопросе героических взглядов Платона, но, заботясь исключительно о пользе, описывает не только физические кондиции и умственные качества охотника, но и сети, шесты, оружие и все орудия, используемые древними во время погони.

Чтобы не нарушать дисциплину школ и гимназий, юношей призывали заниматься полевым спортом в возрасте около двадцати лет. Их представления о костюме спортсмена существенно отличались от наших: вместо того чтобы, подобно нашим охотникам на лис, наряжаться в алое, они выбирали самые скромные и неяркие цвета как для плащей, так и для хитонов. Последние, как правило, были очень короткими, доходящими лишь до окороков, как обычно изображают Артемиду в произведениях искусства. Но хламида была длинной и объемной, чтобы ее можно было обмотать вокруг левой руки в поединке с крупными животными. Их охотничьи сапоги доходили до колена и плотно обвязывались вокруг ноги ремешками. Вероятно, как и в путешествиях, они покрывали голову широкополой шляпой.

Снаряжение греческого спортсмена показалось бы современному Нимроду несколько громоздким и, возможно, немного смешным. Но, понимая свою цель, они шли к ней своим путем; Их оружие и орудия, варьировавшиеся в зависимости от погони, которой они занимались, состояли из коротких мечей, охотничьих ножей^[714] для рубки хвороста, чтобы затыкать проемы в лесу, топоров для рубки деревьев, дротиков, снабженных ремешками для отвода их назад, когда они не попадали в цель, луков, кабаньих копий, оружия, особенно грозного, сетей, маленьких и больших, одни для установки на равнине, другие для обхода полей или узких проулков в лесу, третьи в форме женской головной сети для установки в

небольших сумрачных отверстиях, где дичь, будучи незамеченной, попадает в них, как в мешок, который закрывается вокруг нее с помощью бегущего шнура, сетные столбы, вилочные кольца, силки, джины, петли и поводки для собак.^[715] Дротики, используемые в таких случаях, имели пепельные или буковые рукоятки, а сети обычно изготавливались из льна, привезенного из Колхиды на Фазисе, Египта, Карфагена и Сардинии.^[716] Обычно они также брали с собой лагобалон - короткую кривую палку с набалдашником на одном конце, которой они иногда сбивали зайца в полете.^[717] Эта практика, достаточно распространенная среди браконьеров в нашей стране, называется ими *squailing*.

Однако без помощи собак охота - плохой вид спорта. Поэтому древние, увлекавшиеся этой отраслью образования, уделяли большое внимание породам этих животных, некоторых из которых стремились прославить героическими и сказочными ассоциациями-ассоциациями. Так, касториды, как утверждалось, произошли^[718] от породы, к которой был равнодушен бог-близнец Спарты; алопециды были скрещиванием собаки и лисицы; а третий вид^[719] возник от смешения этих двух рас. Среди современных спортсменов есть авторитеты, которые предпочитают гончих с четвертью лисьей породы.^[720] Другие виды гончих, такие как Менелайды и Гармодиан, получили свое название от людей, которые их разводили.^[721]

Но целые породы некоторых стран^[722] были знамениты, как аргивская, локрийская, аркадская, испанская, карийская, эретрийская; кельтская или борзая (не известная^[723] в более древние времена); псиллийская, названная так от города в Ахайе; элимейская собака, страна, лежащая между Бактрией и Гирканией; гирканская, которая была скрещена со львом; лаконская, сука которой была более щедрой,^[724] иногда скрещивалась с критской, которая сама славилась своим носом, силой и храбростью,^[725] те, что несли вахту в храме Артемиды Диктинны, считались равными даже медведям; молосская, которая ценилась не столько для погони, сколько как пастушья собака, из-за своей свирепости и способности бороться с дикими зверями;^[726] киренская, скрещенная с волком, и, наконец, индийская, на которую возлагалась главная надежда в погоне за диким кабаном. Эта порода, согласно Аристотелю, была выведена путем скрещивания с тигром, вероятно, с читой.^[727] Первый и второй вывод считались слишком свирепыми и неуправляемыми, и только в третьем поколении тигровых мулов удалось приспособить для использования спортсменом. Некоторые искали происхождение этого благородного животного в мифологии; согласно Никандру, гончие Актеона, придя в себя после гибели своего хозяина, бежали через Евфрат и забрели в Индию. Об этой породе рассказывают странные истории, некоторые из них, как утверждают, не могли поспорить ни с одним животным, кроме льва. Собака Александра, которую он купил в Индии за сто мин, дважды одолела и убила лесного монарха.^[728]

Итак, давайте представим себе гончих именно такими, какими они должны быть, и понаблюдаем, при каких обстоятельствах их выводили в поле. Как и в Англии, их основным видом спорта был заяц. Зимой^[729] было замечено, что кошечка, из-за продолжительности ночей, занимает более широкий круг, а значит, у собак больше шансов обнаружить ее след.^[730] Но когда утром земля покрывалась льдом или белела инеем, собаки теряли след, а также при обильных росах или после сильных дождей. Поэтому спортсмен ждал, пока солнце поднимется на небо и начнет ускорять тонкие запахи, передающиеся земле.^[731] Западный ветер,^[732] который покрывает небо огромными облаками и наполняет воздух влагой, и южный, дующий тепло и влажно, ослабляют запах; но северный ветер закрепляет и сохраняет его.^[733] При лунном свете, как замечают старые спортсмены, и благодаря теплу, которое он излучает, запах усиливается; кроме того, когда луна светит ярко, зайцы в своем веселом и спортивном настроении на укромных полянах леса совершают длинные прыжки по зеленой траве, оставляя большие промежутки между своими следами.^[734]

Из замечания Ксенофонта следует, что, по крайней мере, в одном вопросе спортсмены древности были менее гуманны, чем современные, поскольку занимались погоней даже в брачный период.^[735] Они, однако, щадили молодых в честь Артемиды;^[736] дух даже ложной религии, в этом, как и во многих других случаях, усиливал порывы гуманности.

Сразу несколько причин привели к тому, что зайцев на эллинском континенте стало мало: количество спортсменов, лисиц, которые пожирали их и их птенцов, и орлов, которые облюбовали его высокие и почти недоступные горы и делили его дичь с егерем и лисой. Гомер в нескольких живописных словах описывает войну, которую ведет эта губительная птица против киски.^[737] На островах, обитаемых или нет, таких препятствий для их увеличения было мало. Спортсмены редко залетали на них, а на тех, что были священны для любого из богов, не разрешалось заводить собак, так что, подобно голубям и горлицам Мекки, они размножались в этих священных местах непомерно.

Законы Аттики запрещали^[738] совершать малейшие нарушения во время погони. Спортсмену не разрешалось пересекать возделываемые земли, нарушать течение воды или вторгаться в святость фонтанов. Местом действия, соответственно, были леса и горы, являвшиеся общей собственностью республики, а если таковой не было, то по общему согласию отданные в пользование спортсмена. Таковы, например, лесные районы Парнес и Китерон на границах Беотии. К ним охотник, хорошо обутый, просто и легко одетый,^[739] и с палкой в руке, отправлялся зимой на восходе солнца, летом - перед днем.^[740] По дороге соблюдалась строгая тишина^[741], чтобы заяц не поднял тревогу и не бросился к ней по пятам. Достигнув укрытия, собак привязывали отдельно, чтобы легче было их отпустить, сети расстилали в положенных местах, ставили невод, и охотник со своими собаками приступал к охоте, предварительно благочестиво совершив жертвоприношение *primitiæ* Аполлону и Артемиде,^[742] божествам погони.^[743]

И вот, - восклицает предводитель десяти тысяч, - я вижу, как гончие, радостные и полные огня, устремляются вперед по следу своей дичи. С нетерпением и жадой они преследуют ее - бегут по кругу - то по прямой, то наискосок - то погружаются в чащу, то пересекают поляны, то пробираются по тропам, известным или неизвестным, спешат друг за другом, трясут хвостами, низко наострив уши,^[744] их глаза горят огнем. Приблизившись к дичи, они указывают хозяину на это своими движениями, разгораясь до боевого настроения, устремляясь вперед, презирая всякую мысль об усталости, - то телом, то поодиночке, - пока не достигают укрытия^[745] зайца и не устремляются к нему все разом. Среди криков и лая стремительное животное оглядывается на гончих по пятам. Егерь, левая рука которого обмотана хламидой, следует с посохом в руке, подбадривая своих собак, но избегая, даже если это в его силах, возглавить дичь.^[746]

Необычный вид погони, распространенный сейчас в наших кроличьих войнах, похоже, перешел из Африки на Балеарские острова, в древнем рассказе о которых встречается первое упоминание о нем. Эти острова, как утверждается, были почти полностью свободны от паразитов, но, с другой стороны, содержали огромное количество кроликов, которые почти уничтожали все травы и растения, обкусывая их корни. Однако в конце концов они нашли средство от этого зла. Они завезли из Африки хорьков, которых, предварительно надев на них намордники, выпустили на волю в кроличьи норы. Заползая в норы, они распугивали обитателей, которых ловил спортсмен. Страбон, рассказывающий об этом обстоятельстве, называет хорька "дикой кошкой". Плиний, описавший также опустошения кроликов, говорит о нем под именем *viverra* и утверждает, что он очень ценился за свою полезность в этой погоне, которая в XVII веке практиковалась на острове Прочиде, куда

животное завезли из Сицилии и назвали его Foretta, , откуда и пошло английское название. Распространенным итальянским названием было donnola.^[747]

Очевидно, однако, что в классические времена хорек был неизвестен в Греции, иначе мы никогда не слышали бы пословицу о Карпате и его зайце^[748], применяемую к людям, которые навлекали на себя зло. Первоначально, как нам рассказывают, остров Карпатос^[749], как и Итака, был полностью лишен зайцев; но, когда на нем появилась пара, они так сильно размножились, что почти обезлюдели, пожирая плоды земли. Аналогичный факт рассказывается об острове Порту-Санту, недалеко от Мадейры, поскольку принц Генрих Португальский сразу после его открытия "послал Бартоломею Перестрелло с семенами для посева и скотом, чтобы заселить это место; но одна пара кроликов, помещенная среди остальных, размножилась так сильно, что вся кукуруза и растения были уничтожены ими, и было признано необходимым обезлюдить это место."

Древние упоминали об особом виде зайца, который водится в Элимее. Говорят, что по размерам он мало уступал лисице, был вытянутым и стройным, черноватого цвета, с длинным белым кончиком на конце хвоста. Тот же автор отмечает, что запах, оставляемый леврами на земле, сильнее и резче, чем у взрослого зайца, так что собаки приходят в ярость, учуяв его.^[751]

От охоты на зайца и кролика мы переходим к охоте на оленя и олениху, в которой они использовали индейских собак,^[752] животных большой силы, размера, скорости и смелости. На оленей^[753] охотились весной, в сезон их рождения. Сначала спортсмен обходил леса, чтобы узнать, где много оленей; найдя подходящее место, он возвращался туда днем, вооруженный копьями и в сопровождении егеря со сворой гончих. Собак держали на поводке в отдалении, чтобы они не высунули язык при виде оленей. Сам он занял место на стрёме. С рассветом^[754] из зарослей выходили олени с желтоватыми и богатыми пятнами на шкурах, за ними следовали их еще более изысканные оленята, которых они вели к местам^[755], где обычно их сосали, а олени располагались на расстоянии, как передовой дозор, чтобы защитить их от всех посторонних. Затем изящные создания ложились, чтобы исполнить свой женский долг, при этом внимательно оглядываясь по сторонам, чтобы убедиться, что их не обнаружили. Выполнив эту приятную задачу, они, как и олени, выстраиваются в круг вокруг своих детенышей, чтобы защитить их. Спортсменам не занимать чувств. В тот самый момент, когда это прекраснейшее проявление немой привязанности согрело бы сочувствием сердце философа или поэта, собак отпустили, а их хозяин и его спутники, вооруженные копьями, бросились на дичь. Сам олененок, если только он не озяб и не промок от росы - в этом случае он резвился вокруг, - оставался на месте и был схвачен. Но услышав его крики, лань бросалась вперед, чтобы достать его, и была сбита копьями или разорвана на куски собаками. В погоне за самкой слона в Африке проявляются те же черты привязанности у животного и свирепости у человека. В этом случае молодняк будет сражаться за свою мать, а мать - за своего детеныша до самой смерти.

Когда олененок достигал значительных размеров и начинал кормиться среди стада, погоня за ним становилась более трудной. Верность инстинктивной любви, противопоставленной человеческой рассудительности, проявилась во всей своей силе. Сплотившись вокруг своих молодых оленей и вытянувшись перед ними, олени, ободренные привязанностью, топтали собак ногами, часто до смерти, если только егерю, бросившемуся среди них, не удавалось отделить от стада одно животное. Но если это удавалось, гончие сначала оставались далеко позади олененка, который, испугавшись, что остался один, несясь вперед с невероятной скоростью, хотя вскоре его силы иссякали, и в конце концов он становился жертвой охотника.

Однако целью древних охотников был не просто спорт, а овладение дичью кратчайшим путем, поэтому они расставляли силки в ущельях гор, на лугах, у ручьев и озер, в зарослях - везде, где можно было поймать оленя. Также рыли ловушки, как в Африке для льва,^[756] и прибегали к большинству тех хитростей, которые нубийцы и египетские арабы применяют против газели. В самом деле, было принято сооружать из грубых камней или дерева нечто вроде заслона, возможно полукруглого, наподобие тех, за которыми прячутся охотники в пустыне, чтобы укрыться, подстерегая дичь.^[757]

Для погони за диким кабаном,^[758] одновременно мужественным и полезным видом спорта, требовались несколько сложные приготовления. В этой охоте собаки Индии, Крита, Локриды, Спарты охотились бок о бок, а спортсмен выходил на поле, вооруженный крепкими сетями, копьями, охотничьими шестами и силками. Копья весть древних^[759] были сделаны очень тщательно, с широкой острой головкой и рукояткой из прочного дерева. Так же и их охотничьи палицы были вооружены длинными железными остриями, закрепленными в медных гнездах, с древком из дерева. В промежутках между ними были установлены прочные лапы. Это был не спорт одинокого охотника. Они отправились в путь в значительном количестве, держась вплотную друг к другу, и за неимением огнестрельного оружия не испытывали особых трудностей в борьбе с врагом. Когда они добрались до места, где, по их предположениям, находился бор, все собаки, за исключением одной спартанской гончей, были отпущены на свободу и сопровождалась во всех своих движениях. Когда ему казалось, что он нашел след, они следовали за ним, и он, таким образом, становился лидером погони. Многочисленные знаки также направляли движения охотника: в мягких местах - след, в зарослях - сломанные ветки, в лесах - раны на коре деревьев, нанесенные кабаном, когда он точил свои клыки при прохождении.^[760]

Как правило, следы вели к какому-нибудь укромному уголку, зимой теплomu, летом прохладному, где кабан устраивал свое логово. Обнаружив его, собака давала язык, но животное в целом отказывалось подниматься. Тогда гончую отводили и сажали на поводок вместе с остальными, а все отверстия, кроме одного, ведущего к этому месту, закрывали сетями, верхние концы которых пропускали через развилки деревьев. Сети повесили так, чтобы они выходили брюхом наружу, и аккуратно расположили так, чтобы их было видно насквозь. Наспех срезанные кусты поддерживали их с обеих сторон и закрывали все отверстия, через которые дичь могла попытаться пробраться. Сделав это, гончие попятись, и охотники, вооружившись пиками и копьями, вошли в загон, обнесенный сеткой. Один из самых смелых и опытных вел собак; остальные следовали с интервалом, оставляя между ними достаточно места для кабана, который, если бы был тесно зажат, мог бы постигнуть своих противников судьбы Адониса. Вскоре гончие разом бросились на дичь, которая, поднявшись во внезапной тревоге, подбросила в воздух первого встречного и, прорвавшись сквозь стаю, устремилась к сетям, за которой с криком неслись люди и собаки. Встретив непривычное сопротивление, гончая, если бежала по склону, бросалась вперед, чтобы пробить себе дорогу, а если по равнине, то замирала, свирепо озираясь по сторонам.

Однако собаки вскоре вышли на его след, а охотники стали колоть его копьями и камнями, приближаясь все ближе и ближе, пока он сам не угодил в сети. Тогда самые смелые из его преследователей приближались с пиками в руках и пытались положить конец поединку, пронзив его в голову. Иногда, несмотря на все их усилия, вместо того чтобы броситься в сети, он поворачивался к ним; в этом случае какой-нибудь ловкий спортсмен, вооруженный копьем или пикой, обычно выставлял вперед одну ногу, чтобы принять удар, нажимая на оружие правой рукой и направляя его левой. Однако вместо того, чтобы сразу броситься вперед, бор, возможно, делает паузу для разведки, и тогда его противник должен будет

внимательно следить за каждым движением его головы или взглядом.^[761] Ибо в тот самый момент, когда удар был направлен на него, он иногда отбрасывал копье в сторону клыком или рылом, а в следующий момент набрасывался на своего врага, чей единственный шанс на безопасность теперь состоял в том, чтобы мгновенно броситься на него и держаться за все, за что он мог ухватиться, поскольку клыки кабана загибались вверх, ему было трудно растерзать лежащего врага, и, не сумев перевернуть его, он в своей ярости топтал его. Второй охотник теперь бросался вперед, чтобы спасти своего товарища, и обычно отвлекал кабана ловкими ударами с фланга. Упавший спортсмен, одновременно восстанавливая свои ноги и копье, по законам погони должен был вернуться в бой и мог защитить свою репутацию, только обезглавив своего врага. К этому времени, правда, задача, как правило, становилась проще, так как, обезумев от ярости, он стремительно бросался на пики, которые, если бы не защитные щитки у головы, прошли бы сквозь него по рукоятку и все. Все его тело теперь казалось разгоревшимся от ярости, кровь кипела, глаза сверкали, а клыки были настолько раскалены, что если бы в момент смерти они соприкоснулись с волосами, то раскалили бы их, как раскаленное железо.^[762]

Об охоте на медведя^[763] древние не оставили нам точного описания. Однако, поскольку это животное водилось в большинстве районов Греции, где оно доставляло много хлопот и разрушений, особенно фруктовым деревьям, были придуманы различные способы его добычи и уничтожения. Иногда его преследовали как дичь и сбивали луком, но, как правило, использовали ловушки и силки. Например, вокруг одного из тех деревьев, плодами которых особенно лакомится медведь, выкапывали глубокую траншею и, накрыв ее камышом или хрупкими ветками, посыпали тонким слоем земли и укрывали все свежей травой. Медведь, как обычно, шел к дереву с воровским поручением, проломил своим весом крышу ямы и был пойман. Даже в самые цивилизованные времена это животное не было полностью истреблено из Аттики,^[764] но, как и кабан, встречалось на горе Парнес. В Лаконии, на всем протяжении Тайгетоса, он обитал вместе с боровыми, оленями и дикими козами. Бруина приносили в жертву Артемиде Лафрии в Ахайе. Во Фракии водился белый медведь.^[765]

О повадках греческого медведя древние оставили нам несколько фактов, которые, возможно, стоит повторить. Считается, что, выходя из берлоги,^[766] где он зимовал, он грызет кусочки дерева и питается змеиной травой, вейк-робином или кукушкиной мятой (*arum maculatum*^[767]), которая обладает чистящим действием. При выполнении этих действий у него сразу же просыпается жадный аппетит, и он начинает опустошать хозяйственные дворы, сады и пасеки. Наслаждаясь медом, он нападает на ульи, которые разрывает на части, чтобы полакомиться сотами, хотя Плиний^[768] приводит другую причину этого факта, весьма характерную для этого писателя. Он говорит, что медведь после зимней спячки, обнаружив, что глаза его мутны, а голова тяжела, обращается к пчелам, как к искусным окулистам, чтобы они в отместку за то, что они лишили его меда, гневно ужалили его в лицо, что, пустив много крови, сразу же избавило его от офтальмии и **головной боли**. Медведь, как известно, всеяден, как и человек. Соответственно, он грабит бобовые поля и питается всеми видами бобовых. В грабеже фруктовых садов^[769] тоже не откажешь, его смелость и умение велики, он, как я уже говорил, не хуже школьника разбирается в лазании по деревьям, с которых, натешившись, спускается, как вышеупомянутый озорной зверь, ногами вперед. Когда ни одно из вышеперечисленных лакомств не попадалось ему под руку, медведь питался муравьями, крабами или любыми паразитами, но предпочитал, конечно, плоть крупных животных, таких как олень, кабан и бык. Его способ добычи был любопытен. На кабана и оленя он, вероятно, бросался из своего укрытия на деревьях, а быка он обычно захватывал следующим образом.^[770] Бросаясь на землю прямо на своем пути, он провоцировал хозяина стада растерзать его, после чего, схватив его за рога и хищно

вцепившись в плечо, валил его на землю, где и питался его тушей в свое удовольствие. Спасаясь от более страшного лица человека, самка обычно вела своих детенышей перед собой или, взяв их в рот или на спину, пыталась скрыться с ними на деревьях.^[771]

Поскольку лев не водился в Греции в цивилизованные периоды ее истории, нельзя сказать, что погоня за ним была эллинским развлечением.^[772] Однако, при желании, они могли наслаждаться этим опасным занятием в своих колониях во Фракии и Малой Азии, на горе Пангеос, на Мисийском Олимпосе и в Сирии, выйдя немного за их пределы. Однако во всех этих странах лев,^[773] пантера, пард, рысь и другие животные этого разрушительного класса были отведены в горы, где, как заметил опытный наблюдатель, они теряют большую часть своей силы и свирепости. Выражение, использованное Ксенофонтом, доказывает, что страх перед человеком загнал их почти в недоступные места, где их не мог преследовать охотник, так что при спуске в низины их в основном травили аконитом,^[774] воды или приманки, которые им подкладывали: Иногда, правда, когда нужда заставляла их выходить на равнины, партии охотников на лошадях, вооруженные до зубов, нападали на них и уничтожали, не без неминуемой опасности. Для них были вырыты ямы хитроумной конструкции, в центре которых стоял глиняный столб, к которому привязывали козла.^[775] Окружающий ров, подобный описанному выше, предназначенный для медведя, был скрыт покровом из стройных кустов, которые, ломаясь под ними, опускали на дно и там убивали. Волк, хотя и был священным животным^[776] в Аттике, имел по законам цену, назначенную за его голову, чему Менаж^[777] удивляется, хотя египтяне также убивали своих священных крокодилов, когда они превышали определенный размер.

В погоне за диким козлом использовался лук, а в горах Крита критяне были настолько искусными стрелками^[778], что из глубины долин они спускали свою дичь с вершин самых высоких скал.^[779] По легенде, искусству охоты их научили куреты, и, постоянно практикуясь в крутых и труднопроходимых местах, они приобрели большую гибкость и ловкость тела, а также необычайную быстроту ног.^[780]

Македонцы также были практикующими и увлеченными спортсменами и наслаждались развлечениями даже во время самых утомительных походов. Так, во время походов Александра в Азию мы видим, что генералы Леонатос и Менелай или Филотас^[781] носили с собой среди багажа льняные шкуры длиной десять или двенадцать миль, которые во время остановок растягивали вокруг определенного района, где они охотились, как в парке. Рассказывают анекдот, ярко иллюстрирующий, как высоко ценилась охота при дворе и среди знати Македонии, где было принято, чтобы сын сидел прямо на стуле за столом своего отца и не ложился среди гостей, пока не убьет дикого кабана, вырвавшегося из пут. Кассандр, сын Антипатра, как рассказывают,^[782] до своего тридцать пятого года сидел прямо за царским столом, потому что, хотя он был храбрым человеком и искусным охотником, фортуна постоянно отказывала ему в удовольствии завалить вепря по установленной моде.

Есть один вид охоты, возможно, самый любопытный и интересный, который не практиковался греками в классические времена, хотя нельзя сказать, что он был им неизвестен; я имею в виду соколиную охоту, описанную несколькими древними писателями, как она проводилась в Индии и во Фракии. Поэтому, если я дам краткое описание этого вида спорта, его следует рассматривать как отступление, сделанное для того, чтобы, насколько это возможно, завершить круг древних развлечений. Ктесий,^[783] который был современником Сократа и опубликовал свою историю Индии за четыреста лет до нашей эры, кажется, является самым древним писателем, у которого упоминается соколиная охота. Он рассказывает, что среди индусов на зайцев и лисиц охотились с коршунами, воронами и орлами, и подробно описывает, как разделялись с птицами. Пойманных в молодом

возрасте, их сначала учили летать на прирученных зайцев и лисиц следующим образом. Животных с привязанными к ним кусками плоти запускали в поле зрения соколов, которых тут же отпускали на волю и отправляли в погоню. Когда они ловили и возвращали дичь, им в награду давали кусок мяса, и такой приманкой и соблазном они поощрялись к упорству. Когда они были достаточно обучены, их брали с собой в горы и выпускали против диких зайцев и лисиц. Страсть к соколиной охоте до сих пор сохранилась на Востоке, особенно в Персии, где Шах-баз, или королевский сокол, летает на зайцев и антилоп, иногда на него надевают шкуры, которые защищают его от разрывов.^[784] Но самая смелая и опасная служба, в которой когда-либо использовались соколы, - это погоня за дикими лошадьми у туркоманов Хивы на восточных берегах Каспия.^[785] Более подробное описание древней соколиной охоты, чем у Ктесия, можно найти в работе, приписываемой Аристотелю.^[786] Рассказывают, замечает этот писатель, что молодежь Фракии, увлекавшаяся охотой, преследовала свою дичь с помощью ястребов. Прилетев на землю, сокол, который, очевидно, был обучен для этой цели, повинаясь призывам спортсменов, загонял птиц в заросли, где их сбивали охотничьими палками и забирали. Даже когда соколы сами добывали дичь, они приносили ее охотникам, которые, как и в наши дни, отдавали им в награду часть животного.

При ловле рыбы они применяли большую жестокость: голубей и горлиц обычно ослепляли, чтобы использовать их в качестве приманки, и в таком состоянии они иногда жили восемь лет.^[787] Куропаток использовали для той же цели другим способом. Самца прирученной птицы выпускали поблизости от стаи, и тогда самый смелый из диких птиц выходил на бой с ним, и его удерживали сетью. Вызов обычно принимал каждый самец в стае, пока их всех не забирали одного за другим. Когда работала самка, она последовательно заманивала их в сети своим зовом.^[788] Первым в заблуждение попадает, как правило, главный петух в стае, которого остальные, собравшись вместе, пытаются прогнать. Чтобы ускользнуть от их преследования, вожак иногда молча приближается к приманке, чтобы не вступать в схватку с другими самцами. Нередко они спускались и позволяли поймать себя в такое время на крышах домов.^[789]

У греков, обосновавшихся в Александрии, был, по словам Афиней, уроженца Египта, свойственный им вид погони - за рогатой совой. Софиста Наукратиса действительно подозревали в том, что он путает ὠτὸς с ὠτῖς, , то есть сову с дрофой;^[790] , но, имея возможность проверить то, о чем он рассказывает, я представлю его рассказ читателю, который сам рассудит. Эта птица, говорят, водится в большом количестве в пустыне близ Александрии (хотя я сам не видел ни одной) и так же склонна к подражанию, как и обезьяна. Прежде всего он стремится подражать человеку и, насколько это возможно, будет делать все то, что, по его мнению, делает птицелов. Зная о его склонности к этому, эти джентльмены, желая взять сову, брали с собой в пустыню густой клей, которым, подойдя к ото, они мазали глаза. Затем, положив горшок с клеем на песок, они отступали в какое-нибудь углубление для укрытия. Тогда сова, внимательно наблюдавшая за их передвижениями, подлетала к ним и, прикрыв глаза коварной мазью, ослеплялась и улета.

Существовал и другой способ поимки этой птицы. Выяснилось, что он, как и арабский бедуин, равнодушен к обществу лошади, поэтому птицеловы накрывались лошадиными шкурами и в таком виде, приближаясь к стае, могли поймать столько, сколько хотели. Третий способ ловли ото был тем, который подвергал несчастную птицу насмешкам комических поэтов. Птицеловы отправлялись в погоню парами, разделяясь при появлении дичи. Один из них выходил вперед и начинал джигу, после чего бездумный подражатель тут же делал то же самое, отбивая ногами точное время и не сводя глаз со своего хитрого учителя. Пока веселая

жертва занималась этим, капризная, пружиня и пируэтируя, как пернатый Тальони, другой ловец птиц подошел сзади и схватил его за шею.

Такую же историю другие авторы рассказывают о скопе или пересмешнике, в подражание движениям которого древние устраивали знаменитые танцы.^[791]

Перепела в определенные сезоны года в огромном количестве встречаются в Греции, как и в Египте и Южной Италии.^[792] Предполагается, что остров Делос получил название Ортыгия от перепелов (ὄρτυγες), которые в большом количестве прилетали на него во время миграции на север. Их было также много в Финикии,^[793] где они приносили их в жертву Гераклу. Для ловли этой птицы использовались многочисленные приемы. В парное время ее ловили следующим образом: на полях устанавливали зеркала с сифонами перед ними, и перепел, бегущий к воображаемой птице, попадал в ловушку. Клеарх Солийский описывает любопытный способ ловли галок. По его словам, в местах, часто посещаемых этими птицами, ставили широкие сосуды, наполненные до краев маслом. Любопытные и любопытные галки подлетали к краям и, довольные отражением собственной красоты, хихикали над ней и хлопали крыльями, пока перья не слипались, и они не могли больше летать.

679. В первые века существования мира охота, как нас уверяют, привела к установлению монархии, приучив молодежь, чей мозг находился в сухожилиях, к беспрекословному повиновению своим предводителям в погоне" -Bochart, Geog. Sac. t. i. p. 258.

680. Илиада, л. 547.

681. Hom. Гимн в Vener. 160. и далее.

682. Paus. i. 27. 9.

683. Илиада, л. 547. sqq.

684. Феокрит. xxv. 211. sqq.

685. Paus. i. 27. 9. sqq.

686. Илиада, р. 520. и далее. Feith. Antiq. Hom. iv. c. 2. § 2.

687. Odyss. л. 155. seq.

688. Odyss. л. 465. и далее.

689. Ирод. i. 43.

690. Il. р. 657. Cp. Aristot. Hist. Anim. ix. 31. Оппиан Кинетет. iv. 131. sqq.

691. Hist. of Greece, i. 16.

692. Ирод. vii. 125. seq.

693. Конон, Диг. iv. ap. Phot. 131. Рюдиг. Prolegg. ad Dem. Olynth. p. 3.

694. Orat. 21. t. i. p. 501. Reiske.

695. Odyss. p. 316. seq.

696. Id. τ. 436. seq.

697. Id. p. 310.

698. Илиада ψ. 173. seq.

699. Deipnosoph. i. 22. et 24.

700. Præp. Evang. l. ix. c. 4. p. 408. d.

701. Илиада, ψ. 853. sqq.

702. Γναμπτοῖς ἀγκιστροίσιv. Odyss. μ. 331. seq. Людовик. Nonn. de Re Cibar. iii. 4. p. 294. Plut. de Solert. Anim. § 24. Cp. Antich. di Ercol. t. i. tav. 36. p. 191. Из выражения Августа, если мы можем считать его чем-то большим, чем просто фигура речи, можно сделать вывод, что для увеличения роскоши спорта, превратив его в разновидность азартной игры, люди иногда ловили рыбу золотыми крючками -Polyæn. Strat. viii. 24. 6.

703. Илиада, γ. 487. и др. Eustath. ad Odyss. χ. 386.

704. Odyss. χ. 386.

705. Илиада, π. 747. sqq.

706. Cp. Poll. Onom. v. 17.

707. De Legg. vii. t. viii. p. 71. seq.- В его Республике мальчикам разрешалось, когда они могли сделать это с безопасностью, отправляться на поле битвы и там приближаться достаточно близко к месту происшествия, чтобы иметь возможность, как молодые гончие, попробовать, так сказать, кровь.-t. vi. p. 367.

708. Pind. Nem. iii. 43. seq. Diss. Odyss. τ. 429. seq.

709. Descrip. Afric.

710. Энеида, ix. 605.

711. Синег. ii. 1.

712. Чтобы составить правильное представление о спортивной лексике греков, читателю следует обратиться к Julius Pollux, Onomasticon, v. 9.-94.

713. Cyneg. ii. 1.

714. Poll. v. 19.

715. Cp. Grat. Falisc. Cyneg. p. 14. Wase.

716. Xen. Cyneg. ii. 3. Grat. Falisc. Cyneg. p. 6. Wase. Pollux, v. 26.

717. Spanh. Obs. in Callim. Hymn. in Dian. ii. p. 122. Poll. v. 20.- В Южной Гвинее негры охотятся на зайцев с палками.- Barbot. iii. 14.

718. Poll. v. 39. Xen. Cyneg. iii. 1.

719. Arist. Hist. Anim. viii. 28. Poll. v. 39.

720. Письма об охоте, с. 60.

721. Poll. v. 40.

722. Arist. de Gen. Anim. v. 2. p. 344. Virg. Georg. iii. 405. См. перечисление Грация, Cynege. p. 20. seq.

723. Априан, de Venat. с. 2.

724. Arist. Hist. Anim. ix. 1. Soph. Ajax, 8. Вегг. Georg. iii. 405. Λάκαιναι σκύλακες, Plat. Parmen. t. ii. p. 7. имели длинные носы. Arist. de Gen. Anim. v. 2. 344.

725. Æl. De Nat. Anim. iii. 2. Pashley, Travels in Crete, i. 33. Hughes, Travels, &c. i. 489, 501.

726. Арист. Hist. Anim. ix. i.

727. Arist. Hist. Anim. viii. 28, с замечаниями Камю, т. ii. p. 215. Ср. Scalig. de Subtilitat. x. p. 383. Æl. de Nat. Anim. viii. i.

728. Æl. De Nat. Anim. viii. 1. Poll. Onom. v. 42. seq.

729. См. о запахе в Sport. Mag. Jan. 1840, и сравните Essay on Hunting, p. 1. et seq.

730. Ср. Poll. v. 11. Σύμβολα ἐν τετυπωμένα τῇ γῇ.

731. У Поллукса фраза звучит так: ἀποφέρεται ἀπ' αὐτῶν (τῶν ἰχνῶν) τὸ πνεῦμα. v. 12. Автор "Очерка об охоте" (стр. 15), перечисляя несколько видов запаха, говорит о них как о более сильных, более сладких или более различимых в одно время, чем в другое; Поллукс использует почти такой же язык: ἄνοσμα, δύσοσμα, εὖοσμα, κ. т. л. l. с.

732. Arist. Prob. xxvi. 23. Падающие звезды считались предзнаменованием сильных ветров, 24. Письма об охоте, с. 106.

733. Ср. Xen. Cynege. viii. 1.

734. Xen. Cynege. v. 4. Poll. v. 67.

735. См. также Spanh. Obs. in Callim. t. ii. p. 123.

736. Xen. Cynege. v. 14. Klaus. Com. in Agam. p. 114.- Леверцы, правильно λαγίδια, часто вместе с молодым всех других диких животных обозначались поэтами как ὀμβρία и ὀμβρίκια.- Poll. v. 15.

737. Il. χ. 308. sqq.

738. Xen. Cynege. v. 34.

739. Poll. v. 17.

740. Удовольствие, испытываемое в таких случаях, с восторгом описывает Кристофер Уэйс: "Какие это невинные и естественные наслаждения, когда он видит рассвет, эти румяна и розы, которые поэты и писатели романов только рисуют, а охотник по-настоящему ухаживает! Когда он слышит щебетание маленьких птичек, сидящих на росистых ветвях, когда он вдыхает аромат пастбищ и прохладу воздуха! Как весел его дух, когда он позволяет себе вдыхать шум рожков и ржание гончих, которые скачут и играют вокруг него!" -ref. to Tr. of Gratius, p. 3.

741. См. в "Киропедии", i. 6. 40, чрезвычайно интересный отрывок о погоне за зайцем.- См. Oppian. de Venat. iv. 422.

742. Отсюда богиня получила многие эпитеты, которыми ее награждали поэты, например: ἀγροτέρα, καὶ κυνηγέτις, καὶ φιλόθηρος, καὶ ὀρεία, ἀπὸ τῶν ὀρῶν- καὶ Ἰδαία, ἀπὸ τῆς Ἰδῆς, καὶ δίκτυνα, ἀπὸ τῶν δικτύων- καὶ ἐκβόλος, ἀπὸ τοῦ ἐκὰς τὰ θνρία βάλλειν- καὶ πολλὰ ἄλλα ὀνόματα ἀπὸ θήρας.-Пол. ст. 13.

743. Xen. Cyneg. vi. 1. seq. Poll. v. 13.- Кроме того, было принято прибывать голову или ногу дичи к какому-нибудь дереву в честь Артемиды - Sch. Aristoph. Ran. 143.

744. C. Poll. v. 61.

745. Οἱ θάμνοι - технический термин для обозначения тайны. Poll. v. 15.

746. Xen. Cyneg. vi. 14-17.

747. Vict. Var. Lect. xxxi. 20. p. 883. seq. Cp. Plin. Hist. Nat. viii. 8, cum notis. Strab. iii. 2. p. 231.

748. Suid. v. Λαγώς. t. ii. p. 3.

749. Этот остров сейчас изобилует скотом и дичью, особенно перепелами и куропатками. - Dapper, Descrip. des Iles de l'Archip. p. 173.

750. Hist. of Navig. prefixed to Church. Coll. of Voy. and Trav. vol. i. p. xx.

751. Poll. v. 74.

752. Xen. Cyneg. ix. 1.

753. Термины, которыми в нашем старом охотничьем словаре называли оленя в разные периоды его жизни, следующие:- 1. олененок; 2. колючка; 3. сурепка; 4. сурепка; 5. подранок первой головы; 6. подранок. Ваза. Предисловие к Gratius, p. 12.

754. Xen. Cyneg. ix. 3.

755. То есть на ὀρυάδες или лужайках, которые, по словам Поллукса, они чаще всего посещали, ст. 15. Cp. Schneid. ad Xen. Cyneg. ix. § 1.

756. Xen. Cyneg. ix. 14. sqq.- Илиан описывает еще один способ захвата этих животных, который не часто практикуется современными спортсменами, то есть с помощью музыкальных чар, как египетский Псилли ловил змей.- De Nat. Anim. xii. 46.

757. Poll. v. 36.

758. Cp. Aristoph. Vesp. i. 202. seq. Xen. Cyrop. i. 6. 28.

759. Xen. Cyneg. x. 3.

760. Охотники судят о диком кабане по отпечатку его ноги, по его корневанию; дикая свинья укореняется глубже, чем наши обычные свиньи, потому что ее морда длиннее, и когда она приходит на кукурузное поле, как [Калидонский](#) [Калидонский](#) вепрь у Овидия, разворачивает одну непрерывную борозду, и т. д. - Wase, Illustrations, V. p. 64.

761. Cp. Poll. v. 23. sqq.

762. Οὕτω δὲ πολλή ἡ δύναμις ἐστὶν αὐτοῦ, ὥστε καὶ, ἃ οὐκ ἂν οἴοιτό τις, πρόσσεσθιν αὐτῷ-
τεθνεῶτος γὰρ εὐθὺς ἕαν τις ἐπὶ τὸν ὁδόντα ἐπιθῇ τρίχας, συντρέχουσιν- οὕτως εἰσὶ θερμοὶ- ζῶντι
δὲ διάπυροι, ὅταν ἐρεθίζηται- οὐ γὰρ ἂν τῶν κυνῶν, ἁμαρτάνων τῇ πληγῇ τοῦ σώματος, ἄκρα τὰ
τριχώματα περιεπίμπρα.-Xen. Cyneg. x. 17. Cp. Poll. v. 80. Оппиан. Venat. iii. 379. seq. Скалиг.
Poët. v. 14. p. 698.

763. Павсаний упоминает медведя как обитателя Пендели. "Примерно три года назад один
был застрелен в горах Парнаса и привезен в Аракоа. Рысь, дикая кошка, кабан, дикая коза,
олень, косуля, барсук, куница и белка обитают на крутых скалах Парнаса и в густых сосновых
лесах над Каллидией. Суровые горы вокруг Марафона часто посещают кроты, лисы и
шакалы; ласки иногда попадают в деревнях и домах; зайцы слишком многочисленны,
чтобы их можно было описать". Sibthorp in Walp. Mem. i. 73.

764. Paus. i. 32. 1.

765. Paus. iii. 20. 4. vii. 18. 13. viii. 17. 3.

766. Aristot. Hist. Anim. ix. 6. viii. 17. vi. 30. Ælian de Nat. Anim. vi. 3. Cp. Buffon, Hist. Nat. t. viii. p.
27.

767. Теперь мы видим, что это пища свиней. "Покинув Пирго (в Беотии), мы двинулись по
равнине к Эремо-Кастро; по дороге мы видели толпы свиней, разрывающих землю в поисках
корней кукушкиной мяты (arum maculatum), которую свинопасы называли δρακοντίο" - Sibth.
in Walp. i. 65.

768. Nat. Hist. viii. 54.

769. Аристотель. Hist. Anim. viii. 5.

770. Ælian. de Nat. Anim. vi. 6. Aristot. ut sup.

771. Aristot. Hist. Anim. ix. 6. Ælian. de Nat. Anim. vi. 6.

772. Xen. Cyneg. xi. 1.

773. Поллукс (v. 14.) отмечает, что в его время львы водились в основном в горных районах,
как кабаны - в болотах, а пардалы - в глубине лесов.

774. Xen. Cyneg. xi. 2. Poll. v. 82. Плин. viii. 27. Dioscor. iv. 77. Предполагалось, что лисиц
убивали приманками, смоченными в соке горького миндаля (Id. i. 176); волков, пантер, собак
и т. д. - собачьим бичом (Id. iv. 81).

775. Oppian. de Venat. iv. 85. sqq.

776. Cp. Hesych. v. Лукаβ.

777. Ad D. Laert. p. 20. b. c. Meurs. Solon, c. 19.

778. Само название критян, по некоторым данным, происходит от использования лука.
Κρήτης, παρὰ τὸ ἐπὶ κέρασι βιόττειν- κυνηγετικοῖ γάρ. Etym. Mag. 537. 54. См. у Гомера
описание лука Пандароса, где говорится, что он был сделан из рогов дикого козла -Il. δ. 105.
sqq.

779. Ælian. Var. Hist. i. 10. О котурнах, которые носили эти охотники, см. Spanheim ad Callim. in
Dian. 16. p. 142. sqq. Boettig. Les Furies, p. 37. Высокий полусапог, который Артемида носила
во время погони, представлен в Mus. Chiaramon. pl. 18.

780. Athen. xii. 28. Meurs. Cret. p. 177.

781. Athen. xii. 55. Plut. Alex. § 40. См. в "Иллюстрациях Вейса", с. 68. рассказ о польских королевских охотах, на которых в меньших масштабах преобладала та же практика.

782. Athen. i. 31.

783. Ap. Ælian. de Nat. Anim. iv. 26.

784. Очерки Персии сэра Джона Малкольма.

785. Энтони Дженкинсон в Hackluyt, v. i. p. 368.

786. De Mirab. Auscult. 128. Beckm. Hist. of Discov. and Inven. i. p. 321.

787. Arist. Hist. Anim. ix. 8. Ксеноф. Cyrop. i. 6. 39. ввел много сведений о ловле рыбы.

788. Cp. Ксен. Memorab. ii. 1. 4. Их сети назывались νεφέλαι, Schol. Aristoph. Av. 194. Cp. Schol. Рас. 1144. Человек, следивший за сетями, носил имя λινόπτης.-Aristot. ap. id. ibid.

789. Athen. ix. 42.

790. Alexand. Миндий называет его λαγωδίας, в таком случае, вероятно, имеется в виду *куропатка*.

791. Athen. ix. 44. seq. Arist. Hist. Anim. viii. 12 ad fin.

792. На острове Капри их берут в таком большом количестве, что они являются главным источником дохода для епископа этого острова.

793. Phanodem. l. iii. ap. Ath. ix. 47.

ГЛАВА VII.

ШКОЛЫ ФИЛОСОФОВ И СОФИСТОВ.

Нарисовав, таким образом, настолько полную картину, насколько позволяет план нашей работы, физической подготовки греков во всех ее отраслях, включая гимнастику, правильно называемую так, вместе с другими упражнениями, которые под названием полевых видов спорта скорее наслаждались, чем учились, под руководством не мастера, а опыта, мы теперь возвращаемся к той умственной дисциплине, которая по большей части оказывала свое влияние на развитие интеллектуальных способностей в то же время, когда вышеупомянутая телесная дисциплина приводила в действие все силы каркаса. Таким образом, мы пройдем весь круг эллинского образования, когда покажем юношей, проходящих через школы философов и софистов в мир.^[794]

Их способ обучения существенно отличался от нашего. Вряд ли они стремились поглощать большие объемы знаний, но, неторопливо проходя снова и снова по одной и той же теме, они давали полученным урокам время, чтобы они, как ласковый дождь, опустились в их сознание. Некоторое преимущество давал и их метод обучения, по возможности устный. Учитель был для них чем-то вроде библиотеки. В книге есть только один набор фраз для всех. Но живой учитель, если обнаруживал, что его ученики не могут подняться до его языка, мог опустить его, чтобы встретить их на полпути, мог быть кратким или обширным, общим или

подробным, в зависимости от необходимости момента. В этих отношениях тоже присутствовала фамильярность, едва ли совместимая с нашими нравами. Юноша забывал, что учится, и скорее полагал, что в компании друга ищет истины, одинаково неизвестные обоим. Это, по-видимому, было особенно характерно для изучения морали,^[795] по крайней мере в сократических школах, где вся пышность мудрости была отброшена, чтобы она была более популярной.

Уже отмечалось, что первые уроки нравственности были получены от поэтов, которых, по моему мнению, Платон поносит самым вопиющим образом, когда обвиняет их басни как многочисленные источники безнравственности.^[796] Он, похоже, умышленно смешивает их с теми самозванцами, очистителями и прорицателями, которые снабдили пап оригинальными намеками на покаяние и индульгенции, а также на искупление преступлений по доверенности. Но это несправедливо. Это навешивание грехов низких и чувственных версификаторов на божественные головы бардов, которых вдохновляли сами небеса. Как бы то ни было, на греков, молодых и старых, ни один учитель не оказывал столь сильного влияния, как поэты, которые, от Гомера до Каллистрата,^[797] в эпосе или послеобеденной песне, деспотично владели империей чувств, побуждая их к действиям, чреватых славой. А жадность, с которой усваивались их уроки, сравнивают с роем пчел, слетающихся (ἐπιπτομένους)^[798] на ложе весенних цветов. В самом деле, то, что Ясон из Фере говорил о себе, - что его пожирала любовь к империи^[799] - похоже, относилось и к афинской молодежи с ее неумейной жаждой знаний. По крайней мере, те из них, кто был εὐφιεῖς καὶ ἰκαυοῖ*ikavoi*, как говорят, яростно жаждали философии, причем не какой-то отдельной части, а всей целиком. И Сократ заявляет, что тот, кто в молодости привередлив в своих занятиях, отвергает то, не любит это, прежде чем зрелый разум научит его, что полезно, а что нет, может считать себя кем угодно, но никогда не сможет стать великим в учебе или философии. Чтобы преуспеть в них, необходимо неутолимо жаждать всякого обучения и с радостью приступать к его приобретению. Он говорит, что они похожи на зрителей, жаждущих любого зрелища, или на музыкальных людей, которые водят ухом, где бы ни звучали скрипки и пение; за исключением того, что для последних удовольствие - единственный мотив, а для первых - возвышенная страсть к истине.^[800] Но какие истины являются предметом философии? Те, которые касаются природы и атрибутов добра, из которых, как из источника, вытекают все полезности и преимущества добродетели. Философия в Греции включала в себя религию, а быть религиозным означало поступать справедливо, доброжелательно, милосердно по отношению к людям, смиренно и благочестиво по отношению к Богу. Чтобы жить таким образом, то есть быть добродетельным, они считали необходимым обладать знанием всей теории этики, поскольку добродетель, по их мнению, несовместима с невежеством. Но человек, помимо того, что он моральное существо, ответственное перед Богом, он еще и политическое существо, ответственное перед законами своей страны. У него также есть обязанности по отношению к этой стране. Чтобы выполнять их должным образом, он должен понимать природу государства и отношения, существующие между государством и людьми, которые его составляют; то есть он должен быть знаком с наукой политики. Опять же во всех свободных государствах орудиями правления являются разум и убеждение, а не слепая воля и грубая сила. Поэтому гражданин должен быть сведущ в логике и красноречии,^[801] чтобы он мог правильно мыслить, ясно и убедительно объяснять другим убеждения, которые определяют его собственные суждения. Таким образом, мы имеем цикл греческих исследований с указанием причин, на которых они были основаны.

Что касается религиозного воспитания, которое начиналось еще в детском саду и переплеталось со всеми остальными занятиями, то можно заметить, что без него ни один человек в Афинах не мог занять какое-либо высокое положение или завоевать уважение сограждан даже в частной жизни. Чтобы быть в фаворе у них, человек должен был быть в ладу с богами. Они полагали, что, пока совесть остается неукротенной, существует и чувство религии, а когда оно исчезает, вместе с ним исчезают порядочность, в большинстве своем, и честь. Ибо, рассматривая божество в свете родителя, - "все мы его потомки", - религия представлялась им чем-то вроде склонности к отцеубийству, соединением несправедливости с самой низкой и жестокой неблагодарностью. Достигнув такого положения, человек, чтобы добиться своей цели, не будет скупиться ни на что. Поэтому любой признак нечестивости они рассматривали как удар, направленный на демократию, царем которой был Зевс. Тот, кто попирает религию своей страны, лежащую в основе всех ее законов, непременно, если это в его силах, попирает и сами эти законы, а затем и своих сограждан, которых эти законы защищают. Отсюда и ужас, и месть, и жестокость, вызванные изувечением Гермеса, осквернением мистерий и последовавшим за этим преследованием Алкивиада, Андокида и других. Была предпринята попытка разрушить ту ограду благоговейной святости, которая окружала содружество и отдавала его под защиту небес. Они рассматривали этот акт как формальное отречение от Всевышнего и боялись, - настолько несовершенны были их представления, - чтобы нечестие немногих не обернулось во вред всему народу.

В устах^[802] людей часто встречается замечание, что образование народа должно соответствовать духу его институтов. Но это всего лишь трюизм, и означает он не более того, что людям не следует предписывать одно в соответствии с их законами и политической конституцией, и другое - в соответствии с привычками и максимами, которым их учат в юности. Однако главная трудность всегда заключалась в том, чтобы заставить их так гармонизировать на практике, чтобы они были лишь двумя частями одной и той же системы.

В монархиях^[803] дух исключения, подобный тому, на котором построена система каст, должен пронизывать все дело образования. Дворяне должны иметь школы для себя, или, если зажиточные плебеи могут смешиваться с ними, высший почет и уважение должны быть отданы первым. Мастера должны равняться на них и на их семьи, а не на народ, чтобы получить преференции и продвижение по службе; а плебеи, хотя и превосходят их по численности, должны быть слабыми в своем влиянии и должны быть приучены заимствовать свой тон у привилегированных учеников.

В олигархии, как ее правильно называть, вообще не должно быть смешения классов. Школы должны быть созданы специально для управляющих, а другие - для управляемых. Основой образования должно быть представление о том, что одни люди рождены для правления, а другие - для подчинения; что счастье людей зависит от беспрекословного подчинения власти; что их правители мудры, а они неразумны; что все, что они должны делать с законами, - это подчиняться им; и все учителя должны чувствовать, что их признание среди великих зависит от верного отстаивания таких представлений.

В свободных государствах, опять же, противоположный курс будет наилучшим образом способствовать целям правительства; школы должны быть строго государственными, и не только теоретически, но и практически открытыми для всех. Посещение школ не должно быть принудительным, но незнание того, чему там учат, должно влечь за собой лишение гражданских прав в той же мере, что и нездоровый ум; ведь, по правде говоря, невежественный человек не в здравом уме, так же как и тот, кто не может пользоваться всеми своими конечностями, не в здравом теле. Здесь дисциплина должна быть очень

суровой. Дух строгого пуританства должен пронизывать занятия и руководить развлечениями. Любая тенденция, нерелигиозная, аморальная, неджентльменская, недостойная достоинства свободы, должна пресекаться в зародыше. Студенты должны быть научены презирать все другие различия, кроме добродетели и гениальности, то есть способности служить обществу. Их следует научить воспринимать человечество как в других отношениях полностью равное, над которым нет ничего, кроме законов. Учителя должны зависеть только от народа и обязаны своим успехом собственным способностям и популярным манерам. И это последнее в значительной степени было духом афинского образования.^[804]

Лучшим доказательством^[805] совершенства системы образования может служить то, что она делает народ почти независимым от правительства, то есть подчиненным скорее своим привычкам, чем законам. Это в полной мере относится к афинянам. Они требовали, чтобы правители мало вмешивались в их дела. Наставленные в своих обязанностях и причинах, которые делали их обязанностями, приученные с детства к их выполнению, они жили так, как до сих пор живут нравственные и образованные люди, независимо от законов.

Таков был эффект. Причины следует искать в их дисциплине и учебе. Я заметил, что среди них главным предметом изучения была наука о политике, то есть наука, в соответствии с принципами которой создаются и сохраняются государства. Они, как и некоторые другие, не проводили свои исследования в той холодной манере, в которой люди изучают вопросы, вызывающие простое любопытство, или вещи, о которых они никогда не будут делать больше, чем говорить или писать. Они изучали ее как профессию, как средство подняться к власти, а через власть - к славе, то есть со всей пылкостью и искренностью, на которую способна восторженная юность. Образование таким образом оказывало влияние, неизвестное при других формах правления. Сознание того, что они вовлечены в некое священное состязание, зрителем которого была вся Греция, пронизывало молодых людей всех рангов и побуждало их непреодолимо стремиться к тому курсу обучения, который сулил наибольшую вероятность успеха. Отсюда, несомненно, и энтузиазм, с которым культивировалась философия. Часто это была не столько абстрактная любовь к мудрости, сколько убежденность в политической ценности этой мудрости, которая наполняла школы великих людей, преподававших в Афинах, будь то физиологи, математики, мастера музыки, стратегии или красноречия. Пример Перикла, занимавшегося натурфилософией под руководством Анаксагора и черпавшего оттуда потоки чистого и мужественного красноречия, переполнявшие Пникс, оказал сильное влияние на общественное мнение. С помощью тех же искусств и исследований люди надеялись подняться на такую же высоту, забывая, что Анаксагор лишь поливал растение, спонтанно порожденное природой.

Однако описанные мною надежды и стремления заполнили школы сначала философов, а затем софистов. И это естественный ход вещей. Лишь немногие стремятся к мудрости ради нее самой, чтобы очистить и сделать святым свой собственный разум. И от этого распоряжения Провидения выигрывает общество; ибо, как устроен человек, не успевает он овладеть каким-либо умственным совершенством, каким-либо знанием, искусством или опытом, которые можно применить, как он с готовностью выдвигается вперед, чтобы вымогать похвалу или награду у общества, даруя ему блага. Примеров сдержанности в этом вопросе немного, да и вообще не заслуживают похвалы те, кто в этом или в чем-либо другом прячет свой свет под бушлатом; и поэтому Платон ошибается, когда учит, что мудрые люди, как правило, воздерживаются от вмешательства в государственные дела, если только их не принуждают к этому штрафы и угрозы. Он, правда, признает, что худшее из всех наказаний - быть управляемым злыми людьми, и что во избежание этого даже философы соглашаются

держат бразды правления.^[806] Но там, где они этого не делают, в свободных государствах они всегда являются хозяевами тех, кто делает это. Их школы были колледжами и университетами древнего мира, и до тех пор, пока существовала свобода, великой целью их философии было создание способных граждан и счастливого государства. По этой причине их останки до сих пор сохраняют инстинкт жизни. Их целью было постепенно довести человеческую природу до совершенства, совершенствуя ее образование и институты. Они знали, что народ полностью находится во власти своих учителей, как во благо, так и во зло, и поэтому, за редким исключением, прилагали все усилия, чтобы возвысить понятия, моральный тон и чувства своих соотечественников, редко опускаясь до пустяковых рассуждений, разве что для отдыха в перерывах между более важными вопросами.

Физические науки,^[807] за исключением самых ранних их культиваторов, считались простыми подручными этики и политики. Тем не менее, в их изучении проявлялась большая серьезность. Ведь там, где знание вообще в почете, люди всегда будут в достаточной степени склонны к осязаемому и видимому. Но даже эти занятия приняли в Греции своеобразную форму. Гений нации, по сути своей творческий, развил свою силу и свою особую энергию в создании систем физики, объясняющих происхождение мира, рождение человеческой расы, ее ранние судьбы и сказочную историю. Каждый великий философ становился, подобно интеллектуальному солнцу, центром системы физики, а его ученики, как спутники, вращались вокруг него, принимая и отражая его свет. Это, несмотря на некоторые неудобства, было весьма благоприятно для науки. Это побуждало людей к изучению философского искусства нападения и защиты. Каждая школа становилась рецензентом и критиком своих соперников, выискивала их слабые места, глубоко изучала их, привлекала всю свою остроту, всю свою тонкость, чтобы нападать на других и защищаться; и таким образом, что бы ни происходило с системой, ее профессора доводили, насколько это было возможно, до совершенства свои интеллектуальные силы, наделяли свои рассуждения всеми изяществами, к которым они были способны, черпали из самых заоблачных искусств и скрытых ресурсов стиля и красноречия.

Но пока эта золотая валюта циркулировала по Греции, обогащая ее разум и увеличивая ее шансы на независимость и счастье, возникла раса людей, которые ввели в употребление ряд гениальных и прекрасных счетчиков, - я имею в виду софистов.^[808] Влияние этих людей на образование греков редко оценивается правильно. Их было принято скорее витийствовать, чем изучать. Нам говорят, что они развратили ум и манеры молодежи. Но как? Насколько мне известно, ни один не заметил, что именно с ними связано угасание республиканского духа и открытие пути для деспотизма.^[809] То, что они породили стремление к нововведениям, я утверждать не стану; но их эпоха представляла собой переходный период от республиканских к монархическим институтам, и единственный способ, которым они, можно сказать, развратили молодежь, заключался в том, что они подорвали любовь к свободе и отечеству, чувство бескорыстия, на которых в основном должно быть основано сообщество, и привили вместо этого систему этики, более соответствующую модификациям гражданского устройства, распространенным в современную эпоху. Только таким образом они развратили и подорвали мораль своей страны. Но им это удавалось, и тем легче, что обстоятельства сговорились, когда они возникли, передать в их руки все дело обучения, так что быть софистом и учить молодежь стало синонимичным понятием.^[810]

Сами они, однако, были лишь пороком того, что изначально было хорошим, и всегда продолжали, по мнению неразборчивых людей, путаться с теми, кому они подражали.^[811] Есть ли среди нас софисты в наши дни, я не берусь определить; но вот как они возникли в Греции. Вскоре проницательные и расчетливые люди обнаружили, что, поскольку

философия вызывает восхищение и делает своих учителей объектами почета и, ее можно с помощью небольшой изобретательности превратить в источник прибыли.^[812] Но каким образом? Философы с самого начала владели народным слухом скорее благодаря святости своей жизни, о которой могли судить все, чем благодаря своим доктринам, которые обязательно должны были быть поняты в полном объеме немногими. Поэтому они отчаялись в народе. Однако в Греции существовали и всегда будут существовать в свободных государствах молодые люди с безмерными амбициями, которые, нетерпимые к сдерживанию законов, с радостью отбросили бы их, захватили бы бразды правления и стали тиранами своей страны. Одно лишь представление о таком замысле подразумевает наличие богатства и влиятельных друзей. Жаждающие любой помощи, они с энтузиазмом приветствовали всех, кто казался им способным продвигать их взгляды, и когда появились софисты, обогащенные разнообразными знаниями, утонченные, красноречивые, беспринципные, они с готовностью бросились в их объятия, стали их учениками и вместе с ними подстроили порабощение Греции.

Проследивая происхождение этого класса людей, мы должны заглянуть далеко назад и попытаться обнаружить их в различных формах, отличающихся от той, в которой они в конечном итоге обосновались. Они возникли вместе с первыми философами или первым поэтом, который сделал себя центром своих исследований и стремился превратить изучение наук в средство личного обогащения. Протагор описывает у Платона становление своего собственного искусства, где, хотя боковой удар несправедливо направлен на саму поэзию, нельзя отрицать истинность обвинений в адрес многих поэтов. Он с самого начала подтверждает то, что я утверждал выше. Они, по его словам, путешествовали по всей Греции, склоняя благороднейших юношей покинуть общество своих друзей и сограждан, стать их учениками и полностью руководствоваться их наставлениями, природу которых я сейчас раскрою. Чувства, которые они таким образом возбуждали, он называет завистью и злобой, хотя на самом деле это было не более чем патриотическая и родительская ревность и ненависть, которую испытывают добрые люди, когда видят, что те, кого они любят, сбились с пути. Чтобы избежать этой враждебности, древние софисты принимали различные маскировки, иногда облекая свое искусство в складки поэзии, как Гомер, Гесиод и Симонид, в других случаях выдавая себя за толкователей чужих обрядов и оракулов, как Орфей и Мусей; Третий класс скрывал особенности своего искусства под менее подозрительной маской гимнастики, как, например, Иккос из Тарентума и Геродикос из Силимбрии, человек мегарейского происхождения, которому в искусстве софистики не было равных в его возрасте. Иногда они появлялись в городах в качестве профессоров музыки. В этом качестве Дамон беседовал с Периклом, а Агатокл, афинянин по происхождению, распространял в государстве семена софистики; Пифоклид, тоже коанец, следовал тому же курсу; и таким образом юноша, якобы занимаясь искусством игры на лире или кифаре, был посвящен в тайны тирании, нерелигиозности и несправедливости.^[813]

Постепенно, однако, обнаружилось, что всякую маскировку можно смело отбросить.^[814] В самом деле, цель, на которую сначала был нацелен Протагор, - ускользнуть от внимания власть имущих - оказалась неосуществимой; что же касается народа, против которого были направлены все эти удары, то его легко было ввести в заблуждение, поскольку то, что рекомендовали его вожди, они восхваляли. Протагор, соответственно, смело признал себя софистом, полагаясь в безопасности на свое красноречие и ту растущую распушенность нравов, которая быстро подрывала старую республиканскую конституцию и готовила путь к новому порядку вещей. Его откровенность была достойна похвалы, но обстоятельства, сделавшие ее безопасной, вызвали сожаление.

Однако я не хотел бы разделять мнение тех, кто не видит в учениях софистов ничего, кроме зла. Во многих вопросах их понятия полностью совпадали с представлениями мудрейших философов. Соответственно, софистами их считали не за то, что они проповедовали, а за принципы, которые регулировали их учение. Они учили с целью обогащения, что совершенно несовместимо со строгой верностью истине; ведь при таких взглядах люди всегда будут склонны пророчествовать, чтобы достичь своей цели.

Это обстоятельство недостаточно учитывается авторами, которые берутся за их апологию. Они сравнивают их с литераторами современности и считают это сравнение защитой. Но разве оно не подтверждает обвинение? Верно, что, подобно современным литераторам, они посещали дома великих людей, которых считали своими покровителями; что у них, а не у народа, они искали поддержки; что, подобно им, они поклонялись богатству и ненавидели бедность; что их занятия, их беседы, их сочинения распространяли далеко и широко в обществе вкус к искусству и элегантности; что они снабжали публику в своих декламациях, сатирах, романах, изобретателями которых они были, неиссякаемыми источниками развлечений: Но какую добродетель они прививали? Кому они внушали необходимость жертвовать личным ради общественного блага? По какому случаю они осмеливались остановить поток безнравственности, нечестивости, непатриотичных сентенций, которые низкие и эгоистичные люди выплескивали против старых оплотов свободы? То, что среди них были люди очень высокого уровня гениальности, отрицать невозможно. Горгий Леонтийский, от имени которого мы позаимствовали эпитет для выражения всего самого славного в природе или ослепительного и изощренного в искусстве, Протагор, Продикос, Гиппиас из Элиды, Полос из Агригентума, Фрасимах из Халкидона, оставили после себя нетленную память;^[815] но и Бусирис, и Фаларис, и Катилина. Их помнят за добро, которое они могли бы сделать, и за зло, которое они совершили.

Однако, поскольку софисты сыграли столь важную роль в воспитании греков, место, которое я им посвящаю, несомненно, является их заслугой: оно необходимо для глубокого понимания предмета. Почти с момента своего появления они стремились к монополии на искусство преподавания, а отцом этого искусства, как его правильно называть, был Горгий. Немногие имена античности, как хорошо заметил Геель^[816], более известны или более знамениты, чем имя этого выдающегося софиста, среди причин удивительной популярности которого следует назвать число великих людей, которых он обучал красноречию, и великолепные пороки стиля, которые его пример и наставления ввели в моду. Точная дата его рождения неизвестна:^[817] Предполагается, однако, что он родился в Леонтии на Сицилии, примерно в семьдесят третью Олимпиаду. Его отца звали Шармант.^[818] Почти все подробности его ранней жизни неизвестны, древние были так же небрежны, как мы слишком щедры на биографические детали. У кого он учился, с кем общался, скольким он был обязан другим, а скольким - собственному гению и трудолюбию, определить нелегко, хотя мы не можем принять мнение Илиана,^[819] который отправляет его в школу к Филолаю; или Диогена Лаэртца, который считает Эмпедокла своим учителем, поскольку последний был немногим старше его самого, а первый - гораздо моложе. Говорят, что Эмпедокл изобрел искусство риторики, и в этом случае мы можем предположить, что Горгий был его учеником. Но как изобрел? Возможно, он был первым, кто попытался свести ее к искусству или назвал ее так; но, как отмечает Аристотель, каждый человек, который убедительно рассуждает, является ритором, независимо от того, основано ли его красноречие на формальном изучении этого искусства или нет. В философии, действительно, он, по-видимому,^[820] был учеником Эмпедокла; но в риторике они оба, весьма вероятно, получали наставления от Коракса и Тисия, которые процветали и преподавали риторику в Сицилии примерно в период их молодости.^[821]

Однако это всего лишь предположения. Вероятно, он умер бы в неизвестности и был бы забыт вместе с царями, царствовавшими до *Агамемноны*, если бы несчастья его страны не привели его в преклонном возрасте в великую мастерскую славы. Непосредственный повод был таков: жители Леонтии, вступив в войну с сиракузянами и потерпев от них поражение, отправили послов требовать помощи от афинского народа, и среди них главным оратором был Горгий. Практикуя новый для Афин стиль ораторского искусства, изобилуя метафорами и другими фигурами, граничащими с поэзией, он сразу же поспешил увести в плен своих слушателей, исполнил желания своих сограждан и создал себе репутацию^[822] там, где все люди больше всего желали ее иметь. Чтобы приумножить его славу, нередко перечисляли Перикла и Фукидида среди тех, кто стал его ученым. Но это посольство состоялось на пятом году Пелопоннесской войны, когда Перикл уже два года как умер. То, что Фукидид слышал его, однако, совсем не невероятно, поскольку его изгнание^[823] произошло только на восьмой год войны. Среди его поклонников можно назвать двух других людей, чьи принципы и история служат лучшей иллюстрацией того, какие плоды могло принести учение софистов, - Крития и Алкивиада, чьи способности, мужество и распутство сделали их бичами своей страны. С большой долей вероятности предполагалось, что, вернувшись в Леонтию с отчетом о своей миссии, он навсегда покинул Сицилию, чтобы стать профессором красноречия в Греции. Так считает Диодор, а схолиаст о Гермогене полагает, что он остался в Афинах. Так это было или нет, но вскоре он решил, что один город, каким бы великим или знаменитым он ни был, слишком тесный театр для проявления его заслуг. Поэтому он принял профессию странствующего лектора с двойной целью - удовлетворить свое тщеславие и пополнить кошелек. И он досконально изучил искусство ослеплять людей, ибо, не сочтя достаточным раскрыть перед слушателями свои журналы тропов и фигур, запасенные, как театральные громы и молнии, чтобы быть введенными в нужный момент, он прибегнул к другим драматическим искусствам для достижения эффекта, появляясь в великолепных нарядах, струящихся пурпурных одеждах, расшитых сандалиях, пальцах, сверкающих золотом и драгоценными камнями. Но хотя он был самым старым из софистов, он не был первым, кто принял этот курс. Протагор и, возможно, другие уже начали свои странствия и стали практиковать на доверчивости и слабости народа. Среди афинян им платили в основном похвалой; "твердый пудинг" нужно было искать в другом месте. И, соответственно, мы видим, как саркастически выражается Платон, что с появлением софистов фессалийцы, обычно славившиеся своими полными кошельками и прекрасными лошадьми,^[824] сразу же стали отличаться любовью к мудрости, то есть хорошо заплатили софистам, надеясь таким образом заманить знание к себе. В самом деле, они полагали, что мудрость подобна свече и фонарю, с помощью которых можно получить свет, или рубашке святого, надев которую, можно безошибочно стать святым, или лампе Эпиктета, которую один богач купил за три тысячи драхм в надежде, что она осветит его в самой адище философии. Как бы то ни было, совершенно точно, что фессалийцы стали покровителями софистов, которые в этой стране отличались большей мудростью и красноречием, чем в любой другой части Греции, а главными их покупателями были представители богатой семьи Алеуады, самые ранние Мекенасы, как я полагаю, из тех, о которых сохранились сведения.

Но софисты, надо отдать им должное, не были скрягами. То, что они легко наживали, они тратили свободно; и не только так, но во многих случаях превращали результаты своего личного тщеславия в общественное украшение всей страны. Так, Горгий, обогатившись за счет фессалийских трофеев, воздвиг в Дельфах золотую статую^[825] самого себя, что свидетельствовало о более щедром духе, чем тот, который он проявил бы, пустив ее по каналам торговли, земледелия или ростовщичества в надежде сделать себя великим капиталистом.

Горгий долгое время отсутствовал в Афинах и во время своих путешествий посетил самые значительные города Греции. Среди прочих мест он прибыл в Дельфы, где со ступеней алтаря, вероятно, во время игр, произнес орацию, называемую Пифийской, в честь которой воздвиг вышеупомянутую статую. Оттуда, возможно, - поскольку хронология его путешествия точно не известна, - он направился в Олимпию, где также участвовал в играх, чтобы продемонстрировать свои ораторские таланты перед всей Грецией и в один час собрать урожай славы. Эта речь, произнесенная во время Пелопоннесской войны, по крайней мере, была рекомендована как патриотическая. Стоя перед храмом Зевса, бога согласия и мира, он искренне рекомендовал союз и гармонию.^[827] Если война им необходима, есть варвары, пусть их оружие будет обращено против них. С каким успехом он говорил, история донесла до нас; но сатирики древности, всегда склонные к скандалу, осторожно отмечают, что этот великий поборник согласия и единодушия поддерживал гражданскую войну в своем собственном доме, где прелести некоего красивощекого $\theta\epsilon\rho\alpha\pi\alpha\iota\nu\delta\iota\omicron\nu$ ^[828] возбуждали ревность мадам. В то же время старому джентльмену, по самым скромным подсчетам, должно быть, было далеко за тридцать земель, хотя некоторые считали его восьмидесятилетним.

Над последними днями Горгия^[829] висит та же тьма, которая скрывает от глаз начало. Неизвестно, где он провел конец своей долгой жизни и где умер, хотя, поскольку о его возвращении на Сицилию ничего не известно, вероятно, это было в Греции.

Следующим после Горгия по известности был Протагор, история которого еще менее известна. По мнению некоторых писателей, он был самым старым из софистов. Хотя дата его рождения позже, чем у Горгия, он опередил его в профессии софиста. Я думаю, что он родился гораздо раньше, чем предполагают Клинтон или Геель, которые считают, что он был почти точно в возрасте Сократа, то есть появился на свет около 479 года до н. э. Но с этим мнением я не могу согласиться. Оно прямо противоречит отрывку из Платона^[830], который, как бы ни был небрежен в вопросах хронологии, никогда бы, я убежден, не довел свою небрежность до такой степени, чтобы заставить одного человека сказать другому, родившемуся в один год с ним, что он достаточно стар, чтобы быть его отцом. Поэтому, на мой взгляд, необходимо отбросить дату его рождения на десять или двенадцать лет назад. Он был на десять лет, по общему признанию, старше Демокрита. Последнему, достигшему значительных успехов в философии, когда он увидел Протагора в роли дровосека и взялся посвятить его в свою систему, вряд ли могло быть меньше семи-восьми и двадцати лет, так что первому было немногим меньше сорока. Он занимался профессией софиста в течение сорока лет, и умер около 406 г. до н. э. Следовательно, он должен был родиться около 484-485 гг. до н. э.^[(831)].

Но я не могу здесь продолжать историю софистов, которая относится к моей работе не более, чем к теме образования. Однако в отношении их сочинений и способа преподавания мне необходимо быть более откровенным. Не имеет большого значения, кто первым опубликовал свои труды - Горгий или Протагор; оба, очевидно, писали с одной и той же целью - спутать истину и ошибку, правильное и неправильное, не из-за вражды к истине или добродетели, а из тщеславия, когда их считают способными на что-либо, и желания обратить свои таланты на пользу. Одним из отличительных качеств этого класса была плодовитость. Они щеголяли тем, что могут излагать том за томом, трактат за трактатом, речь за речью. Именно в этом заключалась их главная претензия на превосходство над философами, расой, требующей больших усилий, среди которых период интеллектуального созревания был длиннее, чем у слона; В то время как истинный софист, без размышлений, изучения и опыта, поражал своих поклонников обильностью своих изобретений,

великолепными и блестящими образами, обычно украденными у поэтов, и пикантным воздухом глубины и оригинальности, который искусство казаться сомневающимся во всем, во что верят другие люди, не перестает придавать.

Кроме того, достаточно понимая человеческую природу, чтобы знать, что того, кто развлекает, слушают, какие бы зверства он ни произносил, они старались придать своему учению легкую и изящную внешность. Ни один человек не превзошел их в шутке. Они фактически управляли делами так, что в их руках любая вещь становилась шуткой, а для того, чтобы свергнуть противника, требовалось лишь уметь поднять на смех его самого; ведь во всем мире, по мнению вульгарных людей, кто смешон, тот неправ. Исходя из расчета, они уклонялись от нелегкой задачи исправления ошибок, продвижения истины или реформирования нравов. Упрекать людей за их недостатки и советовать им исправиться - значит навлечь на себя их враждебность. Реформаторов, пророков, апостолов истины всегда преследовали, часто предавали смерти. Софисты не испытывали стремления стать мучениками. Бедность и безвестность, скудное питание, грубая мантия и одиночество, в котором ходит по свету бедный великий человек, были им не по плечу. Для их счастья толпы поклонников, роскошь, дорогие одежды^[832] и все утонченности роскоши были *непременным условием*; и, соответственно, при выборе своих доктрин они руководствовались только одним соображением - как им развлечь человечество и получить все преимущества популярности.

Красноречие, которое государственные деятели использовали для рекомендации своих мер, софисты применяли в вымышленных целях, представляя себя в невозможных обстоятельствах, меняя времена, путая нравы, атакуя или защищая людей, давно умерших. Во всех этих случаях интерес зависел главным образом от новизны или изобретательности мыслей и тонких приемов стиля. Отсюда экстравагантность, холодность, извращение образов, искажение и обезьяньи уловки языка, которыми отличались их сочинения. Ложная позиция, которую они заняли в философии, привела к столь же катастрофическим результатам. Стремиться к истине означало бы броситься вслед за философами, разделить, без мирской компенсации, их опасности, труды и сравнительную незначительность. Поэтому они выбрали для себя новый путь. Приняв философию такой, какой она была, они взялись спорить обо всем и о каждой ее части; показать, что для искусного диалектика не существует предложения, которое нельзя было бы с почти равным успехом атаковать или защищать; что с помощью силлогизмов или энтимем, искусно расставленных, можно доказать, что тьма - это свет, а свет - тьма; что между ложью и правдой нет никакой разницы; что на самом деле и правдивость, и лживость - это ничто, а все наши понятия - просто произвольные выдумки; и что бить собаку и бить отца - одно и то же.

Этот новый и изобретательный стиль аргументации,^[833] в котором был искусен Гудибрас, в изобилии приводится Платоном, особенно в "Евтидеме", где два старика с аргументами длиннее их бород роскошествуют в изящных изобретениях, с помощью которых они, подобно другой Цирцее, превращают своих слушателей в свиней и бульдогов. По юмористической экстравагантности диалог едва ли уступает аристофановской комедии или рождественской пантомиме. Сократ^[834] играет клоуна, Ктесипп - арлекина, а удары, наносимые фокусникам по ходу пьесы, таковы, что, будь они полностью понятны, подняли бы в рев весь Друри-Лейн или Ковент-Гарден. Но длина сцен не позволяет перенести их на мои страницы, а сокращение шутки - очень скучное занятие. Давайте, однако, послушаем, с помощью какой логики они доказали, что Сократ был вторым "человеком без пупка".

"Отвечайте, - вскричал Дионисидорос.

"Ну что ж, - ответил Сократ, - отвечаю, что Иолай был племянником Геракла и, насколько я могу судить, не моим племянником. Ибо мой брат Патрокл не был его отцом, а совсем другой человек, Ификл, брат Геракла".

"И Патрокл был твоим братом?"

"По матери, а не по отцу".

"Значит, он был твоим братом, а не братом?"

"По отцу - нет, - ответил Сократ, - поскольку он был сыном Харидема, а я - Софронискоса".

"Но Софрониск не меньше, чем Харидем, был отцом".

"Именно так; первый был моим отцом, второй - отцом Патрокла".

"Значит, Харидемос был не только отцом?"

"Он был не только моим".

"Значит, он был отцом и не был отцом? Но, может быть, ты то же самое, что камень?"

"Боюсь, - ответил Сократ, - что в твоих руках я окажусь не лучше, хотя и не обнаружу тождества".

"Что ж, будучи не камнем, ты не камень; будучи не золотом, ты не золото. И разве не то же самое должно произойти с Харидемосом? Будучи не отцом, он не отец".

"Похоже на то", - ответил философ.

"А то, что верно в отношении Харидема, - ответил младший софист, - должно быть верно и в отношении Софронискоса. Будучи не отцом, он не является отцом: из этого, мой добрый друг, следует, что у тебя вообще никогда не было отца!^[835]"

Поставив таким образом Сократа вровень с первым человеком, его друг Ктесипп взял мяч и с такой силой послал его в лицо софистам, что это их несколько ошеломило.

"Ну-ка, - сказал он, - разве твой собственный отец не находится в точно таких же обстоятельствах? Разве он не отличается от моего отца?"

"Ничуть", - ответил Эвтидем.

"Что же, значит, он такой же?"

"Именно так".

"Мне было бы жаль так думать. Однако он только мой отец или отец всех остальных?"

"Конечно, всех; ведь разве можно представить себе, что он может быть отцом и не быть отцом?"

"Я так и думал", - ответил Ктесипп.

"Что! Что золото - не золото, а человек - не человек?"

"Не так, друг Эвтидем; но ты, как говорится, не смешивай лен со льном; и твое утверждение, что твой отец - отец всех людей, кажется очень необычным".

"Но это так".

"Очень хорошо; но не является ли он отцом не только людей, но и лошадей, и всех остальных животных?"

"Всех!"

"А ваша мать, таким же образом, является матерью всех вещей?"

"Конечно".

"Тогда она - мать морского ежа".

"И твоя тоже!"

"А ты - полноправный брат пескарей, детенышей и поросят-сосунов".

"И ты тоже!"

"А твой отец - собака".

"И твой тоже!"

Теперь было видно, что они в гневе, и тогда Дионисидорос вмешался и шутливо заметил

"Если ты ответишь мне, Ктесиппос, я обязуюсь заставить тебя признать, что твой отец просто то, что сказал мой брат. Итак, скажи мне, есть ли у тебя собака?"

"Есть, и он очень шустрый".

"А у него есть молодые?"

"Да, и они еще более драчливые, чем он сам".

"Так разве собака не их отец?"

"Несомненно".

"А собака ваша?"

"Конечно".

"Тогда из этого следует, что если он отец и твой отец, то он должен быть твоим отцом, а значит, его детеныши - твои братья".

Прежде чем юноша успел ответить на этот комплимент, софист продолжил:

"Ответь мне, Ктесипп, еще немного. Бьешь ли ты когда-нибудь эту собаку?"

"Да", - ответил Ктесипп, смеясь, - "и я хотел бы, чтобы и ты в свою очередь мог применить ту же дисциплину".

"Значит, ты бил своего собственного отца!"

"Бить, - ответил юноша, - было бы более справедливо твоего, за то, что ты сознательно отпустил на волю двух таких мудрецов!"

Но в конце концов это были всего лишь смешливые софисты, которые, хотя и сумели запутать и вытравить из собственного сознания все следы различия между добром и злом, не достигли той превосходной степени нечестия, до которой дошли Полос, Калликл и Фрасимах, по крайней мере, умозрительно. Первые были просто болтунами, развращавшими ученика или двух учеников, которых несчастье подбрасывало им на пути. Фрасимах вел более высокую игру. Его софистика была политической,^[837] а его целью было уничтожение свободы, путем уничтожения чувства справедливости, на котором она всегда должна быть основана. Гений этого человека был значительным. Он обладал глубокими мыслями и смело проводил исследования; но его симпатии были как-то рано извращены, он стал мрачным, свирепым и необщительным и без малейшей маскировки отстаивал, подобно нашему Гоббсу,^[838] тиранические максимы и мораль. Деньги, как и все остальные, он, разумеется, боготворил. Так, в разговоре в доме Кефала он даже осмеливается грубо насмехаться над бедностью Сократа, на что Глаукон^[839] замечает: "Не бойся остаться без платы за обучение, которое ты можешь ему дать, потому что мы заключим подписку от его имени".^[840] Фрасимах, однако, был еще более тщеславным, чем скупым. Он жаждал продемонстрировать свои идеи, чтобы получить удовлетворение от того, что шокировал тех, кто его слушал. Он утверждал, что справедливость - это не что иное, как то, что в любом государстве правители считают нужным установить; и что, следовательно, постановления тирана столь же обязательны и справедливы, как и законы свободного государства, поскольку по природе все действия безразличны.

На самом деле, это была часть софистической доктрины, чтобы поддерживать в политике то, что впоследствии отстаивал Гоббс, - право более сильного.

--- "Старое доброе правило, простой план,

что брать должны те, у кого есть сила,

И сохранять, кто может".

Но поскольку в сердце каждого человека есть укоренившееся предубеждение в пользу справедливости, они были готовы утверждать, что все правители, в той мере, в какой они заслуживают этого имени, будут устанавливать то, что лучше для них самих, и это, что бы ни было, будет справедливо:^[841] очень удовлетворительная доктрина, которая никогда полностью не выходила из моды. Они высмеивали, как люди, требующие, чтобы за ними присматривали и вытирали им носы,^[842] всех, кто, по их мнению, допускал мысль о том, что правительства учреждаются для блага управляемых.

Их основным сравнением всегда было стадо или пастух. Какой пастух, спрашивали они, хоть раз заботился о своем стаде ради его блага, а не ради собственной выгоды? Точно так же и магистраты, которые, как и положено, занимают главное место в городах, смотрят на население именно как на множество овец или волов, и ни днем, ни ночью не думают ни о чем, кроме того, как извлечь из них наибольшую пользу. Поэтому справедливость - это то, что способствует интересам управляющих, хотя и может быть убыточным для управляемых. Человек, которого философ считал справедливым, благочестивым и святым, по их мнению, был просто глупцом. Когда нужно что-то получить, он получает меньше всех, а когда нужно что-то сделать для общества, он делает больше. Он всегда наготове со своим кошельком, когда нужно заплатить; он всегда в стороне, когда выгода на плаву. Несправедливый человек, напротив, знает, на что идет. Он платит и делает для общества как можно меньше, а берет от него все, что может. Первый делает себя неприятным для своих друзей и домочадцев, отказываясь совершать любые несправедливые действия в их интересах. Второй, напротив, беспринципный в приобретении, способен многих обязать своим

богатством, если ему случается нуждаться в их услугах. Таким образом, даже в частной жизни и в мелких делах несправедливость предпочтительнее; но когда она действует в огромных масштабах, грабит целые города и узурпирует над ними верховную власть, она достигает вершины счастья, получает имя князя и становится предметом зависти всего человечества.

Но и на этом они не остановились. Им было недостаточно показать счастье порока как порока; они взялись доказать, что порок - это добродетель, а добродетель - порок, что можно считать их *magnum opus*. Они смело взялись за дело, но, подобно лисице Архилоха,^[843] всегда держали кое-что из своей фигуры в тайне, чтобы, если возникнет необходимость, иметь возможность отступить, рассматривая всю свою цепь аргументации как простое риторическое упражнение. "Ты, кажется, говоришь серьезно", - заметил Сократ в один прекрасный день. "Что для тебя значит, серьезно я говорю или нет, - ответил софист, - если ты не можешь опровергнуть то, что я предлагаю?" С этой благоразумной сдержанностью они учили, что несправедливость - мощный и прекрасный принцип, причисляя ее к добродетелям и приписывая ей все свойства, обычно приписываемые справедливости.^[844] Паскаль, в разработке морали иезуитов, точно описывает их принципы. Они покровительствовали даже срезанию кошельков, если у оператора хватало изобретательности, чтобы скрыть свои действия. Несомненно, рассуждая таким образом, они совершали насилие над своими тайными убеждениями, и умелый диалектик мог заставить их почувствовать, хотя и не признать, уродство своих доктрин, как Фрасимах, загнанный в угол логикой Сократа, краснеет и падает,^[845] но поскольку софистика была их занятием, беда и унижение заключались в том, что, убежденные или не убежденные, они должны были по-прежнему петь старую песню. На самом деле очевидно, что, как и многие софисты других дней, они смело говорили устами, в то время как сердце внутри трепетало. Свет совести не мог быть полностью погашен. Они считали богов вооруженными силой и готовыми применить ее не только против злодеев, но и против злословящих. Когда Фрасимаха спросили, не является ли плохое предосудительным, а хорошее - приятным для божеств, он не стал отрицать этого. И почему? Чтобы не сделать себя ненавистным для них, ἵνα μὴ τοῖς δὲ ἀπέρχῃναι. Так что в самые худшие времена язычества религия, как бы она ни была испорчена, не смогла сохранить определенное влияние на умы людей, чтобы спасти их от звериного безрассудства, в которое они, казалось, желали погрузиться.^[846]

Тем не менее, софисты по многим вопросам лишь методизировали, сгущали и воплощали в витиеватом языке максимы и способы мышления, бытовавшие в развращенные века среди вульгарных людей. Их доктрины были лишь отголоском того, что звучало в церквях, в судах, в театрах и в лагерях. Поэтому было бы мало смысла в том, чтобы заставить их замолчать, если бы в то же время не были очищены вышеупомянутые школы, где молодые и старые, мужчины и женщины, впитывали мнения, максимы, предрассудки, которые составляли систему софистов.^[847] И Платон, который замечает это, предоставляет нам, тем самым, новое доказательство того, что женщины часто посещали театр. В одном из этих четырех мест, говорит он, они были развращены: но они не были солдатами, а значит, не в лагере; они не были дикастами, а значит, не в судах; они не были ни ораторами, ни избирателями, а значит, не в еkkлeсиях. Поэтому злые доктрины, которые они усваивали, должны были быть усвоены в театре.^[848] Здесь же юноша, дисциплинированный и наставленный в лучших вещах своими философскими учителями, получил новое образование, которое ниспровергло прежнее. Поступки и слова, осужденные его учителями, он часто встречал здесь восторженными аплодисментами, повторенными камнями и стенами; в то время как шипение, насмешки или яростная ярость, возможно, обрушивались на то, что его учили больше всего уважать. Поэтому в его чувствах и внутренних убеждениях вскоре произошел переворот. Он стал

стыдиться понятий, привитых ему в школе. Каждое томительное чувство чести казалось ему досадным предрассудком, презируемым светскими людьми, и он поспешил сменить свои представления, как клоун меняет платье, готовясь попасть в модную компанию.

Софисты, искушенные в изучении человечества, вскоре обнаружили, что для того, чтобы нравиться невеждам и в конечном итоге управлять ими, необходимо смиряться с их недостатками и, по крайней мере внешне, принимать их мнения. В содружестве, управляемом здоровыми принципами, великие люди получают влияние, не уподобляясь большинству, а отличаясь от него. Они популярны благодаря авторитету своих добродетелей. Их почитают с тем почтением, которое полагается отцу от своего ребенка, который доверяет ему, исходя из долгого опыта, в своей любви и нерушимой вере в его честь, и подчиняется упрекам и наказаниям, и определяется ним в своих действиях из убеждения, что его высшая мудрость, порядочность и привязанность дают ему право править. Но софисты и их политические ученики отчаялись управлять народом таким образом. В их манерах не было ни достоинства, в их умах - ни мудрости, в их решениях - ни той непреклонной твердости, проистекающей из сознания правоты, которую не могут покорить ни угрозы, ни крики. Они смотрели на народ как на огромного зверя, чьи повадки и нрав они должны изучить, чьи страсти и желания они должны знать, как воспитывать и как удовлетворять; с помощью каких искусств они могут безопасно войти в его логово, погладить его страшные лапы или взобраться, если сочтут нужным, на его спину и направить его неодолимую мощь против своих врагов. И это они считали мудростью, а тех, кто преуспел в ней, называли государственными деятелями и философами.^[849] Среди искусств, с помощью которых приобреталось это влияние, были лесть и хвастовство; первым они располагали людей слушать, вторым - пытались оправдать их, рассказывая о чудесах, которые они могли совершить. Если им можно было верить, они могли превратить глупцов в мудрецов, что философы считали чудом. Этот нрав τὸ θρασὺ καὶ τὸ ἰταρὸν,^[850] как выражается Василиус, прекрасно изображен Платоном в образе Фрасимаха. А контраст, представленный Сократом, оправдывает, как замечает Мурет, мудрое замечание Фукидида οὔτις ἀραθία μὲν θάρσος, φρόνησις δ' ὀκνον φέρει.

Однако, какими бы они ни были, репутация софистов распространилась далеко и широко. Даже среди варваров Азии было желание пощекотать слух их красноречием, как мы можем понять из письма Амитократа, индийского царя, к Антиоху, в котором он просит его как можно скорее отправить в Индию немного вареного вина, сушеных фиг и софиста, отмечая, что он очень охотно заплатит за него. Но Антиох, то ли не желая расставаться с таким полезным слугой монархии, то ли из жалости к индийцам, которых, как он полагал, и так уже достаточно намучили, ответил, что вареное вино и фиги он может поставлять сколько душе угодно, но что касается софистов, то закон запрещает их вывоз.^[851] Однако все это время он, сам того не зная, имел множество образцов этой расы в своих собственных владениях, где брамины, не считаясь со временем, культивировали и процветали те же искусства и придерживались тех же мнений, которые принесли известность последователям Горгия и Протагора. Их практика, как и практика йогов, в Индии изменяется в зависимости от состояния общества и общественного мнения. Удивление, которое у греков вызывала пропаганда чудовищных доктрин на берегах Ганга, проистекает из физических шалостей. Греческий софист истязал свой разум, индийский - свое тело в назидание публике, но результат один и тот же; практикующие таким образом люди ухитряются бездельничать на доходы трудолюбивых и доверчивых.

795. Vid. Ant. Muret. Orat. iv. 43. sqq.

796. Plat. de Rep. ii. t. i. p. 112. sqq. Stallb. Cp. Hardion, Dissert. sur l'Eloquence, iii. Biblioth. Academ. t. iii. p. 194. p. 210. sqq.

797. См. Schoel. Hist. de la Lit. Grecq. i. 288. Lowth. Poes. Sacr. Hebr. p. 12. Leipz.

798. Plat. de Rep. ii. t. i. p. 115. Stallb. О пылком и благородном нраве афинской молодежи см. примечание Валькеннера, ad Xenoph. Mem. iii. 3. 13. p. 286. Schneid. Cp. Plat. de Rep. v. t. i. p. 345.

799. Aristot. Polit. iii. 4.

800. Plat. de Rep. v. t. i. p. 393. seq. Stallb.

801. Плат. Gorg. t. iii. p. 27. De Rep. t. vi. p. 358. sqq. Bekk.

802. См. об этой части темы Destutt de Tracy. Com. sur l'Esprit des Loix, p. 25. sqq.

803. В плохо устроенном государстве, замечает Мурет, хороший человек не может быть хорошим гражданином, ибо он захочет изменить правительство, которое, будучи плохим, он не может уважать - Aristot. Eth. p. 398.

804. Преимущества этого города были настолько желанны для иностранцев, что они толпами посылали своих детей получать образование в Афинах.-Æsch. Epist. Orat. Att. xii. 214.

805. Содружество, говорит Платон, однажды созданное, будет развиваться как вечно движущийся круг. Ибо, упорствуя в хорошем воспитании и обучении, умы и склонности людей станут хорошими, а они, в свою очередь, улучшат систему воспитания и обучения, и даже сам род человеческий, как и род других животных, станет более совершенным благодаря заботе" -De Rep. t. vi. p. 173. Cp. Исократ, Ареоп. § 14. seq.

806. Repub. i. t. vi. p. 42. seq. Бекк.

807. Vid. Athen. ii. 18. О том, что география очень мало входила в их исследования, можно судить по Фукидиду, vii. 1.

808. Vid. Herod. i. 29. И cp. Schoell. Hist. de la Lit. Grecq. ii. 134. Isoc. de Perm. § 26. Muret. in Arist. Ethic. p. 477. Menag. ad Diog. Laert. p. 5. a. b. &c.

809. Гоббс, великий представитель этого класса людей в современную эпоху, живя под деспотизмом Стюартов, стремился перевернуть мнение философов и обвинял их в развращении умов молодежи. "Что касается мятежа, в частности против монархии, то одной из наиболее частых причин его возникновения является чтение книг о политике и истории древних греков и римлян; Из них молодые люди и все остальные, не имеющие противоядия в виде твердого разума, получая сильное и восхитительное впечатление от великих военных подвигов, совершенных полководцами их армий, получают вместе с тем приятное представление обо всем, что они сделали помимо этого; и воображают, что их великое процветание произошло не от подражания отдельным людям, а от добродетели их народной формы правления." "Левиафан", ч. II, с. 29. т. iii. с. 315.- Издание сэра Уильяма Моулсворта.

810. Poll. iv. 17.

811. Plat. de Rep. t. vi. p. 286. seq. Cp. Schol. Aristoph. Nub. 331.

812. То, что деньги были единственной целью софистов, замечает Исократ, *Hel. Encom.* § 4. В другом месте, с несвойственным ему лукавым юмором, он говорит, что они готовы продать все, что угодно, лишь бы не бессмертие, за три или четыре мины. *Sophist.* § 3, p. 576. См. обо всем, что касается софистов, *Hard. Dissert. v. Bibl. Acad. t. iii. p. 240. sqq. Muret. in Arist. Ethic. p. 533. Cressol. Theat. Rhet. v. iii. p. 447.*

813. *Plat. Protag. t. i. p. 163. seq. Bekk.*

814. В поздний период по указу Софокла софисты были изгнаны из Аттики -*Athen. xiii. 92. Cp. Cressol. Theat. Rhet. i. 12. p. 87.*

815. Мурет считает слово софист синонимом учителя красноречия: "*Sophista, id est, dicendi magister*"; и, говоря об этом же Фрасимахе, приводит отрывок из Цицерона, который приписывает ему изобретение риторического стиля. *Orat.* § 12. Суидас считает Фрасимаха первым, кто использовал период и двоеточие; и полагает, что он был учеником Платона и Исократа, тогда как он предшествовал им обоим.-*Muret. Comm. p. 631. seq.*

816. *Hist. Sophist. p. 13.*

817. Клинтон, *Fast. Hellen. ii. 28. 65. 67.* Геель (*Hist. Sophist. p. 14*) считает датой его рождения семидесятую Олимпиаду; но поскольку из текста Павсания следует, что он еще жил в 380 году. До н. э., это увеличило бы продолжительность его жизни за пределы, отведенные ей любым древним писателем.

818. О нем, как отмечает Мурет (*Comm. p. 631. seq.*), нет никаких упоминаний, кроме как в *Plato de Repub. i. § 2. t. i. p. 8. Stallb.*

819. *Var. Hist. i. 23. Diog. Laert. viii. 58.*- Г-н Клинтон, однако, принимает мнение Диогена (*Fast. Hell. ii. 365*); и, чтобы сделать его вероятным, предполагает, что Эмпедокл был на несколько лет старше своего ученика.

820. *Plat. Men. p. 14. g.*

821. *Cic. Brut. § 12. Geel, Hist. Sophist. p. 15. seq. Sext. Empir. p. 306. seq.*

822. *Диод. Sicul. xii. 53.*

823. Поэтому я не могу понять причину сомнений Гееля. *Sophist. p. 18. Cp. Клин. Fast. Hellen. ii. p. 68.*

824. *Plat. Hip. Maj. t. v. p. 416.*

825. *Крессол. Theat. Rhet. i. 8.*

826. *Geel, Hist. Sophist. p. 23.*

827. Иногда они выбирали для своих панегириков более скромные предметы, например, шмеля или соль - *Isocrat. Hel. Encom. § 4. p. 461.* Плутарх также говорит об ученом труде о соли, который он считал очень назидательным.-*Sympos. § 5.* Французский автор того же класса посвятил двадцать лет своей жизни трактату о соловье. Другой член этого братства прославлен Руссо: "Он говорит, что один алландец написал книгу о цитроне; я тоже написал книгу о каждом грамме преса, о каждом муссе дерева, о каждом лишайнике, который облепил рошеры; и, наконец, я не хотел выпускать ни одной кадушки, ни одного вегетативного растения, которое не было бы описано в достаточной степени."-*Réveries, t. iii. p. 106.* О словесных пустяках софистов см. *Muret. in Aristot. Ethic. p. 79.* Ле Конт в своем

комментарии к "Анабасису" превращает Горгия в "благоразумного и опытного офицера", поскольку Проксен, как утверждается, учился у него - t. i. p. 246.

828. Плут. Conj. Præsept. § 43. которому следует Geel.-Hist. Sophist. p. 25. Но Исократ, который сам был слушателем Горгия в Фессалии (Cic. Orat. § 22), сообщает, что тот никогда не был женат и не имел детей.- De Permut. § 26. 10. Однако другая традиция говорит о его сыне Филиппе как об осужденном гелиастами.- Schol. Aristoph. Av. 1700.

829. См. Афины. xii. 71.

830. Обращаясь к Сократу, среди многих других, он говорит в одном месте: ἀλλὰ πότερον ὑμῖν, ὥς πρεσβύτερος νεωτέρους, μῦθον λέγων ἐπιδείξω. к. т. λ.-Protag. i. 170. Но это не имеет ничего общего с тем, что он говорит в другом месте: οὐδενὸς ὅτου οὐ πάντων ἂν ὑμῶν καθ' ἡλικίαν πατὴρ εἶην.-Id. p. 165.- что без крайней нелепости человек не мог бы сказать человеку точно своего возраста. Майнерс. (Hist. des Arts et des Sciences, iii. 258), очевидно, ссылается на этот отрывок; так же поступает и Хардион. Dissert. vii. Bib. Acad. iii. 295. Тем не менее, это, должно быть, полностью ускользнуло от Гееля, который (Hist. Sophist. p. 71) говорит: "Deinde nescimus quomodo efficiatur e Platonis Protagorâ, sophistam ejusdem nominis *multo* majorem fuisse Socrate."

831. Diog. Laert. ix. 55. отмечает, что, согласно некоторым писателям, он умер в возрасте 90 лет во время путешествия.- Geel, p. 81. Достаточно примечательно, что большинство софистов дожили до глубокой старости, и то же самое можно сказать в целом о философах древности. Лорд Бэкон берется объяснить этот факт. Отдав пальму первенства долгой жизни отшельникам и анкоритам, он говорит: "Рядом с этим - жизнь, проведенная в хорошем письме, как это было у философов, риториков, грамматиков. Эта жизнь также проходит в досуге и в тех мыслях, которые, будучи оторванными от дел мира, не умиляют, а скорее радуют своей суетностью и дерзостью: они также живут в свое удовольствие, проводя время в тех делах, которые им больше нравятся, и по большей части в компании молодых людей, что всегда веселее всего" - История жизни и смерти, стр. 24.

832. Эро де Сешель, который, будь он жив, превзошел бы Босуэлла в биографии, с необыкновенным удовольствием описывает страсть этого архисофиста Бюффона к великолепию одежды. Даже среди крестьян Монбара, расы примитивной простоты, французский Гиппиас никогда не появлялся иначе, как в расшитом костюме, завитый и украшенный, словно при дворе. Он прекрасно рассчитал влияние внешних проявлений на разум; и мы должны простить ему это, поскольку он разделял эту слабость с лордом Бэконом и Аристотелем.- См. Voyage à Montbar, p. 42, seq.

833. Другой пример можно найти в Athen. iii. 54.

834. Сократа путали с софистами, потому что он часто бывал в их обществе, чтобы опровергать их; но между ними была такая же разница, как между вором и воришкой.

835. Plat. Opp. iii. 444, seq.

836. Plat. Opp. t. iii. p. 245.- Забавная манера преподавания, введенная этими софистами, иногда подражала философам. Так, Теофраст, который, прежде чем отправиться в свою школу, помазывался маслом и выполнял упражнения, прибегал к необычайному юмору, чтобы очаровать своих учеников, приспособливая все свои жесты и движения к своим лекциям; так, описывая манеры и характер обжоры, он, подобно комическому актеру, высовывал язык и облизывал губы -Athen. i. 38.

837. Cp. Dem. Lacrit. § 10. Sch. Aristoph. Nub. 113.

838. Современный Фрасимах столь же откровенен в своей ненависти к философам, как и древний. Он сравнивает их энтузиазм в пользу свободы с вирусом, передающимся от укуса бешеной собаки, считая, что ничто не нужно так тщательно оберегать, как свободу. Он хотел бы, если возможно, запретить изучение древних государственных деятелей и историков или, по крайней мере, позаботиться о том, чтобы противопоставить их максимам учение осторожных софистов. "Я не могу себе представить, - говорит он, - что может быть более пагубным для монархии, чем дозволение публично читать такие книги, не прибегая при этом к таким исправлениям со стороны благоразумных мастеров, которые способны унять их яд; этот яд я без сомнения сравню с укусами бешеной собаки, болезнь, которую врачи называют *гидрофобией*, или *боязнью воды*. Ибо, как тот, кого укусили, постоянно мучается от жажды, но при этом ненавидит воду и находится в таком состоянии, как если бы яд стремился превратить его в собаку, так и монархия, когда она однажды укушена до крови теми демократическими писателями, которые постоянно рычат на это сословие, не желает ничего иного, кроме сильного монарха, которого, тем не менее, из определенной *тиранофобии* или страха быть сильно управляемым, когда он у них есть, они ненавидят." *Левиафан*, т. II, с. 29.

iii. 315. Граф Капо д'Истриас, если и не знал языка Древней Греции, то, по крайней мере, понимал дух античной философии, поскольку, желая установить тиранию, он запретил читать Платона в государственных школах. Возможно, он научился у Гоббса своим максимам управления, а также тому, что хозяин академии заслуживает его ненависти. - Thiersch. Etat. Act. de la Grèce, ii. 121.

839. Plat. Rep. i. § 11. t. i. p. 41. Stallb.

840. "Ερανος. Cp. Sympos. t. iv. p. 379. Bekk.

841. По этому поводу отец Павел замечает: "Мы должны подвести под название справедливости все, что может способствовать служению государству; ибо у князя нет большей справедливости, чем сохранять за собой звание князя и, для этого, держать своих подданных в покорном подчинении своей власти" - Макс. о Венецианском государстве, гл. i. § 1.

842. Plat. Rep. t. vi. p. 34.

843. Plat. Rep. t. vi. p. 72. Бекк.

844. Id. i. t. vi. p. 44. seq.

845. Plat. de Rep. vi. 49. i. 76. Stallb. Cp. Vict. Var. Lect. iii. v.

846. Plat. Rep. t. vi. p. 52.

847. Id. vi. 290.

848. Plat. Rep. vi. t. vi. p. 289. Cp. Athen. ii. 54.

849. Plat. de Rep. vi. 293.

850. Plat. de Rep. vi. 333. Cp. Muret. Adnot. in Repub. p. 667, seq. 677, seq.

851. Athen. xiv. 67.

ГЛАВА VIII.

ВОСПИТАНИЕ СПАРТАНЦЕВ, КРИТЯН, АРКАДЯН И Т. Д.

Иную картину представляет нам воспитание спартанцев,^[852] которое, почти совершенное в своем роде, было направлено главным образом на развитие телесных способностей. Умственных занятий в государствах дорийского происхождения было немного, и даже они, похоже, были связаны скорее с развитием животной, чем духовной природы человека, хотя они не были полностью лишены всех тех искусств и достижений, которые украшают мирную жизнь. Однако можно не придавать особого значения тщательно продуманному разделению молодежи на многочисленные классы, о намерениях которого ничего не говорится. Тем не менее не приходится сомневаться, что в формировании системы, целью которой было создание военного характера, а через него - гегемонии или лидерства в общественных делах Греции, чести, которой Спарта добилась и удерживала в течение многих лет, было проявлено много искусства, размышлений и мудрости.^[853]

Один современный писатель верно заметил, что, разрешив государству принимать решения о жизни младенцев, институты Ликурга признали право общества регулировать, как ему заблагорассудится, их воспитание. Таким образом, власть родителей над своими детьми была практически уничтожена, поскольку, хотя признание и чувство родства сохранялись и после того, как государство взяло на себя обучение молодежи, их влияние было крайне ослаблено. Это обстоятельство можно объяснить кажущимся героизмом спартанских женщин, которые стоически перенесли смерть своих сыновей, поскольку были в значительной степени отчуждены от них.

Однако, поскольку институты Ликурга во всем остальном отличались от институтов других греческих законодателей, неудивительно, что они должны были отличаться и в вопросах воспитания. Но можно сильно сомневаться, что мы полностью понимаем его систему. Дошедшие до нас сведения во многом противоречат друг другу, и в целом можно отметить, что ни по одному вопросу современные представления не отличаются так сильно от тех, что были распространены в древности, как по вопросу образования. Плутарх и Ксенофонт, а точнее, софист, взявший его имя, два автора, на которых обычно полагаются в этой дискуссии, были предвзятыми и легковверными, а зачастую, если говорить откровенно, крайне невежественными. Оба они не желали, даже если бы обладали властью, критиковать систему, и все же современные авторы, как правило, без колебаний принимают их мнение. Сам Ксенофонт, как и софист, который здесь подражает ему, был по своим пристрастиям спартанцем и был так же склонен сатирически преуменьшать институты своей страны, как и преувеличивать достоинства лаконцев. Даже если бы пустяковое сочинение о Лакедемонской республике оказалось его, мы все равно не стали бы придавать большого значения его свидетельству, если бы оно не было подтверждено свидетельствами других и лучших авторов.

В других местах Греции, - отмечает автор этого трактата,^[854] кем бы он ни был, - люди, наиболее заботящиеся об образовании своих детей, ставили над ними на первой заре умственного развития пæдагогов, которые с самого начала брали на себя их обучение, а затем направляли их в школы, где преподавались буквы, музыка и гимнастика. Однако в этом отношении, как показал один современный автор, учреждения Спарты ничуть не превосходили их, поскольку там наставниками маленьких детей были гелоты; и поэтому он отвергает рассказ Плутарха^[855] о том, что их заставляли опьянять себя, чтобы показать

юношам практическое доказательство порочности пьянства.^[856] Это противоречило, говорит он, здравому смыслу. Но поскольку здравый смысл имел очень мало общего с какой-либо частью системы, это плохой аргумент, и он не будет весомым против положительного свидетельства.

Еще одно зло, которое Псевдо-Ксенофонт обнаруживает в общепринятом эллинском плане обучения,^[857] заключалось в том, что мальчиков баловали обувью и делали их женоподобными частой сменой чистого белья, а их аппетит, обычно острый в детстве,^[858] мерил тем, что они ели. Ликург, замечает он, управлял всем этим по-другому. Вместо того чтобы оставаться под надзором родителей и посещать школы и учителей, которых они считали нужными, мальчики в Спарте находились под своего рода лагерной дисциплиной, регулируемой законами и вверенной попечительству определенного магистрата, которого они называли Ραδονομος. Эту часть системы Ксенофонт^[859] предпочитает афинской практике передачи молодежи под опеку подневольных пæдагогов. Пæдонос, однако, во многом напоминал афинского гимнасиарха и, насколько я могу судить, не имел над ним никакого превосходства, за исключением того, что его власть распространялась за пределы школьного времени. Он был своего рода деспотом, наделенным правом собирать мальчиков вместе, когда ему заблагорассудится, и подвергать наказанию по своему усмотрению любого, кто, по его мнению, проявлял хотя бы малейшие признаки женоподобности. Чтобы иметь возможность мгновенно приводить свои решения в исполнение, он расхаживал по городу, как палач, в сопровождении людей с кнутами, которые по его кивку хватали провинившегося мальчика и тут же подвергали его пыткам. Таким образом, обладая властью принуждать к послушанию, он, по меньшей мере, демонстрировал большое почтение.

Привилегия разделять отцовские заботы Пæдонома не была жестко ограничена сыновьями спартанцев (πολιτικοὶ παῖδες);^[860] Мотеки также, спартанцы полукровные и даже чужеземцы могли разделять ее. Кем были мотасы, определить крайне сложно. Некоторые утверждают, что это были рабы, воспитанные в семье.^[861] Но Афиней и цитируемый им Филарх совершенно определенно утверждают, что они были свободными, ἐλεύθεροί μὲν εἰσί. Чтобы устранить неблагоприятное впечатление, производимое на человечество переданными нам рассказами о спартанском рабстве, было сделано предположение, что они, как и неодамоды, были гелотами. Однако сам автор, на которого полагаются неодамоды, утверждает обратное. По его словам, изначально они действительно были рабами, но не такими, как гелоты: ἑτέρους ὄντας τῶν εἰλώτων. Что касается мотаков, то^[862], несмотря на свидетельства Гесихия и других грамматиков, кажется очевидным, что они были сыновьями свободных, хотя и бедных лаконцев, которые, желая получить для них права спартанцев, отправили их в спутники к таким молодым гражданам, которые согласились бы их принять. Кроме того, добавляется, что молодые люди, в зависимости от своих средств, выбирали одного, двух или более компаньонов; это показывает, что, хотя право контролировать обучение своих детей принадлежало государству, расходы, полностью или частично, ложились на родителей.

Мотасы, или мотоны, как их иногда называют, были идентичны σύντροφοι:^[863] но τρόφιμοι были такими молодыми чужеземцами - например, сыновьями Ксенофонта^[864] и Фокиона, - которые, подчиняясь суровости спартанской дисциплины, приобретали свободу города, привилегию стремиться к политическим отличиям и, по мнению некоторых писателей, даже долю земли. Это, если это правда, сделало бы достоверным утверждение философа Телеса,^[865] который утверждает, что даже гелоты, с помощью вышеописанных средств, могли подняться до ранга спартанцев; в то время как те, кто в этом пункте не подчинялся законам, будь они даже детьми царей, опускались до состояния гелотов и, конечно,

лишались своих поместий, иначе не было бы земли, чтобы наделить военных неофитов. Три самых замечательных человека в спартанской истории, Лисандр, Гилипп и Калликратид, были мотасами, чьи отцы были неизвестны.^[866] Видно, что перед нами оригинал той системы воспитания, которую набросал Ксенофонт в своей "Персидской утопии" и которая была призвана рекомендовать монархию его соотечественникам, так как система сэра Томаса Мора была создана для противоположной цели.

По законам Ликурга наследник престола освобождался от необходимости смешиваться со своими согражданами в общественных школах, хотя младшие члены королевской семьи занимали одну ступень с другими мальчиками.^[867] То, что это было неразумное постановление, однако, сразу же становится очевидным, поскольку ни один человек так не нуждается в суровой дисциплине, как принц, который, несмотря на исправление, слишком склонен руководствоваться своими необузданными страстями. Факты также подтверждают это мнение, поскольку два самых благородных государя Спарты, Леонид и Агесилай, будучи мальчиками,^[868] подвергались исправлению со стороны своих учителей.

Уже отмечалось, что дух спартанского воспитания был суровым. По сути, он был точно таким же, как тот, который в прошлом поколении пронизывал дисциплину индейцев сенека и могавков и создал те многочисленные примеры терпения, стойкости и великодушия, а также силы, ловкости и гибкости тела, которыми так восхищаются и которым, возможно, завидуют цивилизованные народы. Именно эта суровая и воинственная система послужила тайной моделью, по которой Локк разработал свой план обучения юношества, направленный скорее на воспитание здорового ума в здоровом теле, чем на разрушение и истощение последнего путем нагромождения в мозгу разнородных и зачастую бесполезных знаний. Но в своих попытках закалить организм и сделать его неуязвимым для укусов страданий наш соотечественник не осмелился пойти на поводу у спартанского законодателя, который, по крайней мере, в этом проявил высшую мудрость, не считая, что наказание розгами имеет какую-либо тенденцию к созданию низменной и рабской привычки ума.^[869]

В соответствии с общей целью своих учреждений Ликург, вместо того чтобы, подобно Локку, предписать своим выпускникам носить дырявую обувь, полностью отказался от этой повинности. И, конечно, в солдате, привычка топтать голый ногой лед, снег и самые острые камни, достойна приобретения.

Институты обычно основываются на реальных обстоятельствах жизни общества. Ликург издавал законы для людей, для которых было важно уметь легко взбираться на кручи или спускаться с них уверенной ногой, пружинить вперед, бегать, нагибаться и совершать бесчисленные действия, требующие личной ловкости. Поэтому он начал прививать мальчикам те привычки и упражнения, которых в обязательном порядке потребует от них мужская жизнь.

Было замечено, что в Спарте особое отвращение вызывала смена белья. Поэтому детей учили довольствоваться одной чистой рубашкой в год, и к концу этого периода они, вероятно, были так же хорошо укомплектованы, как борода императора Юлиана, особенно потому, что в течение всего этого времени считалось низким и немодным купаться или пользоваться обычными мазями, и эта поблжка позволялась им лишь в течение нескольких дней в году. Однако все это время они, пожалуй, правильнее было бы говорить о том, что они были без рубашек, поскольку им оставляли только гиматий, а хитон забирали.^[870] Их также заставляли, как начинающих солдат, лежать на жестких поддонах, сделанных из верхушек тростника, собранного, без помощи ножа или кинжала, с берегов Евротаса. К этому, в

качестве особой поправки, зимой им разрешалось добавлять некоторое количество чертополоха, который, как считалось, содержит много тепла.^[871]

Приобщение к этим достижениям начиналось в возрасте двенадцати лет. В то же время, руководствуясь галенской максимой, что "толстый живот делает тощий ум", мальчики становились коротышками, а буагору, или предводителю отряда, предписывалось щипать их как можно в этом отношении, чтобы, когда случайности войны поставят их перед необходимостью питаться голодной пищей, они были готовы без ропота подчиниться ей. Кроме того, люди, получившие такое образование, будут не слишком щепетильны в выборе провизии. Все, что угодно, от морского ежа до улитки, подойдет их желудкам; и будет очень трудно, если война когда-нибудь поставит их в такие условия, где нельзя будет найти такую пищу, к которой они привыкли. Здоровье и бодрость духа, как хорошо понимал Ликург, являются следствием воздержанного питания. Запасной воин, чистоногий и ловкий, обскочит человека, одутловатого и раздувшегося от переизбытка, и поэтому быть толстым было в Спарте преступлением, наказуемым по закону.^[872] Однако, чтобы не быть слишком строгими к молодым господам, всегда разрешалось, когда голод становился беспокойным, прибегать к тому, что, за неимением более подходящего названия, мы должны назвать воровством.^[873]

В наше время было бы плохим комплиментом для любой системы образования представлять ее как восхитительный метод превращения человека в искусного вора. Но спартанские софисты, чью мудрость Платон в шутовском настроении так превозносит, придерживались другой теории. Они занимались обучением не морали, а тем привычкам, которые присущи солдату, среди которых воровство всегда занимает почетное место. Ксенофонт, однако, тщательно оберегает нас от предположения, что эта привычка к присвоению возникла из-за нужды. Цель законодателя заключалась в том, чтобы без моральной вины воспитать все полезные привычки, присущие вору, - способность следить ночью, носить маску честности днем, хитроумно расставлять силки и даже натравливать шпионов на человека, которого нужно ограбить. Для людей, которым предстоит провести жизнь на войне, такие качества, несомненно, имеют первостепенное значение, поскольку позволяют им добывать провизию и обходить врага.^[874] На эту практику ссылается Ксенофонт в "Анабасисе", где армия поставлена в весьма затруднительные обстоятельства. "Я понимаю, - говорит он Хейрисофосу, - что среди вас, лакедемонян, привычка воровать тщательно культивируется с детства; и что это далеко не позорно, а считается необходимым делом, если только вы держитесь в рамках, предписанных законом. Однако при обнаружении воровства, его столь же законно подвергают бичеванию."

Так бичевали ли их за воровство? Вовсе нет, а просто за то, что их поймали; и Ксенофонт прав, замечая, что во всех человеческих искусствах наказывают тех, кто неумело выполняет то, за что берется, и так же должен поступать неуклюжий вор.^[876] Отрывок, следующий непосредственно за этим, искажен или неразрывно испорчен,^[877] но, при внимательном изучении, окажется, что мальчики, замеченные в этих случаях, отбирались для порки^[878] во время праздника Артемиды Орфии, или Ортосии, чей алтарь ежегодно смазывался человеческой кровью. Это беспристрастное суеверие распространялось на все сословия и слои населения, подневольные и свободные, от нищего до принца; здесь, как нам рассказывают, гелоты иногда удостоивались чести быть бичеванными в компании, возможно, с отпрыском царей Эврипontiдов или Агидов. В Алее, в Аркадии, женщины, по велению оракула, подвергались такому же наказанию. "Здесь, - пишет Павсаний,^[879] - во время праздника Диониса женщин, по велению оракула, пороли, как молодежь Спарты у алтаря Артемиды Орфии".

Вышеупомянутый указ Ликурга привел в следующем случае к укрытию молодежи в горах:^[880], чтобы еще больше приучить их к лишениям и, практически, научить их искусству обеспечивать себя, они были отправлены с бродячим поручением рыскать по нагорьям и менее посещаемым частям Лаконии, вооруженные для самозащиты и чтобы они могли добывать себе дичь. Поначалу, возможно, они ограничивали себя рамками, предписанными законом. Но почти по необходимости они ввязывались в ссоры с гелотами, грабя фермы и деревни которых, в основном, и добывали себе пропитание. Иногда гелоты сопротивлялись, иногда возмущались их вторжениями. Зарождалась кровь. Горячие и вспыльчивые юноши, предоставленные самим себе, легко находили оправдания для жестокости и мести. От ссор они переходили к побоищам, от побоев - к убийствам; избитые, возможно, днем, они внезапно обрушивались на беззащитных крестьян в ночное время и вырезали целые деревни, чтобы отомстить за оскорбление, нанесенное им, возможно, одним человеком. Так из обычая, достаточно безупречного по своему происхождению, вырос ужасный институт Криптейи,^[881] или ежегодной резни гелотов, отрицаемый некоторыми современными авторами, но слишком хорошо подтвержденный, и слишком соответствующий спартанскому характеру и общей политике, чтобы мы могли предаваться какому-либо скептицизму в этом вопросе.

Но, помимо вышеперечисленного, в Спарте преподавались и другие виды образования - гимнастика и музыка. Писатели, желая подчеркнуть умственные способности дорийцев, слишком строго придерживаются значения, которое греки часто придавали слову "музыка", которым они обозначали литературу. Но Ксенофонт в своем трактате о Лакедемонском содружестве неизменно использует это слово в его ограниченном и современном значении.

Гимнастика дорийцев, в целом неинтеллектуального народа, была естественным пристрастием - слишком большим, по мнению древних писателей; но здесь снова их современный историк вступает на их защиту. Он утверждает, что именно в более поздние времена они стали философами, и цитирует Диона Хризостома, как главного свидетеля. Платон, конечно, ссылается на паразитический авторитет, как и Аристотель;^[882] но последний говорит только, что их постоянные жестокие упражнения сделали их жестокими, в чем историк, похоже, не находит никакого вреда. "Однако эта нехватка умеренности, хотя и имела место в более поздние времена, никогда не прослеживается в максимах и идеях дорийцев, которые в этом, как и в некоторых других случаях, знают, как поставить предел юношеской пылкости и остановить ее пагубные последствия" Это, как мне кажется, язык апологета. Если они обладали таким знанием, то насколько они должны были быть виновны в том, что не сдержали его в вопросе Криптейи?

Однако можно заметить, что, хотя они посвящали гимнастике слишком много своего досуга, вина лежала на них, а не на системе упражнений, которая сама по себе отличалась чрезвычайной красотой и простотой. Ее цель, - а она была прекрасно рассчитана для достижения этой цели, - состояла в том, чтобы создать не атлетов, а солдат, не гигантскую силу, а упругий, ловкий, красивый каркас, приспособленный для всех движений войны. Бокс, соответственно, и панкратион^[884] были изгнаны из их гимназий, что свидетельствует одновременно об их мудрости и вкусе; первое было самым варварским и бесполезным, а второе - самой неприличной частью гимнастики, часто выставляющей антагонистов катающимися и борющимися, как дикари или животные, лишенные разума, на земле.

Поскольку древнее представление о воспитании включало в себя все, что использовалось для развития способностей тела или ума, мы должны рассматривать в этом свете военные игры, свойственные спартанцам и критянам.^[885] Среди первых молодежь, принеся жертву Аресу в храме в Ферапне, переходила на остров, окруженный дамбой и называемый

Платанистас, где, разделившись на отдельные партии, вступала в состязание, для которого не требовалось ничего, кроме оружия, чтобы превратить его в настоящую битву. Эрудированный историк, редко скупающийся на слова, избегает описывать эту интересную сцену; почему? Потому что верное описание ее должно передать поразительное представление о спартанской свирепости. "Они использовали все возможные средства для достижения победы", - говорит он, - "именно так; но что это были за средства?" "Adolescentium greges Lacedæmone vidimus ipsi indibili contentione certantes, pugnis, calcibus, unguibus, morsu denique; quum exanimarentur priusquam se victos faterentur."^[886] Однако эти сражения проходили под наблюдением магистратов, пяти бидизев^[887], назначенных наблюдать за этими упражнениями, а также за теми, которые проводились в других местах. Маленький островок, на котором они сражались, представлял собой место большой природной красоты, окруженное прозрачной водой, к которому со всех сторон подступали густые и высокие рощи платановых деревьев. С двух сторон к острову вел мост, перекинутый через канал, на одном из которых стояла статуя Геракла, а на другом - Ликурга. Это сражение причислялось к учреждениям последнего и, вероятно, находилось под покровительством первого. Предварительная подготовка к битве была следующей. Сначала они принесли жертву в Фиваиде, который стоит за городом, недалеко от Ферапны. Здесь каждый из двух отрядов молодежи принес в жертву Аресу собачьего детеныша, самого храброго из домашних животных, священного, по их мнению, для самого храброго из богов. Ни один другой греческий народ не приносил в жертву собаку, за исключением колофонцев, которые приносили в жертву Гекате черную суку. В обоих городах жертвоприношение совершалось ночью. После церемонии по одному от каждой стороны приводили двух прирученных кабанов, которых заставляли сражаться, и те, чей грубый чемпион оказывался сильнее, предвещали, что их ждет победа в Платанидах. На следующий день, чуть раньше полудня, они вошли по мостам на остров, одна сторона по одному мосту, другая - по другому. Но выбор не оставался за ними, так как был определен предыдущей ночью по жребию. Прибыв на место, они встали лицом друг к другу и начали бой, нанося удары кулаками, пинаясь, прыгая друг на друга, разрывая друг друга зубами и нанося удары по наиболее одобренной кентуккийской моде. Так они боролись, человек с человеком, продвигаясь вперед вместе и сталкивая друг друга в воду.^[888] Из этих слов, а также из свидетельства Цицерона, приведенного выше, ясно, что бой велся не иначе как с помощью оружия, предоставленного природой, хотя Лукиан, неправильно используя глагол ὀπλομάχεiv,^[889] привел бы нас к другому выводу. Но этот вид боя всегда перечисляется среди гимнастических упражнений или состязаний; и какая необходимость была бы прибегать к кулакам, ногам, зубам и ногтям, если бы им было позволено использовать оружие? Утомленные этими бурными упражнениями, они на короткое время предавались отдыху, освежаясь которым, они возобновляли свои упражнения, танцуя в самых замысловатых ритмах под звуки трубы.^[890] Сходными по духу с состязаниями в Платанидах были постоянно повторяющиеся сражения юношей с тремя сотнями последователей Гиппагрета, трех низших магистратов, назначенных эфорами, которые выбирали по сто человек из числа самых здоровых и храбрых молодых людей. Против этой избранной группы все остальные молодые люди города были обязаны по обычаю вести войну; и если бы не то, что их мог разнять любой гражданин, случайно проходивший мимо, то, вероятно, эти жестокие боксерские поединки часто заканчивались бы фатально.

Подобные обычаи преобладали и на Крите, где, как и в большинстве других частей Греции, обучение начиналось в возрасте семи лет, когда мальчикам давали пирог под названием Promachos, поскольку, как предполагалось, в дальнейшем их готовили к бою. До семнадцати

лет их называли апагелами, поскольку до этого времени их не принимали в те Agelæ^[891] или группы, в которых они потом выполняли свои упражнения. Здесь, как и в Спарте, принимались все возможные меры, чтобы искоренить в их характере все зародыши женственности. Они ели любую пищу, которую им давали, сидя на корточках на земле, не имея права присоединяться к старшим за столом, и выходили в любую погоду в одной одежде, как мальчики Спарты во время спячки. Однако молодежь нескольких Агел, вооруженная камнями и железным оружием, марширующая под звуки флейт и нападающая друг на друга, превратила свои упражнения в нечто очень похожее на настоящую войну. Наши игры на дубинах, в одиночные палки и т.д. - развлечения того же рода; и бокс, который сейчас почти уничтожен, может служить классическим прецедентом. Эфорос говорит, что их приучили к труду и оружию, научили презирать жару и холод, грубые дороги и скалы, а также удары, которые они получали в гимназии и в шуточных сражениях. Частью их образования было владение луком, а также вооруженный танец, которому сначала обучали куреты, а потом его называли пиррихийским; так что воинственный дух дышал во всей системе их образования.^[892]

Имея перед собой все эти факты, хотя многие из них он подавил, историк дорийской расы, прямо противореча Платону и Аристотелю, наивно утверждает, что было бы ошибочно заключать, что целью телесных упражнений у дорийцев была война или что в результате они делали молодежь жестокой или свирепой. По его мнению, их целью было добиться чего-то вроде идеальной красоты форм, силы и здоровья, чего они, по его словам, и достигли, будучи около 540 г. до н. э. самыми здоровыми из греков и славясь красивыми мужчинами и женщинами. Но Ксенофонт, которого он цитирует по вопросу о здоровье, не подтверждает свое превосходство: "Было бы нелегко, - говорит он, - найти более здоровых или более активных людей". Опять же, язык Геродота ни в коем случае не подтверждает его слов. Он, правда, утверждает, что спартанец Калликрат был самым красивым мужчиной в войске при Платее, но ничего не говорит о том, что спартанцы красивее других греков, а скорее наоборот. Он был не просто самым красивым человеком среди своих соотечественников, но, что он, очевидно, считал более примечательным, среди всех остальных греков.^[894]

Однако, не закликаясь на подобных моментах, перейдем к рассмотрению интеллектуального развития дорийцев.^[895] То, что искусство письма никогда не процветало в Спарте, признается всеми, хотя мы ни в коем случае не можем сомневаться, что среди них всегда можно было найти множество людей, обладавших этим умением. Так, в старом рассказе о сражении трехсот спартанцев с аргивянами говорится, что Отриад, единственный выживший из группы лаконцев, оставшись последним на поле боя, воздвиг трофей и написал на нем своей кровью Λακεδαιμόνιοι κἀτ' Ἀρῦείων, сразу после чего умер от полученных ран.^[896] В целом, однако, не придавалось большого значения знанию искусства письма, которое, по мнению некоторых авторов, имело сравнительно небольшую ценность там, где народ учили распевать свои законы так же, как и свои песни. Подобные обычаи и правила преобладали на Крите, где, тем не менее, к письму относились более благосклонно.^[897] В дополнение своей юридической поэзии, которая, вероятно, была менее объемной, чем метрическая версия законов в целом, молодежь учили петь гимны в честь богов и восхвалять знаменитых людей.^[898] В музыке им тоже разрешалось достичь определенных успехов, хотя в целом, как нам говорят, они стремились преуспеть скорее в правильности своих манер, чем в объеме своих знаний.

Что касается спартанцев, то вполне вероятно, хотя свидетельства древних писателей достаточно противоречивы, что даже умению читать не придавалось большого значения; ведь если Плутарх^[899] считает, что это искусство входило в число их обычных занятий, то Исократ, серьезный и более компетентный авторитет, решительно придерживается противоположного мнения.^[900]

Илиан,^[901] также, следуя за Плутархом, отмечает, что лакедемоняне были невежественны в умственной культуре (μουσική), подразумевая, очевидно, как уже заметил Перизоний, не "музыку", как перевел бы Кюн, (ибо в ней они были сведущи), а знание поэзии и красноречия.^[902]

То, что спартанцы отличались равнодушием к литературе, хорошо известно. Даже Ксенофонт, их апологет, проводя сравнение между их системой образования и той, что преобладала у других греков, отмечает, что последние отправляли своих мальчиков в школу, чтобы те учились письму, музыке и упражнениям палестры, тогда как первые отдавали их под опеку серьезного человека, который мог наказать их за леность и бездеятельность и привить большую скромность и послушание вместо обычных достижений. Платон также в "Больших Гиппиях", заметив, что их законы были против получения иностранного образования, сразу после этого добавляет, что большинство из них даже не знали арифметики. В другом месте^[904], действительно, философ, по-видимому, владеет другим языком, и Перизоний понимает его буквально. Но читатель, внимательно изучивший этот отрывок, вероятно, согласится со мной, считая его не более чем одним из тех глубоко ироничных штрихов, которыми изобилует Перизон, прежде всего, у писателей. В самом деле, он замечает, что в другом смысле, возможно, было бы очень верно, что ни одна страна не была столь плодотворна на софистов, как Крит и Лакедемон, но что они скрывали свою мудрость и притворялись невежественными, чтобы не показалось, что они превосходят всех своих соотечественников в умности, что в действительности было очень маловероятно. Однако он не менее иронично замечает, что эти грубые и не риторичные народы были самыми философскими и красноречивыми из всех людей, и что многие уже давно поняли, что *лаконизировать*, или изображать спартанца, значит быть скорее философом, чем прилежным учеником гимнастики. Перизоний,^[905] правда, полагает, что все это следует понимать как естественный здравый смысл, применяемый к морали и тем кратким и емким изречениям или *логот*, которые составляли науку лаконики.

Но ведь среди спартанцев, как замечает Цицерон, никогда не было ни одного оратора; да и не могло быть иначе, поскольку все искусства, порождающие и развивающие красноречие, и, что еще важнее, все политические институты, способствующие ему, были неизвестны в их государстве. Более того, они настолько прониклись отвращением к ораторскому искусству, что если кто-либо из граждан Спарты приобретал в заграничном опыте умение искусственно владеть силлогизмом или тропом, он подвергался наказанию,^[906] а риторы изгонялись из города.^[907] Незнание, таким образом, всего того, что ценится учеными народами, было их главной гордостью. Для них были одинаково чужды и возвышенные рассуждения Академии, и острая и неотразимая логика Лицея; однако их дисциплина и привычки юности привили им то, что на современном жаргоне называется своего рода практической "философией". Они постигали великое искусство, по крайней мере, среди них, управлять своими страстями; как рассказывает Максим Тирий^[908] о Агесилае, который, хотя и не получил философского образования, тем не менее не был рабом любви, что, как полагает софист, не могло представлять большой трудности. Однако их нелюбовь к учебе имела свои пределы. Они открыли в своем государстве убежище для тех античных учителей человечества, поэтов,^[909] запрещенных Платоном, и в этом отношении настолько превосходили этого философа в

хорошем вкусе, что в конце концов, подражая великим наставникам Греции, учредили публичные чтения Гомера. И это Максим Тирий приводит в качестве доказательства того, что существовало много хорошо устроенных государств, в которых Гомера не изучали публично, ибо он не мог иметь в виду, что в Спарте он был когда-то совершенно неизвестен.^[910]

В характер греков, в целом, вошел элемент, слабо различимый в моральном составе современных народов, я имею в виду самую изысканную и возвышенную чувствительность, которая делала их до последней степени восприимчивыми и способными к неодолимому влиянию на добро или зло поэзии и музыки. Эта особенность в некоторой степени отличала как дорийскую, так и ионическую расу. Их можно было возбудить, довести до убеждения, с помощью звука. Поэтому музыка, которая у нас, по крайней мере, является простым источником наслаждения, у них была наделена моральным характером и использовалась в воспитании как мощное средство гармонизации, очищения, облагораживания принципов и привязанностей сердца. По этой причине правительство, которое в Греции в действительности было Комитетом общественной безопасности,^[911] следило за музыкой не менее тщательно, чем за нравами народа, на которые оно оказывало сильное влияние. Тем не менее, следует признать, что многие античные авторы мало философствуют, говоря или рассуждая о влиянии музыки. Они часто путают следствия с причинами. Так, в примере сицилийских дорийцев,^[912] чьи нравы, как нам говорят, были испорчены их скрипичными палочками, некоторые авторы, несомненно, приводят в качестве примера, они опускают вопрос о том, не было ли это скорее естественным и необходимым вырождением богатого народа, которое испортило музыку. Это моя интерпретация. Ибо в истории древних сицилийцев я могу найти достаточно причин распушенности и несовершенства нравов, не прибегая к помощи лиры или китары. Но некоторые авторы в этом вопросе легко верят. Они полагают, что строгая домашняя дисциплина Спарты "вряд ли сохранилась ^{бы}" без старомодной музыки.

Как бы мы ни относились к метафизике этого вопроса, несомненно, что в давние времена музыка была всеобщим достижением в большинстве районов Греции; но это было тогда, когда она была не более чем песнопением дикарей, к которому мог присоединиться любой, пусть даже невежественный. . Ровно в той мере, в какой оно превращалось в искусство, уменьшалось число его культиваторов, пока, когда была достигнута высокая степень совершенства, оно не было оставлено почти полностью профессиональным музыкантам. Пифийский оракул повелел афинянам петь хором на улицах, на богослужении в честь Вакха.^[914] В Спарте подобные представления происходили во время гимназических игр, когда хоры обнаженных мужчин и мальчиков с коронами из пальмовых листьев на головах проходили по улицам, распевая песни Талетаса и Алкмены и пеаны Дионисидотоса.^[915] Г-н Мюллер, который любит дополнять или округлять рассказы, которые он находит у древних авторов, говорит, что, *несомненно*, большая часть жителей города принимала участие в этих выставках. Возможно, так оно и было, но у нас нет никаких оснований для такого предположения. Место на агоре, где стояли статуи Аполлона, Артемиды и Лето, называлось *Хорос*,^[916] потому что там эфебы танцевали в хорах в честь Аполлона. В таких случаях на наименее почетные места иногда ставили невоинственных людей,^[917] а холостяков исключали; так что, как хорошо заметил Шнайдер, трусость была менее позорной, чем безбрачие. Но совсем не похоже, что спартанцы сами когда-либо были хорошими музыкантами, хотя они не были неспособны наслаждаться хорошей музыкой;^[918] и поэтому иностранные музыканты, которые стекались туда, находили радушный прием. Развитие воинственной конституции государства отодвинуло в тень благоприятные стороны их дисциплины.^[919]

Аркадийцы также широко использовали музыку в своей системе образования и, хотя в остальном были грубой расой, продолжали заниматься ею до тридцати лет. Только среди них были дети, которых с младенчества приучали петь в определенных тактах гимны и поэмы, в которых они восхваляли богов и героев своей страны. После этого, отмечает Полибий,^[920] они выучили *номы* Тимофея и Филоксена, и каждый год во время Дионисий формировали хоры в театре, где танцевали под звуки флейты. Здесь мальчики состязались с соперниками своего возраста, а юноши - с теми, кто уже достиг расцвета. Всю свою жизнь они посещали эти общественные собрания, где обучали друг друга своими песнями, а не с помощью посторонних актеров. Что касается других отраслей образования, то они не считали зазорным признать себя невеждами; но не уметь петь было бы в Аркадии признаком крайней вульгарности. Они приучили себя ходить с грацией под звуки флейты и, получив такое обучение за счет государства, раз в год отправлялись в театр общественной процессией. Их предки ввели эти обычаи не для того, чтобы получить удовольствие или разбогатеть благодаря своим талантам, а чтобы смягчить суровость характера, которую в противном случае породила бы их холодная и мрачная атмосфера. Ведь характер народов неизменно аналогичен воздуху, которым они дышат, и только географическое положение рас определяет их душевный склад, цвет и конфигурацию их тел.

Помимо того, что уже было сказано об аркадянах, можно добавить, что среди них было принято, чтобы мужчины и женщины объединялись для воспевания определенных од и приносили общие жертвы. Существовали также танцы, в которых участвовала молодежь обоих полов, и их целью было создание и распространение гуманных и мягких манер.

Но такие же привычки не были распространены по всей стране. Кинэты не достигли никакого прогресса в этих гуманных искусствах, и поскольку они жили в самых грубых районах Аркадии и дышали самым грубым воздухом, их свирепость стала легендарной; они пристрастились к раздорам и спорам и превратились в самых свирепых и неукротимых дикарей в Греции. Овладев несколькими городами, они пролили столько крови, что весь народ воспрянул духом и в конце концов объединился, чтобы изгнать их из страны. Даже после их ухода мантинейцы считали необходимым очищать землю жертвоприношениями, изгнаниями и вождением жертв вокруг всей пограничной линии.

В Спарте, как и на Крите, танцы вполне естественно составляли отдельную отрасль образования. В обоих местах исполнение пиррихий, по-видимому, рассматривалось как необходимое достижение, юношей с пятнадцати лет или раньше учили исполнять их на оружии.^[921] Это было или есть - ведь пиррихии до сих пор живы в Греции,

"У вас еще есть пирровы танцы..."

чисто военная выставка. Танцоры, вооруженные копьем и щитом, грациозно и энергично выполняли ряд движений, кружась, продвигаясь вперед, нанося удары или уклоняясь от них, как в настоящем бою.^[922] В других частях Греции, однако, пиррихий быстро выродился, став не более чем дикой пляской вакханок.^[923] Было справедливо замечено, что в Спарте "главной целью "Гимнопедии" было представить гимнастические упражнения и танцы в тесном союзе, и, более того, последние только как достижение и завершение первых." Один из танцев, напоминающий анапале, носил вакхический "характер". Юноши, также искусные в этих упражнениях, танцевали рядами друг за другом под музыку флейт, как военные, так и хоровые танцы, в то же время повторяя в стихах приглашение Афродите и Эросу присоединиться к ним, и увещевание друг другу.^[926]

Из приведенных выше подробностей видно, что целью образования в Спарте было скорее формирование привычек и дисциплинирование ума, чтобы действовать в точном

соответствии с законами, чем развитие в полной мере интеллектуальных способностей отдельных людей. Они хотели объединить всю энергию народа в единую массу, полагая, что, будучи таким образом побуждаемыми в каком-либо направлении, они окажутся непреодолимыми. Частное счастье не принималось в расчет. Все, кажется, было придумано для достижения общенациональных целей, хотя, исходя из известных законов человеческого разума, даже сдерживание и тираническое вмешательство такой системы со временем примирило бы чувства и способствовало бы индивидуальному удовлетворению. Но очень многое из того, что делает жизнь сладкой, было принесено в жертву. Письма и искусства, это подчиненное творение, этот мир внутри мира, который благодеяние Провидения позволило человеку вызвать к существованию, были в Спарте неизвестны. Они почти не испытывали того утонченного наслаждения, которое возникает от умножения почти осознанных плодов души, от посылания крылатых мыслей за границу, чтобы двигать, очаровывать, электризовать миллионы, от обожествления истины и опровержения заблуждений, от восхождения к величайшим высотам смертности и распространения оттуда света и славы, чтобы согревать, освещать и радовать человеческий род вечно. Это величайшее счастье было уготовано афинскому образованию, которое, следовательно, должно во все просвещенные времена нести пальму первенства и полезности.

ГЛАВА IX.

ВЛИЯНИЕ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ НА ОБРАЗОВАНИЕ.

Теперь нам следует покинуть круг занятий, которые, как принято считать, составляют все образование, и рассмотреть влияние, оказываемое другими элементами на умы эллинской молодежи. Даже в наши дни мы разумно и правильно говорим о том опыте, который молодые люди приобретают при первом вступлении в жизнь, в путешествиях и модном обществе, как об особом этапе их образования: именно в этот период они учатся оценивать ценность своих школьных приобретений, выгодно скрывать или демонстрировать их в зависимости от обстоятельств и, возможно, сгибать шею своих высоких теорий и возвышенных умозрений под ярмом мира. Но в Греции это было более очевидно, ибо, хотя молодежь и была избавлена от формальных правил наставников и педагогов, она все же должна была освоить несколько отделов обучения либо своими собственными усилиями, либо под руководством благоразумных друзей: Я имею в виду те бесконечно разнообразные творения искусства и литературы, которые, в зависимости от того, согласуются они с ними или нет, подтверждают или подрывают принципы и дисциплину школ.

Поэтому, чтобы понять природу и масштабы той власти, которую государство и его институты прямо или косвенно оказывали на умы граждан, необходимо вкратце ознакомиться с характером пластических и миметических искусств, которые находили поддержку в греческих содружествах, а затем на мгновение рассмотреть хранилища мыслей, чувств и страстей, благочестия и добродетели, которые литература и религия Греции открывали для созерцания тех, кто вступал на жизненный путь. Мы начнем с искусства, так как именно оно насаждало принцип прекрасного, перейдем к литературе, учителю мудрости и патриотизма, и закончим религией, которая открывала перед их взором пусть туманную, но перспективу небес и направляла их стопы в будущее.

Несомненно, что для большинства людей огромное превосходство греков в искусстве, которое, как универсальный язык, не нуждается в переводе, более ощутимо и очевидно, чем их превосходство в литературе; хотя Демосфен в действительности настолько же выше любого оратора, Фукидид - любого историка, Платон - любого философа, Гомер - любого эпического поэта, за исключением, пожалуй, Мильтона, который писал с тех пор, насколько

Фидий, или Поликлет, или Пракситель выше любого северного скульптора. Мы не можем объяснить это так же, как не можем объяснить, почему Шекспир был выше Форда или Массинджера. Природа вложила в их души больше гениальности. Они любили или, скорее, поклонялись прекрасному. Оно дышало в них и вокруг них: их умы были беременны им, и, когда они рождали, красота была их потомством. Так, Аристофан^[927] намекает, что даже боги заимствовали многое из своего величия и великолепия у человеческого разума, когда говорит, что рожденная на небесах Мира получила свою прелесть от некоторого родства с Фидием.

Религию, в каком-то смысле, можно назвать родителем изящных искусств; но, возможно, было бы более философским рассматривать религию и искусства как сестер-близнецов, обе возникли из той тоски по идеалу, которая была наиболее заметной чертой эллинского ума. Мы должны заглянуть очень далеко в прошлое, чтобы обнаружить их сияющими красотой в колыбели; но когда они вышли оттуда, то пролили свет на землю, свет, полученный с небес. Ибо человек не порождает свои представления о прекрасном, которые, как образы с небес, падают на зрачок его разума; он отдает лишь то, что получает. Представление о красоте - это вдохновение, то, что не приходит, когда к нему обращаются; или, скорее, сияя на всех, оно теряется в тусклом и непрозрачном воображении и отражается только от светлого и яркого.

Человеку всегда нужно общение, и творческие люди и фантазеры создают себе спутников своих идей и облачают их в материальные формы, чтобы сделать иллюзию более полной. Между душой и ее потомством существует страстное общение. Мы не любим ничего лучше, чем то, что произошло от нас самих, и в этом мы действительно являемся образом Бога, Который увидел все, что создал, и вот, оно хорошо. И возлюбил он свое творение; и от него мы, как его дети, наследуем любовь, которую питаем к своим творениям. Отсюда энтузиазм к искусству, отсюда сила и вдохновение поэзии. Это не земные вещи. Они - семена бессмертия, преждевременно созревающие здесь, внизу; и поэтому мы должны любить их. Они - залог, доказательство того, что мы от Бога; что мы рождены, чтобы осуществлять неодолимую власть над стихиями; что наши престолы воздвигнуты в другом месте; что в страсти ко всему духовному мы инстинктивно проявляем неопровержимые признаки того, что мы духи и только в духовном мире можем найти свой дом.

Этой работе не принадлежит попытка изложить историю греческого искусства, которая в определенном смысле уже написана. Моя цель, если я смогу ее достичь, - описать дух, которым это искусство было создано и поддерживалось, и это я должен сделать с триумфом, если бы любовь была синонимом силы; ибо никогда, с тех пор как сказочный художник завис, очарованный мрамором, который он создал, воображение любого человека не было более искренним к духу, который управлял греческим искусством, не только пластическим, но и всеми его формами, от эпоса в поэзии и скульптуре до перстня и застольной песни. Но сама вещь является достаточным извинением для энтузиазма. Здесь, как нигде, мы обнаруживаем кульминационную точку человеческого интеллекта и человеческого гения; здесь

"Видение и божественная способность"

встречают нас на каждом шагу. Даже фрагменты ее литературы и искусства собираются и хранятся во всех цивилизованных странах, как будто судьба нашей расы мистически связана с ними. И так оно и есть: ведь когда мы перестанем любить прекрасное, которое является самым совершенным из известных нам воплощений, наша собственная гонка славы и величия будет исчерпана: мы окажемся на грани, а может быть, и в пределах варварства.

Сократ говорил, что все, что мы знаем, мы можем объяснить; но не всегда так обстоит дело с тем, что мы чувствуем. В идеале красоты, который составлял животворящий принцип греческого искусства, есть некая тонкая и беглая деликатность, некое безымянное изящество, некая изменчивая и мимолетная сущность, которые не поддаются определению и, отвергая помощь языка, упорно продолжают представлять перед разумом обнаженными. И только разум, и, более того, только вдохновенный разум, может их разглядеть.

Именно в попытке сковать этот дух и заключить его в прочные формы заключалась вся поэзия и искусство Греции. Они видели внутри себя мир прекрасного, живые формы, которые стучались в золотую дверь фантазии и требовали, чтобы их выпустили из духовной в материальную вселенную. Все их занятия сводились к тому, как одеть этих небесных обитателей в подходящие для выхода за границу одеяния; и их жизнь часто проходила в муках созданий, исполненных бессмертной красоты. Общение с умами такого рода - привилегия для всего мира. Приближение к ним облагораживает. Их энергия, их живительная сила продолжает постоянно действовать, и если высокое искусство будет когда-нибудь процветать и вызывать не восхищение, а любовь в Англии, то это может произойти только благодаря зажиганию здесь лампы, вывезенной из Греции, но по сути греческой, то есть по сути прекрасной.

Доказательством того, что религия вышла вместе с искусством из одной утробы в Греции и не была его родителем, служат все остальные страны. В других странах есть религия, но нигде нет искусства, подобного греческому. Но религия, тем не менее, имела большое отношение к формам, в которых развивался творческий потенциал, как это неизменно происходит со всем великим и прекрасным в человеке. У них возникло убеждение, что обитатели Олимпа могут быть представлены материальными формами, а поскольку их собственное благоговение перед изображенным божеством возрастало пропорционально красоте или величию его образа, то естественным был вывод, что и само божество будет радоваться тому же правилу, так что их набожность была их первым и самым мощным стимулом к совершенству. Они надеялись зарекомендовать себя перед богами, как и перед своими соотечественниками, величием своего мастерства; и почитание извне, и благочестие изнутри объединяли их в побуждении к действию. А это, как у поэта, так и у художника, разжигало желание преуспеть.

В истории искусства, как уже отмечалось,^[928] три периода: 1-й - период поиска необходимого; 2-й - период изучения прекрасного; 3-й - период излишества и экстравагантности. Но в некоторых странах люди, похоже, переходят от первого к третьему, не проходя через второй. Так, в Египте, Персии, Этрурии, в Германии, Голландии, Франции, Англии^[929] дикое, гротескное, ужасное было целью, редко прекрасное. Даже в Италии, где в новейшие времена искусство пустило самые прочные корни и пышно расцвело, цель, которую стремились достичь, лежала на более низком уровне. У северных народов духом искусства является гротеск, замаскированный или видоизмененный; у итальянцев - сладострастие, у греков - прекрасное. Поэтому ни одна греческая статуя периода расцвета искусства не является непристойной.^[930] Обнаженной она может быть, но, как и нагота младенчества, она целомудренна, как материнская любовь. Наши мысли мгновенно уносятся им в область поэзии; мягкое влияние идеала нисходит, как роса, на нашу фантазию; мы возносимся над областью страстей на высоту, где все солнечно, спокойно и чисто. Прекрасное целомудренно, как сосулька, но тепло, как любовь. Она дышит в девственницах Рафаэля, которых мы считаем некой "яркой особой звездой", тем, что вдохновляет на святую привязанность, на любовь, не схожую с земной. И все же эта красота отдалается от нас не своей суровостью: нет! но своей напряженной невинностью, своей незапятнанной

чистотой, своим невыразимым сосредоточением и смешением материнства и девичества. Именно эту красоту стремился выразить Мильтон в своем "Комусе", когда изображал целомудрие как своего стража. И именно этим духом дышит греческое искусство. В Артемиде, в Афине, да даже в Афродите, Леде или оргиастической вакханке, всепоглощающее чувство красоты, после первого трепета ощущений, устремляет воображение далеко за пределы всех соображений пола или страсти. Корень всех удовольствий, которые мы испытываем, кажется, скрыт под грузом трех тысяч лет, и не потому, что вещи старые, а потому, что они являются материальными представителями того периода, когда нога прекрасного покоилась на земле.

Несомненно, мы приходим сюда подготовленными к тому, чтобы смотреть на них глазами, окрашенными красотами греческой литературы. Возможно, именно под влиянием гомеровских стихов наши глаза увлажняются от восторга при виде Афродиты, мы созерцаем божество в Зевсе или Аполлоне; но это лишь доказывает, что фрагменты эллинской цивилизации проливают свет друг на друга и являются частями одного великого целого. Возможно, ни один человек никогда не наслаждался скульптурой Греции так, как должен был бы, если бы не был знаком с ее поэзией - правой рукой ее искусства. В ней мы находим первые семена и ростки тех идей, которые впоследствии были пересажены и принесли плоды на другом поле. Поэтому, видя только скульптуру, мы узнаем лишь половину предмета. Нам неизвестно, выполнил ли художник условия, в которые он вступил, взявшись облечь в мрамор мысли, уже облеченные в формы языка. Отсюда и малая симпатия между эллинским искусством и людьми современных наций. Фигуры, которые они видят, для них немые. Для грека, напротив, или для человека с душой грека, вокруг них сгущаются тысячи приятных воспоминаний, тысячи легенд, тысячи тусклых, но заветных ассоциаций. Каждый раз, когда они мелькают перед ним, он заново проживает свою юность. В его воображении проносятся: ягодные уголки, росистые дорожки, тусклые религиозные леса, галечный или омываемый волнами берег, где поэзия Греции впервые открыла ему глаза в детстве. Он начинает видеть перед собой гамадриаду, или фавна, или горную нимфу, только что оторвавшихся от жизни; с ним искусство говорит не просто на понятном, но на страстном языке. Он постигает все тайны, которые она открывает, и любит ее за то, что в чужой стране они могут разговаривать друг с другом, говорить о прошлом и будущем.

Вряд ли можно считать философией то, что поэзия, скульптура и живопись являются порождением удовольствия, хотя удовольствие в каком-то смысле так же необходимо человеку, как и пища. Человек обладает творческими и подражательными способностями, и на определенных этапах развития общества он должен их использовать. Как только его чисто животные потребности удовлетворены, он начинает чувствовать, что у него есть и другие, которые не менее настоятельно требуют своего удовлетворения. Во-первых, он желает облечь в материальные формы то, чему поклоняется, и поэтому первенцы искусства - боги. В самом начале (и это сильный аргумент против того, что они заимствовали свои искусства с Востока)^[931] греки довольствовались установкой грубых камней, как символов, а не изображений своих божеств; затем следовала голова на грубом столбе; затем признаки пола; затем круглые бедра начинали выбухать из камня; к ним присоединялись ноги и ступни; и, наконец, руки и кисти завершали фигуру. Предполагается, что Дейдалос, мифологический персонаж, был первым, кто довел искусство до такого совершенства. Его фигуры были сделаны из дерева и уже выполнены с большим мастерством, хотя во времена Сократа они были бы презираемы.^[932]

В течение нескольких веков, возможно, преобладала жесткая, единодушная манера, не похожая на египетскую; но импульс, однажды данный, продолжал набирать силу. Одно

улучшение незаметно следовало за другим. Художники вместе со своим опытом приобретали профессиональное образование, результаты которого вскоре стали заметны в их произведениях. Появились движение и разнообразие позиций. Но, несмотря на расширение знаний об искусстве и установление строгих правил, в стиле по-прежнему оставалась жесткая, квадратная массивность, напоминающая то, что мы находим в современной скульптуре, усовершенствованной Микелем Анджело. И эта манера стала типом эгинетской школы, которая выражала характер дорического ума, мощного, но грубого, гармоничного, но тяжелого, лишенного изящества, элегантности и нацеленного скорее на эффект, чем на красоту.^[933]

Многочисленные причины, однако, совпали в созревании принципа искусства в Греции, - климат, форма правления, счастливый вкус народа, и, наконец, высокое уважение, которое там оказывали художникам. Не является парадоксальным и утверждение, что моральные причины мощно сочетались с физическими, порождая ту сияющую красоту лица, которая отличала нацию. Сознание свободы и независимости порождает удовлетворение в уме; спокойствие, возникшее таким образом, передается чертам лица; отсюда проистекают гармония и достоинство облика и мимики; таковы многие элементы красоты, и подобные чувства, которым долго потакают, будут действовать на лик мощно, и, подкрепленные успокаивающими влияниями внешней природы, закончатся созданием симметрии и пропорций, которые, в сочетании с интеллектом, и есть красота. Художники в такой стране, помимо того, что они сами невольно должны были проникнуться к ней благоговением, вскоре обнаружили бы, как благоговевут перед красотой и как ценят точные ее изображения.

О том, как высоко ценилась красота, есть бесчисленные свидетельства в греческой литературе. В Эгионе в Ахайе жрец Зевса был избран за великолепие своих личных чар, для определения которых был учрежден своего рода конкурс. Этот пост он занимал до тех пор, пока у него не начала появляться борода, тогда честь переходила к юноше, который, по общему мнению, превосходил^[934] в совершенстве своей формы. Так же и в Танагре юноша, выбранный для обнесения барашка вокруг стен в честь Гермеса, должен был быть первым по красоте в городе.^[935] О непроизвольной силе красоты история зафиксировала множество примеров. Фрине, обвиненная в нечестии и находившаяся под угрозой осуждения, добилась оправдания благодаря твердости своего защитника, который обнажил ее грудь перед судьями. Другой пример, как говорят, подала Коринна, единственная поэтесса Танагры, которая, соперничая с Пиндаром за приз в стихах, одержала победу скорее благодаря своей красоте (она была прекраснейшей женщиной своего времени) и сладости эолийского диалекта, на котором она писала, чем величию своего гения.^[936]

В другом случае героические почести воздавались человеку после смерти за красоту его лица.^[937] Это произошло в Эгестуме на Сицилии, где Филиппос, уроженец Кротоны, получил это отличие, которое, по словам Геродота, никогда не выпадало на долю другого человека.^[938]

Именно своим художникам Греция делегировала, по крайней мере в некоторых случаях, привилегию принимать решения по поводу соперничающих притязаний прекрасных и красивых. Им разрешалось выбирать из прекраснейших женщин земли модели для своих женских божеств, а в иные времена их любовницы становились представительницами богинь. Они старались, наполняя свои апартаменты прекрасными статуями, внушить воображению беременных женщин совершенные формы богов и героев, таких как Нирей, Нарцисс, Гиацинт, Кастор и Полидевк, Вакх и Аполлон.^[939] Так было в Спарте. В других частях Пелопоннеса проводились своеобразные олимпийские состязания на приз красоты, учрежденные, как говорят, Кипселосом, древним царем Аркадии. Основав город на равнине

на берегу Алфея, в котором он поселил колонию паррасиев, он выстроил храм и алтарь и учредил праздник в честь элевсинской Деметры, во время которого окрестные женщины оспаривали друг у друга приз и получили из-за какого-то обстоятельства, связанного с конкурсом, название Хрисофоры. Первой победительницей стала Иродикея, жена основателя Кипселоса. Это учреждение процветало более четырнадцатисот лет, возникнув еще во времена Гераклидов и продолжая существовать в эпоху Афиней.^[940]

Подобная практика преобладала на островах Тенедос и Лесбос, где под покровом религии также скрывались излияния тщеславия. Выставка проходила в храме Геры, которой, как богине брака, красота должна была быть дорога. Приапос, однако, в некоторых местах считался божеством, присуждавшим приз за красоту в Каллистее, и поэтому Никоноя, возможно, вакханка, посвятила ему свою оленью шкуру и золотой сосуд.^[941] Но дамы не были одиноки в этих проявлениях. Среди элейцев, , которые были о себе столь же благоприятного мнения, как Оливер Голдсмит, происходило подобное шоу, и претенденты-мужчины проходили такой же тщательный отбор, как если бы они собирались получить академические почести за свои фигуры. И почести действительно были получены. Им вручали полный комплект доспехов, который победитель с необычайной пышностью и ликованием освящал в храме Афины, куда его вели, украсив гирляндами, друзья-триумфаторы. Согласно Мирсилосу, его также украшали миртовой короной.^[942]

В некоторых местах, не названных историками, было учреждено состязание, которое, хотя и не имеет отношения к искусствам, мы попросим у читателя разрешения представить здесь из-за его необычного характера. Это было состязание в благоразумии и хорошем ведении домашнего хозяйства, в котором некоторые варварские народы следовали примеру. И, чтобы показать, что характер и умственные качества правильно ценились греками, Теофраст^[943] добавляет, что именно они делают красоту прекрасной, и что без них она склонна вырождаться в распутство. Винкельман, обративший внимание на некоторые из этих фактов, впадает в заблуждение. Он говорит об Аполлоне Филейском^[944] , на празднике которого приз получал юноша, преуспевший в поцелуях. Состязание проходило под наблюдением судьи, как он полагает, в Мегаре. Мурсий, хотя и отмечает мегарейский праздник под именем Диоклея, упускает из виду писателя, который дает о нем наиболее полное представление, - я имею в виду схолиаста Феокрита, который отмечает, что Диоклей был афинским изгнанником, укрывшимся в Мегаре. В битве, в которой он участвовал, он сражался бок о бок с другом, чью жизнь он спас ценой своей собственной. Его похоронили мегарейцы, которые учредили в его честь ежегодный праздник, на котором юношу, превзошедшего своих товарищей, короновали и с триумфом вели в объятия матери.^[945]

Упражнения, дисциплина и моральные представления греков, несомненно, оказали большое влияние на их формы; ведь в период упадка их государств, когда деспотизм сменился свободой, а порок - добродетелью, красота стала чрезвычайно редкой. Котта в "De Naturâ Deorum" отмечает, что он нашел мало красивых юношей в Афинах, где в эпоху Демосфена процветали самые красивые в Греции;^[946] , а Дион Хризостом отмечает, что в его время почти не было тех, кого можно было бы так считать.^[947]

Если мы перейдем к другим причинам, объясняющим прогресс искусств в Греции, то обнаружим, что главной из них было высокое уважение и почитание^[948] , в котором находились художники. Богатство, несомненно, обеспечивало кредит, как и везде, но не исключая других рекомендаций, как в современной Европе или, по крайней мере, в Англии. Однако Винкельман едва ли понимает иронию Сократа, когда полагает, что тот всерьез хотел сказать, что только художники мудры; хотя, поскольку мудрец сам был скульптором, у него были основания думать о них хорошо. Тем не менее, совершенно верно, что люди этой

профессии могут стать законодателями или полководцами и даже увидеть статую, воздвигнутую им рядом с Мильтиадом и Фемистоклом или среди самих богов.^[949] Историк искусства с гордостью отмечает, что Ксенофилу и Стратону было разрешено в Аргосе поставить свои собственные статуи, даже в сидячей позе, рядом с Асклепием и Гигеей.^[950] Хейрисофос, изваявший Аполлона в Тегее, посвятил в том же феине свою статую из мрамора, которая была установлена рядом с его великой работой.^[951] Фигура Алкамена занимала место среди баци-риллий на храме Деметры в Элевсисе. Паррасий и Силанион разделяли почтение к своему изображению Тесея, а Фидий прикрепил его имя к своему Зевсу Олимпийскому - возможно, ближайшему приближению искусства к совершенству.^[952]

Если удовлетворение от созерцания целого народа, можно сказать, целого мира, пораженного восторгом и удивлением от его исполнения, может отплатить художнику за годы труда и учебы, то Фидий получил свою награду. И это восхищение не ограничивалось узким кругом его жизни; через шестьсот лет после его смерти паломники со всех концов цивилизованного мира стекались в Олимпию^[953], чтобы посмотреть на его бесподобное исполнение; ведь умереть, не получив этого удовольствия, считалось несчастьем. Но ни похвалы, ни поощрения, ни почестей, ни выгоды не достаточно, чтобы довести искусство до совершенства. Для этого народ, к которому обращаются искусства, должен понимать их язык. Ведь если народ не в состоянии определить, когда художник преуспел, а когда потерпел неудачу, можно быть уверенным, что он вообще редко будет преуспевать. Люди быстро понимают бесполезность создания того, что никто из окружающих не может оценить. Даже в вопросах добродетели и порока мало кто сможет подняться очень высоко в странах, где в целом преобладает низкий уровень морали; а в искусстве никто не станет посвящать себя созданию форм, которые, как он знает, будут немы для глаз публики.

В Греции существовали все условия, необходимые для созревания гения художника. Он знал, что его репутация и состояние будут зависеть от каприза какого-либо отдельного человека или группы людей. Он видел среди своих соотечественников знания, вкус и энтузиазм, которых требуют справедливые решения в искусстве, и бесстрашно трудился ради них, не сомневаясь, что получит награду, которой заслуживает его гений. В Коринфе и Дельфах, как и у нас, проводились публичные выставки;^[954] но, вместо того чтобы превращать их в грязную торговлю, весь мир приглашался посмотреть на их выступления, а судьи назначались для решения вопроса о достоинствах экспонентов. Несомненно, были случаи, когда артисты показывали свои представления за деньги: по крайней мере, память об одном примере дошла до нас. Зевксис из Гераклеи, закончив картину Елены, открыл выставку и установил определенную цену за вход, благодаря чему выручил большую сумму денег; но в знак неодобрения такого поведения современники присвоили его картине имя куртизанки.^[955]

На публичных выставках они, похоже, смотрели исключительно на заслуги и не позволяли ослеплять себя великими именами; ведь когда Панэнос, брат Фидия, вошел в списки, ни его собственная репутация, ни репутация прославленного скульптора не смогли добиться для него предпочтения перед Тимагором, которому было позволено превзойти его. Подобный дух царил и среди судей Олимпии, куда художники иногда приносили свои картины во время игр, чтобы порадовать собравшиеся народы и собрать урожай радости и славы за один день. Так, когда Итион предстал со своим "Браком Александра и Роксаны" перед элланодиком Проксенидом,^[956] он не только получил заслугу, причитающуюся его гению, но и этот судья, чтобы выразить свое восхищение, отдал ему руку своей дочери. А Лукиан, видевший картину в Италии, оставил ее описание, которое оправдывает энтузиазм Проксенида.

В одной из предыдущих глав я уже в какой-то мере объяснял распространение правильного вкуса среди большей части народа. Он стал для них неотъемлемым предметом изучения. Искусство дизайна культивировалось философом, политиком, короче говоря, каждым, кто претендовал на звание джентльмена.^[957] Но и джентльмены пользовались этими преимуществами, и известны случаи, когда они достигали профессионального мастерства и известности; например, Тимарета,^[958] дочь младшего Майкона, афинянина, и Елены, александрийской гречанки, которая написала картину "Битва при Иссосе", впоследствии освященную в храме Мира.^[959] Такова была природа вещей, что художники, живущие в такой нравственной атмосфере, должны были в значительной степени приобщаться к национальному величию чувств и заботиться скорее об увековечении своего имени, чем о каких-либо подлых соображениях выгоды, над которыми они возвышались благодаря форме, которую принимала национальная благодарность. Ибо мы можем быть уверены, что то, что рассказывается о великом историке Галикарнаса, в определенной степени относилось и к великим художникам. Нам рассказывают, что люди указывали на него, когда он проходил через общественные собрания, восклицая: "Это он! Это тот человек, который прославил наши победы над варварами!"

Винкельман, понимавший человеческую природу не меньше, чем искусство, перечисляет аналогичные факты среди причин расцвета искусства в Греции;^[960] и хотя иногда ошибается, как и следовало ожидать в столь большом труде, его рассуждения в целом и его иллюстрации заслуживают того, чтобы каждый любитель искусства был знаком с его трудами.

Этот выдающийся историк, однако, недостаточно осторожен в своих выражениях, когда утверждает, что произведения искусства посвящались исключительно божеству или общественной пользе; ведь, хотя они были направлены в основном на эти цели, многие люди имели коллекции в своих домах,^[961] которые отнюдь не были скромными жилищами, как он предполагает. Однако публика была великим покровителем искусства и, объединяя в себе природные способности, приобретенные знания и врожденную склонность к величию, сообщала тем, кто трудился, чтобы удовлетворить ее, соответствующий вкус и возвышенность. Во многих случаях все население города отождествляло свою собственную славу со славой какой-нибудь знаменитой картины или статуи в его стенах. Олимпия, хотя и населенная произведениями искусства высшего совершенства, все же смотрела на фидийского Зевса^[962] как на вершину своей славы; и даже в Афинах, где, вероятно, было собрано больше предметов искусства, чем в любом другом городе мира, колоссальная статуя Афины была главным украшением Акрополя. В одном отношении мы начали подражать грекам, которые часто воздвигали по общей подписке статую божества или какого-нибудь Атлета, победившего в священных играх. Некоторые небольшие города запомнились исключительно благодаря произведениям искусства, которые в них находились: например, Алифера, которая была полностью обязана своей известностью статуе Афины из бронзы, работы Гекатодора и Сострата.^[963]

Винкельман предполагает, что и скульптура, и живопись достигли определенной степени совершенства раньше, чем архитектура, и, принимая этот факт, философски обосновывает его. Но сама его теория в этом вопросе представляется ошибочной. По крайней мере, в Египте, где разум обязательно должен был руководствоваться теми же законами, что и в Греции, можно с уверенностью сказать, что в то время как скульптура и живопись так и не вырвались из пелены младенчества, архитектура достигла очень высокой степени совершенства. Сила необходимости, которая приводит к созданию архитектуры, сообщает гораздо более длительный импульс, чем инстинкт подражания. Люди должны повсюду

строить, чтобы защитить себя от ярости стихий; и первый шаг, сделанный таким образом, и последующий досуг, то чувство пропорции, симметрии и расположения, которое является почти инстинктом, вскоре приведут к созерцанию идеала и созданию архитектуры как искусства. Скульптура возникла позже, а живопись еще позже; но, как дети одной семьи, - из которых одни старше, другие младше, - все искусства расцветают почти вместе и почти вместе приходят в упадок. Тем не менее мы можем разделить этот период на более мелкие циклы, и тогда мы обнаружим, что архитектура и скульптура достигли своего апогея вместе, как близнецы, а живопись, как младшая сестра, достигла своей величайшей красоты, когда первые два уже несколько отступили от своего совершенства. Так, Зевс Фидия и Гера Поликлета, две самые знаменитые статуи античности, уже существовали, в то время как эллинская живопись не обладала знанием киаро-скуро и была начисто лишена гармонии.

Аполлдор и после него Зевксис, учитель и ученик,^[964] процветавший около девяностой Олимпиады, были первыми, кто проявил себя в знании света и тени.^[965] Но, достигнув этого уровня, красота искусства стала ощущаться, в различных храмах были открыты картинные галереи,^[966] и, когда новый мир форм и красок раскрылся перед воображением, разносторонние греки перенесли на нее большую долю восхищения, до сих пор монополизированного скульптурой. Живопись, по сути, говорит на более популярном языке. Она рассказывает историю, в то время как скульптура может лишь воплотить мысль или зафиксировать происшествие. Ее аксессуары реализуют события более полно. В скульптуре Аполлон согнул свой лук и выпустил стрелу - остальную часть действия воображение должно дорисовать самостоятельно. Живопись дает нам всю сцену, наполненную жизнью, - корчащегося дракона, скалы, лес, горы, небо, со всеми иллюзиями, разложенными перед глазами многоцветным светом. Скульптура дает ядро славных ассоциаций, но именно мы должны объединить их в возвышенную красоту. Она требует от своих поклонников больше знаний, больше фантазии, больше, короче говоря, всех элементов гения, чем живопись. Поэтому у последней всегда будет больше поклонников, и справедливо. Для большинства людей предпочтение скульптуры было бы простым жеманством. Она не может одинаково нравиться многим.

Однако по мере того, как публика становилась более просвещенной и, чтобы оправдать свое восхищение и энтузиазм, предъявляла художникам более жесткие условия, последние расширяли круг своих занятий, который постепенно расширялся, пока не охватил определенную часть метафизики, науки о форме и цветах, а также искусство группировки и расположения, которое представляет собой разновидность повествования в живописи. Полное изложение их исследований стало бы лучшим пособием, которое можно было бы вложить в руки современных художников, и в то же время дало бы лучшее объяснение их кажущегося необъяснимым превосходства. Но здесь такое изложение было бы неуместно. Моя цель - просто намекнуть на то, что можно сделать, а не пытаться сделать это самому; и показать, что если греческая нация и поощряла своих художников, то только потому, что эти художники шли навстречу своим соотечественникам более чем наполовину и старались заслужить поощрение.

В Греции существовала философия искусства, то есть совершенная теория того, что является его объектом, и всех средств, с помощью которых этот объект может быть достигнут. Итак, цель искусства - это наслаждение, наслаждение, которое возвышает и облагораживает разум, а такое наслаждение можно получить только через созерцание прекрасного. Убедившись в этом, греческий художник направил свои исследования на открытие элементов прекрасного, не такого, каким оно существует в первоначальных типах

интеллектуального мира (которые он оставил философу), а такого, каким мы находим его в материальных развитиях идеального, и прежде всего в формах нашего собственного вида.

Их исследования, проводимые в философском духе, постепенно привели их к выводу, что совершенная красота, как и совершенное счастье, заключается в абсолютном спокойствии и отдыхе. Так, небеса прекрасны, когда в полдень летнего дня их голубые глубины не омрачены ни единым облачком, а среди деревьев не слышно ни единого вздоха. Так, океан прекрасен, когда на нем царит совершеннейший штиль, сглаживающий каждую рябь и превращающий его в зеркало, отражающее лазурную чистоту неба. Именно это имеют в виду поэты, когда изображают Афродиту, саму душу красоты и любви, восстающую из ровной и сверкающей поверхности такого моря. В таком же состоянии прекрасен и человеческий лик, когда каждая его черта в совершенном равновесии дышит спокойствием, радостью и безмятежностью и силой симпатии превращает всех, кто к нему приближается, в многочисленные зеркала, отражающие его абсолютное блаженство. В этом и заключается секрет той красоты, которая существует в греческой скульптуре.

В греческой философии было принято считать, что великодушный человек редко, при любых обстоятельствах, испытывает беспокойство. Поэтому в действии он должен демонстрировать такое же спокойное выражение лица, как и в состоянии покоя. Так, Сократ в Потидее, в Делионе, в тюрьме Одиннадцати, собирающийся выпить болиголов, внешне был бы совершенно одинаков. И это самообладание, наблюдаемое у одного великого человека, искусство приписывает в целом богам и героям, которые, в какие бы действия они ни были вовлечены, все равно сохраняли самообладание и спокойствие. Поэтому даже батальные пьесы греков прекрасны. Люди сражаются и умирают, но под руководством долга. Мы не видим ни демонических страстей, ни животной свирепости, ни покорности боли, которые превращают столь многие современные картины в изображения скотобоен. Мы чувствуем, что актеры воспринимали смерть лишь как провозвестницу нетленной славы, - что воображение окрасило все вокруг в радужные тона, - что, предвкушая, они наслаждались панегириком, который будет произнесен над ними во всеуслышание всеми, кого они любили, - памятником, который воздвигнут над их прахом, - бессмертной наградой, которая будет дарована их патриотизму и доблести на исторической странице. Для людей, так чувствующих и так думающих, где было жало смерти? Они могли сжать вечность в одно мгновение, охватить все будущее время и пережить его благодаря непреодолимой силе воображения.

Чтобы суметь изобразить такие формы и черты, необходимо было одновременно изучить концепции поэтов и прогрессивное развитие человеческой фигуры от младенчества до старости. В результате этого изучения был накоплен опыт, плод бесчисленных сравнений, из которого возникло то постепенно исправленное, улучшенное и возвышенное представление о человеческой фигуре, которое называют *идеалом*. Отрывочные сведения, вырванные из огромного массива художественных исследований, попали в обычные книги и тем самым приобрели оттенок вульгарности. Но это не помешает философу или художнику включить их в свою схему исследования и превратить в полезные зародыши. В этой части своего развития религия пришла на помощь художнику. Несколько богинь представляли каждый свой стиль женщин, которые могли считаться оригинальным типом. Афродита, например, представляла страстную и нежную,^[967] естественно паразиты мужчину и слишком часто хрупкую; Гера, целомудренная матрона, степенная, властная, энергичная, но склонная к насилию и своеволию; Артемида, сдержанная, скромная, уединенная, как монахиня, была прототипом незапятнанного девичества, почитаемого за свою чистоту; Афина, совершенная как по уму, так и по форме, соединяющая в себе прелесть Афродиты, величие Геры,

деликатность и целомудрие Артемиды с мудростью Зевса, представляла собой идеал женственности, более возвышенный, чем Ева до грехопадения, и такой, каким он может быть только в воображении.

В поисках женских форм для воплощения этих идеальных оригиналов художники объездили всю Грецию, собирая по пути те фрагменты красоты, которые, соединившись, должны были приблизиться к совершенству. Они напоминали Исиду в поисках конечностей Осириса. Иногда, как в Кротоне и Агригентуме, родители не гнушались выставлять своих дочерей обнаженными перед их глазами, чтобы из них можно было слепить ту прелесть, которая должна была представлять их чувствам божественное существо, которому они поклонялись. Но такой избыток суеверия был редкостью. Как правило, хетайры, их любовницы и спутницы служили образцами, по которым лепили нежных божеств Греции:

"Если Квинсберри раздеть, то это не повод,

'Tis from a handmaid we must take a Helen.'

Так Фрина, идеализированная искусством, стала Афродитой, Анадиоменой в руках Апеллеса или Афродитой Книдосской в руках Праксителя.

Детство получило своего представителя в лице бога любви Эроса. Таким образом, с младенчества и до старости человеческая форма во всех ее проявлениях становилась объектом изучения греческого художника, не для подневольного копирования, а для идеализации, облечения в поэзию, избавления от всего низменного, грубого, недуховного и бальзамирования в вечной красоте. Их успех подтверждается тем, что, даже имея перед собой их произведения, современные художники никогда не могли удовлетворительно подражать их совершенству. Винкельман^[968] приводит несколько примеров, которые не попали в поле моего зрения. "Хотя лучшие современные художники, - говорит он, - старались в точности подражать знаменитой Медузе из кабинета Строцци в Риме, которая, тем не менее, не является ликом высочайшей красоты, опытный антиквар всегда сможет отличить оригинал от копии". То же самое, по его словам, верно и в отношении Палласа Аспасиоса, гравированного Наттером и другими. Но это вполне объяснимо. Оригинальный художник, работающий по своим собственным идеям и досконально понимающий свой объект, придавал своим творениям гибкость, изящество, свободу, недоступные тому, чей тип существовал вне его собственного разума. Ведь даже в литературе так: язык, податливый, экспансивный, послушный контролю в руках писателя-оригинала, который вдыхает в него свои идеи и требует от него только их драпировки, превращается в тугую неуправляемую массу у подражателя, как труп, приведенный в движение гальванизмом.

Быть знакомым с искусствами Греции - значит жить среди расы богов, наделенных вечной молодостью. В богинях маленькая шея, неразвитая грудь передают идею девственной невинности. Сосок, уменьшающийся в размерах, скрывается от глаз. Над лицом играет неопишное сияние; форма, задрапированная или незадрапированная, наводит на мысль о божественном неомраченном существовании, о поэзии жизни и любви - о чем мечтает юность в своих самых чистых стремлениях. В отношении богов наши чувства несколько иные. Зевс, облеченный величием Олимposa, в полноте мужественности, могущественный, прекрасный, возвышенный, пробуждает в нас смесь благоговения и любви, как к отцу. Аполлон возвышается над нами, как старший брат. Аид, Посейдон, Арес - это силы, которые

мы не любим. Они были могущественны, но чужие, к которым мы не испытываем симпатии. Но Дионис с его виноградной гирляндой и прекрасным лицом дружбы, Эрос и Геракл, героические близнецы, Гефест и Сейлен, фавны, каждый обитатель рощи, источника или горы кажутся нам знакомыми и созданными, чтобы вдохновлять и отвечать на привязанность. Все они - духи радости. Они с детства живут в наших мечтах, они составляют одно из главных звеньев, связывающих нас с прошлым, один из главных аргументов в пользу греческого гения: и кто может поступить иначе, чем любить их? Да, в какой-то мере, если учесть их многочисленные побеги от времени и варварства, они кажутся нам Отелло и Дездемоной - мы "любим их за опасности, через которые они прошли", и не нужно верить в чудеса, чтобы убедить нас, что они "любят нас, чтобы мы их жалели".

Винкельман, который по многим вопросам, связанным с искусством, выдвигал мнения в высшей степени справедливые и философские, кажется, не достиг своей заслуженной проницательности в теории, которую он сформировал о красоте богинь. Его язык, по сути, опускается до пафоса, когда он говорит: "Поскольку в отношении женской красоты не так много наблюдений, можно сделать вывод, что ее изучение менее сложно и гораздо проще для художника. Сама природа, по-видимому, испытывает меньше трудностей при формировании женщин, чем мужчин, *если верно*, что мальчиков рождается меньше, чем девочек."^[969] Поскольку верно прямо противоположное, эту мнимую трудность природы (не рискуем подобрать более святое слово) можно с презрением отбросить; но замечание, которым она сопровождается, требует опровержения. Художники хорошо знают, и сам Винкельман признает, что прекрасный идеал героической красоты (например, Ахиллеса или Тесея) - это просто смешение женской красоты с мужской силой, так что по лицу нельзя определить, к какому полу оно принадлежит. И все же красота греческих юношей, где они красивы, состоит в близком приближении к женской, настолько близком, что их легко можно принять за женщин. Если, таким образом, мужская красота, когда она наиболее высока и совершенна, состоит главным образом в том, что она заимствует у женской, то последняя обязательно представляет собой вершину человеческой красоты; и художник, которым это убеждение руководит в его творениях, будет первым, кто сможет соперничать с великими мастерами древности. Еще одно замечание, которое странно встретить в "Истории искусства", заключается в том, что художники драпировали свои женские фигуры, поскольку имитация обнаженной формы не представляет особой сложности. Но разве не крайняя легкость в изображении отцовской скорби побудила Тиманта завуалировать лицо своего Агамемнона? Драпируя своих богинь и героинь, художники руководствовались и другими причинами, главной из которых было желание соответствовать представлениям поэтов и народным верованиям.

852. См. Müll. Dor. ii. 313, sqq. Cp. Pfeiff. Ant. ii. 57. p. 370.

853. Для уничтожения могущества Спарты ахейцы не могли представить себе лучшего средства, чем изменить свою систему образования" (Plut. Vit. Philop. § 16. Paus. vii. 8. 5. Митиленцы, желая сломить военный дух некоторых своих союзников, также запретили им давать детям хоть какое-то образование - Илиан, V. Н. vii. 15. С той же целью император Юлиан закрыл государственные школы против христиан.-Gibbon, iv. 111. Среди наших предков, когда замыслился удар против диссентеров, не было придумано более суровой меры, чем лишение их образования.- Лорд Джон Рассел, Hist. of Eur. i. 273.

854. Rep. Lac. ii. 1. Cp. Pfeiff. Ant. p. 370.

855. Lycurg. 28. Müll. Dor. ii. 39. Также часто кормилицами царей были гелоты.-Plut. Ages. § 3.

856. Plut. Inst. Lac. § 29.

857. De Rep. Laced. ii. 5. Cp. Plut. Lycurg. § 17.

858. И, должно быть, прежде чем они смогли насладиться черным бульоном, с дозой которого Дионисий однажды провел эксперимент над своим желудком. Положив ложку смеси в рот, он тут же выплюнул ее обратно, заявив, что не может ее проглотить, потому что это самое мерзкое вещество, которое он когда-либо пробовал; на что его спартанский повар заметил: "Тебе следовало сначала испугаться в евротях" - Plut. Inst. Lac. § 2.

859. De Rep. Lac. ii. 2. Lycurg. § 17. Cp. Hesych. v. Παιδονόμος.

860. Athen. vi. 102.

861. Müll. ii. 314.

862. Harpocrat. v. Μόθωνες.

863. De Rep. Lac. iii. 3. 3. Schneid.

864. Diog. Laert. ii. c. vi. § 10. Xen. Hellen. v. 3. 9. Plut. Ages. § 6.

865. Ap. Stob. Florileg. 40. 8. Гайсф. Cp. Plut. Inst. Lac. § 21, 22. Athen. vi. 103. Müll. Dor. ii. 315. note p.- В персидской утопии Ксенофонта те граждане, которые были слишком бедны, чтобы содержать своих детей в школе, лишались преимуществ общественного обучения; но, согласно закону, преимущества спартанской системы были открыты для всех.-Arist. Polit. iv. 9.

866. Илиан, Var. Hist. xii. 43.

867. Плут. Ages. § i.

868. Müll. Dor. ii. 315.

869. О демократических тенденциях спартанской дисциплины см. Voëckh. in Plat. Min. 181. sqq. Исократ. Areop. § 14-16.

870. Плут. Ликург. § 17. Inst. Lac. § 5. Xen. de Rep. Lac. ii. 4.

871. Plut. Inst. Lac. § 10.

872. Элиан. V. H. xiv. 7. Плут. Inst. Lac. § 13. Athen. xii. 74.- В связи с этим вопросом древние оставили нам очень любопытный анекдот. Дионисий, сын Клеарха, первый тиран Гераклеи, вступив в управление своей страной, незаметно для себя стал таким тучным из-за ежедневных излишеств и крайней щепетильности в выборе блюд, что едва не задохнулся от огромной массы своего жира. Каждый раз, когда он впадал в глубокую дремоту, было опасение, что он уже никогда не проснется; и, чтобы пробудить его от летаргии, врачи часто были вынуждены втыкать в его тело длинные острые иглы, пока они не достигали быстроты, после чего он снова проявлял признаки оживления. Однако его величество так стыдился этой непомерной тучности, что, занимаясь делами или давая аудиенции незнакомцам, укрывался за большим сундуком, так что не было видно ничего, кроме его лица. Однако, несмотря на эту немощь, он прожил пятьдесят пять лет и царствовал тридцать три года; и, к чести трупоеда, следует заметить, что ни один тиран никогда прежде не проявлял столько мягкости и умеренности.-Id. xii. 72.

873. Xen. Rep. Lac. ii. 6. Этот писатель отмечает, что то, что можно было брать, было определено законом.-Anab. iv. 6. 14. А Плутарх объясняет, что они могли брать столько еды, сколько могли.-Inst. Lac. § 12.

874. Xen. de Rep. Lac. ii. 7.

875. Anab. iv. vi. 14.

876. De Rep. Lac. ii. 8.

877. Schneid. in Xen. de Rep. Lac. ii. 9.

878. Иногда до смерти.-Plut. Inst. Lac. § 39. Vit. Aristid. § 17. Pausan. iii. 16. 6. Sext. Empir. Pyrrh. Hypot. iii. 24. p. 153. с. Spanheim ad Callim. in Dian. 174. Схолиаст о Пиндаре выводит это имя Артемиды от горы Орфион или Ортосион в Аркадии -Olymp. iii. 54. Ср. Lycoph. 1330. со схолией Цетеса. Schol. Plat. de Legg. p. 224. Ruhnck.

879. Arcad. viii. 23. 1. Meurs. (Græc. Fer. p. 256,) понимает *sese flagellabant*.

880. Платоновский схолиаст смешивает эту практику с криптеей, названной так, по его словам, потому, что молодые люди были вынуждены скрывать себя, пока жили за счет грабежа. Ἀπολύοντες γὰρ ἕκαστον γυμνὸν, προσέταττον ἐνιαυτὸν ὅλον ἔξω ἐν τοῖς ὄρεσι πλανᾶσθαι, καὶ τρέφειν ἑαυτὸν διὰ κλοπῆς, καὶ τῶν τοιούτων, οὕτω δὲ ὥστε μηδενὶ κατάδηλον γενέσθαι- διὸ καὶ κρύπτεια ὠνόμασται- ἐκολάζοντο γὰρ οἱ ὅπου δήποτε ὀφθέντες.-Ad Legg. p. 225. Ruhnck.

881. Более полный рассказ об этом учреждении см. в кн. V. гл. VIII.

882. Polit. viii. 3. 3.- К этому можно добавить свидетельство Платона, который, очевидно, не называя их, имеет в виду описание спартанцев, где он говорит о народе, полностью отданном изучению телесных упражнений и благодаря этому ставшем жестоким и свирепым.-De Rep. t. vi. p. 154.

883. Дорийцы, ii. 319. seq.

884. Ταῦτα μόνᾳ μὴ κωλύσαντος ἀγωνίζεσθαι τοὺς πολίτας, ἐν οἷς χεῖρ οὐκ ἀνατείνεται.-Plut. Lycurg. § 19. Упражнения, в которых признание себя побежденным производилось поднятием руки, названы в другом месте:-Πυγμῆν δὲ καὶ παγκράτιον ἀγωνίζεσθαι ἐκώλυσεν, ἵνα μηδὲ παίζοντες ἀπαυδοῖν ἐθίζωνται.-Per. Apophtheg. Lycurg. 4. Apophtheg. Лакон. Lycurg. 23.

885. Müll. ii. 26.

886. Cic. Tusc. Disput. v. 27.

887. Paus. iii. 11. 2.

888. Paus. iii. 14. 8. sqq.

889. Анахары. § 38.

890. Ср. Убб. Emm. Antiq. Græc. iii. 89. sqq.

891. Ἀγέλη у мальчиков, συσσίτιον у мужчин - Strab. x. 4. p. 379. Müll. (Dor. ii. 326.) использует оба без разбора.

892. Strab. x. 4. p. 380. seq.- Это согласуется с тем, что Платон рассказывает о критском полисе.- De Legg. t. vii. p. 260. t. viii. p. 86.

893. De Rep. Lac. v. 9.- В более поздний период репутацией самых красивых мужчин в Греции пользовались некоторые афинские юноши.-Æschin. cont. Tim. § 31.

894. Herod. ix. 72.

895. Cp. Ælian. Var. Hist. xii. 50.

896. Стоб. Florileg. vii. 67.

897. Plut. Inst. Lac. § 14. seq.- Спартанцы приносили жертвы музам перед тем, как отправиться на битву, чтобы совершить нечто достойное их внимания. § 16. О царе Клеомене говорится, что он изучал философию у Сфероса Бористея, которому также было позволено передавать свою систему другим юношам.-Id. Cleom. § 2.- Cp. Diog. Laert. vii. 6.

898. В более поздние времена обучение стало цениться все выше. Так, по закону, молодежь должна была ежегодно собираться в зале Эфори, чтобы послушать, как им читают труд Дикеарха о конституции их страны.- Suid. v. Δικαίαρχ. t. i. p. 730. d.

899. Inst. Lac. § 4. Lycurg. § 16.

900. Panathen. § 83. Τοσοῦτον ἀπολελειμμένοι τῆς κοινῆς παιδείας καὶ φιλοσοφίας εἰ σιν ὥτ' οὐδὲ γράμματα μανθάνουσιν.

901. Var. Hist. xii. 50.

902. И снова у Илиана. Var. Hist. iv. 15. Гело, царь Сиракуз, неграмотный человек, называется ἄμουσος.

903. T. v. p. 418.

904. Protag. t. i. p. 209.

905. Not. ad Ælian. xii. 50.- Из иронического отрывка Платона мы можем также заключить, что они были искусными генеалогами и рассказчиками.-Hipp. Maj. t. v. p. 419.

906. Законы Спарты в этом отношении, как и во многих других, были всего лишь подражанием законам Крита.-Sext. Empir. adv. Mathemat. l. ii. p. 68. Плутарх, заметив, что они научились читать, добавляет-τῶν δὲ ἄλλων παιδευμάτων ξενηλασίαν ἐποιοῦτο, οὐ μᾶλλον ἀνθρώπων ἢ λόγων.-Instit. Lac. § 4.

907. Cressol. Theat. Rhet. i. 12. p. 88.

908. Dissert. ix. p. 118.

909. Cp. Athen. xiv. 33.

910. Dissert. vii. p. 91.

911. Plut. Inst. Lac. § 17.

912. Max. Tyr. iv. p. 54. Cic. de Legg. ii. 15.- Цицерон, хотя и склонен в большинстве случаев отступать от мнения Платона, здесь отступает. Он, конечно, не считает безразличным, какие песни поются или какие звуки преобладают в государстве; но и не доверяет слишком тонким умозаключениям, сделанным великим философом из его музыкальной теории.

913. Дорианы. ii. 340.

914. Demosth. in Mid. § 15.

915. Афины. xv. 22.

916. Paus. iii. 11. 9.- Мюллер, ii. 341., предполагает, что вся агора могла быть названа таким образом.

917. Xen. de Rep. Lac. ix. 5. Plut. Lycurg. § 15.

918. Aristot. Pol. viii. 5.

919. Cp. Müll. Dor. ii. 342.

920. iv. 20. 7. Athen. xiv. 21. seq.

921. Афины. xiv. 29.- Вооруженный танец был особенно любим Платоном.-De Legg. vii. t. viii. p. 17. Мальчики танцевали в доспехах во время Панафиней в Афинах.- Sch. Aristoph. Nub. 935.

922. Plat. de Legg. vii. t. viii. p. 54.

923. Athen. xiv. 29.

924. Müll. Dor. ii. 351.

925. Creuz. Com. Herod. i. 230.

926. Лукиан де Салтат. § 10. seq.

927. Рас. 614. seq.

928. По Винкельману, Hist. de l'Art, i. 2.

929. Винкельман отмечает, что Рубенс написал фигуры фламандцев после многолетнего проживания в Италии - i. 60. Грек с младенчества рос в присутствии той красоты, которую он впоследствии изображал: его мать, сестры, отец и все вокруг него. То, что он видел, составляло основу того, что он рисовал или ваял. В большинстве современных стран школьные модели нашей молодежи - греческие; но их домашние модели, которые являются для них образцами с колыбели, - другого стиля. Таким образом, они находятся под двумя влияниями, одно из которых нейтрализует другое и порождает ту холодность, которую демонстрирует насмешливая классика. Возможно, это одна из причин медленного развития искусства среди нас.

930. Платон, возможно, в шутку, дает такую же похвалу египетскому искусству, а Мурет серьезно перенимает его представления: "Meritoque Ægyptios commendat Plato, apud quos et pictorum et musicorum licentia legibus coërceretur, quod permagni interesse judicarent, ut adolescentes à teneris annis honestis picturis, et honestis cantibus assuefierent."-In Aristot. Ethic. p. 249. Но, возможно, Платон не очень внимательно изучал священные скульптуры Египта, которые на самом деле изобилуют изображениями, оскорбляющими приличия.

931. См. Winkel. t. i. p. 7.- Поллукс приводит список имен, под которыми классифицировались изображения богов.- i. 7.

932. Plat. de Repub. t. vi. p. 354. Cp. Hipp. Maj. t. v. p. 410.- Винкельман несколько неверно истолковывает смысл Платона.- Hist. de l'Art, t. i. p. 12.

933. Cp. Winkelmann, t. i. p. 22.

934. Paus. vii. 24. 4.

935. Id. ix. 22. 1.

936. Id. ix. 22. 3.

937. Еврипид, говоря, конечно, как поэт, считает, что красота достойна верховной власти. Но многие древние народы всерьез придерживались этого мнения и выбирали царем самого красивого человека среди них: так поступали эфиопы, которых называли бессмертными - Athen. xiii. 20. Если под эфиопами подразумевается народ, ныне известный под именем нубийцев, то я уверен, что у них были очень веские причины поощрять красоту, более редкую, чем та, что есть в их стране и по сей день.

938. V. 47.

939. Опиан. Cynege. i. 357. sqq.

940. Deipnosoph. xiii. 90. Евстафий (Eustath. ad Il. т. 282.) вкратце рассказывает о тех же фактах, завершая их теми самыми словами, которые использовал Афиней. Пальмериус, который в своих примечаниях к Диогену Лаэртию цитирует их, тут же добавляет: "quæ non dubito Eustathiun ab aliquo auctore antiquo accepisse."-Exercit. in Auct. Græc. p. 448. В этом предположении он был прав; и этим древним автором был Никиас в своей истории Аркадии.

941. Schol. ad Il. ι. 129. Cp. Meurs. Gr. Fer. p. 177. Hedyt. in Anth. Gr. vi. 292. Athen. xiii. 90.

942. Athen. xiii. 90.

943. Ап. Афины. xiii. 90.

944. Lutat. ad Stat. Theb. viii. 178. Cp. Barth. iii. 828. Hist. de l'Art, i. 319. Карло Феа с простотой, редкой для итальянца, замечает по этому поводу: "Il est question ici de baise-mains!". Имеется в виду Аполлон Филесий, чья статуя была изваяна из эгинетического мрамора Канахосом - Plin. Hist. Nat. xxxiv. 19. 14.

945. Sch. in Theocrit. xii. 28.

946. Æschin. cont. Tim. § 31.

947. Orat. 21. t. 1. p. 500. sqq. Reiske.

948. В то же время заработки низших скульпторов были невелики.-Luc. Somm. § 9.

949. Cp. Plut. Thes. § 4.

950. Pausan. ii. 23. 4.

951. Pausan. viii. 53. 8.

952. Id. v. 10. Wink. iv. 1. § 12. p. 332.

953. Εἰς Ὀλυμπίαν μὲν ἀποδημεῖ τε ἴν' εἰ δῆτε τὸ ἔργον τοῦ Φειδίου- καὶ ἀτύχημα ἕκαστος ὕμνων οἷεται, τὸ ἀνιστόρητον τούτον ἀποθανεῖν.-Arrian. Com. in Epict. l. i. p. 27.

954. Plin. Hist. Nat. xxxv. 35.

955. Илиан, Var. Hist. iv. 12. Cp. Meurs. ad Lycoph. Cassand. 131. p. 1189. и Val. Max. iii. 7.

956. Лукиан. Ирод. § 4.

957. Диог. Laert. iii. 5.-Aristot. Pol. viii. 3.

958. Plin. Hist. Nat. xxxv. 35.

959. Phot. Bib. p. 149.

960. Hist. de l'Art, l. iv. c. 1. § 13.

961. Гален, Протрепт. § 8. t. i. p. 19.

962. О внутренностях этой статуи, населенных крысами и мышами. См. Luc. Som. seu. Gall. § 24.

963. Polyb. iv. 340. d. Winkel. iv. 1. 15. Эрос из Феспий, а также Афродита из Книдоса были знамениты. Luc. Amor. § 11. seq.

964. Winkel. iv. 1. 16.

965. Квинтилий. xii. 10. Plin. Hist. Nat. xxxv. 36.

966. В стоа Диониса на Родосе была картинная галерея, заполненная историческими и мифическими произведениями. Amor. § 8. Подобные выставки, по-видимому, существовали в Книдосе, в портике Сострата.-§ 11. Священные для богов произведения искусства также хранились дома.-§ 16. В некоторых храмах, как мы узнаем, допускались даже картины безнравственной направленности, написанные Паррасиосом и другими.-Lobeck, Aglaopham. p. 606. Аристотель использует это обстоятельство для того, чтобы высмеять религию язычества, которая покровительствовала таким излишествам.-Polit. vii. 15. p. 255. Gœttl.

967. У древнего автора есть следующее выражение: οὐκοῦν τὸ θεῖον, καὶ λίθινον ἦ, φιλεῖται- τί δ' εἴ τις ἔμψυχον εἶδε τοιοῦτον κάλλος;-Luc. Amor. § 17.

Нечто подобное встречается у Байрона:

"Там тоже Богиня *любит в камне*, и наполняет

Воздух вокруг красотой".

968. Hist. de l'Art, iv. 2. 23.

969. Hist. de l'Art, iv. 2. 67.

ГЛАВА X.

ЭЛЛИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

От искусств естественен переход к литературе^[970] Греции, которая в исторический период неизбежно являлась главным агентом созревания и наложения печати своего своеобразного характера на плоды просвещения в народе. Литература - это, по сути, школа-хозяйка народов. В ней, пока она остается целостной, мы можем созерцать весь характер, интеллектуальный и моральный, расы, из страстей, тоски, вкусов и энергии которой она, можно сказать, была создана. И это, относящееся ко всей литературе, особенно применимо к греческой, которая больше, чем любая другая, несет на себе отпечаток национальности. Каждая идея, каждый образ, каждая сентенция, каждое размышление, кажется, исходят из

одного источника. Ничто не является чужеродным. Ни вдохновение, ни дух, который регулировал его и придавал ему красоту, не заимствовали ни единого импульса из чего-либо, существующего за пределами круга эллинской мысли. Греция одновременно предоставила матрицу и материалы, активную силу и то тонкое чувство красоты и совершенства, которое руководило его организацией и сделало его предметом восхищения человечества.

При характеристике этой литературы было предложено множество необычных понятий. Нам говорили, что ее дух исключительно мужской, что означает, конечно, что, хотя она изобилует силой и энергией, возвышенностью умозрения и страстными и стремительными порывами, ей не хватает той сладости, деликатности, изящества и нежности, которые придают интеллектуальному потомству некоторых современных народов женский облик. Греческая литература, однако, не является ни мужской, ни женской, но андрогинной, как сын Афродиты и Гермеса. Нет ни одного совершенства мысли или языка, которое, даже в своем нынешнем фрагментарном состоянии, не давало бы нам примера. Несомненно, здесь преобладают суровое величие и колоссальная высота мысли; но наряду с ними мы часто обнаруживаем модификации легкой и воздушной красоты, младенческой чистоты чувств, легкости, изящества, изящной небрежности и мечтательной роскоши рассуждений, которую не превзойдет самая тонкая и причудливая литература. Если в чем и есть недостаток, так это в духовности. Воображение греков слишком жестко ограничивало себя, возможно, этим "берегом и отмелью времени". Не имея возможности приподнять завесу, закрывающую царство за могилой, оно слишком мало занималось теми вещами, с которыми развоплощенная душа должна общаться вечно. У большинства греческих писателей заметно нежелание гулять среди форм Аида. Их фантазия не выходит за пределы видимой вселенной, а вздрагивает, поднимается и возвращает свой взор к свету, где только она находит твердую опору для рассуждений. Но, с другой стороны, если она отказывается покинуть эту земную сцену существования, как великолепен поток солнечного света и великолепия, который она изливает на нее! Именно в этих литературных прогулках мы по-настоящему узнаем свежесть и прелесть утра. Сами облака, нависшие над пейзажем, только усиливают его величие, разнообразя перспективу и внося те тени и контрасты, которые разум с удовольствием обнаруживает повсюду.

Поэты,^[971] постоянно повторяют это, начинают в каждой стране умственное движение, которое развивает цивилизацию из хаоса варварства; но остается загадкой, как и чем они сами движимы. Возможно, в старом утверждении о том, что они были вдохновлены небесами, есть нечто большее, чем просто фигура речи. Их воображение возвышалось на такую высоту, что его разжигали небесные светильники, и их можно считать тем сказочным Прометеем, который применил пламя науки к человеческой глине. Поэтому я не вижу возражений против того, чтобы мы придерживались старой доктрины, что поэты принимали и продолжают принимать, когда их умы чисты, божественный импульс - что для младенческих народов земли они были учителями, уполномоченными свыше.

Состояние разума в те ранние века, когда поэты были единственными оракулами, трудно понять людям, пресыщенным роскошью обильной литературы. Среди арабов, живущих в пустыне, мы еще можем обнаружить нечто подобное. Лишенные книг, но имеющие много свободного времени, они охотно хранят в памяти нравоучительные дистихи, апологии, сказки, которые наставляют и одновременно радуют, и, таким образом, мысленно снабженные несколькими видами оружия, они часто более мудры в рассуждениях, более убедительны в речах, более готовы в действиях, чем образованные люди в цивилизованных

странах, чей интеллектуальный арсенал настолько полон, что в момент опасности они не знают, какое оружие выбрать. Поэты, принадлежащие к такой расе и находящиеся в таких обстоятельствах, чувствуют, что на них возложена высокая миссия; они стремятся не отшлифованными ритмическими мелочами развлечь несколько богатых и знатных особ, а облечь в подобающий язык и обвенчать в бессмертный стих те великие центральные истины, на которых должна вращаться вся система будущего мира цивилизации. Мы видим, что они всегда любопытно приспосабливают свои откровения к требованиям времени. Сначала в общественное сознание внедряются великие фундаментальные истины религии - основы общественного устройства. Затем в их кладези закладываются основы политики и законодательства, предписания по сельскому хозяйству, ведущие правила полезных искусств, правила гражданской жизни, а также первые слабые шепотки страстей и привязанностей. Затем, становясь все смелее, они стремятся подчинить себе всю империю знаний и стремительно, с помощью многочисленных чар и притягательных средств, торопят человечество в оргиастическом восторге к самому порогу философии.

Среди самых ранних имен в литературных традициях Эллады - имена Олена, Памфоса, Мусеоса и Орфея,^[972] которые за свою мудрость, как говорят, произошли от богов. Они были священными бардами, чей гений обеспечил им превосходство над умами их соотечественников. Однако все, что они пытались сделать, - это, возможно, научить учению о молитве, благодарении и жертвоприношении, что, будучи впоследствии неправильно понятым, привело к тому, что их стали путать с теми самозванцами и заклинателями, которые в более поздние времена давали отпущения грехов и продавали индульгенции как частным лицам, так и государствам, с усердием, достойным Джованни ди Медичи. Мусей, который, вероятно, старше Орфея, хотя иногда считается его учеником, по некоторым преданиям, был учителем этики, изложившим свод моральных наставлений в четырех тысячах стихов. Его страна неизвестна, ибо он то представляется афинянином, то фракийцем, - но его имя, а также имена Орфея и Эвмолпоса связаны с изгнаниями, оргиями, мистериями, которые отмечались в течение многих веков в честь Деметры и Диониса.^[973] Однако мы должны довольствоваться весьма несовершенными представлениями о том, какими они были, ибо, оглядываясь на этих великих людей, которых мы видим на краю горизонта, увеличенных, как солнце на закате, туманными выдохами, но с помощью тех же средств ставших тусклыми и неясными, мы не можем составить никакого представления об их характере.

Однако именно эти и подобные им люди создали первое звено в той цепи мысли и красоты, которая, протянувшись через пропасть времени и устремившись в небеса, до сих пор удерживает народы Земли от погружения в варварство. Литература деградирует, если рассматривать ее как искусство или как развлечение. Это рай, в который пересаживаются лучшие плоды души, достигшие наибольшей зрелости и красоты, чтобы расцвести в бессмертной свежести и благоухании. Это житница, где семена религии, добродетели, нравственности, национального величия и индивидуального счастья сохраняются для использования человечеством. Это галерея, где хранятся образы всех великих и благородных душ, проливших свет и славу на землю, как реликвия и палладиум человеческой расы. Поэтому ни один, кроме самых гнусных умов, не может оглянуться на почтенных отцов литературы без глубокого трепета сыновней почтительности и любви, соединенных с великодушным порывом и тоскливым желанием расширить и придать новую яркость ореолу, окружавшему их имена. Они не были, как многие, орудием и потворщиком мирских удовольствий. Сознавая святую миссию, которую, согласно их вероучению, возложил на них Отец богов и людей, они выступали вперед как апостолы истины, окруженные величием, которое должно придавать им чувство божественного вдохновения. Они чувствовали гармонию внутри души, которая, проявляясь, искала помощи в

гармоничном языке; и поэтому наставления мудрости, слетавшие с их уст, как мед с сотов, естественно складывались в стихи, при звуке которых взбивались фонтаны великих глубин знания, открывались окна небес, и на изумленный мир изливался поток философии, науки и интеллектуального восторга.

В какую эпоху или в какой провинции Греции появился первый служитель этого поэтического откровения, сейчас решить невозможно. Однако искусство письма, которое египетский царь считал врагом памяти, не миновало и эгейцев. Песни, которые слышали люди, перелетали на крыльях музыки с языка на язык, и со временем люди, владеющие этим чудесным искусством, благодаря которому мудрость и слава прошлого были забальзамированы в сладости стиха, выделились в отдельный орден под названием Aoidoi или Singers.^[974] Жизнь этих людей в отдаленные века античности нам мало известна. Однако в большинстве своем они были странниками, в некоторых отношениях не похожими на жонглеров и трубадуров средневековья, хотя занимали более высокое положение и руководствовались более высокими целями. Их первой и видимой целью, несомненно, было развлечение; но очень важно внушить людям восторг от возвышенных и облагораживающих концепций, на мгновение отвлечь их от занятий подлых, жестоких и нелюдских, чтобы созерцать героические деяния, честь, патриотизм, дружбу, великие и прочные преимущества, вытекающие из мира и торговли, опыта путешествий и невзгод.

Каковы были награды, которые они получили, легко предположить. В основном они заключались в лучах радости, отражавшихся на них тысячей счастливых лиц сразу. Прибыли они не хотели и не могли считать. Тот, кто делает людей мудрыми и счастливыми, сам должен быть счастливым и мудрым; а мудрость не желает измерять свои дары золотом. Поэтому истинно мудрый и великий человек, если фортуна изначально благосклонна к нему, будет осыпать всех своими благодеяниями, как Бог дождем, либерально и без разбора; а если необходимость заставит его получить какую-то отдачу, его умеренность будет довольствоваться минимально возможной суммой. Оказавшись в кругу утонченности, которую они сами создали, они, однако, постепенно секуляризировались, хотя мы должны быть осторожны, чтобы отличить их от их преемников более позднего времени. О том, какое восхищение вызывали они и их песни, можно узнать из тех отрывков Гомера, где представлены Фемиос и Демодокос, и из оживленного диалога Платона, в котором рапсолист Ион описывает свою должность и свою аудиторию. Справедливо замечено, что если этот человек, простой актер, мог направить в нужное русло чувства целого театра, растопить их до слез, воспламенить негодованием или одарить их лики улыбками радости, то поэты тем более могли бы воздействовать на свои страсти искусством, гораздо более близким к природе.

Несомненно, не следует путать рапсодистов с предшествующими им аоидои, хотя, несомненно, нравы и состояние поздней расы могут пролить свет на нравы и состояние ранней. Обе эти расы в последнее время занимают большое внимание ученых; и Вольф особенно заслуживает похвалы за свою защиту рапсодистов, к которой, однако, его привели главным образом требования его знаменитой теории. Поначалу они, безусловно, представляли собой замечательный орден людей, которых было бы вредно смешивать с их легкомысленными представителями в эпоху Платона и Ксенофонта. Тем не менее, вышеупомянутый выдающийся ученый, возможно, склонен преувеличивать их заслуги, поскольку именно им, по его мнению, мы обязаны тем, что до нас дошли великие гомеровские поэмы. Но это само собой разумеющийся вопрос, который вызывает спор между ним и его оппонентами, утверждающими, что автор "Илиады" и "Одиссеи" обладал как знаниями, так и материалами для написания. Однако он с полным основанием

допускает, что и театральное, и ораторское действо нашли путь, открытый для них рапсодическим искусством, хотя его профессорами были не актеры и не ораторы, а люди, исполнявшие обязанности, связанные с особым состоянием общества и уже не существующие в наше время.

Часто предполагали, основывая это мнение на неверном толковании слова "*рапсодист*", что члены этого братства были простыми компиляторами или сборщиками стихов из фрагментов, вырванных у различных авторов. И, чтобы усугубить абсурд, практика недавнего времени была приписана далекой древности, когда, как некоторые представляют, великие рапсодисты, подобно современным лекторам, носили с собой изображения предмета, о котором они говорили, и указывали аудитории палкой^[975] на различные персонажи или происшествия, которые они могли описывать. Другой ошибкой, на которой настаивает Вольф, является предположение, что только гомеровские поэмы распевались старшими рапсодами, что, несомненно, противоречит свидетельствам древности и здравому смыслу. Ведь, как можно заключить, публично распевались не только песни Гесиода^[976] и всего эпического рода, но и песни лирических и ямбических поэтов, а также сами законы государства, когда законодателю случалось сочинять их в стихах. Тем не менее следует отметить (хотя Вольф не обращает на это внимания), что декламация произведений Гомера настолько преобладала над всеми остальными, что рапсодисты и гомеристы часто рассматривались как синонимы;^[977] и даже в более поздние века, когда, во всяком случае, искусство письма не было неизвестно, Деметрий Фалерей вывел на сцену класс декламаторов, которые вплоть до времен Афиней носили название гомеристов. Тем не менее, как я уже отмечал выше, иногда читались произведения и других хороших поэтов, таких как Гесиод, Архилох, Мимнермос и Фокилид. Рапсодист Мнасион, как рассказывает Лисаний, читал ямбики Симонида, Клеомен - "Очищения" Эмпедокла, а комедиант Гегезий - "Истории" Геродота, то есть, как я полагаю, некоторые их части. Некоторые авторы передавали таким образом свои собственные произведения,^[978] как, например, Ксенофан, который сочинял и эпосы, и элегии, и ямбы.^[979]

С полным основанием можно заметить, что, хотя название рапсодического искусства, по-видимому, было придумано после Гомера, само оно существовало задолго до него и пользовалось большим почетом, чем в любой последующий период. По сути, поэты тех времен сами были рапсодами, причем на протяжении многих веков единственными, если верить Гесиоду^[980], который первым возвел воспевание чужих стихов в ранг искусства. Впоследствии, начиная с Терпандера Лесбийского (Olymp. 34) и заканчивая Кинетом Хиосским (Olymp. 69), который, как предполагается, был автором гомеровского гимна Аполлону и выдающимся гением, рапсодисты иногда распевали чужие стихи, иногда свои собственные, а иногда, возможно, вставляли новые стихи в золотые реликвии прошлого, как наши современные актеры часто вставляют свои одноногие шутки в сценический текст Шекспира. Однако нет никаких оснований считать, что почти каждый из этих песнопевцев был к тому же умным поэтом, чего, как мне кажется, не утверждает ни один древний писатель, и что утверждения пятидесяти не сделают достоверными, хотя есть вероятность, что среди этих многочисленных рапсодистов некоторые сами были поэтами, а другие желали, не обладая гением, считаться таковыми; Так что вполне вероятно, что их тщеславие часто претендовало на чужие произведения, где можно было избежать разоблачения, как и то, что другие лишали их справедливой славы.

Те, кто утверждает, что в Греции процветала система каст, вероятно, будут утверждать, что рапсоды с самого начала составляли *клан*, как, по преданию, Гомериды на Хиосе.^[981] Среди немногих искусств, которые в те века безраздельно владели временем и изучением

многочисленных профессоров, искусство эйдосов, или поэтов, было, безусловно, одним, и к тому же самым почетным и почитаемым. Несомненно, их характеры были чисты и благородны, чтобы преодолеть зависть, которую обычно вызывают превосходящие способности. Ибо дома или за границей, в родных городах не меньше, чем в общественных собраниях и на торжественных советах царей, они считались дорогими для богов и почтенными для людей. Рапсоды тоже пользовались таким же уважением и вели такой же образ жизни, пока другие занятия и другие нравы, с этой самой низменной из всех страстей, любовью к наживе, не навели презрение на их профессию и занятия.^[982]

В самих гомеровских поэмах мы находим множество доказательств того, в каком почете у соотечественников находились профессора поэтического искусства. Они выполняли в Греции^[983] ту функцию, которую выполняли у евреев школы пророков,^[984] или одинокие обладатели ватиканской силы, которые открывали своим соотечественникам волю небес и учили, какими способами ее можно умиловить. Какой-то институт такого рода, вероятно, существовал, как я уже отмечал, с самого рассвета цивилизации, которую он в основном и породил. Большинство принцев, таких как Агамемнон, Алкиной и Одиссей, держали в своих дворцах человека, одновременно капеллана и лауреата, который, когда у них собирались иностранные или домашние гости, мог наставлять и радовать их, воспевая хвалу богам, подвиги или величие предков или даже давая наставления в области морали или полезных искусств. Поэту, как святейшему из хранителей, цари поручали заботу о своих женах и семьях,^[985] уезжая в дальние походы; и так велико было почитание его личности, что мы видим, как Клитемнестра изгоняет поэта, прежде чем она осмелится стать спутницей жизни Эгисфоса.

Но те люди с большим оригинальным гением, чья слава быстро распространялась и кто, вероятно, находил высшее наслаждение в независимости скитальческой жизни, не довольствуясь покровительством одного князя или восхищением одного народа, постоянно переезжали из страны в страну, приумножая одновременно свою славу и опыт. Гомер, Пиндар и другие оригинальные поэты доказывают, что цветы, с которых они собирали мед своих мелодий, росли не на одном месте. Одиссей был типом барда, воспевавшего его приключения, а если посмотреть еще дальше в прошлое, то мы обнаружим фракийца Фамириса, которого Музы, как говорят, наказали за его тщеславие, проникающего в самые неизвестные уголки Пелопоннеса, защищенного святостью своего характера и благоговением, причитающимся его профессии.^[986]

Что касается Гомера, то и древняя традиция, и форма, и дух его поэм требуют, чтобы мы рассматривали его в этом свете, хотя нет никаких оснований полагать, что он вместе с Пэйном Найтом прославлял различных героев Греции с целью задобрить их потомков.

Те писатели, которые считают, что произведения Гомера были составлены по воле случая кружком поэтов, движимых слепым инстинктом создать ряд частей, которые, будучи законченными, должны так же хорошо сочетаться друг с другом, как несколько членов статуи, обязательно стремятся установить два момента: во-первых, что Аойдои читали свои произведения по памяти, и это потому, что, во-вторых, искусство письма было неизвестно. На этот вопрос уже было потрачено слишком много изобретательности, чтобы позволить ему еще больше соблазнять своей новизной. Вольф и Хейн добились всего, к чему стремились, благодаря своей провидческой гипотезе, а отголоски их скептицизма еще не смолкли в академиях и университетах. Аргумент, вытекающий из практики рапсодов повторять по памяти, сопряжен с двумя неудобствами: во-первых, нельзя доказать, что этот порядок возник до появления искусства письма; во-вторых, эти декламации в равной степени делались по памяти не только в эпоху Перикла, но и вплоть до самого последнего периода их

расцвета. Поэтому можно без малейшего риска для аргументации согласиться с академическими скептиками, что рапсодисты декламировали по памяти, даже если мы с уверенностью знаем, что они заучивали стихи по письменным копиям.

Чтобы сделать более правдоподобным представление о том, что искусство письма в эпоху Гомера еще не было известно, большой упор делается на способности к запоминанию у некоторых людей, хотя из них на самом деле ничего нельзя заключить, кроме того, что при необходимости люди, безусловно, могут многое запомнить. Однако для моей цели не имеет значения, были ли "Илиада" и "Одиссея" написаны одним человеком или сотней; величие поэзии остается, и от нее как от великого источника можно проследить несколько основных потоков эллинской цивилизации.

Платон, который так усердно трудился над расширением империи и укреплении способностей человеческого разума, порой придерживался мнения, что ее барды принесли Греции мало пользы. Он замечает, но в такой ироничной манере, что трудно определить его смысл, что если бы Гомер и Гесиод обладали даром совершенствовать своих современников в добродетели, то им никогда бы не позволили бродить по стране, распевая свои стихи. Люди, думает он, принуждали бы их выгодами оставаться с ними или, не добившись этого, покидали бы свои дома, чтобы идти по их следам, как в его век многие делали в случае с софистами.^[987]

В то же время он признает, что, по общему мнению, Гомер был великим наставником Эллады, который обучал наукам политики и этики, а также всей дисциплине и экономике человеческой жизни.^[988] Возможно, несмотря на свою великую мудрость и гений, он смотрел на этот вопрос с неправильной точки зрения, считая поэзию скорее соперницей, чем предшественницей философии. Миссия первой, однако, в его время была в значительной степени выполнена, насколько, я имею в виду, в том, что касается позитивного учения; и он не учел, что по мере развития цивилизации и материализации наций сдерживание поэзии тем более необходимо, чтобы остановить их нисходящие тенденции и направить их голову к небесам. Цель поэзии - сохранить в человеческой груди любовь ко всему благородному и прекрасному, отвратить мирского человека от поклонения золоту, показав ему нечто более славное, чем все, что можно купить за золото, совершить апофеоз чистой привязанности, добродетели, бескорыстия, великих страстей, патриотизма, - и у Гомера все это осуществляется со спонтанной энергией, которая, подобно океану, равна тому, чтобы вынести на своей груди всю тяжесть человечества, обремененного во все его атрибуты.

В Греции нет поэта, достойного сравнения с нашим Шекспиром и нашим Мильтоном, кроме Гомера, который обладает некоторыми преимуществами перед ними обоими. Шекспир, бодрый и полный жизни, каким был его дух, очевидно, чувствовал, как волны его воображения временами уходили от него и оставляли его разум на мели и на берегу неизмеримой вселенной. Меланхолия наползает на него, как черный пар, скрывающий титаническую голову, привыкшую возвышаться над облаками. Даже в душе Мильтона, безмятежной в своей огненной яркости, как это обычно бывает, я, кажется, обнаруживаю нечто, что временами затмевает его веру в себя и человеческую природу и вызывает замирание фантазии. Но в Гомере это никогда не проявляется. Бодро и радостно он продолжает свой путь с вечным солнцем на челе и сердцем, бьющимся полно и верно, словно в нем заключена жизнь всего мира. Его жизненной силе нет конца. Кажется, что он никогда не состарится. Его сила неисчерпаема. Равнодушный ко всему, что может случиться, он нигде не кажется торопливым, не вынужден напрягать нервы, чтобы достичь желаемого. Сам по себе он счастлив, как бог, и сочувствует человеческим страданиям только из безграничного милосердия. Он появляется, как солнце утром, полный яркости,

показывая все слезы, которыми окроплена земля, и осушая их, но не проливая ни одной. Мы называем его старым, хотя на самом деле он весь - молодость и любовь. Каждая функция жизни в его организме протекает гармонично. Он наслаждается всем, что природа преподносит в круг его впечатлений. Он с восторгом вдыхает свежесть рассвета, с улыбкой вдыхает сияние полудня, с радостью встречает тишину вечера и торжественное величие ночи. Сон тоже обладает для него непередаваемым очарованием, и удовольствиям, которые мы вкушаем в его недрах, он дал все благодарные, все ласковые эпитеты. Мильтон гораздо более одухотворен, и его карьера проходит по пути, близкому к звездам. Шекспир, в своей метафизической тонкости и стремлении проникнуть за пределы могилы, наводит на более странные мысли и вызывает более дикий мир фантазий. Но Гомер, словно допущенный за завесу, не сомневается ни на миг. Он привычно думает о действии, о человеке как он есть, о добродетели гражданина, воина, мужа, отца, сына, жены. Он любил мир и все, что в нем есть. Его глаз мог обнаружить красоту там, где атрабильный скептик видит лишь уродство.

Отсюда всеобщая слава и восхищение его трудами. Ведь там, где есть источник восторга, мир обнаружит его и будет обращаться к нему вечно. Поэты-трагики, взявшие на себя его мантию, сильно отличались от него как по темпераменту, так и по характеру. Эксперимент цивилизации был опробован и стал причиной меньшего счастья, чем, как казалось вначале, обещал. В обществе вырос дух неудовлетворенности, который, сотрясаемый внутренними конвульсиями и атакуемый бурями извне, казалось, быстро распадался на свои первоначальные элементы. На умы трагических поэтов, соответственно, легла мрачная тень. Они смотрели назад и вокруг себя, и их удручал вид ужасных картин, которые постоянно заполнял темный карандаш судьбы. Необъяснимое влияние событий на внутреннюю организацию человека заставляло и их, и их современников в равной степени, наслаждаться мраком, резней, местью, демонстрацией страданий, во многих случаях аналогичных тем, которые они видели, как их соотечественники причиняют друг другу.

Обратите внимание на творения Эсхила:^[989] в них, наделенных мильтоновской надменностью, энергией, величием, мы уже обнаруживаем симптомы глубокого недовольства характером реального существования и непобедимую тоску по прошлому. Казалось, он желал преследовать воображение своих современников гигантскими фантомами, высеченными из обломков исчезнувшей этической системы, в которой такое величие находило созвучие и сочувствие. Его идеи, казалось, спонтанно облекались в язык массивной структуры, подобный циклопической стене, какой ни до, ни после него не пользовался ни один человек. Силой медитации он проецировал себя в героические сферы, общался там с могущественными тенями, приобретал среди них суровые принципы действия, мышления, веры, композиции; и ими он стремился вдохновить людей своего времени. Его цель, кажется, не столько восхитить, сколько покорить, убедить, а не повелевать. Его идеи движутся по высочайшей дуге воображения, которая охватывает вселенную от полюса до полюса, или поднимаются из моря тьмы, которое они освещают на мгновение, как вспышки молнии в их прохождении.

Все наиболее яркие персонажи Эсхила предстают перед нами наделенными чудесными качествами, а их голоса пробуждают волнующее таинственное эхо в глубинах души. Например, Прометей - кто или что в поэзии может сравниться с ним? Некоторые черты сходства он, возможно, имеет с Сатаной из "Потерянного рая", но только в его неукротимой энергии, в его непобедимой воле; во всех остальных отношениях он отличается от этого "архангела, погубленного" самыми замечательными качествами. К человечеству он относится с высшей любовью. Только ради них он выдерживает гнев Зевса, который в буре мести, изливаемой им на обнаженный облик этого благодетельного бога, предстает перед

нами в образе тиранического угнетателя. Опять же, в "Эринниях", какие таинственные фантомы он вызывает! Вся сцена, где черные, истекающие кровью они встают перед воображением в святилище Дельф, не поддается воображению, она благоговейна и возвышенна. Как и самого Ореста, фантазию, по мере чтения, преследует тревожное сознание их присутствия. Они кажутся вершинами inferнального мира, зримо вдвинутыми в мир реальности. Это страшные сны, наделенные формой и жизненной силой, которые ходят по миру и пугают нас даже во время бодрствования. Никогда вера в провидческие существа не была равна по силе вере, которую он заставляет нас испытывать к этим своим творениям. Запах крови наполняет ноздри, когда мы читаем. Мы задышаемся, вздрагиваем, ожидаем услышать их шаги на ковре позади нас. Тем не менее поэзия Эсхила, как и поэзия Байрона, не унижает и не угнетает. Напротив, она передает нам свою энергию по мере чтения. Она наполняет, расширяет, возвеличивает, возвышает разум.

Софокл представляет нам совершенно иной тип гения. Его концепции, не будучи гигантскими, все же велики, а богатство и округлость чем-то напоминают формы женщины. Для него, как и для Рафаэля, мир казался со всех сторон беременным красотой. И все же в его фантазии была жилка пронизательности, которая, проходя через все его произведения, придает им колдовство, не зависящее от объема проявленного интеллекта. Он никогда, подобно Эсхилу, не переносит нас в тусклые сумерки мифологии среди дремлющих руин систем и верований. Какой бы античной ни была тема, которую он рассматривает, его изобретение придает ей завершенность, и он выводит ее свежей, блестящей, отчетливой и прекрасной, как творения сегодняшнего дня. Эсхил возвращает нас в прошлое, Софокл переносит нас в прошлое. Энергичным усилием гения он вдыхает жизнь в мертвые вещи, теплым прикосновением сгоняет с них налет древности, заполняет контуры, освежает краски, превращает их в современное бытие. Все его симпатии, здоровые и истинные, цепляются за окружающие его вещи: религия, форма правления, климат, почва Аттики, наделенные красотой, которую они обретали в его пластическом видении, удовлетворяли его желания. То, чего он не находил в реальности, он приписывал ей. Он идеализировал своих современников. Его поэзия солнечна, как Эгеида весной, и ветерок в ней такой же здоровый и освежающий. Подобно соловью, музыку которого он любил, она приходит к нам, полная забытых гармоний, пробуждая все ассоциации, все восторги, все надежды и чаяния юности. Сладкие и музыкальные, полные нежности, его чудесные хорусы. Они врываются в сердце, как первая нота кукушки^[990] в глубине леса, огибая мшистые стволы задумчивых старых деревьев.

И затем его женские образы, в которых он превосходит всех. Не сама Имогена, чье дыхание, как фиалки, благоухает на страницах Шекспира, предстает перед нами более изысканным видением, чем Антигона, в ее девичьей чистоте, непостижимой нежности, святой привязанности, сыновней и братской. Даже Oedipos, поддерживаемый и выводимый на свет такой дочерью, предстает перед нами славным, как бог, его невольные пятна сглажены годами страданий, его преподобная старость, украшенная бедствиями, увенчана усиками и снежными цветами любви дочери. А Текмесса, не кажется ли она Дездемоной, созревшей в мать? Нет поэта, который изобразил бы жену с большей нежностью или лучше передал бы глубины материнского сердца. Ее привязанность, как атмосфера, окутывает мальчика Эврисеса, которому угрожают одновременно коварные враги и безумие отца, и бросает чистый и светлый луч на море крови, бурных страстей и вины, плывущее вокруг нее. Его Деянира - тоже персонаж большой красоты; но в Клитемнестре и Электре, в Хрисотемиде и

Исмене он менее успешен. Среди его мужских персонажей *Œdipos* - шедевр. Состоящий из неуправляемых страстей, мощной воли, решимости, несокрушимой страданиями, крайний в любви или ненависти, он предстает перед нами в героическом величии и, как шар солнца, расширяется по мере спуска под горизонт. Рядом с ним по оригинальности и красоте стоят Неоптолем и Тевкер, юноши величайшего благородства души, которые разительно контрастируют с его лисоподобным Одиссеем и подлыми братьями-императорами.

За Софоклом следует Еврипид,^[991] чей гений внушал Мильтону глубочайшее восхищение, как до этого он вдохновлял Аристотеля. Похожий на Софокла так же мало, как последний похож на Эсхила, он глубже, чем тот и другой, проникнут трагическим духом, безошибочнее толкует язык страсти и сердца, вернее открывает скрытые пружины жалости. Однако в нем поэзия - не столько инстинкт, сколько искусство. Его интеллект, возвышенный, мощный, пронизательный, пробирался по самым непроторенным тропам природы и философии, хватался за все знания, за весь опыт, обогащался огромными запасами размышлений, наблюдений, образов, над которыми он владел самым совершенным мастерством, чтобы сделать их подвластными целям драмы. Другие поэты, сведущие в эффектах, могут изобразить действие с не меньшей правдой и мастерством; Еврипид же осмеливается раскрыть причины, дать понять, почему и зачем действия, спуститься в бездны разума и обнажить любопытный механизм и, так сказать, центральный огонь, который производит и созревает наши решения и наши повадки.

Не обладая суровым величием или богатыми физическими образами своих предшественников, он мог более уверенно затронуть чувства и вызвать интенсивный интерес к сюжету своих трагедий. Кроме того, ни один человек не рождал более благородных чувств. Нравственная красота царит в его сценах; он возвышает, расширяет, очищает чувства. Истины величайшей важности становятся крыльями мелодии в его стихах и летят через пропасть в две тысячи лет от него к нам. Прежде всего, можно сказать, что он открыл неисчерпаемую шахту любви, откуда черпал золото для создания божественного образа Алкестиды, самой благородной смеси земной плесени, когда-либо носившей имя женщины. Правда, этот образ виден лишь смутно. Пожалуй, ни один гений, даже шекспировский, не смог бы заполнить контур неземной красоты, который осмелился нарисовать Еврипид. В ней воплощено все, что воображение когда-либо представляло о любви. Чистая, как небесная Артемида, бесстрастная до совершенного бескорыстия, вся преданность жены, вся нежность матери, - готовая умереть, но ревнующая к посмертной любви, - жертвующая всем ради жизни мужа, но преследуемая страхом, что смерть может разорвать золотые узы привязанности, - она, как небесное видение, выходит на прощание с солнцем. Еврипид вполне мог бы гордиться этим творением. Ни Андромаха, ни Наусикаа, ни даже прославленная супруга Одиссея не могут превзойти по правде и красоте его концепцию Алкестиды. И все же это поэт, которого Аристофан имел дурной вкус осыпать непрерывными насмешками, и которого многочисленные критики, заимствуя у него свои каноны, опрометчиво называли вялым и бессодержательным.

На уровень ниже стоит персонаж Электры в "Оресте". В "Альцестисе" мы имеем скорее результаты, чем развитие невыразимой любви, которая

"вознесла смертного до небес".

Но привязанность Электры раскрывается перед нами. Вот она стоит у постели брата, борясь с неоспоримой виной в отцеубийстве, разделяя его раскаяние, но утешая его, сама угнетенная, но мужественно противостоящая ради него самым страшным

"порокам, которым подвержена плоть".

С величайшей нежностью создана Поликсена; и вообще, что бы ни говорили о неприязни Еврипида к полу, можно утверждать, что ни один поэт не изобразил женский характер более умело и более благородно.

Переходя к комедии, представителем которой следует считать Аристофана, мы имеем дело с отделом литературы, свойственным Греции, ибо ее комедия не похожа ни на одну другую. Пожалуй, она никогда не была охарактеризована точно. Те, кто вместе с поэтом выступает против философа, преувеличивают его достоинства: поклонники Сократа, мстя за несправедливую смерть этого великого человека, обычно недооценивают их. Давайте же постараемся быть справедливыми. Аристофан был поэтом огромного гения, быстро воспринимавшим и умевшим живописать недостатки, пороки, глупости, слабости, страдания человека в обществе. Он был жаден до репутации, для приобретения которой не щадил ни людей, ни учреждения. Молодые, веселые, беспечные, считая смех и развлечения истинными потребностями жизни (для слабых и легкомысленных, возможно, они таковыми и являются), он взялся построить свою славу на избавлении человеческого характера от тех нравственных экскрементов, которые переходят в ухмылки и веселье. На самом деле в большинстве душевных конституций есть груз мелкой недоброжелательности и вредности, который, если его не изгнать, может помешать здоровой игре способностей. Смех - это форма, которую он принимает при выходе, и комедия - одно из средств, предусмотренных природой для содействия его выходу.

Аристофан, постигший хотя бы эту часть философии, находил в своих согражданах обильный урожай глупостей. Он также видел, что из всех людей они обладали самым неистощимым добродушием - прощали, если не могли извлечь пользу из сатиры, направленной против них самих. Никто не мог пожаловаться на них в этом отношении. Их рискованные мускулы были к услугам каждого, кто мог придумать шутку, или скорчить рожу, или нарисовать карикатуру, или сыграть ее. Афины, по сути, были родиной смеха: это была слабая сторона национального характера; и никогда, с тех пор как было изобретено веселье, не существовало более искусного производителя этой автохтонной продукции, чем Аристофан. Он умел делать круглые вещи квадратными, а прямые - кривыми; он мог наделить самые благородные и священные вещи бурлеском и насмешкой; он мог превратить патриотизм в смехотворную слабость, гений - в хилость, добродетель - в фарс. Он умел заставить храбреца (как Ламаха) казаться простым гасконцем, гениального человека (как Еврипид) - торговцем ритмическими бубенцами, обладателя высочайшей мудрости и незапятнанной честности - болтливым самозванцем и вором. Таковы были его невероятные способности. У него было еще одно достоинство, не менее важное, чем первое: он мог, когда это было нужно, поставить самые гнусные пороки на один уровень с самыми безобидными глупостями, так что и те и другие выглядели одинаково смешными или одинаково одиозными.

Но афиняне должны были быть низменным народом, если бы именно эти качества сделали его популярным. Но это не так: напротив, они стали главным недостатком его репутации. Его нападки на Сократа привели к тому, что первый состав "Облаков" был сметен со сцены. Но как бы ни были велики и вопиющи его проступки против морали и философии, его гений восторжествовал, и он стал популярен, несмотря на них; и, несмотря на них, он остается любимцем ученых вплоть до наших дней. Никакая творческая сила не смогла бы добиться такого триумфа. Он обладал, по сути, тем качеством, которое придает жизненную силу детищу разума. Каждая его пьеса, какими бы экстравагантными ни были ее концепции, каким бы невероятным ни был сюжет, дикими сцены или фантастическими персонажи, все равно развивает отдельный цикл существований, в которые вдохнуто дыхание вечной жизни. Каждому человеку, которого он выводит на сцену, соответствует свой тип характера,

выраженная индивидуальность, нравственная и интеллектуальная физиономия, столь же характерная для него самого, как и его маска. Ни один человек не демонстрирует большего разнообразия в небольшом пространстве. Когда он работает над персонажем, каждое слово говорит о нем, и его легкость безгранична. Кажется, ничто не исходило от него в спешке. Подобно ветру, который то поднимается порывами, то стихает до шепота, но никогда не наводит на мысль о слабости, Аристофан может путаться, но всегда потому, что ему хочется путаться.

Более того, какой бы бесплодной ни была тема, какой бы суровой, мрачной, неподатливой ни была, он осыпает ее росами поэзии и волшебным одевает цветами и зеленью. Посмотрите на комедии о лягушках и птицах. Кто, кроме Аристофана, мог бы сделать их терпимыми? И все же какие чудесные эффекты вырастают из них в его руках! Как полностью отрывается воображение от обычного повседневного мира и отправляется дрейфовать по мечтательным пьянящим потокам поэзии! Ни на острове Просперо или Филоктета, ни в окруженном дикарями гнезде Робинзона Крузо, ни в самой фантастической долине, открывающей перед нами свое безмятежное лоно в "Арабских ночах", мы не дышим более свободным, более свежим и полезным воздухом, чем среди туманов и болот Ахерона или в вечных лесах царя Упу.

С искусством, которым Шекспир владел в совершенстве, он открывает более преступный источник интереса в частой сатире на пороки, осуждаемые так же часто, как и практикуемые. Он раскрывает тайны беззакония бесстрашной и ни в коем случае неохотной рукой. Ни одна бездна зла не была слишком темной для его смелой музыки. Он бесстрашно брался за темы, которых мало кто касался с тех пор или раньше, презирая зависть и мстительность современников и суровое осуждение потомков. Говоря откровенно, он явно разделял худшие пороки своего века и, подобно многим другим сатирикам, с радостью использовал маску сатирика в качестве извинения за то, что развлекал свое воображение их описанием. Ни один человек, обладающий хоть малейшей проницательностью или честностью, не может не заметить и не признать развращенного морального облика этого комического писателя. Только менее грязный, чем Рабле, его фантазия буйствует среди моральных косяков и общих сточных канав мира, над которыми, благодаря непревзойденному искусству и несравненной магии его стиля, он, к несчастью, умудряется набросить своего рода иллюзорный ореол и вдохнуть аромат, который никогда не должен быть найден, кроме как там, где есть добродетель.

Что касается его нападок на Сократа, то его защитники должны признать одно из двух: либо он клеветал на него по невежеству, либо проявлял такую степень злобы, которая при других обстоятельствах могла бы подняться до уровня Иуды Искарота. Сократ, как по гениальности, так и по добродетели, стоит во главе языческого мира. Тот, кем восхищался Платон, должен был стоять на более высоком уровне, чем Платон, то есть занимать вершину простого человечества: в таком положении мы видим его в "Горгии", "Республике", "Эвтифроне" и "Федоне". Со времен Аристофана многие шарлатаны пытались надуть над ним дым своего невежества или зависти; и от тех, кто вместе с ними топтался в трясине, на мгновение скрылось то божественное спокойствие, которое улыбается человечеству с того возвышенного и неподвижного основания, куда его поместило почтение всего мира; Но следующий ветерок развеял смрадные испарения и оставил и его, и их там, где они были, - одного на самой высокой, других на самой низкой ступени лестницы, соединяющей человеческую природу с небесами.

На драматических поэтах, от которых остались лишь фрагменты, здесь нет необходимости останавливаться. Поэтому я перехожу к историкам и ораторам, которые не менее ярко, чем

ее поэты, отражают гений Греции. Первая эпоха прозы, как и везде, демонстрировала естественные черты зарождающегося искусства - нерешительность и робость. Геродот, если говорить правильно, был самым ранним историком, и даже он все еще ходит в гигантской тени эпической басни, которая простирается далеко над цивилизованными и культурными веками Греции, как тень Мемнона на рассвете над равнинами Фив. Его характер как писателя очень примечателен. Он повествует как пророк. Его язык повсюду несет на себе отпечаток и образ сверхъестественного мира, воплощенного в самой его сути. Он сформировал для себя поэтический стандарт человеческого характера и человеческих действий, которые, соответственно, в его произведениях развиваются в поэтических формах. Долгие и глубокие размышления расстилали перед ним прошлое, как карту, по которой он мог проследить каждое колебание в потоке событий с чем-то вроде мастерства прорицателя. Люди, прошлые или настоящие, могут быть истолкованы с помощью медитации, если мы постигаем науку о человеческой природе. Геродот многое понял в этой науке. И действительно, его главное величие заключается в его мудрости.

Обычные читатели, которые всегда мудрее своих мертвых наставников, обнаруживают, что он откровенно суеверен, верит в оракулов, в сны, в чудеса, ведет хронику многих тривиальных действий, многих тривиальных замечаний, чувствуют или испытывают к нему своего рода презрение. Но они очень мало знают о том, что содержится в этой огромной сокровищнице эпических событий. Они и не подозревают, со сколькими великими государственными деятелями, полководцами и царями-героями мог бы познакомить их красноречивый Галикарнасский. Пожалуй, только на его страницах мы можем увидеть в истинных пропорциях того человека из людей, Фемистокла, который на голову и плечи превосходит всех других государственных деятелей древнего мира. Там же, мы можем лучше всего узнать характер его современников, тех необыкновенных личностей, которые связывают героический и исторический периоды и составляют ступени, по которым мы спускаемся с высот мифа и басни на суровый уровень реальности. Такая эпоха требовала историка с особым характером. В нем должны были соединиться способность постигать поэтические мотивы поступков и торжественное красноречие, подходящее для описания деяний, проистекающих из такого источника. И то и другое было найдено в Геродоте. Он видел, как Провидение выводит человека на свет из дебрей мифологических времен, все еще наделенного многими героическими привычками, а его чело сияет от провидческого великолепия, но готового сбросить их одну за другой, а вместо них применить железную теорию и практику цивилизации.

Фукидид, всего на несколько лет моложе Геродота, оказался в центре самых необычных событий, порожденных преждевременным упадком цивилизационной системы. Греция не успела стать мудрой и великой в соответствии с законами, которые обычно регулируют созревание государств. Она была выжжена до плодоношения огненными конфликтами Медийской войны; и ее сила, приведенная в действие и оказавшаяся огромной сверх всяких расчетов, была немедленно использована честолюбивыми государственными деятелями, разделена на партии, направленные друг против друга, и таким образом истощена в мелкой борьбе. В Греции мы имеем пример государства, чья энергия, обращенная внутрь, разъедала себя концентрацией; это контрастирует с Римом, чья энергия, направленная наружу, постепенно ослабевала и терялась в результате расширения. Гений народа породил соответствующих историков. Рим имел своего проницательного, витиеватого, рассеянного, надменного и возвышенного Ливия; Афины - своего Фукидида, полного поэзии, более возвышенного, но сжатого, как оракул, и как оракул неясный.

Мало кто оценил величие этого человека. Обычные критики, которым не хватает показной демонстрации того, что называется философией, считают, что Фукидид не является философским историком, оставляя эту похвалу Гиббону, Юму или Вольтеру. Но каждый из этих великих писателей отверг бы похвалу таких людей. Фукидид в исторической литературе стоит выше соперничества или сравнения. В политическую атмосферу, в которой он жил, сумрачную от грозowych туч и непрекращающихся бурь, его глаз мог проникнуть насквозь и обнаружить все необычные фигуры, которые двигались под ней. Спокойно, с невиданных доселе высот умозрения, он созерцал различные группы генералов и государственных деятелей, рассеянных по его горизонту, проникал сквозь все маскировки в их характеры, обнаруживал их мотивы, распутывал их заговоры, придавал их тайным максимам язык, взвешивал и описывал их действия с беспристрастной проницательностью, которая среди историков принадлежит только ему. В этом заключается его философия. Общество, развитие которого он изучал, раздирали два антагонистических принципа - аристократия и демократия, борьба которых, не утихающая в свободных государствах, была тогда более ожесточенной, чем в любой другой период мировой истории. Чтобы дать возможность своим соотечественникам и потомкам понять всю цепь событий, он открыл длинную перспективу в прошлое, до того момента, когда эти противники появились на сцене, и пролил широкий свет на все их движения вплоть до того момента, когда Провидение сместило его с должности. Его концепция обязанностей историка, несколько отличающаяся от современной, была принята всей античностью, и каждый последующий писатель свидетельствовал о своем превосходстве, подражая ему. Он считал, что недостаточно рассказывать и описывать, но, открыв зал совета и усмирив бурлящую агору, он выводит на сцену живого государственного деятеля или демагога, развивая перед нашим слухом его взгляды, его представления об окружающих обстоятельствах и характерах, его проекты, его средства для их осуществления. То, что речи, приведенные в его истории, были произнесены в действительности, я ни в коем случае не утверждаю. Скорее всего, он почерпнул лишь суть из сообщений, а сам облек ее в те яркие выражения, которые за две тысячи лет не утратили своей свежести. Тем не менее, чем ничтожнее то, чем он был обязан отношениям других, тем выше должен быть его гений, его безошибочное чувство соответствия, его драматическая сила проецировать себя последовательно на целую галерею персонажей и верно истолковывать мнения, максимы, чувства каждого; никто не утверждает, что он когда-либо искажил хоть одного человека. И если рассмотреть эти речи с точки зрения красноречия, мысли или языка, то, я думаю, окажется, что почти по всем параметрам они могут сравниться с речами Демосфена. В каждом из них наблюдается особая экономия в управлении аргументами, в чувствах, в суждениях, в логическом тоне, в проявлениях индивидуальности, которые распространяются по всему тексту и придают ему окраску.

Недостатки - а таковые имеются - сводятся к некоторому магическому воздуху, указывающему на сознание превосходства, непременно, в большей или меньшей степени, оскорбляющего во всех случаях, и некоторой неприметности стиля, проистекающей главным образом из свободной манеры, в которой драпировка языка набрасывается на его идеи, что особенно заметно в орациях; его повествование по большей части свободно от этого недостатка. Кроме того, о каких бы фактах он ни рассказывал, их важность, по-видимому, усиливается его манерой обращения с ними. Он отбрасывает, как недостойное и себя, и читателя, все, что имеет второстепенное значение. Это, в сущности, просто мякина человеческих дел, которая цепляется за зерно действия, чтобы скрыть его, и должна быть отброшена читателем, если историк пренебрегает этим.

Обстоятельства времени придали его теме интерес и мрачность трагедии. Но это тем лучше подходило ему. Его гений наслаждался страшными картинами: битвами, чумой,

землетрясениями, всеобщей резней, штурмом городов, истреблением огромных армий. Его фантазия живо представляла себе все: чумные тумбы, несущиеся, захлебываясь мертвецами, к могильным предместьям, улицы Корсиры, залитые попеременно кровью демократов и аристократов, ожидаемую резню в Митилене, реальность в Мелосе, две тысячи гелиотов, отрезанных вероломством Спарты, резню в Платее, Скионе, Сицилии! Через все эти сцены мы проносимся вперед, содрогаясь, сострадаая, испытывая отвращение. Но мы не подавлены и не испытываем отвращения к человеческой природе. Наши симпатии все теснее прижимаются к историку, который не щадит ни одной мерзости, не удовлетворяет ни одной злобы, не попирает ни одного благородного принципа, не поддается ни одному соблазну предвзятости. Верный своему доверию, он всем говорит правду, никому - ни малейшей лести. Даже ради своей страны он не солжет. Именно она, с ее героической этикой и величием чувств, научила его высоким принципам, и он отплатил ей тем, что описал все ее ошибки, все ее прегрешения, все ее недостатки: в этом он поступил как великий и мудрый человек. Он готов был пожертвовать ради нее своей жизнью, но не пожертвовал своей совестью.

Его сменил Ксенофонт, писатель, которого трудно охарактеризовать. В характере его ума было что-то паразитическое, что заставляло его опираться на других в поисках поддержки, - на Сократа, на Кира, на Агесилая. Не способный играть в республике роль добропорядочного гражданина, он был бы тем редким явлением - добродетельным придворным. Исходя из этого, можно предположить тон его сочинений. Почти везде мы обнаруживаем мягкость, миловидность, скромность, которые незаметно проникают в сердце и создают впечатление, что он был человеком в высшей степени приятным и честным. Его благочестие также вызывает чувство умиления. Он никогда не упоминает богов, кроме как с должным почтением, демонстрирует сильное упование на Провидение и, согласно своим лучшим представлениям, оправдывает его пути перед людьми с искренней заботой. Стиль его сочинений, неизбежно гармонирующий с качествами его ума, полон сдержанности, отточенной элегантности, джентльменства, добродушия - тех самых характеристик, которые присущи популярному писателю. Читатели с умеренным пониманием везде улавливают его направление, могут сопровождать его, не запыхавшись. Он общителен, рассудителен, рационален, не предается заоблачным полетам, не ныряет из виду в океан спекуляций.

Ксенофонт, однако, заблуждался, когда считал, что именно он должен продолжить историю Фукидида. Это было похоже на то, как если бы Андреа дель Сарто взялся завершить картину, оставленную по частям незавершенной Микель Анджело. У него не было ни пронизательности, необходимой для постижения внутреннего плана картины, ни живительной энергии, чтобы сохранить напряженный трагизм действия, ни красок, чтобы гармонично сочетаться с тем, что он нашел нарисованным. Тем не менее, если рассматривать его в отдельности, у него есть большие достоинства. Некоторые сцены его истории, например, суд над полководцами, смерть Ферамена, битвы на Геллеспонте, демонстрируют силу замысла, размах и гибкость стиля, невиданные ни в одной литературе; а "Анабасис", без сомнения, его величайшее произведение, читается как хроника самого рыцарского рыцарского отряда. Попытка, какой бы вопиющей она ни была со стороны Кира, имела достоинство крайней смелости. Это была образцовая экспедиция, которая раскрыла Александру тайну Азии и показала, как мало опасностей таит в себе огромная империя, которую можно разбить вдребезги. Ксенофонт, который, молодой и отважный, сопровождал персидского принца и героических наемников на его службе, с восторгом созерцал физический облик Востока, его роскошное население, его бродячие племена, с триумфами его дисциплинированных и воинственных соотечественников над бесчисленными варварскими отрядами. Это видно по интересу и оживлению его повествования, в котором

суровые реалии превосходят по величию и дикости творения романтиков. Но не менее очевидно, что он не до конца понимал мораль этой сцены. Иначе он никогда не смог бы, имея перед глазами эти факты, попытаться в своей "Киропедии" рекомендовать своим соотечественникам те институты, которые сделали Персию со всеми ее богатствами постоянной добычей для малых республик Греции.

О других сочинениях Ксенофонта мало что можно сказать: они - петрушка и ржа греческой литературы, граничащие и украшающие ее вход, и поэтому их видят все. Но в большинстве из них есть своя прелесть. Даже в охотничьих трактатах, среди разведения собак, сетей, ножей, кабаньих копий и убийства животных, мы улавливаем проблески лучших вещей, - поляны, где заяц резвится при лунном свете, и травянистые возвышенности, росистые и благоухающие, где поэтичные, как она из Райлстоуна, лани выводят своих оленей на рассвете дня. Трактаты о государствах Афин и Спарты, как я полагаю, были ложно приписаны этому способному и опытному писателю. Это презренные произведения, созданные в духе подневольного льстеца дорийцев и сатирика, столь же подневольного и глупого, более великой и бесконечно более интеллектуальной ионической расы.

Я опускаю историков, известных нам лишь по нескольким скудным фрагментам, чтобы сразу перейти к ораторам, своеобразному украшению и гордости Греции, чьи величайшие государственные деятели были столь же великими ораторами, особенно в Афинах, где красноречие как искусство культивировалось наиболее усердно и достигло величайших триумфов. Традиция приписывает Фемистоклу, Периклу, Алкивиаду непревзойденное умение направлять потоки человеческих симпатий, и ощущение их славы долго сохранялось в высших кругах общества, как солнечный свет на Альпах, после того как они покинули этот мир. Но поскольку они не пополнили запасы литературы своей страны, нам нечего о них говорить. Однако ораторов, чьи фрагменты время не смогло уничтожить, достаточно, чтобы если не утолить нашу жажду восхищения, то хотя бы показать грандиозностью своих пропорций, насколько великим и славным должно было быть аттическое красноречие, когда оно было полным. Как никакая другая область литературы, оно является результатом терпения и труда. Человек может родиться с инстинктами красноречия - фантазией, конституциональным огнем, яростью, - но если эти инстинкты не будут развиты и обучены искусным искусством, природа напрасно одарила его своими дарами. Эти истины рано поняли в Афинах. Было ясно, что без красноречия политическое превосходство недостижимо, и поэтому все, кто стремился

"овладеть по своему желанию этой свирепой демократией".

подвергали себя курсу трудоемкого обучения, которому наши более флегматичные натуры не подчинились бы.

Результаты мы можем частично наблюдать в том своде афинских ораторских произведений, который для автора и государственного деятеля сам по себе является библиотекой. Там можно увидеть все законные формы красноречия. У Антифона и Андокида оно предстает в грубой простоте, с использованием ухищрений и искусства, но с их неловким применением. Лисий значительно превосходит их, облекает свой стиль в изящество, строит повествование с необычайным мастерством и вызывает страсти с помощью значительного пафоса. Исократу свойственно недооценивать современников, которые вторят друг другу: их нежные уши, оскорбленные его слишком хорошо сбалансированными периодами, его антитезами, его монотонными каденциями, отказываются наслаждаться той величественной гармонией и величественным потоком языка, которые рекомендуют мысли этого "красноречивого старика", чей величайший панегирик произнесен Платоном^[992] в "Федросе". В Иссеосе мы

имеем аргументированного, умелого защитника; в Дейнархе - энергичного обвинителя; в Демадесе - силу великолепной импровизации; в Ликурге - благородные чувства, облеченные в поэтический язык, надменный патриотизм, грубые добродетели стоика; в Эсхине - союз великолепного стиля, мыслей, полных веса, восхитительного расположения, теплоты, живости, остроумия. Однако Демосфен намного выше Эсхина, намного выше всех. Природа наделила его всеми качествами, составляющими красноречие, - оригинальностью, любовью к труду, ясной головой, горячим сердцем, безошибочным суждением, стремительной энергией, совершенно неотразимой.

Изучение творчества этого писателя производит необычайное впечатление. Кажется, он никогда не тратит все свои силы. Вы видите, как он, действительно, сносит все на своем пути, одолевает аргументы и золото Филиппа, сокрушает соперников, уничтожает врагов; но вас не покидает убеждение, что он мог бы сделать больше. Среди волн и пены его ужасного красноречия вы обнаруживаете, что этот огромный океан никогда не был взбуроражен до дна, что повод никогда не вызывал на поверхность все его скрытые силы разрушения. Он соизмеряет себя со своим противником и уверен в победе. Он представляет фронт, оцетинившийся самыми смертоносными остриями логики, подобно копьям македонской фаланги, и куда бы он ни двинулся, он непобедим. Тем не менее, кажется, что он ничего не делает ради эффекта, не ищет никаких красот стиля, а скорее избегает их. Он не задрапирован, не разукрашен, не украшен; это голый колосс, чья возвышенность истекает из совершенства и величия его пропорций.

Другие ораторы убеждают, Демосфен - убеждает. У тех, кто его слушает, нет выбора - они должны верить. Не оскорбляя гордости читателя, он заставляет его стыдиться колебаний. Он напоминает Нил у катаракты, где, ограниченный скалами в слишком узких пределах, он с сопротивлением льется по течению, вздыбленный, глубокий, с разбросанными водоворотами и пеной, едва заметными на его огромной поверхности, кажущийся спокойным на небольшом расстоянии, но, для тех, кто смотрит вблизи, взволнованный, сердитый, полный [неудержимых](#) течений и кипящего движения. Он глубоко изучил человеческую природу, главным образом, конечно, в ее свободном развитии, и лучше, чем кто-либо другой, знал, какие мотивы могут побудить ее, несмотря на разложение и вырождение, к энергичным действиям, хотя и на короткое время. Его язык, пробиваясь сквозь окружавший его моральный мрак, вызывал яркие отблески во всем, что было блестящим или отполированным, и разжигал осколки патриотических чувств в пламя. Если гений мог возродить, влить кровь молодости в жилы возраста, заменить возвышенность чувств, героическую смелость, бескорыстную любовь к родине, религиозную веру, духовность на чувственное самообольщение, на подлую скупость, на низменное недоверие к Провидению, то Демосфен возродил афинскую молодежь. Все его периоды дышат духом старой демократической конституции. Он стоит на последней защите республиканского мира, когда все остальное было разрушено, представитель благородной, но погибшей расы, галантно, хотя и тщетно, сражающийся за сохранение священного осколка от ног губителя. В нем, кажется, сконцентрированы страсть и сила демократии. Он объединяет в своем характере все богатейшие дары природы под руководством самого совершенного искусства, и, несомненно, Хьюм был прав, когда сказал, что из всех человеческих произведений его работы ближе всего подходят к совершенству.

Дальше этого пункта не стоит идти, рассматривая греческую литературу, которая после Херонейской битвы была заслонена деспотизмом и постепенно сходила на нет. Не то чтобы гений полностью и внезапно исчез. Почва эллинского интеллекта не была полностью истощена, но плоды, которые она приносила, были сравнительно скудными. На всех вещах

лежала печать придворного . Люди больше не подчинялись своим истинным порывам. Быть откровенным и мужественным было опасно и всегда невыгодно. Вместо того чтобы обращаться к здоровым естественным симпатиям народа, писатели подневольно трудились, используя чванство и лесть, чтобы вырвать у принцев неохотное покровительство. Дух жеманства, соответственно, впервые заявил о себе. Люди мучительно пытались изобрести умные вещи. Энтузиазм, страсть и искренность, присущие популярным писателям, никогда не были в моде среди придворных, которые считают искренность вульгарной, а лицемерие - добродетелью. Поэтому в поздних греческих писателях, которые все писали для того или иного двора, мы обнаруживаем обычную фригидность и экстравагантность, которые неизменно уродуют литературу таких государств. Наряду с этими недостатками встречаются и другие, гораздо более пагубные: насаждение эгоизма, грубой чувственности, низменных правил, развращенного вкуса. Человек в диком состоянии - это сад, в котором растут вместе вредные сорняки и самые прекрасные цветы и полезные растения; в цивилизованном и свободном состоянии он представляет собой тот же сад, очищенный, насколько это возможно, от сорняков; но, когда он во второй раз переходит в варварство, сорняки снова становятся пышными и полностью заглушают или скрывают цветы. Так же происходит и в литературе. В литературе Греции, Рима и современной Италии мы можем наблюдать полный процесс; в нашей же - только часть, но насколько большая часть - не мне об этом спрашивать.

970. Говоря о влиянии литературы на образование, Платон замечает, что люди, привыкшие с младенчества к более высоким и чистым вдохновениям музыки, будут с презрением относиться ко всему подлому и нелиберальному; тогда как те, кто всегда был знаком с низкими и вульгарными сочинениями, будут смотреть на всю остальную литературу как на укрощенную и бессодержательную.- De Legg. vii. t. viii. p. 30.

971. Cp. Lil. Gyrالد. Opp. t. ii. p. 2. "Nihil traditum videbis in religionibus et mysteriis, nihil in theologiâ et philosophiâ aliisque bonis artibus à principio fuisse sine poeticâ, ita ut hoc verè me tibi dicturum existimem, ex omnibus disciplinis unam hanc divinam extitisse, quasi totius vitæ magistrâ."

972. Plato de Repub. t. ii. p. 113. seq. Stallb.-De Legg. t. vii. p. 243. Bek. Athen. i. 24. Paus. ix. 27. 2. Диог. Laert. Proœm. iv. 5.

973. Muret. in Plat. Rep. p. 699. seq. Cp. Lil. Gyrالد. ii. 5. Wolf. Proleg. in Homer. p. 51.

974. Cp. Wolf. Proleg. in Hom. p. 73. 93. sqq.

975. Anim. ad Athen. xii. p. 371. Cp. Suid. v. Ῥαψωδοί. t. ii. p. 678. Etym. Mag. 703. 32. Aristoph. Concionat. 674.

976. Ῥαψωδὸν δὲ, καλῶς Ἰλιάδα καὶ Ὀδυσσεὺς ἀν ἣ τι τῶν Ἡσωδείων διατιθέντα, τάχ' ἂν ἡμεῖς οἱ γέροντες ἤδιστα ἀκούσαντες νικᾶν ἂν φαίμεν πάνπολο.-Plat. de Legg. ii. t. vii. p. 243. Bekk. Опять: Ἄμα δὲ ἀναγκαῖον εἶναι ἔν τε ἄλλοις ποιηταῖς διατρίβειν πολλοῖς κάγαθοις καὶ δὴ καὶ μάλιστα ἐν Ῥήρῳ κ. τ. λ. Ion. Plat. Opp. t. ii. p. 172.

977. Ὅτι δ' ἐκαλοῦντο οἱ Ῥαψωδοὶ καὶ Ὀμηρισταὶ Ἀριστοκλῆς εἴρηκε, κ. τ. λ.-Athen. xiv. 12.

978. Атен. xiv. 12.

979. Диог. Laert. ix. 18.

980. Ῥαψωδῆσαι φησὶ πρῶτον τὸν Ἡσιοδὸν Νικοκλῆς.-Schol. Pind. Nem. ii. 1. Cp. Dissen. ad loc. Wolf. Proleg. p. 96. sqq.

981. Schol. Pind. Nem. ii. 1. Etym. Mag. 623. 50.

982. Пейн Найдт, Proleg. in Hom. § 13. 28.

983. Athen. i. 16.

984. Cp. Sigon. de Rep. Hebræorum v. 9. Godwin, Moses et Aaron, i. 6.

985. Но δόμων προφῆται у Эсхила (Agam. 377 Klausen) были домашними пророками, которые не только раскрывали тайны будущего и толковали сны, но и выступали в роли советников в настоящих чрезвычайных ситуациях и хранили записи о прошлом. Аполлона называют пророком Зевса, потому что он получает от него оракулы.- Eum. 19. 618. Так Амфиарос назван великим пророком.- Sept. c. Theb. 611.

См. комментарий Клаузена, Agam. p. 143. seq.- Замечание о домашних толкователях снов δόμων ὀνειρόμαντες и снова κριταὶ τῶν ὀνειράτων (Choer. 36. 39), встречается в нескольких частях Эсхила, который любил приводить черты этих старых суеверий. В "Персах" Атосса говорит о τῶν ἐνυπνίων κριτῆς (226) как о человеке, обладающем сверхъестественными способностями.

986. Iliad β. 590. sqq. Payne Knight, Proleg. § 74.

987. De Rep. x. 4. t. ii. 318. Stallb.

988. De Rep. x. 7. t. ii. 336.

989. Пьесы этого поэта, как и пьесы Шекспира, в последующие века были переделаны для постановки на сцене - Quint. Instit. Orat. x. 1. Оратор Ликург добился принятия постановления, предписывающего копировать трагедии трех поэтов и воздвигать статуи в их честь -Plut. Vit. x. Orat.

990. В Греции звучал ранней весной.- Сибторп, в Walp. Mem. i. 75.

991. Этот писатель, как и большинство его поэтических современников, постоянно носил прикрепленными к платью скрижаль и стилос.-Athen. xiii. 45. На самом деле использование памятных книжек было обычным делом.- Sch. Aristoph. Vesp. 529.

992. Opp. t. i. p. 105. seq.- Говорят, что он получал тысячу драхм за каждого своего ученика.- Dem. cont. Lacrit. § 11.

ГЛАВА XI.

ДУХ ГРЕЧЕСКОЙ РЕЛИГИИ.

Независимо от того, получили ли греки свою самую раннюю систему философии с Востока, как принято считать, или сами изобрели ее, как мне кажется наиболее вероятным, я не сомневаюсь, что, занявшись философскими спекуляциями, они проявили в этом деле смелость и оригинальность, терпение в исследованиях, силу комбинирования, которую редко, если вообще когда-либо, повторяли в последующие времена. В течение нескольких

веков, правда, со времен Фалеса и до Сократа (600-450 гг. до н. э.) физические исследования и изыскания занимали философов Греции. Они считали, что в силах человека открыть природу основных элементов, из которых состоит мир, и законы, регулирующие его формирование.^[993] Происхождение также человеческого рода, о котором пока ничего не известно, кроме того, что было открыто, естественно, пробуждало их любопытство и приводило ко многим теориям, диким и фантастическим в высшей степени.

Я не собираюсь рассматривать их; но у греков была другая философия, которая, опираясь на теологию, включала в себя религию, мораль и политику и может рассматриваться как инструмент, душа и мера их цивилизации. Кажется, часто упускается из виду истина, что человек цивилизован ровно настолько, насколько он религиозен; по крайней мере, так было в Греции, где высшее развитие национального разума совпало в Сократе и Платоне с максимальным развитием религиозного инстинкта, и сразу же начало падать в Аристотеле и его преемниках, дойдя до самой низкой степени деградации среди ропщущих софистов нижней империи. Этот раздел философии занимал у греков то место, которое в наше время отводится религии,^[994] то есть был их проводником в этой жизни и подготовкой к лучшей. Ее можно рассматривать как духовную часть язычества, которая учила человека его обязанностям и объясняла основания и мотивы, которые должны приводить к их исполнению.

Есть один пункт веры, без которого, конечно, не может существовать ни одна религия, - вера в Бога. Без нее можно усомниться в том, что человек или нация не должны быть причислены к низшим животным, а не к людям. Поэтому излишне говорить, что греки, наделенные высшими качествами человечества, были религиозным народом и твердо придерживались всех доктрин, дающих право на такое название. От своих предков, пеласгов,^[995] они унаследовали чистый и возвышенный теизм, который, похоже, всегда оставался религией более просвещенных; в то время как среди основной массы народа эта главная истина религии постепенно окружалась постоянно расширяющейся атмосферой басни, которая затемняла ее яркость и в значительной степени скрывала ее форму. Мистер Митфорд, чей острый и философский ум ясно видел эту истину, похоже, также понимал ее причину. "Твердая вера как в существование Божества, так и в обязанность общения с ним, повсеместно преобладала в ранние века. Но религия тогда была общей заботой всех людей, священнический орден был неизвестен".

Учреждение ордена священников, каким бы образом оно ни осуществлялось, почти неизбежно искажало простые истины религии, но в высшей степени нефилософски считать этих древних священников самозванцами или говорить об их распространении заблуждений как о ремесле. Размышляя в уединении и одиночестве над теми немногими истинами, которые дошли до них по преданию или были открыты разумом, они вскоре пришли в замешательство и впали в суеверие.^[997] Как это было вполне естественно, они решили, что Божество должно желать подавать им знаки, указывающие, что следует делать и чего следует избегать. Ошибка, когда в более ученые и утонченные века часто принимали сопутствие за причину, подтвердила бы их мнение. Например, они обнаружили бы, что за полетом определенных птиц над головой, появлением змеи на их пути, явлением определенных предметов во сне в порядке времени следуют определенные несчастья, в то время как за другими явлениями следуют противоположные события. Из этих наблюдений возникла наука авгуров, гаданий и т. д. Однако изобретатели не были самозванцами, а скорее, по своим намерениям, благодетелями человечества и заслуживали соответствующего уважения.

Подобным образом следует объяснить и возникновение многобожия. Это было злоупотребление индуктивным методом философии. Как только люди начали наблюдать за природой и делать выводы из увиденного, они поняли, что солнце и луна^[998] оказывают необычайное влияние, благотворное или вредное, на человечество и мир, который они населяют; И не было ни противоестественным, ни абсурдным предположение, что эти славные тела, чей восход и заход, чье приближение или отдаление вызывали у них радость или меланхолию, комфорт или дискомфорт, добро или зло, должны сами обладать разумом и силой или, по крайней мере, быть населены и управляемы существами, которым они дали имя богов. Воздух, "который дует, где попало, а ты не можешь сказать, откуда он приходит и куда уходит", проносающийся вокруг них невидимо и проявляющийся только в своих эффектах, тоже вскоре получил ранг божества,^[999] как океан, который кажется живым во всем своем объеме, и земля, от неисчерпаемой щедрости которой мы живем.

Из этих элементов священнослужители Греции создали свою религию, которую, однако, ни в коем случае нельзя считать системой материализма. Они считали, что каждая часть природы одушевлена своей особой душой, так же как и все остальное, как единое целое, имеет одну универсальную душу, являющуюся источником всех остальных. Их мифология была основана на единстве. С каждым шагом назад число богов уменьшалось, пока, наконец, мы не пришли к Великому Единому, окруженному непостижимым великолепиям вечности. Это и есть тот θεὸς ὁ θεῶν Ζεὺς, о котором постоянно говорят Платон^[1000] и Аристотель, когда употребляют выражение τὸ δαιμόνιον.^[1001] Философия, действительно, считала своей главной задачей избавить людей от множества заблуждений относительно природы Бога и наших обязанностей по отношению к нему, так что в их умозрительных представлениях можно обнаружить очень мало отличий от наших собственных. Прежде всего, Платон стремился возвысить сферу философии. В его произведениях она, по правде говоря, часто перемещается в пределы теологии и редко покидает их, разве что для того, чтобы привнести духовность в политику и мораль.

Этот великий человек, чье глубокое почитание Божества равнялось, возможно, почитанию самого Ньютона, считал, что счастье человека состоит исключительно в познании Бога, о характере и свойствах которого он заботился, чтобы у него не возникало недостойных представлений. Его доктрина заключалась в том, что "мы должны всегда описывать Бога таким, каков он есть". Но, как хорошо заметил Муретус, это требовало слишком многого от человеческой природы, ибо, несомненно, мы никогда не говорили бы о Боге, если бы ждали, пока откроем язык, подобающий Его величию. "Ибо человеческий разум не способен постичь сущность Бога; природа Бога известна одному Богу; Он один прекрасно понимает Себя и в Себе все. Человеческий разум тускнеет, созерцая тот величественный свет, чья яркость превосходит все другие огни; и в той мере, в какой он стремится смелее воспарить, он сознает, что падает ниже своей великой цели." Египтяне выразили то же убеждение в знаменитом эпитафье на основании покрытой вуалью статуи Нейт в Саисе: "Я есть все, что было, есть и будет, и ни один смертный не отдернул моего покрывала". С той же целью Симонид сказал Гиерону, что "чем больше он созерцал Божественную природу, тем меньше, казалось, постигал ее". А Сократ в "Филебосе" Платона замечает, что он вздрагивал, когда нужно было произнести Великое Имя, чтобы не наделить его каким-нибудь недостойным эпитетом.

Похоже, что представление о Всевышнем у греческих богословов было почти таким же, как и у нас, хотя в соответствии с распространенными предрассудками они часто использовали множественное число для единственного. Его характеристиками были благость, сила и знание, которые по сути совпадают с типами современных богословов: благость,

неизменность, истина, - в обоих случаях ведущую роль играла благость, а остальные условия полностью соответствовали друг другу. Ибо в высшей силе и высшей мудрости должны быть неизменность и истина, поскольку Всемогущий может делать все, что пожелает, и всегда должен делать то, что правильно.^[1003] В соответствии с этими взглядами духовная философия Греции утверждала, что Божество не является источником зла, хотя у поэтов то тут, то там можно обнаружить следы совершенно иной теории. Так, рассказывая о бедствиях, вызванных гневом Ахилла, Гомер говорит

Διὸς δ' ἐτελείετο βουλή.

И, опять же...

Ζεὺς δ' ἀρετὴν ἄνδρασιν ὀφέλλει τε, μινύθει τε

Ὅππως κεν ἐθέλησιν.^[1004]

Так, опять же, две вазы во дворце Зевса, из которых он раздавал человечеству добро и зло.^[1005] Гесиод также представляет Зевса, хвастающегося тем, что вместо огня он даст людям проклятие:-.

Τοῖς δ' ἐγὼ ἀντὶ πυρὸς δώσω κακόν

Но во все века люди возлагали свои несчастья на Провидение. Однако, хотя представления людей о Боге и справедливы, на их поведение это не повлияет, и религия, правильно говоря, не возникнет, если не верить в несколько других истин. Должно быть установлено не только то, что создатель вселенной по-прежнему заботится о своем творении и будет наказывать всех, кто стремится нарушить работу машины, вызывая к раскаянию за проступок, но и то, что человек - не беглое существо, которое может вырваться из рук Бога, сжавшись до аннигиляции, а существо, которое в соответствии со своей волей должно пройти огромный круг вечности, со-существуя с самим Богом.^[1006] Это великий краеугольный камень религии: без этого люди будут верить, что даже Всемогущий не может иметь над ними власти; что они умирают, и их ответственность прекращается. Доктрина бессмертия, однако, повсеместно открывала перед человеком небеса и настраивала его на поиск ведущих туда ступеней, и в то же время сдерживала его смелость и отравляла его виновные удовольствия.

С самых отдаленных времен бессмертие души составляло главную догму в религии Греции и обязательно сопровождалось убеждением, что добрым людям бессмертие принесет счастье, а злым - наоборот. Гомер полон этого, а также басен, в которых враги Бога, отцеубийцы, убийцы, совершившие нечестие и зло, после смерти изгоняются в глубины Тартара, в то время как добрым приписываются различные степени славы и счастья, не совсем похожие на то, что возвышенно освещено святым Павлом. Например, та часть Геракла, которая является божественной, возносится на небеса: Ахилл наслаждается вечным спокойствием Островов Блаженных; и вообще каждый добродетельный человек, правильно исполняющий свой долг, возносится в уготованную ему обитель на звездах, чтобы жить там вечно в счастье.^[1008] Они учили, кроме того, что дух человека имеет небесное происхождение: без этого мы жили как многие животные. Но Бог даровал нам бессмертную душу, чтобы она, как ангел-хранитель, следила за телом, и поместил ее в самой высокой части нашего каркаса, чтобы научить нас смотреть вверх и помнить о своем рождении, - о том, что люди не глиняные создания, а дети Божьи и наследники бессмертия.^[1009]

Однако тех, кто понимает строение человеческой природы, не удивит, что греки, лишенные откровения, не довольствовались простым догматом о бессмертии, обретаемом в виде наград и наказаний, а представляли себе возвращение души на землю и ее прохождение через длинную череду тел, пока пятна,^[1010] полученные во время первого пребывания, не будут стерты: Таким образом, их ад был своего рода чистилищем и, несомненно, подсказал римской церкви первоначальную идею этого промежуточного места. Религиозная часть языческого мира, особенно те, кто проходил через церемонии искупления и обряды посвящения, твердо верили, что плохие люди встречаются в царстве Аида со справедливым возмездием за свои преступления и снова пускаются в жизненный путь, чтобы получить от других то, что те сделали им.^[1011] Хотя и в те времена не было недостатка в людях, которые претендовали на власть отпущения грехов, а то и на выдачу за умеренную сумму денег индульгенций и разрешений на грех. Эти отъявленные самозванцы, разумеется, покровительствовали только богатым грешникам, над головами которых могла нависнуть месть за преступления, совершенные ими самими или их предками (ведь греки также верили, что грехи родителей передаются детям в третьем и четвертом поколениях,^[1012]), выдавая себя за мастеров искусств и заклинаний, с помощью которых боги были вынуждены исполнять их молитвы.

Но пока вульгарные и суеверные люди пребывали в заблуждении, те, кто обладал более высоким образованием и умом, объединяли с верой в будущее более радостную веру в справедливость и благодеяния божества. Они открыли, даже с помощью света разума, что человеческая природа была извращена от своего первоначального совершенства, - что злой принцип был внедрен в нашу внутреннюю сущность, - что в нашем греховном состоянии мы враждуем с Богом и всем добром, - и должны быть очищены и примирены с ним молитвами и жертвами, прежде чем мы сможем вкушать счастье. В отношении молитвы мудрейшие греки придерживались представлений, не совсем неподобающих христианину.^[1013] Они достаточно хорошо понимали, что ее не следует рассматривать как просьбу к Богу о богатстве, славе или мудрости, или, как полагают невежественные люди, как нечестивое желание, чтобы Он ради нас отступил от Своих вечных целей; Но это всего лишь воспитание в нашем сознании глубокого почтения к Всемогущему, доверия к Его Провидению и мудрости, привычное добровольное раскрытие наших сокровенных мыслей и желаний, которые должны быть известны Ему, хотим мы того или нет. Поэтому великий философ древности^[1014] просто молился о тех вещах, которые Богу было угодно послать, и что если он попросит о чем-то неправильном, то ему может быть отказано.

Несомненно, верно, как заметил мистер Митфорд^[1015], что боги в Гомере иногда представлены благосклонными к виновникам несправедливости. Но это противоречит общему тону греческой религии, согласно догматам которой, у каждого обиженного человека был свой Эринний, который мстил за все обиды и насилие, которые он мог претерпеть. Даже животные были включены в круг защиты этого благодетельного суеверия, а богу Пану было поручено наказывать за совершенные по отношению к ним злодеяния,^[1016]

"Когда стервятники, скорбя безмерно,

Оплакивают потерянное сокровище своего сердца,

И над их опустевшим гнездом, в мучительном горе,

Проходят туда-сюда,

на своих крыльях, похожих на весла,

Упуская задачу, которая приносит

Радость, посылают свой пронзительный вопль ввысь,

Аполлон, Пан или Зевс слышат их вопли,

Призывают Эринийцев, хоть и с опозданием,

Наказание, предписанное судьбой.

Чтоб навести на губителей дальних и ближних".

Еще одна доктрина, которую мы вряд ли ожидали обнаружить в язычестве, тем не менее, составляла часть греческой религии, - я имею в виду силу покаяния. Правда, во всех случаях это не помогло бы. Законы природы (πετρωμένη, судьба) будут действовать независимо от поведения и склонностей человека; но во всех остальных случаях слезы^[1017], пролитые втайне, торжественные религиозные акты и глубокое раскаяние должны были умиротворить гнев Небес. Кроме того, когда на людей обрушивались несчастья, они не обязательно считались злом; ведь страданиями душа, по их мнению, очищается, наказывается, наделяется мудростью.

"Сладостна польза от невзгод".

и, следовательно, те испытания, которые невежество считает злом, в большинстве своем, если не во всех, являются всего лишь проявлениями милосердия, призванными очистить душу от греха и вернуть духу его первоначальную яркость.^[1018] Считалось, что с помощью этих средств нарушители закона искупают свои преступления. Воспоминания преследовали их даже во сне. Их страдания вставали перед ними, обступали их и невидимыми полосами побуждали вступить на ее путь, "чьи пути - пути приятные, и все пути - пути мира".

Но над нераскаявшимися нечестивцами вечно тяготело возмездие; ни богатство, ни звание не могли купить безнаказанности, в чем босоногие монахи и ослы того времени были готовы убедить легковверных и слабоумных. Долго сдерживаемый, гнев богов наконец обрушился ливнем, полностью уничтожив злодеев.^[1019] Так погиб Парис, нарушитель брака и гостеприимных обрядов; так погибли Клитемнестра и Егист, прелюбодеи и убийцы; так погиб весь дом Œdipos, вовлеченный в невообразимый цикл страданий и преступлений. Кроме того, промежуток между совершением вины и ее окончательным наказанием был отдан Эриниям,^[1020] тем страшным и таинственным силам возмездия, чей бездыханный путь после преступления с такой возвышенностью изображен Софоклом. Эти божества, мгновенно рождавшиеся при каждом незаконном пролитии крови, вечно шли рядом с убийцей до самой его могилы, - только для него одного видимые, только для него одного слышимые.

Грубые и плотские умы умудрялись, правда, в случае меньших проступков, оставаться слепыми к этому уродству, пока молодость, здоровье и процветание накладывали свои иллюзии на их путь. Но возраст в этом вопросе обострил их зрение. Когда они приближались к краю могилы, пороки, доселе столь прекрасные и привлекательные, казались им более дряблыми, отвратительными и нелюдимыми, чем их собственные нечистые лики, и тогда они охотно расстались бы с ними. Но нет! Будучи товарищами по собственному выбору, Зевс приковал их к себе до последнего, если только раскаяние не разорвет эту связь; и их страшные вопли днем и ночью нарушали их покой, томили их чувства, удесятерили их ужасы, а пот, слезы и мучительные вопли вырывались из них даже во сне. Таким образом,

нечестивцы, оказавшиеся в глубочайшей тьме язычества, не были полностью оставлены на произвол судьбы. Но Бог оставил Себя свидетелем в их сердцах и установил свет, с помощью которого они могли бы правильно, по своему усмотрению, направлять свои стопы. Правда, кардинальные истины религии тогда воспринимались весьма несовершенно, чтобы добраться до них, людям приходилось пробиваться сквозь скорлупу многочисленных басен, а когда они были найдены, ими приходилось наслаждаться по большей части втайне, вдали от шума амбиций. Дело не в том, что люди отказывали в симпатии добродетели, - общественное мнение никогда не бывает столь развращенным, - а в том, что в мире всегда существовало сильное течение, уводящее людей в сторону от пути долга и святости.

Ко всему этому, несомненно, примешивалась некоторая доля фанатизма. Священство, орден людей, которых много клеветают, но без которых общество было бы гораздо хуже, чем оно есть, находило необходимым заманивать людей в лоно своей церкви навязыванием церемоний, жертвоприношениями и таинственным раскрытием определенных истин при исполнении определенных обрядов. Как видно, я упоминаю о таинствах. По случаю посвящения, как бы намекая на то, что люди не могут быть добродетельными или религиозными по доверенности, каждый человек становился своим собственным священником и приносил жертву^[1021] за себя. Но в чем заключалась сама инициация, никто не знает. Античность ничего не открыла, и мы ничего не можем открыть. Поэтому гипотезы ученых - это всего лишь мечты и пустая трата изобретательности; ведь если они случайно и попадут в цель, то не существует никаких средств, чтобы доказать, что они это сделали. Но мы уверены, что широко распространилось убеждение, что посвященных ожидает блаженное бессмертие. Предполагалось, что они обладают большей степенью святости, вокруг их лиц накладывалось заклятие, в опасных ситуациях они испытывают меньше страха смерти. Например, в шторм, на море, когда казалось, что корабль вот-вот затонет, люди спрашивали друг друга: "Ты прошел инициацию?". И все же среди философов самые мудрые и лучшие иногда пренебрегали этим популярным завершением благочестивой жизни. Сократ не принадлежал к этой общине, и это обстоятельство облегчало ему обвинение в нечестии, в те времена более жестокое, чем сейчас, поскольку считаться враждебным богам было самым верным способом нажить себе врагов среди людей. Далее, нет необходимости в том, чтобы я входил в языческую веру, которая лишь случайно, поскольку она затрагивала нравственность, относится к моей теме.

Но во всех странах существует незначительный цикл суеверий, который, пожалуй, сильнее, чем что-либо другое, рисует особенности национального характера. На севере, как мы знаем, эти коренные верования пережили все изменения в общественном вероисповедании и будут существовать до последнего, задерживаясь среди наших лесов, наших руин, наших залитых лунным светом лугов, наших церковных дворов, у наших костров. Феи, ведьмы, призраки, гоблины не могут быть обращены в бегство никакими достижениями цивилизации. Они плавают на наших пароходах по океану, ездят с огромной скоростью по железным дорогам, ложатся в постель с первой леди страны и даже устраиваются под жилетом государственного деятеля.^[1022] У нас эти воздушные существа, или призраки преступлений, слишком часто принимают гротескный или дьявольский облик, но тем не менее они поддерживают в народном сознании дух романтики и поэзии, один из неизменных помощников религии. Мифология редко доходит до этих примитивных суеверий, которые, однако, составляют основу всей науки, а в Греции во многих случаях принимали формы красоты, аналогичные ее более возвышенным и поэтическим басням.

То место, которое в нашей народной мифологии занимают "феи со светлыми песками", в Греции занимали Гамадриады и Нимфы.^[1023] Ни один лес, ни одна роща, ни одно одинокое

дерево, ни один фонтан или ручей в заросшей мхом келье или деревенской пещере не существовали без своего сосуществующего божества, в целом женского пола, наделенного красотой и благотворным инстинктом. Эти существа, арабские джинны и джинны, распространяли свое господство на все мелкие ручьи и в тишине и покое ночи развлекались на посеребренных луной волнах; но божества великих рек, таких как Ачелоос, Пенеос и другие, были мужского пола. Будучи лишь на несколько степеней выше человечества, они часто очаровывали смертных, которым они являлись в прекрасном виде среди мерцающих лесов, на рассвете или в сумерках, или когда

"над головой луна

Колесит бледным курсом".

Однако не всегда любовь нимфы оказывалась благословенной. Бывали случаи, когда, на мгновение открыв свои сверхчеловеческие чары пастуху в его романтическом уединении или поэту, поклоняющемуся музам в одиночестве, у вдохновляющей горы или источника, они снова капризно удалялись и оставляли пораженного видением человека тосковать или, возможно, умирать.

Греки также не были полностью лишены веры в злых духов, ведь демон Аластор,^[1024] который был обожествлением принципа, подстрекающего к преступлению и затем приносящего возмездие, никоим образом не может считаться добрым. Тифон, а также гиганты и титаны, по крайней мере, имели преобладание зла в своем характере, но они подробно рассмотрены мифологами. В Греции было распространено несколько суеверий, которые принято считать исключительно восточными, например, что люди с помощью определенных заклинаний могли покидать свои смертные формы и блуждать по земле в бесплотном виде. С помощью волшебных колец и шлемов они могли становиться невидимыми и, защищенные таким образом, проникать в тайные покои королей, осквернять их жен и расхищать их сокровища.^[1025] Кроме того, они обладали средством, которое в те века путали со сверхъестественной силой, очаровывать ядовитых змей, как это по сей день делают подданные нашей Восточной империи и ловцы змей в Египте; и хотя теперь известно, что опиум составляет немалую часть этого очарования, люди целом, как на Востоке, так и на Западе, считают, что используются другие воздействия, чем те, которые дает законное искусство.

Возможно, в более поздние времена не было той безграничной веры в заклинания и превращения, которая до сих пор сохраняется на Востоке. Но в более ранние века, в мрачных горных глубинах Аркадии, происходили не менее странные события. Так, Ликаон, принес в жертву Зевсу Ликеосу младенца и окропив кровью алтарь, тут же превратился в волка;^[1026] и сообщалось, что любой, кто совершал это ужасное жертвоприношение, а затем случайно вкушал человеческие внутренности, смешанные с внутренностями других жертв, тут же подвергался такому же превращению.^[1027] Таким образом, мы находим мрачную легенду о бретонских лесах, существующую в самом сердце Пелопоннеса, где, боюсь, мало кто сомневается, что человеческие жертвы обычно приносились в жертву. Другое древнее суеверие, проникшее в Италию, гласило, что человек, впервые увидевший волка, теряет голос, в то время как если он предварительно взглянул на животное, то никакого зла не происходит.^[1028]

Вера в призраков, несомненно, существовавшая вместе с человеком, особенно процветала у греков. Гесиод придерживался особых представлений на этот счет, которые, как полагают некоторые, были заимствованы с Востока, то есть он верил, что добрые люди прежних времен становились после смерти духами-хранителями и им поручалась^[1029] забота о

будущих расах. Платон принимает этих призраков и допускает их в свою Республику, где они играют важную роль и получают особые почести.^[1030] Когда они появлялись, как иногда и днем, их лица были бледны, а формы бесплотны, как творения сна.^[1031] Но, как и у нас, для своих шалостей они предпочитали ночь, а в Аркадии, в частности, появлялись перед честными людьми, поздно возвращавшимися домой, на перекрестках дорог и в таких местах, откуда их нельзя было выгнать, только закидав гранулами из хлебного мякиша, о который люди вытирали пальцы, заботливо сохраненными для этой цели добрыми людьми из Фигалеи.^[1032]

Однако самая замечательная проделка древних призраков, с историей которых я знаком, произошла не в Греции, а в римской Кампанье, где после кровопролитной битвы между римлянами и гуннами, в которой все, кроме генералов и их штаба, полегли, на поле появились две призрачные армии, призраки павших воинов, чтобы начать поединок заново. Целых три дня эти доблестные души героев, по гомеровскому выражению, вели борьбу, и историк, рассказывающий об этом факте, старательно отмечает, что они не уступали живым воинам ни в огне, ни в храбрости. Люди отчетливо видели, как они нападали друг на друга, и слышали лязг их оружия. Подобные представления можно было наблюдать в разных частях древнего мира. Например, на великой равнине Согда^[1033] призрачные армии, обладающие могучей храбростью, но не имеющие голоса, имели постоянную привычку вступать в смертельную схватку на рассвете. В Карию также было излюбленное место обитания этих воинственных фантомов. Но здесь явления были лишь эпизодическими, а все свои эволюции они совершали в воздухе, как это было в Англии, как нас уверяли очень старые люди, до начала американской войны. Еще одна схватка призраков происходила каждое лето в Сицилии на равнине Четырех Башен, но в этом случае все дело происходило в полдень, к немалой досаде Пана, который обычно в этот час устраивает себе сиесту, - то есть если бы они были так же шумны в своих сражениях, как кампанские призраки.^[1034]

Как и римские католики, греки очень верили в чудотворные образы, святые колодцы и т. д., и их потомки до сих пор придерживаются того же вероучения. Рядом с церковью Агия Парфеноз на Крите находится самый обильный фонтан, получивший свое название от тех же святых и чудотворных дев, которым посвящена церковь, и которые также являются хранителями вод. "Поклонение безголовому телу Молоса имеет параллель и в наши дни." Как критские христиане в течение многих лет почитали голову Тита, лишенную тела, так их языческие предки ежегодно чествовали религиозным праздником тело Молоса, известного отца Мериона, лишенное головы. Легенда, рассказанная для объяснения древней церемонии, на которой таким образом выставлялась безголовая статуя мужчины, гласила, что "после того как Молос овладел лицом нимфы, не получив предварительно ее согласия, его тело было найдено, но голова исчезла" Образ Богородицы отправился по воде из Константинополя в Грецию, где его вскоре увидели стоящим на волнах возле горы Афон. Подобные легенды существовали издревле. Около Биеннос на Крите^[1037] "были откопаны кости и черепа гигантов, многие из которых были в восемь или десять раз больше обычных людей."

Из различных способов проникновения в будущее,^[1039] распространенных среди людей, я могу упомянуть несколько. О пророчицах часто говорится в Писании, а в Деяниях апостолов^[1040] приводится рассказ о молодой женщине-рабыне, которая приносила своему хозяину большие суммы денег этим ремеслом, которое было цыганским. Были и другие, которые, как и многие восточные люди, утверждали, что понимают язык птиц. Порфирий описывает раба, обладавшего этим знанием, который, вероятно, был родом с Востока.^[1041] Один из видов гадания практиковался путем наливания капель масла в сосуд и смотрения на

него, когда они притворялись, что видят представление того, что должно произойти. В Египте это практикуется до сих пор, только вместо масла используются чернила, и многие путешественники, похоже, верят в это. Солдаты, отправляющиеся на войну, особенно часто впадали в подобное дурачество.^[1042]

Употребление святой воды при входе в храмы имеет большую древность. Этот обычай назывался *περίρρανσις*, и совершалось это действие ветвью удачной оливы.^[1043] У дверей храма стояла вместилище люстральная купель, содержимое которой делалось священным путем погашения^[1044] в ней зажженного клейма с алтаря; затем водой окропляли себя, молящихся или священнослужителя. Подобное устройство стояло у входа в Агору, чтобы очищать ораторов и т. д., идущих в общественное собрание. Кроме того, его ставили у дверей частных домов, где лежал труп, чтобы каждый мог очиститься, выходя из дома.^[1045] Суеверные люди обычно ходили по с лавровым листом во рту или иногда с лавровым посохом, поскольку в этом священном кустарнике заключена оберегающая сила: отсюда возникла пословица *δαφνίην φορῶ βακτήριαν*, - "я ношу лавровый посох", когда человек говорил, что у меня нет страха. Предполагается, что люди, не защищенные таким образом, пугались, если на их пути попадалась ласка или собака; от предзнаменования можно было избавиться, только бросив в нее три камня, так как число три было очень благоприятно для богов. Некоторые плоды не лопались на дереве, если при посадке дерева в одну ямку с семенем бросали три камня. Два брата, идущие по дороге, считали дурным предзнаменованием, если их случайно разделял камень. По любому пустяковому поводу богам воздвигались алтари и часовни, особенно женщинами; ни один дом или улица не обходились без них. Например, если в дом через карниз пробиралась змея, то сразу же воздвигался алтарь. В местах, где сходились три дороги, устанавливали камни, которым поклонялись путники, помазав их маслом. Если мышь прогрызла дыру в мешке с кукурузой, они бежали к толкователю снов и спрашивали, что им делать: "Заделать", - таков был иногда честный ответ. Ужасные сны^[1046] можно было оправдать и предотвратить их дурные последствия, рассказав их восходящему солнцу. Если свечи плевались, это было знаком дождя.^[1047] Во время грома и молнии издавали шум, называемый *ποππισμα*,^[1048] который, как надеялись, мог отвести опасность. На борту корабля моряки считали, что перевозка трупа может стать причиной кораблекрушения, как это случилось с судном, которое везло в Эвбею кости Пелопса.^[1049] Моряки Средиземноморья по этой причине отказываются принимать на борт мумии.

993. Ср. Диог. Laert. Pr. iii. 4. Ἀρχαῖος μὲν οὖν τις λόγος καὶ πατριος ἐστὶ πᾶσιν ἀνθρώποις, ὡς ἐκ θεοῦ τὰ πάντα, καὶ διὰ θεοῦ ἡμῖν συνέστηκεν.-Aristot. de Mund. с. 6. В с. 7. мы имеем любопытный список различных эпитетов Зевса, чье имя, по мнению Псевдо-Аристотеля, означает корень всего сущего: ὡς καὶν εἰ λέγοιμεν, δι' ὃν ζῶμεν. Эту мысль святой Павел выражает известными словами: "в Котором мы живем и движемся и имеем свое бытие". Затем автор трактата De Mundo цитирует из орфических фрагментов отрывок, доктрина которого сильно напоминает пантеизм Папы:

Ζεὺς πρῶτος γένετα, Ζεὺς ὕστατος ἀρχικέραυνος-

Ζεὺς κεφαλῇ, Ζεὺς μέσσα- Διὸς δ' ἐκ πάντα τέτυκται-

Ζεὺς πυθμὴν γαίης τε καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος-

Ζεὺς ἄρσην γένετο, Ζεὺς ἄμβροτος ἔπλετο, νύμφη-

Ζεὺς πνοιῇ πάντων, Ζεὺς ἀκαμάτου πυρὸς ὀρμή-
Ζεὺς πόντου ῥίζα- Ζεὺς ἥλιος, ἡδὲ σελήνη-
Ζεὺς βασιλεὺς- Ζεὺς ἀρχὸς ἀπάντων ἀρχικέραυνος-
Πάντας γὰρ κρύψας αὐτίς φάος ἐς πολυγηθὲς
Ἐξ ἱερῆς κραδίης ἀνενέγκατο μέρμερα ῥέζων.

Ср. Orphic. fragm. 6. p. 138.

994. "Делать добро всем", евангельская заповедь (Plat. Rep. i. § 9. p. 33. Stallb.), составляющая часть той философии, которая учила греков тому, что почетно и что подло, что справедливо и что несправедливо, чего прежде всего следует желать и чего избегать, как они должны относиться к богам, родителям, старшим, законам, чужакам, судьям, друзьям, женам, детям, рабам: то есть они должны были почитать богов, почитать родителей, уважать старших, повиноваться законам, любить друзей, быть ласковыми с женами, заботиться о детях, сострадать рабам.-Plut. de Educ. Puer. § 10.

995. Herod. ii. 52.

996. История Греции, i. 97. Диоскорид в "Атене" замечает, что никакая жертва не может быть так угодна богам, как та, что приносится членами семьи, живущими в единстве - i. 15. В первые века существования мира первенец в каждой семье считался пророком -Godwin, Moses et Aaron, i. 6. 2.

997. Платон, Критика, т. vii. 146.

998. Plat. de Legg. t. viii. p. 182.

999. Воздух был Зевсом - Ликоф. Cassand. 80. Meurs. Comm. p. 1179. На какое-то особое состояние, о котором говорили древние, рассказывая о Кроносе, стремящемся поглотить своих детей и проглатывающем вместо них камни. Ведь зубы времени, которые не действуют на воздух, похоже, пожирают все, что состоит из элемента земли. Мифологи, однако, обычно не замечают, что камни, которые Кронос принял за своих детей, были не обычными глыбами базальта или гранита, а множеством статуй детей, наделенных жизнью.-"Ἐτι δέ, φησὶν, ἐπενόησε θεὸς Οὐρανὸς βαιτύλια, λίθοις ἐμψύχοις μηχανησάμενος.-Sanchon. ap. Euseb. Præp. Evang. l. i. c. 10. p. 37.

1000. Crit. t. vii. p. 173.

1001. Poll. i. 5.

1002. Muret. ad Plat. Rep. p. 726.

1003. Muret. ad Plat. Rep. p. 727.

1004. Илиада, υ. 242. seq.

1005. Илиада, ω. 527. seq. Ср. Muret. p. 737.

1006. Sch. Aristoph. Nub. 95.

1007. У народов Востока мы находим даже следы учения о воскресении:-Καὶ ἀναβιώσεσθαι, κατὰ τοὺς Μάγους, φησὶ (Θεόπομποσ) τοὺς ἀνθρώπους, καὶ ἔσεσθαι ἀθανάτους.-Diog. Laert. Pr. vi. 9.

1008. Платон, Тим. Opp. vii. 45. Ср. с. 97.- Нет ли в следующем отрывке аллюзии на рассказ Писания о сотворении мужчины до женщины? Ὡς γάρ ποτε ἐξ ἀνδρῶν γυναῖκες καὶ τᾶλλα θηρία γενήσονται ἢπίσταντο οἱ ξυνιστάντες ἡμᾶς.-Tim. Opp. t. vii. p. 111.

1009. Платон, Тим. Opp. t. vii. p. 137.

1010. Даже среди древних христиан эта доктрина не была полностью опровергнута. Ориген верил в это:-Λέγει δὲ καὶ ἄλλα παραλογώτατα- καὶ δυσσεβείας πλήρη μετεμψυχώσεις τε γὰρ ληρωδεὶ καὶ ἐμψύχους τοὺς ἀστέρας καὶ ἑτέρα τοῦτοις παραπλησία.-Phot. Bib. p. 3. seq.

1011. Plato de Legg. ix. Opp. viii. 152. seq. Cp. 172. seq. 191. seq. De Rep. i. Opp. vi. 9. sqq.

1012. De Rep. ii. 7. t. i. p. 112. sqq. Stallb.-Вера в то, что дети страдают за преступления своих родителей, широко распространенная в языческом мире, нигде не выражена более ясно, чем у Платона:-Γὰρ ἐν Αἴδου δίκην δώσομεν ὧν ἂν ἐνθαδὲ ἀδίκησωμεν, ἢ αὐτοῖ ἢ παῖδες παῖδων.-Id. c. 8. p. 119.

1013. Cp. Mitford, Hist. of Greece, i. 115. 8vo.

1014. Xen. Mem. i. 3. 2. Cp. Plut. Inst. Lac. § 26.

1015. Hist. of Greece, i. 108.

1016. Æsch. Agam. 55. sqq. с комментарием Клаузена. p. 104.- В Писании встречается аналогичное выражение: "Тот, кто успокаивает молодых ворон, когда они кричат". Магометанское предание гласит, что посреди поля битвы, где сражались два могучих войска, Бог уберег от копыт всадников и ног людей гнездо крылатки.

1017. Πηγή δακρύων-Soph. Trach. 852. Antig. 802. Выражение из Писания: "О, если бы глаза мои были *фонтаном слез*". Æsch. Agam. 68. sqq. Eumen. 900. Suppl. 1040.

1018. Æsch. Agam. 160. sqq.-Klaus. Com. p. 120. Отсюда пословица: παθήματα μαθήματα.- Blomfield.

1019. Pind. Pyth. iii. 11. Æsch. Agam. 342. sqq. Klausen. Com. p. 140.

1020. Cp. Æsch. Eum. 859. seq.-Schol. ad Æsch. Tim. Orat. Att. t. 12. p. 384.

1021. Schol. Аристоф. Acharn. 712.

1022. См., например, видение лордом Каслригом огненного дьявола в "Жизни сэра Вальтера Скотта" мистера Локхарта.

1023. Те же суеверия, немного измененные, все еще встречаются во многих частях Греции. "Религиозные чувства критянина в XIX веке мало чем отличаются, если вообще отличаются, от тех, что питали к наядам его языческие предки" - Pashley, Trav. in Crete, i. 89.

1024. Cp. Porro, Proleg. in Thucyd. i. 14. Ксенарх замечает, что дом погибает, когда к хозяину привязываются противоречивые судьбы, и в него вползает Аластор:

φθίνει δόμος

ἀσυντάτοισι δεσποτῶν κεχρημένος

τύχαις, ἀλάστωρ τ' εἰσπέτπεικε.

Ap. Athen. ii. 64. seq. См. также Æsch. Choeph. 119. Eumen. 560. 802. с Клаузоном. Æsch. Theolog. i. 9. 56. seq. et ad Agam. p. 119. У египтян был свой Бабис или Тифон, бог зла - Атен. xv. 25.

1025. Plat. Rep. ii. § 3. Stallb.

1026. Paus. viii. 2, 3. Cp. Plat. Rep. viii. 16. Stallb.

1027. Plat. Rep. viii. 16. t. ii. p. 223. Stallb. Cp. Вœeckh в Platon. Minoem. p. 55. seq.

1028. Muret. ad Plat. Rep. i. p. 670. где он с большой изобретательностью обнаруживает намек на это суеверие в поспешном взгляде философа.-Plin. Hist. Nat. viii. 34. Schol. ad Theocr. xiv. 21. Virg. Ecl. ix. 53. Donat. in Ter. Adelph. iv. 1. 21. et Stallb. ad Plat. Rep. i. 37.

1029. Hes. Opp. et Dies, 121. seq. где см. Goettling.

1030. De Rep. v. 15. t. i. 377. seq. Волхвы, среди которых сверхъестественные явления и силы были наиболее знакомы, утверждали, что боги иногда являлись им, и что атмосфера наполнена призрачными тенями, которые, плавая вокруг, как туманы или выдохи, видны для остроглазых.-Diog. Laert. Pr. vi. 9. Подобное убеждение преобладало среди первых анхоритов. "Они были твердо убеждены, что воздух, которым они дышат, населен невидимыми врагами; бесчисленными деймонами, которые следят за каждым случаем и принимают любую форму, чтобы устроить и, прежде всего, искушить их беззащитную добродетель" -Gibbon, vi. 263.

1031. Æsch. Agam. 68.-Klaus. Com. p. 108.

1032. Athen. iv. 31.

1033. Который когда-то был озером.-Vit. Isidor. ap. Phot. Bib. p. 839.

1034. Phot. Bib. p. 339.

1035. Pashley, Travels in Crete, i. 88.

1036. Pashley, Travels in Crete, i. 177.-Plut. de Orac. Def.

1037. Herod. iv. 33.-Pashley, Travels in Crete, i. 192.

1038. Пэшли, i. 278.

1039. См. Макс. Tyr. Diss. iii. p. 31-38.

1040. C. xvi. v. 16. sqq.

1041. De Abstinentiâ, iii. Cp. Cedren. Михаил, Compotat. εἰσὶ γὰρ τίνες οἱ ἐν ἐλαίῳ ὀρίοντες μαντεύονται.- Schol. Аристоф. Acharn. 1093.

1042. Οἱ γὰρ ἐπὶ πόλεμον ἐξιόντες ἐπητήρουν τὰς διοσημείας.-Schol. Aristoph. Acharn. 1106.

1043. Ramo felicis olivæ.-Virgil. Æn. vi. 230.

1044. Athen. ix. 76.

1045. Casaub. ad Theophr. Char. p. 287. Eurip. Alcest. 99.

1046. Ср. Плут. Alcib. § 39.

1047. Casaub. ad Theophr. Char. p. 300.

1048. Sch. Aristoph. Vesp. 260. 262. 626.

1049. Pausan. v. 13. 4. Palm. Exerc. in Auct. Græc. d. 398.

КНИГА III. ЖЕНЩИНЫ.

ГЛАВА I. ЖЕНЩИНЫ В ГЕРОИЧЕСКИЕ ВЕКА.

Нет вопроса, связанного с греческими нравами, более сложного, чем тот, что касается характера и положения женщин.^[1050] По стольким пунктам они отличались в этом вопросе от нас, что, если только мы не считаем себя неправыми, осуждение всей эллинской теории женских прав, интересов и влияния должно, как само собой разумеющееся, последовать. Я не говорю, что, в конце концов, это не тот вывод, к которому мы должны прийти. Разум, возможно, на нашей стороне; но мне, конечно, кажется, что до сих пор было сделано слишком мало усилий, чтобы прийти к истине; и поскольку это соображение отнюдь не маловажно, я уделю ему больше, чем обычно, внимания в надежде пролить дополнительный свет, пусть и незначительный, на этот неясный и неосвещенный отдел античности.

По форме греческая женщина была настолько совершенна, что до сих пор воспринимается как тип своего пола. Ее красота, по какой бы причине она ни была, вплотную граничила с идеалом, или, скорее, была тем, что, поскольку сейчас встречается только в произведениях искусства, мы называем идеалом. Но наши представления о форме никогда не выходят за рамки того, что можно найти в природе. Она ограничивает наши представления кругом, за который мы не можем переступить. Скульпторы Греции не изображали ничего, кроме того, что видели,^[1051] и даже когда хитрость их рук была самой искусной, даже когда прелесть, грация и вся поэзия женственности, казалось, дышали из их мрамора, неполноценность их имитаций по сравнению с творениями Бога, в свойствах формы, в простом контуре, в группировке и развитии черт, должно быть, достаточно, чтобы внушить даже Фидию, этому верховному жрецу искусства, убеждение в том, как по-детски мечтать о том, чтобы возвыситься над природой. Красота Греции, действительно, была земным творением, но предполагала стремление за ее пределы. Каждая черточка лица произносила бесстрастные слова, была пронизана нежностью, инстинктом любви. Пульсы сердца, горячие и быстрые, казалось, имели готовых переводчиков в глазах. Но, сияя над всем этим, воображение проливало свой поэтический блеск, сообщая достоинство, возвышенность, проявление души, которые придавали страсти всю нравственную чистоту и непреходящую силу,

присущую любви, когда любовь менее всего запятнана недуховным и благородным эгоизмом.

Я отчаялся, однако, изобразить словами то, что ни Фидий, ни Поликлет не смогли изобразить в мраморе или слоновой кости. Греческие женщины не были ни крупными, ни высокими. Вся фигура, изящная, но не стройная, не оставляла воображению никаких желаний. Оно довольствовалось тем, что было перед ним. Изящно вылепленные конечности,^[1052] круглые, гладкие, сужающиеся, *торс*, плавно переходящий в шею, грудь, несколько склонная к полноте, но совершенная по конфигурации, черты лица, в которых предельная деликатность сочеталась с самым благородным и достойным выражением. В Греции встречались как голубые глаза, так и черные^[1053], но последние встречались чаще всего. Даже Афродита, несмотря на свои русые волосы, предстает перед нами в "Илиаде" с большими черными глазами, пылающими влажным огнем. Ни у одной богини, кроме аттической девы, нет холодных голубых глаз Севера, соответствующих ее девичьему характеру, сдержанному, твердому, ласковому, с легкой ноткой строптивости. Нос был прямым и восхитительно пропорциональным, без всякой широты, которая в работах низких скульпторов создает представление о свирепости амазонок. Рот и подбородок были сформированы самой красотой, и в них грелись и веселились. В них, прежде всего, гречанка превосходила варваров. У них могли быть и другие черты, похожие на ее, но редко встречались аттический рот, овальный подбородок с ямочками, которые запечатлели на ее лице венец женственности и сделали ее владицей людей и мира.

Существо, одаренное таким образом и наделенное интеллектом, который, хотя и не столь силен и всеобъемлющ, но столь же активен, как и мужской, и все же более гибок, едва ли могло быть низведено до уровня домашней труженицы и рабыни, и в Греции так и было.^[1054] Уже в героические века женщины занимали в обществе главенствующее положение, несколько менее почетное, чем положено, но во многих отношениях более высокое и достойное зависти, чем то, которое им отводилось в невежественные и развращенные рыцарские времена, на которые, как считается, очень похож гомеровский период. В те времена, хотя мода требовала от женщин большей сдержанности, чем это соответствует духу современных нравов, представители разных полов могли встречаться и беседовать друг с другом без скандала. Джентльменки самого высокого ранга отправлялись за границу под собственным руководством. По прибытии иностранного корабля на берег мы видим, как аргивская принцесса спускается без покровителя-мужчины, чтобы удешевить предметы одежды и безделушки, что, однако, как показало событие, было небезопасно, поскольку и она сама, и несколько ее служанок были уведены в плен вероломными чужеземцами.^[1055]

Гомер изобилует доказательствами как свободы, которой пользовались женщины, так и высокой оценки, которой они пользовались. Они были спутницами мужчин настолько, насколько это соответствует благоразумию и деликатности.^[1056] И не в одном случае, как, например, в купании^[1057] и надушивании знатных гостей-мужчин, нравы тех времен допускали или, скорее, предписывали более близкие отношения, чем позволяют обычаи современных цивилизованных народов. Дамы жили на свободе со своими мужьями и семьями в наиболее посещаемых частях дома, обедали и пили вино вместе с ними, ездили верхом или гуляли в их компании, или в сопровождении женской прислуги, и фактически были, в современном смысле этого слова, хозяйками дома и всего, что в нем находилось.

Когда муж отсутствовал, не считалось деликатным, если особняк был заполнен молодыми и капризными гостями, чтобы жена часто появлялась среди них^[1058], хотя, судя по всему, замужние дамы все еще должны были соблюдать обряды гостеприимства, что иногда, как в случае с Еленой, открывало путь к интригам и побегу. Аналогичное событие,

завуалированное мифологической неясностью, потерпело кораблекрушение в добродетели Алкмены.^[1059] Клитемнестра, а также Эгиалея, жена Диомеда, пали перед соблазнами, вызванными отсутствием их повелителей,^[1060] а Пенелопа, окруженная молодыми женихами, атакованная сообщениями о смерти мужа, попеременно успокаиваемая и угрожаемая, осталась верна своим клятвам и стала для всех веков образцом супружеской верности.

Можно привести множество примеров того, как легко они общались с незнакомцами. Стенобия, жена Притоса, царя Аргоса, должно быть, неоднократно оставалась наедине с Беллерофоном, прежде чем, подобно жене Потифара, могла испытать его честь и потерять свою собственную.^[1061] Елена после возвращения в Спарту устраивает банкеты и свободно общается с незнакомцами за столом своего мужа, где по ее разговорам и замечаниям мы узнаем, насколько быстрым и проницательным было понимание женщин в те века, как предполагалось. Ничто не могло быть дальше от ума этих героических воинов, чем идея рассматривать женщину только как объект желания или как домашнюю работницу.^[1062] Если ее хвалят за красоту или трудолюбие, то еще больше ее прославляют за умственные способности, за мудрость, за материнскую любовь. Где в художественной литературе или в жизни мы найдем даму более нежную, более грациозную, более утонченную, более одаренную всеми прелестями женственности, чем Елена, которая, тем не менее, становится жертвой соблазна! Где больше женской нежности или истинной любви, чем в Андромахе? Где больше матросской сладости и достоинства, чем в феакийской Арете; где больше непогрешимой живости, безупречной сдержанности, большей чувствительности, соединенной с благороднейшей девичьей скромностью, самообладанием и гордым сознанием добродетели, чем в этом прекраснейшем из поэтических творений ее дочери Наусикаа.

Сам Гомер ощутил всю прелесть этого изысканного создания и принял к нему с нежностью родителя. Она - самый цветок героической эпохи. В кратком обзоре ее жизни мы узнаем, какими были состояние и занятия благородной девы в те первобытные времена, - причудливая смесь великолепия и простоты, приближение к природе в грубой энергии страстей, чувства здоровые и энергичные, счастливые при полном отсутствии болезненной сентиментальности. Будучи дочерью царя, Наусикаа не пренебрегает заботой о семейном гардеробе. День ее бракосочетания не за горами, и, в соответствии с природой своего пола во все века, она желает, чтобы ее платье по этому случаю выглядело наилучшим образом, но перед отцом скромно притворяется, что думает главным образом о своих братьях.^[1063] Алкинойс, поняв эту хитрость, внутренне улыбается, одобряя ее заботу. С его разрешения она укладывает одежду в царскую повозку, запряженную мулами, и, взобравшись на сиденье с кнутом в руках, отправляется к дальнему ручью в сопровождении своих служанок. Из этих девушек, по словам поэта, две, одетые милостями и прелестью, спали в покоях принцессы, по одной с каждой стороны двери.

Добравшись до уединенного места, укромного устья горного ручья, где они обычно выполняли свою скромную работу, они первым делом отпрягали мулов, которых отпускали пастись на берег. Работа занимала у них лишь часть утра, и, закончив ее, они роскошно ужинали в тенистом уголке с видом на ручей вином и яствами, привезенными с собой из дворца. Чтобы устранить всякое представление о жалком труде и усталости, Гомер старается представить их полными жизни и животного духа, спортивно скачущими по лугам, предварительно искупав и смазав свои конечности благовонными маслами. Игра, в которую они играют, пока их одежды и покрывала сохнут на галечном пляже, получила в более поздние века название "Фенинда"^[1063] и заключалась в неожиданном перебрасывании мяча от одного человека к другому из большой компании, разбросанной по полю. Поскольку было

неизвестно, кому бросит мяч тот, у кого он находится, все были начеку, и большая часть спортивного действия возникала из-за нетерпения каждого поймать мяч.

В этой игре принцесса принимает участие, смеясь и напевая вместе с остальными, и именно неуклюжий бросок, отправивший мяч в реку, вызвал громкий возглас ее служанок, который разбудил Одиссея. Ее разговор с героем, последовавший за этим, свидетельствует о высоком представлении о женской образованности того времени. Фрейлины, напуганные его странным и гротескным видом, без одежды, обезображенные тinou и грязью, обращаются в бегство, но Наусикаа, полагаясь на уважение к отцу, остается на своем. Одиссей, почитая ее молодость и красоту, предпочитает просить издалека. Она дает ему гораздо больше, чем он просит, и со многими признаками женской мягкости смешивает столько самообладания, предусмотрительности, сострадания к несчастью, соображения о том, что полагается по ее собственному характеру, и уверенности в щедрости и незлопамятной доброте ее родителей, что мы вынуждены предположить наличие у нее большого образования, умственной подготовки и знаний о мире. И если в то время такие качества не встречались у женщин, Гомер обладал слишком острым чувством приличия, чтобы рисковать своей репутацией и хлебом, предполагая их преобладание в своих поэмах.^[1064]

Как женщины героических времен получали образование, понять нетрудно, хотя до нас дошло очень мало положительных сведений на эту тему. Поэты, эти пророческие учителя младенчества человечества, уже начали свои откровения о добром и прекрасном. Странствуя из города в город, под непосредственным руководством Провидения, они рассеивали далеко и близко семена цивилизации. Их песни были на слуху у всех: и юноши, и девушки впитывали заложенную в них мудрость и своими энергичными напевами, как в случае с Наусикаа, оживляли свои легкие минуты в одиночестве или радовали знатных и многочисленных гостей на отцовском столе. Гомер, правда, нигде не представляет даму, поющую во время развлечений, за исключением Олимposa, где Музы представляют пол; но Эсхил, поэт, глубоко сведущий в античности, говорит об Ифигении, исполняющей эту милую обязанность в зале своего отца.^[1065] Дочь Алкиноя, однако, разделяет развлечения и наставления барда во время развлечений, описанных Гомером, и свободно беседует с их прославленным гостем.^[1066]

Выше мы видели, что женщины в те века не были созданиями простой роскоши или показухи. Обладая значительной физической силой и энергией, а также большим мастерством в изящных и полезных искусствах жизни, они не были лишены ложной гордости или невежественных предрассудков, чтобы обратить свои способности на пользу своей семьи. Пышность их нарядов, дорогие украшения или сознание высочайшей личной красоты несколько не мешали их бережливому привычкам; и лорд Бэкон^[1067] рассказывает очень хороший анекдот, показывающий, что в прежние времена в Англии было то же самое. По его словам, в Западной стране жила одна дама, которая устраивала в своем доме большие развлечения для большинства галантных джентльменов, проживавших по соседству, среди которых был и сэр Уолтер Рэли. Эта леди, хотя и была статной дамой, но отличалась хорошей хозяйкой, и по утрам она обращалась к одной из своих служанок, которая присматривала за свиньями, и спрашивала: "Поросенок подан?". Каюта сэра Уолтера находилась рядом с покоем леди, и он слышал этот домашний вопрос. Незадолго до ужина леди спустилась в большом состоянии в гостиную, где было полно джентльменов, и как только сэр Уолтер Рэли увидел ее, спросил: "Мадам, - говорит он, - подан ли поросенок?" На что леди ответила: "Вам лучше знать, позавтракали ли вы".

Гомеровская принцесса напоминала эту величественную даму Запада, не считая ниже своего достоинства ничего, что могло бы способствовать комфорту или изящному украшению тех, кого она любила. Занятия женщин в те века, однако, включали некоторые вещи, которые при нынешнем состоянии полезных искусств редко выпадали на их долю, и среди них был труд у ткацкого станка, преуспевание в котором, очевидно, считалось одним из их главных достижений и самых необходимых обязанностей.^[1068] В этом занятии они укрывались от тревог и печалей; к нему мы видим, как Гектор с грубоватой нежностью призывает свою любимую жену прибегнуть, когда ее привязанность отстраняет его от должности;^[1069] и Телемах, в несколько слишком авторитетном тоне, рекомендует в "Одиссее" тот же курс своей матери:^[1070] и в восточном мире те же вкусы и привычки продолжали преобладать вплоть до очень позднего времени. Однако когда Сисигамбис, плененная персидская царица, получила в подарок от Александра пурпур и шерсть, она впала в агонию горя и слез: они напоминали ей о более счастливых днях. Но завоеватель, не понимая ее чувств и желая устранить мысль о том, что он навязывает ей какую-то подневольную работу, заметил: "Это одеяние, мать, которое ты видишь на мне, не только дар, но и работа моих сестер". Подобные подарки передавались между близкими родственниками в Персии; у Геродота мы видим, как Аместрис, царица Ксеркса, преподносит своему мужу в качестве дорогого подарка богато украшенную и просторную пелиссу, которую она сделала ценной трудами своих собственных прекрасных рук.^[1072] Август, даже когда вся простота нравов ушла в прошлое вместе с республикой, все еще воспитывал женщин своей семьи по античному образцу и не носил никакой одежды, кроме той, что была изготовлена в его собственном доме.^[1073]

Возвращаемся: постоянная практика и восторг, который вызывает привычный и добровольный труд, уже в героические века позволили гречанкам привнести великолепие и богатство изобретений в свои ткани. Возможно, желание превзойти в подобных работах сидонских дам также послужило дополнительным стимулом для их творчества. Во всяком случае, Гомер убедительно показывает, что они умели с необыкновенным мастерством использовать искусство дизайна и изображать в ярких и разнообразных красках города, пейзажи, человеческие фигуры и все сложные движения войны.^[1074] Мы, несомненно, должны что-то допустить для собственного мастерства поэта в живописи; но, после всех разумных вычетов, останется еще достаточно, чтобы доказать, что в период Троянской войны Греция достигла замечательного прогресса в каждом искусстве, которое стремится улучшить и украсить человеческую жизнь.

Кардочесание, а также прядение вошли в список их занятий. Даже Елена, хотя и хрупкая, но трудолюбивая, как Пенелопа, трудится над своим челноком или золотым дистафом, постоянно окруженная отрядом мастериц.^[1075] Арета, царица Феакии, также изображена сидящей у огня с ватой в руках в окружении своих служанок;^[1076] а жена Одиссея, прославившаяся своими домашними добродетелями, в "Одиссее" изображена у собственной двери прядущей пурпурную нить.^[1077] Рабочие корзины дам того периода, если мы можем положиться на слова поэта, были такими, что современные дамы могли бы позавидовать: из битого золота, с богатой резьбой и фигурами, сгруппированными с бесконечным вкусом и рассудительностью.^[1078] В них складывали клубки пурпура, когда пряли, хотя, вероятно, тростниковые корзины или корзины из осины удовлетворяли амбиции дам, менее притязательных, чем Европа.

Женщины, но в основном рабыни, выполняли в те первобытные времена все кухонные работы. Они даже в большом заведении Алкиноя работали на мельнице, как и во дворце Одиссея, где, возможно, руководствуясь особенностями климата, мы видим, что молодые

женщины предпочитали для этой работы ночную прохладу.^[1079] Даже в более поздние века, когда возобладали более справедливые представления о том, что причитается полу, этот тяжелый труд иногда возлагался на женщин-рабов, хотя в целом именно мужчины, причем самые никчемные, работали на мельницах, которые в последнее время рассматривались почти в свете исправительных учреждений.^[1080] Но выпечка хлеба была очень правильно поручена женщинам почти на всем Востоке. Египтяне, действительно, женоподобный и подневольный народ, очень рано, как мы узнаем из Бытия, смешали должности полов; но среди лидийцев, даже во дворце Крезоса, мы встречаем женщину-пекаря,^[1081] и персидские армии брали с собой женщин для выпечки хлеба в свои самые долгие и опасные походы.^[1082] В Греции руководство печью до очень позднего времени было прерогативой ярмарки. Сто десять женщин удостоились чести быть запертыми с горсткой воинов, которые в течение трех лет отражали все силы Пелопоннеса от славных стен Платеи,^[1083] а в первобытные века Македонии царица сама готовила хлеб, распределяемый между царскими пастухами.^[1084]

Священное Писание сделало знакомым и примирило нас с простотой патриархальных нравов. Видеть, как дочь Вифуила или Лавана идет черпать воду для своего стада, не кажется нам совершенно несоответствующим ни богатству или достоинству ее отца, ни ее собственной женской деликатности; и мы знаем, что в наши дни самый богатый бедуинский шейх пустыни, хотя и повелитель тысячи верблюдов, не видит в состоянии своей дочери ничего такого, что могло бы освободить ее от этого полезного для здоровья занятия. Подобные представления преобладали и у греков героической эпохи. Ибо хотя во многих случаях рабыни^[1085] занимаются черпанием воды из источников, девы благородного происхождения, а то и сами дочери царей, спускаются к фонтану со своими урнами, смешиваясь там с пленницами и девушками низшего ранга. Так, например, принцесса Лестригонов у Гомера идет со своим кувшином^[1086] к колодцу, и даже среди афинян, где впервые возникла утонченность нравов и цивилизация достигла наибольшего прогресса, дочери граждан в ранние времена спускались к фонтану Каллирроз, чтобы набрать воды.^[1087] Но эта задача обычно поручалась пленницам и другим рабыням. Эвриклея, экономка Одиссея, посылает отряд девушек с этим поручением, приказав им быть быстрыми в движениях, и Гектор, в глубоком страхе за Андромаху, уже в опасении наблюдает, как она трудится у фонтанов Аргоса.^[1088]

1050. Описывая подход к храму Афродиты, Лукиан говорит: εὐθὺς ἤμῃν ἀπ' αὐτοῦ τοῦ τεμένους Ἀφροδίσειοι προσέπνευσαν αἴραι.-Amor. § 12. Эти нежные ароматы должны вдохнуть в стиль и язык автора, рассказывающего о женщинах Греции; но в моем случае исследования, которых я опасюсь, и влияние пятидесяти двух градусов северной широты помешают этому завершению, которого я так страстно желаю.

1051. О красоте современных гречанок я могу говорить на основании собственных наблюдений; но большинство путешественников придерживаются того же мнения, и, в частности, г-н. Дуглас, в частности, дает следующее свидетельство в их пользу: "Хотя нежность ее форм недолго выдерживает жар климата и неумеренное использование теплой ванны, я едва ли могу доверять себе, чтобы описать красоту молодой гречанки, когда она достигает возраста, который древние так изящно олицетворяли как Χρυσοοτέφανος Ἥβη. Если бы мы формировали наши представления о греческих женщинах на основе жен албанских крестьян, мы были бы странно обмануты; но острова Андро, Тино, и, прежде всего, Крит, содержат формы, на которых резец Праксителя не был бы использован не по назначению" -Essay, &c. p. 159.

1052. Cp. Winkelmann, iv. 4. 44.

1053. Plat. Repub. iv. t. vi. p. 167.- То, что черные глаза были наиболее распространены среди греков, можно заключить из того, что, описывая части глаза, они называли радужную оболочку τὸ μέλαν, которая иногда бывает одного цвета, а иногда другого.-Arist. Hist. Anim. I. viii. 2. Далее он отмечает, что у некоторых людей глаза были черными, у других - темно-синими, у третьих - серыми, у четвертых - цвета козла. У других животных глаза одного цвета, кроме лошади, у которой иногда один глаз голубой. Лучшими считались глаза умеренного размера, не впалые и не выступающие.-§ 5. 5. Большие глаза также вызывали большое восхищение. Поэтому Гера у Гомера называется βοῶπις. Аристотель, описывая свою Лаису, говорит: ὄφθαλμοὶ ὄφθαλμοὶ μεγάλοι τε καὶ διαυγεῖς καὶ καθαρῷ φωτὶ διαλάμποντες.-Scheffer ad AEl. Hist. Var. xii. 1. Относительно цвета волос см. Винкельман, iv. 4. 38. Конечно, считалось большой красотой иметь их длинными, и поэтому Елена, в честь Клитемнестры, отрезала только кончики.-Eurip. Orest. 128. seq.

1054. Об уважении, оказываемом женщинам, см. Demosth. in Ev. et Mnes. § 11.

1055. Геродот. i. 1.

1056. Athen. i. 18.

1057. Описывая красоту Гипподамии, дочери Анхиза, Гомер говорит, что она превосходила всех дев своего возраста красотой, мастерством в женских делах и одаренностью умом, по этой причине Алкатос, самый благородный человек в Трое, выбрал ее в жены - Илиада, ε. 480. sqq. Поэтому он обязательно должен был иметь возможность изучить ее характер. Еще одной иллюстрацией свободы нравов героических женщин служит автор "Малой Илиады", который рассказывает, что, когда Аякс и Одиссей боролись за доспехи Ахилла, греки, по совету Нестора, послали разведчиков подслушать под стенами Трои разговор девственниц, которые, надо полагать, в вечерней прохладе имели обыкновение прогуливаться по валам и откровенно беседовать о подвигах своих прославленных врагов.- Sch. Aristoph. Equit. 1051. Cp. Ил. ζ. 239.

1058. Hom. Odys. α. 330. sqq.

1059. Аполлод. ii. 4. 8.

1060. Овидий. Ибис. 349. seq. Tzetz. ad Lycoph. 384. 1093.

1061. Apollod. ii. 3. 7. Sch. Aristoph. Ran. 1041.

1062. Гесиод предлагает роскошную картину женской жизни в героические века -Opp. et Dies. 519. seq.

1063. См. книгу II. v2-главу III.

1064. Клитемнестра в Эсхиле также демонстрирует значительные познания в географии, которые она могла приобрести только из разговоров с путешественниками или из песен поэтов.-Agamemn. 287. sqq.

1065. А Феокрит перечисляет среди достижений Елены то, что она умела петь и играть на кифаре.- Eidyll. xviii. 35. sqq. et Kiesling ad Theocrit. Cp. Aeneid. vi. 647.

1066. Odys. θ. 457. sqq.

1067. Апофтегмы, старые и новые, § 278.

1068. Alexand. ab Alexand. iv. 8.
1069. Илиада, ζ. 491.
1070. Odyss. α. 357.
1071. Q. Curt. v. 2. 18.
1072. Herod. ix. 188.
1073. Suet. in Vit. § 64. Conf. Feith. Antiq. Homer. iv. 34.
1074. В Северной Греции и Македонии женщины могли изображать подобные сцены из жизни, так как они учились пользоваться оружием и лично участвовали в войне.-Athen. xiii. 10. Традиция гласит, что королева Матильда и ее служанки создали гобелен в Байе, изображающий завоевание Англии ее мужем.
1075. Илиада, ζ. 491.- Одиссея. δ. 131.- Theocrit. Eidyll. xviii. 32. sqq.
1076. Odyss. ζ. 491. 38.- Фейт по ошибке вводит имя Наусикаа вместо имени ее матери - Ant. Hom. iv. 3. 2.
1077. Odyss. υ. 97.
1078. Mosch. Eidyll. ii. 37. seq.
1079. Odyss. η. 103. seq.-ο. 107.
1080. Theoph. Char. с. v.
1081. Herod. i. 51.
1082. Herod. vii. 187.
1083. Фукид. ii. 78.
1084. Ирод. viii. 139.
1085. Eurip. Electr. 107. 309. sqq.
1086. Одисс. κ. 105.
1087. Ирод. vi. 137 - историк использует название Эннеакрунос, данное фонтану тиранами. Аналогичную практику отмечает Арриан -Anab. Alexand. ii. 3
1088. Odyss. φ. 153. seq.-Iliad. ζ. 59. seq.
-

ГЛАВА II.

ЖЕНЩИНЫ ДОРИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ.

Женщины Спарты даже в Греции отличались своей красотой. Их образование и упражнения, способствующие укреплению здоровья и физической энергии, помогали в то же время естественному развитию тела со всей присущей ему симметрией и пропорциями. Вероятно, однако, что очарование Елены могло привести к некоторому заблуждению; но Елена

принадлежала к старой героической расе, с которой дорийцы Спарты не имели ничего общего, то есть, как и многие другие женщины, прославленные поэтами последующих времен за их красоту, была ахейкой. Тем не менее, они были прекрасны, хорошо сложены, имели блестящий цвет лица, правильные черты и глаза, в которые буйное здоровье вливалось искрящуюся яркость, неотразимо приятную. Но нужно быть особым образом сложенным, чтобы назвать их самыми красивыми женщинами во всей Греции.^[1089] Они были теми, кого в современном понимании можно назвать прекрасными женщинами, но значительно превосходили то, что мы считаем истинно женскими пропорциями, будучи, по сути, своего рода женщинами-гренадерами, крепкими, энергичными, задирающими быков, как несколько иронично выражается Лисистрата^[1090], их красота была скорее мужской, чем женской. Некоторые греки предпочитали, правда, дам этого крупного роста. Так, в "Анабасисе" Ксенофонт выражает опасение, что если его соотечественники познакомятся с прекрасными высокими женщинами Персии, то они, подобно лотосоядцам, забудут дорогу к своей стране и дому.^[1091] Но этот вкус так и не стал общим. Красота, вызывавшая наибольшее восхищение, там, где красота составляла благороднейший предмет литературы и искусства, была совершенно иного рода, изысканно женственная, нежная, мягкая, уединенная, скромная, инстинктивно изящная, паразит нравственного творчества, цепляющаяся за человека для поддержки, но больше отдающая, чем получающая.

Такая красота, однако, не соответствовала бы цели Ликурга. Подобно известному современному деспоту, этот великий законодатель стремился создать нацию гренадеров, и для этого и воспитание, и законы, и нравы Спарты носили военный отпечаток. Все здесь дышало лагерем. Девочек с самых нежных лет, вместо того чтобы, как в других общинах, приучать их сплетать все свои чувства вокруг домашнего очага и ожидать главного счастья дома, систематически недооплодотворяли, постоянно вводили в контакт с мужчинами, прививали им аморальные привычки, разрушающие женский характер,^[1092] и учили считать себя предназначенными быть женами государства, а не отдельных людей. Природа, знал законодатель, глубоко заложила в женское сердце принципы любви и скромности; как правило, искоренение одного из них ведет к укоренению другого; и оба они в том смысле, в каком мы их понимаем, несовместимы с целью, которой должна была способствовать его конституция, поэтому он стремился подорвать силу любви, уничтожив в женском сознании все следы девичьей скромности.

Власть политических институтов над чувствами сердца, над манерами, над привычками, над совестью и мнениями никогда не была столь ярким примером, как в Спарте. Все, что законодатель определял как добро, было добром.^[1093] Пример, привязанность, природа умоляли напрасно. Железная система, сильная, как судьба, опоясывала всю жизнь, подавляя каждое стремление, выходящее за рамки предписанного, направляя каждое желание в заданное русло, обуздывая каждую страсть, не согласующуюся в своем полном развитии с взглядами законодателя. Аристотель, правда, утверждает, что в то время как мужчины Спарты подчинились замыслу конституции, женщины отказались склонить шею под ярмо и продолжали пользоваться свободой, постоянно переходящей в разнузданность.^[1094] Вероятно, однако, он предполагает наличие у Ликурга нравственной цели, гораздо более возвышенной, чем та, к которой он действительно стремился. Добродетели лагеря - а Спарта была не чем иным - никогда не бывают слишком жесткими, и мы не должны искать в женщинах-последователях лагеря много той деликатности, сдержанности, самообладания или острого чувства справедливого и правильного, о которых никто не судит более точно, чем хорошо образованные женщины. Несомненно, дорийский законодатель не преследовал никакой другой цели, кроме как способствовать счастью своих соотечественников. Было бы несправедливо полагать иначе. Но насколько правила, с

помощью которых он стремился достичь этой цели, были рассчитаны на успех, вот что нам предстоит выяснить.

Сразу же следует отметить, что система женского образования Ликурга была максимально далека от общепринятой. Он рассматривал оба пола почти с одной и той же точки зрения. Он видел их форму, а во многих моментах их характер, их привязанности, их добродетели, их пороки имели близкое сходство; по его мнению, совершенство было бы достигнуто, если бы все эти различительные знаки, установленные природой, были удалены, и каждое качество того, что он считал высшим полом, было перенесено на низший. В этом вопросе существует много заблуждений. Писатели утверждают, что среди дорийцев женский характер высоко ценился, в то время как в ионических государствах все было наоборот. Но дорийцы презирали женщин в том виде, в каком они вышли из рук природы, пытаясь превратить их в мужчин, а их соседи - наоборот, довольствуясь чисто женскими качествами, которые среди людей ионической расы культивировались и совершенствовались, возможно, настолько, насколько это было совместимо с домашним счастьем.

В гаремах Востока плоть оказывает большую услугу в поддержании порядка, и то же самое, очевидно, происходило в Спарте. И юноши, и девы с самых нежных лет подвергались суровой дисциплине; регулярные порки, как в наших великих школах, всегда присутствовали при инспекторах общественного обучения; и в этом система была мудрой, так как привычки ценились больше, чем приобретения.^[1095] Но привычки, привитые спартанской системой, мы не всегда можем одобрить. Как и мальчики, девственницы часто посещали гимназии, где, обнаженные, как при рождении, упражнялись в борьбе, беге, бросании квоита и копья.^[1096] К этим достижениям, по словам одного римского поэта, добавлялись и другие, менее женственные. По его словам, они состязались на ринге с мужчинами, повязывали на сжатые кулаки цезуры и боксировали со своими будущими мужьями, как многие призовые бойцы. Неудивительно, что партнеры таких женщин были кучерявы. Верховая езда, упражнения с мечом и грубые виды спорта, которыми занимались женщины с похожим характером в нашей стране, завершили круг женских занятий^[1097] и сделали спартанских девиц более чем подходящими для своих худших половин, будь то после замужества или до него.^[1098]

В наши дни были предприняты некоторые усилия, чтобы убрать шероховатости и стереть особенности дорических учебных заведений, чтобы привести их в большее соответствие с современными представлениями. Нам говорят, что нет никакой вероятности того, что юношам или мужчинам разрешалось присутствовать на необыкновенной выставке женской гимназии.^[1099] Но откуда такой вывод? Из деликатности спартанских нравов в других отношениях? И неужели в этом любопытном вопросе мы вынуждены полагаться на умозаключения и вероятности? Напротив, античность сообщает нам, что помимо личных преимуществ здоровья и бодрости, которые получали сами женщины, законодатель предусматривал и другие, не менее важные, - содействие браку и отдых всей полезной части граждан. Ибо в то время как женатые мужчины и юноши, намеревающиеся обрести супружеское счастье, пользовались свободным входом в эти гимназии,^[1100] угрюмые эгоисты, называемые холостяками, были совершенно правильно исключены. Первые имели некоторое отношение к молодым девушкам, которые были их дочерьми, сестрами или будущими супругами, но лицам, заведомо равнодушным к соблазнительному влиянию женских чар, там делать было нечего.

Поэтому, признавая, что когда спартанские девственницы^[1101] выступали в гимназиях, поскольку мы должны рассматривать их упражнения отчасти в свете сценических выставок, весь город, за исключением холостяков, мог присутствовать, остается выяснить, какие еще достижения они могли демонстрировать для развлечения публики. Пение и танцы, как было

показано, публично практиковались знатными дамами в героические века, и эта особенность древних нравов сохранилась в Спарте, где не только юноши и девы, но даже люди преклонного возраста во время нескольких больших праздников присоединялись к танцам и песням.^[1102] Но мы должны остерегаться применять к этим представлениям идеи, навеянные современностью, или изящные и грациозные движения ионийских женщин. Танцы в Спарте требовали огромной физической силы.^[1103] Девы, не обремененные платьем, носились по воздуху, как Анатоли или Тальони, но вместо того, чтобы кружиться на одной ноге по земле, а другую подвешивать под прямым углом в воздухе, высшим достоинством их исполнения было как можно большее количество раз подряд ударить пяткой по задней части тела.^[1104] В этом подвиге, сильно напоминающем карибское или ирокезское достижение, часто объединялись целые отряды мужчин и женщин; представление, которое с криками смеха, возникающими у зрителей, ухмылками девушек и умышленными ошибками молодых людей, которые могли направить свои ноги в неправильном направлении, должно было передать любопытное представление о спартанской серьезности. Таков, однако, был знаменитый танец под названием *Бибасис*,^[1105] при частом исполнении которого лаконская девушка гордилась собой не меньше, чем современная дама своей активностью в непристойном вальсе.

Но другие танцы, в которых преуспели спартанские девы, были многочисленны. Среди них была *диподия*,^[1106] природа которой точно не известна, но она сопровождалась музыкой и песнями и, по-видимому, состояла из ряда оргиастических движений, как у вакханок, когда они, вдохновленные вином, со взъерошенными волосами носились по горам.^[1107] В других случаях их движения были направлены на выражение определенных страстей ума, иногда, как у *калабисов*,^[1108] крайне развратных и разнузданных, хотя широта языческого духа умудрялась допускать их к религиозным церемониям, и то в честь Артемиды. Другим из этих развратных танцев, исполняемых в честь Аполлона и его сестры и сопровождаемых песнями, задуманными, несомненно, в том же духе, была *Бряллиха*,^[1109] которую историк дорийской расы с некоторым трудом примиряет с поклонением Аполлону, как будто их божество само было свободно от пороков, присущих олимпийским династам. Был еще один танец, называемый *дейцелистическим*,^[1110] - грубая пантомима, перемежающаяся с песнями, которые, как предполагается, исполняли незамужние женщины.^[1111]

К этим танцам можно добавить *Гипорхетический*, который исполнялся хором, во время пения, по причине чего Вакхилид говорит: "Это не работа медлительности или бездействия". Пиндар описывает его как танец, исполняемый спартанскими девушками; но на самом деле в Гипорхеме участвовали и юноши, и девушки, а поскольку этот танец, как говорят, напоминал или был идентичен кордаксу^[1112], это поможет нам составить представление о женской деликатности в Спарте, где молодые женщины могли публично исполнять в компании с представителями другого пола танец, едва ли менее непристойный, чем фанданго или болеро.^[1113]

Из такого воспитания и таких привычек естественным образом должны были проистекать вкусы, по сути своей неженственные. Поэтому мы видим, что лаконские дамы первого ранга - например, Циниска, дочь царя Архидама, - занимались разведением лошадей и посылали колесницы для участия в Олимпийских играх. Греки также не осуждали ее мужские амбиции. В эпоху Павсания среди прочих олимпийских памятников стояла статуя самой дамы, а также ее колесницы и возницы. Впоследствии многие другие женщины, но главным образом среди полуварварских македонян, последовали примеру Киниски и Эврилеониды, другой спартанской дамы, которая была удостоена статуи в Олимпии за успех ее колесницы на играх.^[1114]

В строгом соответствии с грубыми манерами и мужественным поведением этих дам была привычка сквернословить,^[1115] к которой, как и большинство других греческих женщин, они были сильно пристрастны. В Афинах, однако, неженки клялись Деметрой, Персефоной и Аграулосом,^[1116] клятва божествами собственного пола^[1117] считалась более подходящей для женских уст; но вираго Спарты приправляли свои разговоры клятвами Кастора и Полидевка. Более того, по словам поэта, чьи свидетельства обычно приводятся против афинских дам, женщины Спарты пили^[1118], а также клялись, и мы знаем из совершенно неоспоримых источников, что в эпоху Сократа их разнузданность уже стала повсеместно известной в Греции.^[1119] Один ученый и прилежный исследователь, чьи заслуги слишком часто упускаются из виду, справедливо замечает, что, вероятно, именно строгость или, правильнее сказать, педантичность учреждений Ликурга породила представление о том, что целомудрие было в Спарте общей добродетелью.^[1120] Предполагалось, что, поскольку иногда они подвергались жестоким упражнениям, они обязательно должны были быть умеренными в своих удовольствиях. Но мы могли бы *à priori* предположить обратное, и единообразные свидетельства древности доказывают это. Их распутство и разнузданность не знали границ. Даже в эпоху, непосредственно следующую за установлением их конституции, то есть во время Мессенских войн, сохранить целомудрие, пока их мужья отсутствовали в поле, было выше их сил, и им подбирали замену и отправляли домой, чтобы они стали мужьями всего женского населения.^[1121]

Но в этом неуправляемом колебании нравов были виноваты прежде всего государственные институты.^[1122] Мы видели, что по всему характеру их воспитания скромность и добродетель были подавлены и подорваны; ни одна заслуга, как видно, не была закреплена за ними в глазах закона; и проницательные, одаренные здравым смыслом, они должны были быстро понять, что брак - это просто бессмысленная церемония, и что если они дадут государству хороших граждан, то не будет иметь большого значения, кто будет их отцами.^[1123] Церемонии, сопровождавшие этот небрежный союз, который за неимением лучшего термина мы должны назвать браком, очень напоминали те, которые, как выяснилось, преобладали среди других дикарей в очень отдаленных частях света.

Пройдя через церемонию обручения,^[1124] в которой интересы невесты представлял ее отец или брат, любовник выбирал подходящий случай, чтобы схватить и увести ее среди ее спутников. Затем ее принимали в доме подруги невесты, где ей коротко остригали волосы и меняли платье на платье юноши, после чего по обычаю ее оставляли лежать на поддоне в темной комнате в одиночестве. Туда незаметно отправлялся жених, а после, с такой же скрытностью, возвращался к своим спутникам, среди которых продолжал жить некоторое время, как будто никаких изменений в его состоянии не происходило. Таким образом, в этот период их союз следует рассматривать скорее как тайную связь, чем как брак, поскольку муж, как и вначале, продолжал тайно красться в компании жены и с такой же осторожностью скрываться, поскольку считалось неприличным, чтобы их видели вместе. Предполагалось, что даже дети, рожденные от этой связи, считались бастардами, но достаточных доказательств этому нет.

Другие авторы по-другому описывают брачную церемонию в Спарте, но при должном рассмотрении оба отношения вполне можно примирить. На самом деле, вышеупомянутое, по-видимому, было обычным способом распоряжения имущественными девушками, которые имели приданое^[1125], чтобы отдать его своим мужьям. Но когда незамужние девушки, за исключением, пожалуй, самых красивых, с трудом находили себе помощниц, законодателем было придумано средство, призванное дать всем справедливый шанс. Незамужние девицы города, оказавшиеся в таком положении, были закрыты в темноте, в

просторном здании,^[1126] в которое вводили молодых неженатых мужчин, чтобы они искали себе жен; при этом подразумевалось, что каждый должен довольствоваться той девой, которая попадется ему на глаза. И, судя по всему, случайные награды в большинстве случаев оказывались удовлетворительными, поскольку мы читаем о том, что никто, кроме Лисандра, не отказался от выбранной им жены. Однако он, получив в подарок от судьбы девицу с нездешними чертами лица, тут же бросил ее ради более красивой. Поданный таким образом дурной пример не остался без последствий, так как после его смерти мужчины, женившиеся на его дочерях, отдавали их замуж таким же образом.^[1127] Но в обоих случаях эфоры взимали штрафы за непотребство. По законам Спарты, мужчин также штрафовали за безбрачную жизнь,^[1128] за позднюю женитьбу или за неподходящий брак. Так, царь Архидамос был оштрафован за то, что выбрал себе в царицы маленькую женщину, как будто в ВОЗВЫШЕННОСТИ и высоком росте было что-то царственное.^[1129]

Почти по всем вопросам, связанным со спартанскими браками, переданные нам рассказы противоречат друг другу. Так, некоторые утверждают, как уже было сказано выше, что союз жениха и невесты происходил тайно и некоторое время оставался почти неизвестным. Тем не менее, есть и те, кто говорит о публичных церемониях, которые происходили по этому случаю, как, например, Сосибиос,^[1130] который сообщает нам, что пирог, называемый крибанос, в форме женской груди, был съеден на том пиру, который лакедемонские женщины давали в честь обрученной девы, когда ее молодые спутники собирались в хор, чтобы воспевать ее хвалу. В Аргосе, другом дорийском государстве, было принято, чтобы перед тем, как невеста присоединялась к своему мужу, она посылала ему в подарок пирог под названием креон, который его друзья приглашали отведать с медом. Его пекли на углях, как до сих пор пекут пироги на Востоке.

Когда в Спарте государство признало брак, разрешив сожителство, ни один мужчина не мог назвать свою жену своей. Любой человек мог на законных основаниях потребовать ее на определенное время, чтобы, если он не желает обременять себя женой, иметь с ней семью, пока она находится в доме своего господина. Пожилой мужчина обязательно должен был посягнуть на свои супружеские привилегии таким образом, и наиболее способные и философски настроенные защитники институтов Ликурга сообщают нам, что спартанские дамы очень одобряли все эти договоренности. И все же знаменитые и ученые авторы берутся ломать копья за целомудрие спартанских дам и с бесконечным самодовольством утверждают, что прелюбодеяние среди них было неизвестно. Правда в том, что спартанские законы не признавали такого преступления.^[1131] Оно было законным, обычным, повседневным, хотя из многих обстоятельств следует, что лакедемоняне, побывавшие в других частях Греции и узнавшие, в каком свете там рассматриваются столь распущенные нравы, краснели за установления своей страны и, защищая их, применяли на практике те искусства заблуждения и лицемерия, которые составляли столь выдающуюся часть их образования.

Многое было сказано о суровой добродетели и патриотизме спартанских женщин, и высокая оценка была дана черствому безразличию, которое они иногда проявляли, узнав о смерти своих сыновей;^[1132] но английские матери, родившие сыновей, столь же храбрых, как когда-либо сражавшиеся или проливавшие кровь за Спарту, думаю, согласятся со мной в оценке очень низкой их хваленого стоицизма, который, если правильно проанализировать, может оказаться не более чем грубым и неестественным безразличием. Читатель греческой "Антологии" вспомнит здесь ту, которая, встретив своего сына, бежавшего от победоносного врага, собственными руками причинила ему смерть, которой он стремился избежать. Имела ли природа, которая есть лишь голос Бога, слышимый неясно, какое-либо отношение к

подобной добродетели? Если предположить, что юноша был трусом, чего ни в коем случае не доказывает факт его бегства перед врагом, то неужели руки, которые его выхаживали, должны были стать его палачами? Мать, достойная этого имени, несомненно, огорчилась бы, не найдя своего мальчика в числе храбрецов, но ее материнское сердце не меньше тосковало бы по несчастному юноше; она бежала бы вместе с ним в неизвестность, высказывала бы там свои мягкие упреки и проливала бы слезы.

Однако, как это часто бывает, эти женщины-стоики, которые так щедро лили кровь своих детей, не проявили готовности подавать им пример легкомысленного отношения к смерти, когда военная удача предоставила им возможность применить свои героические максимы на практике; Когда фиванское войско^[1133] вырвалось из глубины Менелая и пронеслось по долине Евротаса, как смерч, уничтожая все перед собой огнем и мечом, женщины Спарты, никогда прежде не видевшие дыма вражеского лагеря, вмиг потеряли присутствие духа и, вместо того чтобы спокойно призывать своих сыновей и мужей положиться на свою доблесть, бегали по улицам, наполняя воздух своими сладострастными причитаниями, отвлекая и мешая движениям своих естественных защитников. Совсем иначе вели себя жительницы Аргоса. Когда Клеомен и Демаратос, разбив аргивскую армию, подошли к городу, рассчитывая взять его штурмом, поэтесса Телесилла вооружила своих соотечественниц, которые, поспешив на защиту стен, отразили лакедемонских царей и сохранили государство. В память об этом событии ежегодно отмечался праздник, на котором дамы появлялись в мужском наряде, а мужчины прятали голову под женской вуалью.^[1134]

Когда фиванцы ночью ворвались в Платею, женщины, вместо того чтобы бесстрашно предаться страху, присоединились к мужчинам и стали защищать город, бросая на врага камни и черепицу с крыш домов. Когда же они были разбиты и бежали, спасая свои жизни, одна из этих же женщин, с характерной для ее пола гуманностью, снабдила их топором, чтобы прорубить себе путь через ворота.⁽

Но самым замечательным примером самоотверженности женщин во всей истории Греции был, пожалуй, тот, что рассказывается о фокийских женщинах^[1136], которые, когда их соотечественники под командованием Диофанта собирались вступить с фессалийцами в битву, которая, как считалось, должна была окончательно решить судьбу Фокиса, настойчиво, при поддержке своих детей, убеждали его упорно придерживаться задуманного им плана: в случае проигрыша битвы они должны были быть сожжены огнем. Примеры этой ужасной меры по сохранению чести женщин слишком часто встречаются в истории Индии, где она называется *джохур*; а римляне во время своих испанских войн были свидетелями подобного акта самопожертвования в Нумантии.

Тем не менее, ни в коем случае не следует скрывать, что летописи Спарты также содержат несколько блестящих примеров женского героизма, среди которых наиболее ярким, пожалуй, является рассказ жены Пантея и ее спутниц после смерти Клеомена в Александрии. "Когда весть о его смерти, - рассказывает Плутарх,^[1137] - разнеслась по городу, Кратесиклея, хотя и была женщиной весьма стойкой, сникла под тяжестью бедствия; она обняла детей Клеомена и плакала над ними. Старший из них, вырвавшись из ее объятий, незамеченным добрался до вершины дома и бросился вниз головой. Однако он не погиб, хотя и сильно пострадал; когда его подняли, он громко выразил свое горе и возмущение тем, что ему не дали покончить с собой. Не успели Птолемею сообщить об этом, как он приказал распластать тело Клеомена и прибить его к кресту, а его детей предать смерти вместе с его матерью и женщинами, которые были ее спутницами. Среди них была и жена Пантея, женщина великой красоты и величественного вида. Они совсем недавно поженились, и несчастье настигло их во время первых любовных переживаний. Когда ее муж отправился с

Клеоменом из Спарты, она захотела сопровождать его, но ей помешали родители, которые держали ее под строгой опекой. Однако вскоре после этого она раздобыла лошадь и немного денег и, сбежав ночью, на полной скорости поскакала в Теснарос, а там села на корабль, направлявшийся в Египет. Она благополучно добралась до мужа и с готовностью и радостью разделила с ним все неудобства чужой жизни. Когда солдаты пришли, чтобы отвести Кратесиклею на эшафот, она повела ее за руку, помогла нести ее одеяние,^[1138] и пожелала ей проявить все свое мужество, хотя она отнюдь не боялась смерти и не желала ничего другого, кроме того, чтобы умереть раньше своих детей. Но когда они прибыли на место казни, дети страдали на ее глазах, и тогда Кратесиклея была отправлена, произнося в своем крайнем страдании только такие слова: "О, дети мои! Куда вы ушли?".

"Жена Пантея, высокая и сильная, накинула на себя халат и в тишине и спокойствии совершила последние обряды над каждой умершей женщиной, укутав тела так хорошо, как позволяли ее нынешние обстоятельства. В последнюю очередь она приготовилась к удару палицей, спустив с себя мантию и поправив ее таким образом, чтобы после смерти ей не требовалась помощь, а затем, позвав палача, чтобы он исполнил свой долг, и не позволив никому другому приблизиться к ней, она упала, как героиня. В смерти она сохранила все приличия, которые сохраняла при жизни, и приличия, которые были так святы для этой прекрасной женщины, все еще оставались рядом с ней. Таким образом, в этой кровавой трагедии, где женщины до последнего боролись за приз мужества с мужчинами, Лакедемон доказал, что фортуна не может победить добродетель".

В другом кратком рассказе того же историка самым трогательным образом показаны нежность и самоотверженность спартанской женщины. Клеомбротос вместе с другими заговорщиками сверг с престола своего тестя Леонида и завладел короной. После этого события вернули старику царство, после чего он, пылая от негодования, поспешил отомстить зятю. "Хелонис, дочь Леонида, рассматривала обиду, нанесенную ее отцу, как обиду, нанесенную ей самой, и когда Клеомбротос лишил его короны, она покинула его, чтобы утешить отца в его несчастье. Пока он оставался в убежище, она не отходила от него, а когда он бежал, сочувствуя его горю, и полная обиды на Клеомброта, она сопровождала его в бегстве. Но когда судьба ее отца изменилась, изменилась и она. Она присоединилась к своему мужу в качестве просительницы и была найдена сидящей рядом с ним с великой нежностью, а двое ее детей, по одному с каждой стороны, лежали у ее ног. Вся компания была поражена этим зрелищем и не могла удержаться от слез, глядя на ее доброту сердца и необыкновенную силу привязанности.

"Тогда Хелонис, указав на свой траурный наряд и всклокоченные волосы, обратилась к Леониду. Не сострадание моего дорогого отца к Клеомбротосу наделило меня этой привычкой и придало мне этот несчастный вид. Мои печали пришли вместе с твоим несчастьем и изгнанием и с тех пор остаются моими привычными спутниками. Теперь, когда ты победил своих врагов и снова стал царем Спарты, должна ли я по-прежнему носить эти знаки скорби или надевать праздничные и царские украшения, в то время как муж моей юности, которого ты сам мне подарил, пал жертвой твоей мести? Если его собственная покорность, если слезы его жены и детей не смогут умиловить тебя, он должен понести более суровое наказание за свои преступления, чем требуешь даже ты, он должен увидеть, как его любимая жена умирает на его глазах. Ибо как я могу жить и поддерживать вид своего пола после того, как и муж, и отец отказались прислушаться к моим мольбам, когда оказывается, что и как жена, и как дочь я рождена для того, чтобы быть несчастной вместе со своей семьей". Если у этого бедняги и были какие-то благодетельные причины для того, что он сделал, я лишил их всякой силы, оставив его, чтобы последовать за вами. Но ты дал ему

достаточное извинение за его проступок, показав, что корона - настолько яркий и желанный объект, что зять должен быть убит, а дочь полностью проигнорирована, когда речь идет о ней".

"Хелонис после этой мольбы прильнула щекой к голове мужа и тусклым и вялым от горя взором оглядела зрителей; Леонид посоветовался со своими друзьями по этому поводу, а затем велел Клеомброту подняться и отправиться в изгнание, но просил Хелонис остаться и не покидать столь ласкового отца, любезно даровавшего жизнь ее мужу. Однако Хелонис не поддавалась на уговоры. Когда ее муж поднялся с земли, она положила одного ребенка ему на руки, а другого взяла сама и, воздав почести у алтаря, где они приняли святыню, отправилась с ним в изгнание. Так что если бы Клеомброт не был развращен любовью к ложной славе, он, должно быть, счел бы изгнание с такой женщиной большим счастьем, чем царство без нее."

1089. См. Müll. Dor. ii. 296.

1090.

Ἦ φίλτάτη Λάκαινα, χαῖρε.

οἶόν τὸ κάλλος, γλυκυτάτη, σοῦ φαίνεται.

ὥς δ' εὐχροεῖς, ὥς δὲ σφριγᾷ τὸ σῶμά σου,

κἄν ταῦρον ἄγχοις.

Что можно перевести следующим образом:

Возлюбленная Лакония, добро пожаловать!

Как славна красота твоя, любовь! Как румян

оттенок твоего лица! Бодрость и здоровье

Так скрепляют твой каркас, что ты и быка можешь растолкать.

Аристоф. Lysist. 78 sqq.

1091. Anab. iii. 2. 25.- Ἀλλὰ γὰρ δέδοικα μὴ, ἂν ἅπαξ μάθωμεν ἄργοι ζῆν, καὶ ἐν ἀφθόνοις βιοτεύειν, καὶ Μήδῶν δὲ καὶ Περσῶν καλαῖς καὶ μεγάλας γυναιξὶ καὶ παρθένοις ὁμιλεῖν, μὴ, ὥσπερ οἱ λωτοφάγοι, ἐπιλαθώμεθα τῆς οἴκαδε ὁδοῦ.-И снова, в Киропедии, Араспес восхваляет Пантею за ее величественные размеры. Из Гомера следует, что Афина, желая сделать Пенелопу более прекрасной, чем обычно, увеличила ее рост - Odyss. σ. 194.

1092. Athen. xiii. 79.- Даже Плутарх называет систему дисциплины, которую соблюдали спартанские женщины, ἀναπεπταμένη καὶ ἄθηλος, - "распущенной и неженственной" - и признает, что она давала поэтам неисчерпаемый фонд для насмешек. Ибикос, например, называл их φαίνομηρίδες, а Еврипид - ἀνδρομανεῖς. Их воспитание, по сути, сделало их грубыми и властными, "дерзкими и мужественными"; θρασύτεραι и ἀνδριοδεῖς - слова Плутарха, который замечает, что они хотели не только править насилием дома, но даже дерзко вмешиваться в государственные дела - Compar. Lycurg. cum Num. § 3.

1093. Как в древности, так и в наше время нашлись философы, которые теоретически отстаивали эту доктрину. Так, Архелай утверждал, что καὶ τὸ δίκαιον εἶναι καὶ τὸ αἰσχροὺν οὐ φύσει, ἀλλὰ νόμῳ.-Diog. Laert. ii. 4. 3. Здесь мы обнаруживаем фундаментальную максиму, на которой была построена вся система Гоббса.

1094. Polit. ii. 9.

1095. Jamblich. vit. Pythag. xi. 5. 6.-Müller. Dor. ii. 317.

1096. Plut. Lycurg. §. 14. Сравните замечания Уббо Эммия, который, однако, слишком неявно принимает представления Плутарха -iii. 22. seq.

1097. Propert. iii. 12. p. 261. iv. 13. p. 88. Иаков - Цицерон, процитировав некоторые стихи старого поэта, описывающие упражнения женщин-спартанок, добавляет своими словами: "ergo his laboriosis excercitationibus et dolor intercurrit nonnumquam; impelluntur, ponuntur, abjiciuntur, cadunt: et ipse labor quasi callum quoddam obducit dolori." Tuscul. Quæst. ii. 36.-В более отдаленные века мы находим женщин, прославившихся своим мастерством в охоте, и были те, кто в более поздние времена стремился привить этот вкус своим соотечественницам:-Οὐ μόνον δὲ, ὅσοι ἄνδρες κυνηγεσίῳν ἠράσθησαν, ἐγένοντο ἀγαθοὶ ἀλλὰ καὶ αἱ γυναῖκες, αἷς ἔδωκεν ἡ θεὸς ταῦτα Ἄρτεμις, Ἀταλάντῃ, καὶ Πρόκρῃ, καὶ εἴ τις ἄλλῃ. Xen. de Venat. xiii. 18. 345. Шнейд. Ср. Каллим. Hymn. in Dian. 209. 215. Spanh.

1098. Упомянув о политической власти женщин в Спарте, Аристотель спрашивает: что значит, управляют ли женщины или мужчины управляются женщинами? Polit. ii. 9.

1099. Müll. Dor. ii. 333.

1100. Plut. Lycurg. § 14. 15. Мюллер, с забавной пристрастностью апологета, игнорирует этот отрывок и представляет Плутарха утверждающим, "что они были свидетелями только шествий и танцев молодых (людей)". Примечание К. Dor. ii. p. 328. Здесь, хотя в английском переводе напечатано слово "мужчины", очевидно, имеются в виду женщины. Однако и в этом случае утверждение необоснованно, так как мы видим, что допускались даже незнакомцы:-ἐπαίνεῖται δὲ καὶ τῶν Σπαρτιατῶν τὸ ἔθος τὸ γυμνοῦν τὰς παρθένους τοῖς ξένοις. Athen. xiii. 20. Жители острова Хиос, по-видимому, подражали этой похвальной практике, поскольку софист говорит о ней как о приятнейшем зрелище, когда юноши и девы борются вместе в общественном месте для упражнений. Там же.

1101. Ср. Платон. De Legg. t. viii. p. 85.

1102. Плут. Lycurg. §. 21.

1103. Как сейчас среди галаксидиотов. Dodwell. i. 133. seq.

1104. Аристоф. Lysistr. 82.

1105. Поллукс. iv. 102.

1106. Своеобразно представление Скалигера о танце: Erat et διποδία, in quâ junctis pedibus labore plurimo et conatu picas imitabantur. Poet. i. 18. p. 69.

1107. Аристоф. Lysistr. 1303. sqq.

1108. Афины. xiv. 29.

1109. Poll. iv. 104. Hesych. v. Βρυδαλίχα.

1110. Etym. Mag. 260. 42.

1111. Müll. Dor. ii. 335.

1112. Cp. Нонн. Dionys. xix. 265. sqq. Etym. Mag. 712. 53. 635. 2. Скалиг. Poet. i. 18. Poll. iv. 99.

1113. Афины. xiv. 30.

1114. Pausan. iii. 15. 1. 17. 6. Cp. Ванда. Dissert. vii. p. 562. seq.

1115. Аристоф. Lysistr. 81. sqq.

1116. Sch. Аристоф. Thesmophor. 533.

1117. Но и люди, как мы находим, клялись -Κατὰ ταῖν θεαῖν καὶ τῆς Πολιάδος...-Lucian. Diall. Hetair. vii. 1.

1118. Аристоф. Lysistr. 198. и далее.

1119. Plat. de Legg. i. t. vii. p. 201. Bekk.

1120. Goguet. Orig. des Loix. t. v. p. 429.

1121. Дион. Chrysostom. Orat. i. 278. Юстин. iii. 4.

1122. Плут. Сравн. Lycurg. cum. Num. § 3. Aristot. Polit. ii. 9. который замечает: -ζῶσι ἀκολαστῶς πρὸς ἅπασαν ἀκολασίαν καὶ τρυφερῶς.- Герман в своих "Политических древностях" § 27, рассуждая последовательно с этими древними авторитетами, замечает, что система Ликурга "постепенно вытравила из спартанских женщин все признаки женского совершенства".

1123. βουλόμενος γὰρ ὁ νομοθέτης ὡς πλείστους εἶναι τοὺς Σпарτιάτας, προάγεται τοὺς πολίτας ὅτι πλείστους ποιεῖσθαι παῖδας- ἔστι γὰρ αὐτοῖς νόμος τὸν μὲν γεννήσαντα τρεῖς υἱοὺς υἱοὺς ἄφρουρον εἶναι, τὸν δὲ τέτταρα ἀτελῆ πάντων.-Arist. Polit. ii. 9. Cp. Ælian. Var. Hist. vi. 6, который заменяет число пять на четыре.

1124. Cp. Xen. de Rep. Lac. i. 6. Плут. Lycurg. § 15.- Ubbo Emmius. Descr. Reip. Lacon. p. 96. seq.

1125. Согласно Юстину, спартанский законодатель отменил использование приданого: Virgines sine dote nubere jussit, ut uxores eligerentur, non pecuniæ; severiusque matrimonia sua viri coërcerent, cum nullis dotis frænis tenerentur, iii. 3. Но Аристотель, глубоко изучивший полис Спарты, дает совершенно иной отчет:-ἔστι δὲ καὶ τῶν γυναικῶν σχεδὸν τῆς πάσης χώρας τῶν πέντε μερῶν τὰ δύο, τῶν τ' ἐπικλήρων πολλῶν γινομένων, καὶ διὰ τὸ προΐκας διδόναι μεγάλας.- Polit. ii. 9.

1126. Athen. xiii. 2.

1127. Plut. Лисанд. § 30.

1128. Athen. xiii. 1.

1129. Плут. Агис, § 2. Афины. xiii. 20. Возможно, эфоры не без оснований вмешивались в браки своих царей, поскольку царская власть везде была капризной. Но эти честные магистраты иногда были тираничны в своих постановлениях и поведении. Так, когда Анаксандрид женился на своей племяннице по любви, из-за отсутствия у нее детей он был вынужден взять вторую жену. Когда первая жена была в заключении, они, опасаясь навязывания или притворяясь недоверчивыми, сидели у ее постели" - Герод. ст. 39-41.

1130. Афины. xiv. 54.

1131. Xenoph. de Rep. Laced. i. 7. 8. 9.

1132. Cic. Tusc. Quæst. i. 49.

1133. Aristot. Polit. ii. 9. Xenoph. Hellen. vi. v. 27. Следует, однако, отметить, что в будущем, когда Спарту осаждал царь Пирр, женщины-ученицы Ликурга вели себя более стойко и энергично; Когда в сенате обсуждался вопрос, не следует ли им перевезти своих жен и детей на Крит, а затем, набравшись смелости от отчаяния, решить, победить или погибнуть на месте, Архидамия, дочь царя, войдя в собрание с мечом в руках, выступила против их решения, заявив, что женщинам Спарты подобает жить и умереть вместе со своими мужьями. В результате женское население осталось, и, копаясь вместе с мужчинами в окопах, затачивая оружие и ухаживая за ранеными, оно так сильно поддерживало мужество спартанцев, что им в конце концов удалось отбить македонцев от своего города. Ср. Плут. Pyrrh. § 27.- Polyæn. Stratagem. vii. 49.

1134. Plut. de Mulier. Virtut. t. ii. p. 195. Полиэн. Stratagem. viii. 33.

1135. Thucyd. ii. 4.

1136. Plut. de Mulier. Virtut. t. ii. p. 192.

1137. Клеомен. § 38. Я воспользовался здесь переводом Лэнгхорна, так как было бы нелегко сделать лучший перевод.

1138. Πέπλος.

1139. Plut. Agis §§ 17. 18. Мур в своем "Лалла Рух" выразил ту же мысль.

Лети в пустыню, лети со мной,

Наши арабские шатры грубы для тебя;

Но ах! выбор, в котором сердце может сомневаться,

Шатры с любовью или троны без?

ГЛАВА III.

СОСТОЯНИЕ НЕЗАМУЖНИХ ЖЕНЩИН - ЛЮБОВЬ.

Состояние афинской женщины гораздо важнее и, соответственно, сложнее для описания. На этот счет существуют крайне ошибочные впечатления: некоторые известные писатели приняли теорию, что они жили в полном уединении и были не менее невежественны и деградированы, чем восточные женщины, как принято считать. Мое собственное мнение несколько иное. После терпеливого изучения этого вопроса я пришел к следующим выводам.

При обрисовке подобной картины, несомненно, необходимы положительные свидетельства; но я обращаюсь к беспристрастному читателю, не следует ли, в конце концов, приписать очень большой, я бы даже сказал, самый большой вес, тому убеждению, которое постепенно и молчаливо растет в сознании, в течение долгого и привычного общения с предметом.

Таким образом, формируются новые авторитеты, ведь если человек тщательно и внимательно изучил то, что написали другие, взвесил авторитеты и скрупулезно просеял их притязания, это может дать ему право, если вообще может, высказать собственное мнение.

Широко распространено мнение, даже среди писателей, которые не были плохо информированы, что женщины занимали среди ионийцев в целом, и особенно среди афинян, очень низкое положение, ими пренебрегали и презирали, и, следовательно, они практически не влияли на нравы, мораль, литературу и общественные дела. С какой целью распространялась эта ошибка, понять несложно. Но извращать историю в партийных целях, в конце концов, бесполезное занятие, поскольку факты всегда остаются фактами, и никогда не поздно спасти истину от кляков софистики.

То, что афинские женщины находились в том состоянии, для которого их предназначила природа, я утверждать не стану; чуть больше общения с миром могло бы улучшить их понимание, они могли бы стать более приятными спутницами; но то, что они приобрели в социальном плане, они, вероятно, потеряли бы в качестве домашних существ. Ни одна женщина никогда не становилась лучше как жена или как мать благодаря тому беспорядочному наслаждению обществом, которого, как предполагается, так много потеряли афинские джентльмены, будучи лишенными его.

Чтобы составить правильное представление об их положении и о счастье, которое было им доступно, мы должны принять во внимание несколько обстоятельств, характерных для античного общества. В те времена под словом "образование" понималось нечто совсем иное, чем то, что придается ему сейчас. Оно означало скорее приучение ума к определенным привычкам, чем передачу различных знаний. Это была культура интеллектуальных способностей, посев семян, а не пересадка полупроросших понятий из одного ума в другой. Больше внимания уделялось формированию, а не обустройству ума. Приобретений и достижений было гораздо меньше, чем в наше время; но способности пропитывались более уверенно, быстрее разгорались и созревали до более энергичной зрелости. Поэтому среди древних было мало мечтателей, как мужчин, так и женщин. Тонко чувствуя все особенности своего положения, они были, в лучшем смысле этого слова, поэтическим народом, одаренным, конечно, воображением, но обладавшим также способностью обуздывать его, определять его ход и, в большинстве случаев, подчинять его велениям рассудка.

Об управлении младенчеством я уже говорил. В семилетнем возрасте полы разделялись, девочки оставались в яслях, а мальчиков гувернеры, специально приставленные для этой цели, направляли в государственные школы.^[1140] Слишком мало известно о материальных обстоятельствах, сопутствующих умственному и телесному воспитанию девочек, и о том, в каком возрасте их учили читать и писать. Однако в те времена многое передавалось из уст в уста. Их матери передавали им все представления о религии, совершали в их присутствии несколько жертвоприношений и других благочестивых обрядов и постепенно готовили их к служению в свою очередь у алтарей своей страны.^[1141] В определенном смысле, таким образом, каждая афинская женщина была жрицей, и хотя их благочестие было несовершенно, а вера испорченной, все же следует признать, что от проникновения в юный ум некоторых принципов религии должна была быть получена важная польза.

Выполнение этих благочестивых обязанностей началось очень рано. Сразу по достижении пятилетнего возраста они могли быть призваны в шафрановые одежды^[1142] для участия в обрядах Артемиды Брауронии, когда в жертву богине приносилась коза, а исповедующие рапсодизм напевали избранные отрывки из "Илиады". Здесь их посвящали в тайны

национального благочестия,^[1143] сопровождаемые всеми прелестями музыки и стиля декламации, не менее впечатляющего, чем театральный. На этом празднике, отмечавшемся каждые пять лет, все церемонии исполнялись девственницами, ни одна из которых не могла быть старше десяти лет;^[1144] мы должны, следовательно, заключить, что они прошли большую предварительную подготовку и были тщательно проинструктированы относительно цели обрядов. Другим религиозным праздником, на котором выступали только юные девы, была Архефория, отмечавшаяся в честь Афины или Герсы. Церемонии, проводимые по этому случаю, по-видимому, требовали более тщательной подготовки, так как необходимо было, чтобы юным жертвоприношениям было не менее семи лет и не более одиннадцати. Четверо, отобранные за знатное происхождение и воспитание, председательствовали, а двое других были избраны для плетения священного пеплоса, занимаясь которым, они проживали в Сферестерионе, на скале Акрополя, облаченные в белые одежды с украшениями из золота.^[1145] Хлеб, который они ели во время своего уединения, назывался анастатос.^[1146]

Я признаю, что не мало примечательно, что при доказательстве того, что афинские женщины получили то, что в наше время считается самыми скромными элементами образования, мы вынуждены полагаться на косвенные доказательства, или на простые умозаключения, или, более того, что этот вопрос вообще требует доказательства.^[1147] Этот факт сам по себе является решающим в пользу их сравнительного уединения. [seclusion](#). Если бы они много общались в обществе, у них было бы больше поводов остановиться на своих приобретениях, а в драматических композициях представить их, высказывая мнения и демонстрируя вкусы и предпочтения, явно несовместимые с некультурным интеллектом. Но, хотя трудности исследователя усугубляются скудостью и нечеткостью свидетельств, мы все же не лишены оснований для принятия решения, и если до сих пор, насколько мне известно, писатели упускали из виду некоторые из главных свидетельств, это следует рассматривать лишь как дополнительную причину для того, чтобы привести их сейчас.^[1148]

Существовавшее в древности сообщение, сохраненное Марцеллином в его "Жизни Фукидида",^[1149] представляет дочь этого великого историка как продолжательницу дела своего отца и, по сути, автора всей восьмой книги. Биограф, правда, не принимает эту легенду, но, отвергая ее, объясняет это не тем, что во времена Фукидида афинские дамы не обучались чтению и, следовательно, были неспособны ни к какому литературному труду, а тем, что рассматриваемая часть истории несет на себе явные следы того же возвышенного и мужественного ума, которому мы обязаны остальным, и ни в коем случае не напоминает произведения женщины. Если бы Марцеллин знал, что искусство письма не входило в программу обучения афинской женщины, это могло бы стать подходящей причиной для его сомнений. При таких обстоятельствах он мог бы высмеять глупость подобного предположения. Но ему не пришло в голову ничего подобного. Он прекрасно знал, что они могут и умеют писать, и поэтому прибегнул к надлежащему аргументу для подтверждения своей точки зрения.

Опять же, в том фрагменте оратории Лисия, который он написал для детей Диодотоса, представлена афинская женщина высокого ранга, защищающая, при очень тяжелых обстоятельствах, права своих детей против собственного отца. Диодотос, судя по всему, женился на своей племяннице и имел от нее нескольких детей. По требованию содружества он отправился в военный поход, во время которого пал под стенами Эфеса. Диогейтон, отец его жены, будучи назначен опекуном детей, пытается лишить их имущества, а их мать, призвав на помощь беспристрастных арбитров, отстаивает перед ними интересы своих детей, и оратор, обращаясь к одному из афинских трибуналов, не колеблясь, вкладывает в ее уста язык, достойный ратора. Это, однако, как я понимаю, не может считаться

доказательством. Но в ходе своей речи она раскрывает обстоятельство, которое следует рассматривать именно так. Во время ее пребывания в отцовском доме старик переезжал с одной улицы на другую, и в этой суматохе один из детей подобрал и принес матери маленькую записную книжку, выпавшую из его бумаг.^[1150] В ней оказался счет денег, оставленных ее мужем при отъезде в армию; она читает его,^[1151] и таким образом выясняет, в каком состоянии были дела семьи после отъезда мужа.

Еще одно доказательство того, что письмо было одним из достижений женщин, встречается у Ксенофонта. Исомахос прокладывает путь к домашнему счастью и богатству. Как будет показано далее, он вдаётся во множество интересных деталей и, помимо прочего, обсуждает характер и обязанности домоправительницы, ведь в Греции главные заботы по дому всегда возлагались на женщин. Так, возвращаясь к героическим временам, мы находим Эвриклею экономкой Одиссея^[1152], и дворец Гектора в Трое также находится под присмотром женщины.^[1153] В критских государствах, более того, даже на общественных столах были женщины-надсмотрщики,^[1154] а в Афинах, где домашнее хозяйство было понято гораздо лучше, чем в остальной Греции, женщины обязательно получали управление домашним хозяйством,^[1155] которым мужчины наверняка управляли бы более несовершенно. Но в хорошо отрегулированных семьях верховный контроль над всем оставался за женой, которую Ксенофонт^[1156] представляет участвующей вместе с мужем в составлении списка всего движимого имущества в доме, и это потом остается в ее руках как проверка для экономки, которой, если бы она не умела читать, не было бы. Кроме того, о ней говорят как о помощнице в составлении каталога, и на протяжении всего диалога она проявляет столько способностей и знаний, что мы не удивимся, если увидим, что она обсуждает с Сократом домашние дела. Кроме того, есть замечание Платона^[1157], разрушающее в то же время другую ошибку на эту же тему, которая показывает, как женщины проявляют свое суждение в литературных вопросах. Дети, говорит он, могут найти комедию более приятной, но образованные женщины, молодежь и вообще большинство человечества предпочтут трагедию. Здесь подтверждается мнение, что для них были открыты и комический, и трагический театры, иначе невозможно было бы узнать, какой из них они предпочтут. Но об этом подробнее в другом месте.

Во всех странах большая часть образования женщины происходит после замужества. Но в Афинах, где они так рано^[1158] вступали в брачный союз, сам брак должен быть отнесен к главным причинам их умственного развития. Они попадали в руки своих мужей не сформировавшимися, но податливыми и послушными. То немного, чему их учили, казалось, скорее предназначалось для того, чтобы приспособить их к его наставлениям, чем для того, чтобы обойтись без них.^[1159] Их уединение от мира сохраняло их характер незакрепленным и впечатлительным. Из яслей они попадали в брачный чертог робкими, несмышленими, неискусшенными, и муж, если хотел, мог формировать их ум и взгляды по своему усмотрению. В афинских женщинах мы, соответственно, наблюдаем самый замечательный контраст со спартанками. Их влияние, возможно, более сильное, действовало незаметно, согревая и побуждая более грубую мужскую глину, но не унижая их господ и не подвергая их насмешкам за то, что они живут под властью домашних одеяний. Однако в Фемистокле мы имеем пример того, как они действовали. Лаская однажды своего младенца-сына, он заметил, игриво, но с тем честолюбивым сознанием власти, которое всегда присутствует в сознании грека: "Этот малыш - самый влиятельный человек из всех, кого я знаю". Друзья поинтересовались, что он имеет в виду: "А то, - ответил Фемистокл, - что он полностью управляет своей матерью, в то время как она управляет мной, а я - всей Грецией".^[1160]

Шаги, с помощью которых афинская девушка могла достичь столь завидного положения, не заслуживают нашего внимания. С пятнадцати лет она могла рассчитывать стать хозяйкой семьи, и, вероятно, их поведением часто руководила максима Клеобулоса^[1161] о том, что женщины должны подходить к браку молодыми, но старыми по уму. Любовь, несомненно, была не единственной свахой в Афинах.^[1162] В целом сердце, как и в наши дни, следовало в русле благоразумного расчета. Но это происходило не столько из-за нецелесообразности^[1163] получения интервью, сколько из-за привычного предпочтения золота, которое, как выяснилось, во все века определяло поведение большинства. И по сей день во всех странах Европы брак в высших слоях общества слишком часто становится просто сделкой и продажей, в которой чувства остаются совершенно безразличными. Так было и в Афинах, хотя полагать вместе с Мюллером, что интерес всегда был единственным мотивом, означало бы совершить ошибку, не одобряемую ни историей, ни философией.

Когда говорится, что девственницы во всех ионических государствах вели крайне уединенный образ жизни, мы не должны из этого делать вывод, что мужчины не имели никакой возможности созерцать или даже общаться с ними.^[1164] Уже было видно, что с пятилетнего возраста различные церемонии религии предков^[1165] выводили женщин на улицу, что они неторопливо шли, одетые со всеми средствами искусства и великолепия, в частых процессиях к храмам, и известно, что многочисленные частные случаи, такие как похороны, браки и т. д., выставляли их на всеобщее обозрение. Так, в "Теренции" мы имеем юношу, который, увидев девушку с непокрытым лицом и растрепанными волосами, оплакивающую похороны своей матери, отчаянно влюбляется;^[1166] и жена в "Лисиаде", чья слабость привела к убийству Эратосфена,^[1167] была впервые замечена и восхищена при подобных обстоятельствах. Оправдания, в сущности, никогда не были лишними, и неизвестные нам случаи явно предоставлялись мужчинам для знакомства с нравом и характером их будущих супругов, поскольку мы находим Сократа, беседующего с людьми, хорошо знакомыми с нравами их страны, шутливо притворяющегося, что выбрал Ксантиппу за ее свирепый, неукротимый дух.^[1168]

Многие выдающиеся ученые полагают, что в Афинах^[1169] театр - этот великий базар женской красоты в современных государствах - был закрыт для женщин, по крайней мере комический театр. Одним из главных оснований такого мнения является грубый и развратный характер старой комедии, которая с ее широким юмором, политической сатирой и безрассудным пренебрежением к приличиям, кажется, подходит только для мужчин, причем не самых утонченных. Но в человеческой природе есть странные противоречия. Сама религия Греции кипела непристойностями. Фаллические статуи заполнили храмы и общественные улицы. Фаллические эмблемы входили во многие священные церемонии, в которых участвовали женщины, даже в девичестве, а стихи, произносимые во время жертвоприношений, где они участвовали в каждом обряде, во многих местах были шире, чем допустимо для утопического законодателя. Кроме того, чтобы доказать несостоятельность этого возражения, нам достаточно обратить внимание на историю нашей собственной сцены. Английские женщины не отказывались, когда это было в моде, смотреть под защитой маски^[1170] комедии Массинджера, Уайчерли, Бомонта и Флетчера. Они до сих пор читают, а на сцене восхищаются Шекспиром, и от них не так уж велик промежуток до Аристофана, самого развратного и бесстыдного из древних комических писателей.^[1171] И, кроме того, никогда не следует забывать, что их извращенная религия распростерла над сценой свое защитное крыло. Пьесы, выставлявшиеся во время праздников Вакха, были, как и наши старые мистерии и моралите, строго священными представлениями, и, следовательно, женщины могли быть исключены из них не больше, чем из других выставок, связанных с общественным культом.

Однако, как и по многим другим вопросам, положительные и прямые свидетельства, которые можно привести в доказательство позиции, которой я придерживаюсь, скудны, а из современных авторитетов почти все против меня. Тем не менее, истину не следует сразу же отбрасывать, потому что ее защита сопряжена с большими трудностями. Придет время бежать, когда мы исчерпаем все наши ресурсы. Неизвестный писатель, но все же грек,^[1172] рассказывает, что во время представления "Эвменид", этой внушающей благоговение и ужасной драмы Эсхила, вид фурий, бурно несущихся по сцене, как адские псы, в страшных масках и с окровавленными руками, навел такой глубокий ужас на театр, что дети впадали в судороги, а беременные женщины схватывались преждевременными родовыми схватками. Это, если признать, было бы доказательством, решающим в отношении трагической сцены. Но, поскольку от его силы невозможно уклониться, современные критики смело берут на себя привилегию относиться ко всему отрывку пренебрежительно, выступая с презрением, когда у них нет контрдоказательств. Такой способ аргументации, однако, кем бы он ни применялся, должен нести на себе отпечаток софистики, ибо нет такой позиции, которую нельзя было бы ниспровергнуть или утвердить.

Но наш анонимный авторитет не был оставлен наедине с нападками критиков и историков. Другие древние авторы, хотя их подтверждающие свидетельства до сих пор обычно игнорировались, предоставляют случайные намеки и откровения, которые, если их должным образом взвесить, будут, я не сомневаюсь, признаны в качестве положительного доказательства. Описывая храм Деметры в Элевсисе, Страбон отмечает, что его размеры были столь велики, что во время празднования мистерий он вмещал всю толпу, обычно собирающуюся в театре.^[1173] Теперь, во время мистерий, мы знаем, что присутствовали афиняне обоих полов и всех возрастов старше детского, так что, если бы в театр допускались только мужчины, он не был бы и вполовину меньше Элевсинского храма, и, следовательно, не дал бы географу подходящего предмета для сравнения. Опять же, в цитированном выше отрывке из Платона присутствие женщин как в трагическом, так и в комическом театре несомненно предполагается, поскольку, чтобы судить об обоих этих видах выставок, нужно было либо видеть их, либо читать пьесы. Если бы они читали пьесы, то не было бы причин запрещать им посещать театр, так как все, что в них содержалось бы предосудительного, было бы в равной степени доступно для них. Поэтому даже из этого отрывка можно сделать вывод, что театр был свободен для женщин.

Но в других местах философ выражается более определенно. Обращаясь в "Диалоге о законах" непосредственно к трагической поэзии и всегда имея в виду свое воображаемое государство, он почтительно и со многими лестными комплиментами запрещает эту отрасль миметического искусства, не указывая, однако, причин. Взяв на себя роль предводителя законодательного хора, он сообщает трагикам, что "мы тоже, по-своему, поэты и стремимся к совершенному изображению человеческой жизни. Поэтому вы должны считать нас своими соперниками и верить, что мы трудимся над созданием драмы, которая подвластна только совершенному закону. Вы не должны, соответственно, воображать, что, как ревнивые соперники, мы с готовностью впустим вас в наш город, чтобы вы поставили свои палатки на нашей агоре и голосом крикливых актеров внушили нашим женам, детям и соотечественникам нравы, прямо противоположные нашим". Итак, какой смысл или, более того, какая польза была бы в этом, если бы в реально существующих государствах драматическим поэтам всегда запрещалось обращаться к женщинам? Разве это не было бы таким же новшеством, как если бы какой-нибудь изобретательный философ наших дней, находясь в государстве своего собственного изобретения, предложил бы в качестве большого улучшения существующих обычаев, чтобы женщины ходили в церковь?

Таким образом, если бы не было других доказательств, это показалось бы мне убедительным; но остается еще одно, более веское. Хорошо известно, что театр у древних был разделен на несколько отделений, одни более, другие менее почетные; и из них одно целое отделение, по указу Сфиромеха, было выделено для женщин-граждан, которые, по-видимому, раньше сидели без разбора среди мужчин и женщин-странниц. Для последних, по-видимому, были отведены верхние ряды мест.^[1175] Таким образом, мнение, распространенное среди большинства писателей, является ошибочным. Женщины не были лишены возможности развлекаться или учиться в театре,^[1176] что, к добру или к худу, влияло на их образование и делало их умы подчинёнными или иными для замыслов законодателя и благосостояния государства.

Из всего этого следует, что в Афинах полы имели множество поводов для встреч, а в других ионийских государствах преобладали аналогичные обычаи и схожие нравы. В этом мы вынуждены полагаться на неясных схолиастов или грамматиков. Сам Фукидид, описывая второе очищение Делоса афинянами и учреждение Делийских игр, замечает, что с очень далеких времен жители Ионии и соседних островов имели обыкновение приходить со своими женами и детьми на священные праздники, которые там отмечались в честь Аполлона. На этих праздниках проводились гимнастические упражнения и музыкальные состязания, а среди хорунжих, воспевавших хвалу богу, было несколько женщин. Все эти церемонии описаны в гомеровских гимнах богу-покровителю, где поэт очень оживленно пересказывает основные особенности игр.

Тебе, о Фебос, большинство Делийских островов
Дарит сердечную радость, вызывает приятную улыбку,
Когда веселые ионийцы стекаются к твоему куполу,
Мужчины, женщины, дети, - великолепная вереница:
Где струящиеся одежды покрывают священную грудь.
Где юность радует весь остров.
Где чемпионы сражаются, где танцоры бьют в ладоши.
Где веселая музыка звучит повсюду,
Твой пир чтить и хвалу твою возносить.^[1177]

Великий историк, цитирующий этот гимн и безоговорочно приписывающий его Гомеру, приводит в доказательство возникновения музыкальных состязаний другой отрывок, в котором, как он замечает, поэт говорит о себе:-.

Но теперь, Аполлон, с сестрой твоей прекрасной
Улыбнись, когда бард, задерживаясь, читает молитву;
И вы, о нимфы Делийские,^[1178] охраняющие фейн
Фибоса, слушайте мою прощальную песню;

Если какой-нибудь одинокий незнакомец, Когда не будет больше моего ложа

Плывет по ветру священного берега,

Потребует, кто лучше всех, душераздирающей песней,

Заслужил блаженную похвалу и увлек ваши сердца?

Тогда ответьте с теплой одобрительной улыбкой.

"Слепой старик со скалистого острова Хиос".

И вплоть до периода Пелопоннесской войны в Эфесе проводились подобные игры и священные обряды, на которых обычно присутствовали ионийцы со своими женами и детьми.

Дорический историк, которому все эти обстоятельства должны быть хорошо известны, не делает, однако, никакого отчета о них, но, следуя своей теории, если не фактам, не помнит ни одного достоверного случая в анналах Аттики, когда человек женился бы по любви. Что бы он признал достоверным, сказать трудно. Он отвергает, когда того требуют его особые представления, свидетельства Геродота и Фукидида, так что от повествования, опирающегося на авторитет Полиэна, Плутарха и Валерия Максима, мы не можем ожидать ничего хорошего. Тем не менее, поскольку эти авторы, по крайней мере, верны в описании нравов, следующий романтический инцидент может быть рискнут даже на их авторитете. Афинский юноша Фрасимед, восплаивший сильной страстью к дочери тирана Пейсистрата, однажды, когда она шла в религиозной процессии, набрался смелости и открыто поцеловал ее на улице. Ее братья, юноши пылкого нрава, расценили этот поступок как оскорбление, почти не поддающееся объяснению, и, видимо, готовились отомстить обидчику, когда старый принц успокоил их гнев, заметив: "Если мы наказываем людей за любовь к нам, то как же мы будем вести себя с нашими врагами?" Спасаясь таким образом, Фрасимед все еще лелеял свою любовь. Поэтому он решил увезти девушку силой; собрав несколько своих соратников, он воспользовался случаем, когда на берегу моря происходило жертвоприношение, в котором участвовала дева, и, пробившись сквозь толпу в сопровождении своих сторонников с мечами, сумел посадить ее в лодку и отплыть в Эгину. Однако, к несчастью для его замысла, Гиппиас, старший сын Пейсистрата, как раз в этот момент курсировал по заливу в поисках пиратов и, заметив поспешно выходящую в море яхту, налетел на нее, взял молодых людей в плен и вместе с сестрой отконвоировал их в Афины. Фрасимед и его спутники, представ перед тираном, ни на йоту не ослабили своего мужества, но попросили его, определяя им наказание, поступить по своему усмотрению, поскольку с того момента, как они решились на это предприятие, жизнь их, по их словам, была легкой. Писистрат, хоть и был тираном, с восхищением смотрел на их возвышенность души, безвозмездно отдал свою дочь Фрасимеду и завоевал их интересы мягкостью и дружбой. В этом, говорит Полиэн, он скорее играл роль хорошего отца и популярного гражданина, чем тирана.^[1180]

Но если бы ни один случай не остался в истории, кто может сомневаться в том, что сердце подсказывало, а рука следовала его побуждениям, как в Афинах, так и в других местах? Его стены, колонны, каждый платан в Академии, Керамейкосе и других общественных местах светились языком страстей и именами девственников, возлюбленных за их красоту. В этом, несомненно, присутствовала некоторая деликатность; но нравы афинян, хотя и не представляли непреодолимого препятствия для такого общения, которое могло бы послужить разжиганию привязанности,^[1181] противостояли, тем не менее, той возможности

общения, которая в Спарте существовала, а в нашей стране является обычной. Однако, если бы возлюбленная не умела читать, с какой целью ее имя, соединенное с ласковыми эпитетами, освещало бы кору смилакса или мраморные стены гимнасий? Оно было начертано там для того, чтобы ее светлые глаза могли прочесть его и узнать, кто из всей афинской молодежи выделил ее из мира, чтобы она стала предметом его любви. Лукиан в своем саркастическом юморе изображает безумного любовника богини Афродиты, вырезающего на каждом дереве и конце стены ее имя.^[1182] Из фрагмента "Каллимаха" также следует, что люди иногда писали любимые слоги на листьях деревьев,^[1183] что вполне могло быть, поскольку в наши дни мы видели, как англичане золотыми буквами начертали имя своей юной королевы на листьях лавра. Еврипид, не упуская случая выказать свое отвращение к этому полу, вводит одного из своих персонажей, протестующего против того, что его мнение о женщинах не улучшилось бы, даже если бы каждая сосна на горе Ида была покрыта их именами.^[1184]

Другой способ признания в любви, не совсем неизвестный в наше время, заключался в том, чтобы облечь язык сердца в стихотворную форму. Поэты, как нам рассказывают, часто маскировали свои собственные чувства, приписывая их действующим лицам в придуманном повествовании, которое они сочиняли в качестве подношения объекту своей привязанности, который, очевидно, чтобы оценить такой подарок, должен был уметь его читать.^[1185] У них была и другая, в частности греческая, манера заявлять о своих чувствах - развешивать гирлянды цветов или приносить жертвы перед дверью, где жил человек, владеющий их сердцем.^[1186] Иногда они приходили на место и возливали вино, как при входе в храм; на эту практику ссылаются схолиаст Аристофана, который рассказывает, что несколько фессалийских кавалеров были влюблены в Лаис,^[1187] предали свою страсть, публично окропив ее двери вином. Среди симптомов, раскрывающих состояние чувств, была гирлянда, свободно наброшенная на голову.^[1188] Женщины страдали от того, что их тайна ускользала от них, когда их обнаруживали с гирляндами на волосах.^[1189]

Но как бы ни проявлялось существование страсти внешне, более интересным вопросом является модификация, которую сама страсть^[1190] претерпела в греческом уме.^[1191] Множество обстоятельств способно ввести нас в заблуждение по этому вопросу. Во-первых, писатели, которые, подобно грибкам, появились на свет среди разврата и распутства, сопровождавших упадок эллинского общества, стоя ближе к нам, мешают нашему взгляду. Среди них грубая нездоровая жажда возбуждения привела к гнусным извращениям чувств, и, чтобы оправдать свои собственные излишества, они отбрасывали свои мерзкие загрязняющие тени на более высокое и светлое моральное положение своих предков. Уже в эпоху Эсхила эта пагубная практика стала преобладать, ибо этот великий поэт не побрезговал приписать Ахиллу пороки, которые в гомеровский период были явно неизвестны.^[1192]

Но чтобы правильно понять дух эпохи, мы ни в коем случае не должны полагаться на интерпретацию последующих или даже на какой-то один класс современных писателей. Меньше всего - авторам комедий, которые редко изображают людей такими, какие они есть, но впадают в преувеличение и карикатуру ради эффекта. К образному, духовному, бесстрастному мы должны прибегнуть, если хотим узнать, что чувствует бесстрастный, духовный и образный человек, а только для таких в любом веке или стране любовь в поэтическом смысле этого слова является знакомой или действительно понятной.

В понимании некоторых современных писателей, любовь у греков не просто основывалась на физических элементах, как это должно быть везде, но включала в себя мало или ничего другого.^[1193] В ней не было, по их мнению, ни одной из этих романтических черт, ничего из

той героической самоотдачи или возвышенного единения души с душой, которые у северных народов, особенно в художественной литературе, характеризуют этот мощный и таинственный принцип, связывающий в неразрывный союз людей разного пола и делающий на протяжении всей жизни довольство и счастье одного из них зависимыми от благополучия другого.

Но я не могу обнаружить у греков ничего, что в этом отношении отличало бы их от других цивилизованных рас, за исключением, пожалуй, того, что в их любви было больше искренности и реальности и меньше мечтательности и фантастического жеманства, чем можно было бы представить себе у некоторых современных народов. Однако их басни и поэзия изобилуют идеями и примерами самой возвышенной и чистой любви, такой любви, которая естественна для человечества, которая гармонирует с устройством его ума, предметом и тенденцией его страстей, растущей, как дуб из земли, но устремляющейся ввысь и возносящей свой величественный рост и прекрасную листву к небесам. Так, Одиссей у Гомера предпочитает солнечный свет привязанности жены бессмертию^[1194] и улыбкам чувственной богини. Хемон с нежностью, доведенной до крайности, отвергает соблазны империи, более того, сами законы долга и природы, чтобы прильнуть к облику Антигоны^[1195] и соединиться с ней в могиле. А Алкестида, возвышаясь над всеми, уходит в молодости, здоровье и красоте.

"В теплые пределы веселого дня".

чтобы сохранить существование того, кто любим больше жизни.^[1196]

В подтверждение возвышенных представлений о любви, господствовавших в ранней Греции, мы находим олицетворение этой страсти, причисленное к древнейшим богам ее мифологии. Ему воздвигались алтари, устраивались праздники, ему приносились жертвы, как силе, божественной по своему происхождению и природе.^[1197] Она вдыхала дыхание жизни в их поэзию, она должна была вызывать музыку и стихи из самой холодной человеческой глины, как солнечные лучи из сказочного Мемнона - она связывала себя в своей энергии со свободой - любить, в воображении грека, означало перестать быть рабом,^[1198] - она освобождала и делала благородным того, кого вдохновляла, - она парила крыльями в воздухе и спускалась даже во сне^[1199] на разум мужчины или женщины, являя взору формы неизвестных лиц, уничтожая расстояния, попирая ранги, смешивая богов и людей своей неодолимой силой.^[1200] Большая часть красоты их басен скрыта от нас атмосферой банальности и фамильярности, которой их наделяет наше неразумное образование. Каждый заезженный сонетист лепечет об Эросе. А Афродита, создание воображения, более яркое и прекрасное, чем ее собственная звезда, стала более обычным явлением в современном стихе, чем самые знаменитые ее жрицы в древнем Коринфе. Но поэты Греции владели искусством одевать своих богов в цвета, теплые, как жизнь, разнообразные, как радуга; а что касается Любви, то никогда ее влияние не было так тонко оттенено, как у того, кто представляет Эндимиона, дремлющего с сомкнутыми веками на горе Латмос, чтобы божество сна могло наслаждаться яркостью его глаз!^[1201]

1140. Из отрывка из Теренция (Phorm. i. 2. 30. sqq.) Перизоний делает вывод, что даже девочек отправляли в школу. Но он применяет к афинским девам свободного происхождения то, что у римского поэта говорится о подневольной девушке-музыканте: *Ea serviebat lenoni impurissimo...* (Not. ad Ælian. Hist. Var. iii. 21.) Однако из этого отрывка, как уже заметил Кун, следует, что в Афинах существовали государственные школы для девочек, каково бы ни было

состояние тех, кто их посещал. В "Antiquitates" Ламберта Боса (Pars. iv. c. 5. p. 216) повторяется ошибка Перизония, то есть в примечании, ибо, согласно тексту, аттические девственницы были тесно ограничены домом.

1141. Πολλὰς ἑορτὰς αἱ γυναῖκες ἔξω τῶν δημοτελῶν ἦγον ἰδία συνερχόμεναι.-Sch. Аристоф. Lysistr. i. У Гомера мы находим троянских женщин, приносящих жертву Афине - Il. ζ. 277. 310, подобно тому как это делали афинские матроны на Акрополе -Aristoph. Lysistr. 179.

1142. Suid. v. ἄρκτος. t. i. p. 425. c.- Sch. Аристоф. Lysistr. 645.-Meurs. Græc. Fer. lib. ii. p. 67.- Во время танцев, исполняемых в честь этой богини, женщины обычно играли на медных кастаньетах.-Athen. xiv. 39.

1143. Поскольку Платон в своей "Республике" выделяет для каждого пола отдельный класс песен, можно предположить, что и в Афинах, и в других местах Греции мужчины и женщины обычно пели одни и те же песни.-De. Legg. vii. t. viii. p. 30.

1144. Pollux. viii. 107.- Cp. Herod. vi. 138. Женщины практиковали различные танцы, исполнение которых с мастерством составляло одну из отраслей их достижений. Один из этих танцев назывался апокинос, или мактрисмос, о котором упоминает Кратин в своей "Немезиде", Кефисодор в своих "Амазонках", а Аристофан в своих "Кентаврах". Однако эти танцы, по-видимому, представляли собой особый класс и получили название марктипийских. Афины. xiv. 26.

1145. Etym. Mag. 149, 13. sqq.-Suid. v. Ἀρρήνηφ. t. i. p. 222. c. Ἀρρήφορια-ἐπειδὴ τὰ ἀρρήτα ἐν κίσταις ἔφερον τῇ θεῷ ὡς παρθένοι. idem. t. i. p. 423. c. et v. χαλκεῖα t. ii. p. 110 d. Harpocrat. v. ἀρρήφόρειν. p. 48 Maussac.-Aristoph. Lysistr. 643. et. schol.-Lys. Mun. Accept. Apollog. §. 1.-Plut. Vit. Dec. Orat. iv. t. v. p. 145.-Cf. Sch. Aristoph. Acharn. 241. В некоторых религиозных процессиях женщины, за исключением канефоры, не следовали за зрелищем, а смотрели на него с крыши дома.

1146. Афины. iii. 80.

1147. Мурет приводит несколько отрывков, доказывающих, что ученые женщины в древности носили лишь безразличный характер - Var. Lect. viii. 21. Гетайры, конечно, обучались чтению. Этому есть многочисленные доказательства: τὰ ἐπὶ τῶν τοίχων γεγραμμένα ἐν τῷ κεραμεικῷ ἀναγνοῦθι, ὅπου κατεστηλίσταται ὑμῶν τὰ ὀνόματα- говорит ревнивый любовник Мелитте у Лукиана.-Diall. Hetair. iv. 2. Даже служанка этого гетайра Ацис умеет читать; желая выяснить, не было ли чего-нибудь в сообщении ее возлюбленного, Мелитта посылает девушку осмотреть стены, и та обнаруживает и читает слова "Мелитта любит Гермотимоса" и т. д., которые, написанные там в шутку каким-то колдуном, оказались причиной ревности ее возлюбленного и последовавшей за этим ссоры.

1148. Cp. Telet. ap. Stob. Florileg. Tit. 108. 83. Gaisf.

1149. P. xxi. О взглядах Платона на воспитание женщин см. De Legg. t. viii. p. 36.- Cp. Xen. Conviv. ii. 9, 10.

1150. Lys. Cont. Diog. § 5. Под τοὺς παῖδας: Рейске, однако, понимает слуг Диогейтона, хотя они, скорее всего, отнесли бы книгу своему хозяину.

1151. См. также у Демосфена рассказ о том, как жена и муж изучают завещание -Adv. Spud. § 8.

1152. Odyss. α. 428. β. 345, 361.

1153. Илиада. ζ. 381. 390.

1154. Афины. iv. 22.

1155. В семье Перикла, однако, мы находим упоминание об управляющем и узнаем, что управление делами было передано из рук женщин.-Plut. Pericl. § 16.

1156. Œconom. ix. 10. p. 57, Schneid. Подобные деловые привычки преобладали у наших соседей, голландцев, пока они пользовались преимуществами республиканских институтов. Среди причин их процветания сэр Джосайя Чайлд перечисляет: "Воспитание своих детей, как дочерей, так и сыновей, которых, будь они не столь великого качества или сословия, они всегда заботятся о том, чтобы воспитать в совершенстве владеющими письмом руками, и иметь полное знание и использование арифметики и купеческих счетов, хорошее понимание и практика которых, как ни странно, прививает большинству обладателей этого качества, любого пола, не только способность к коммерции всех видов, но и сильную склонность, любовь и удовольствие от нее; А если учесть, что женщины разбираются в ней не хуже мужчин, то это побуждает их мужей оставаться в своем ремесле до самой смерти. Зная, что их жены способны получить свои имения и продолжать торговлю после их смерти; в то время как если купец в Англии приобретает сколько-нибудь значительное состояние, он обычно отказывается от торговли, прежде чем приблизится к границам старости, считая, что если Бог призовет его из мира, пока основная часть его состояния занята за границей торговлей, он должен потерять треть его, из-за неопытности и неспособности его жены к таким делам, и так обычно и происходит" - "Рассуждения о торговле", стр. 4.

1157. De Legg. l. ii. t. vii. p. 243. Bekk.-'Εὰν δέ γ' οἱ μείζους παῖδες, τὸν τὰς κωμῳδίας- τραγωδίαν δὲ αἱ τε πεπαυμέναι τῶν γυναικῶν καὶ τὰ νέα μεράκια καὶ σχεδὸν ἴσως τὸ πλῆθος πάντων.

1158. Римские дамы вступали в брак еще раньше; в возрасте двенадцати лет, говорит Плутарх, или под. Parall. Num. et Lycurg. § 4.

1159. Xenoph. Œconom. vii. 5. 6. sqq.

1160. Плут. Themist. § 18.

1161. Диог. Laert. i. 6. 4.

1162. В Греции, как и везде, у неполноценных девушек было мало поклонников. Diog. Laert. v. 4. 1.

1163. У комических поэтов встречаются примеры, когда мужчины выбирают сами. Так, в "Теренции" молодой человек отказывается от дамы, предложенной ему отцом, и предлагает жениться на любовнице по своему выбору, на что соглашаются оба родителя. Neautontimor. v. 5. sub. fin.

1164. Афины. xiii. 29.

1165. Религиозные обряды, в которых участвовали афинские женщины, были многочисленны и важны: 1. Оргиастические церемонии в честь Пана совершались с криками и шумом, так как не разрешалось приближаться к этому божеству в тишине - Sch. Aristoph. Lysistr. 2. Они совершали священные обряды в честь Афродиты - Colias, id. ibid. 3. Другим божеством, в честь которого они собирались вместе, была Гинесиллида - богиня в окружении Афродиты, получившая имя ἀπὸ τῆς γενέσεως τῶν παίδων. id. ibid. Ср. Luc. Amor. § 42. 4. Хорошо известно, какое участие они принимали в оргиях Диониса. 5. Они также были главными

действующими лицами на празднике Адониса. Plut. Alcib. § 18. Не говоря уже о том, что они, строго говоря, составляли главную достопримечательность панафинейской процессии.

1166. Phorm. 2. 2. 40. sqq.

1167. Lys. De Cæd. Eratosth. § 2.

1168. Diog. Laert. ii. 5. 18.

1169. Чтобы доказать присутствие женщин в театре среди других греков, можно собрать множество свидетельств. Так, когда в Иолисе некий Александр устраивал драматические представления, туда стекался народ со всех окрестных городов и деревень, и тогда он окружал театр солдатами, брал в плен мужчин, женщин и детей и отпускал их только после уплаты большого выкупа -Polyæn. Стратегема. vi. 10.

1170. На это ссылается Папа:

"И ни одна маска не ушла без выкупа".

См. также Свифт, "Сказка о бадье", § ix.

1171. О грубости немецкого театра в XVIII веке, который посещали императрица и первые придворные дамы, см. "Письма леди Монтегю", ix.

1172. Τινες δὲ φάσιν, ἐν τῇ ἐπιδείξει τῶν Εὐμενίδων σποράδην εἰσαγαγόντα τὸν χορὸν, τοσοῦτον ἐκπλήξαι τὸν δῆμον, ὥστε τὰ μὲν νήπια ἐκψύξαι, τὰ δὲ ἔμβρυα ἐξαμβλωθῆναι.-Vit. Æschyl. p. 6.

1173. "Ὀχλον θεάτρου δέξασθαι δυνάμενον.-Strab. ix. i. p. 238.-Мы имеем у Поллукса, ii. 56. и iv. 121., θεάτρια "зрительница" и συνθεάτρια "созерцательница", слово, используемое Аристофаном и, несомненно, применяемое к женщинам, составляющим часть театральной публики.

1174. Plat. de Legg. vii. t. viii. p. 59. Бекк. Сравните с этой песней φαλλοφόρος.-Athen. xiv. 16.

Σοῖ, Βάκχε, τάνδε μοῦσαν ἀγλαΐζομεν,

Ἀπλοῦν ῥυθμὸν χεόντες αἰόλῳ μέλει,

Καὶ μὰν, ἀπαρθένευτον. κ. τ. λ.

Его песни и игра, несомненно, мало соответствовали вкусу девственницы; но если бы девственницы никогда не посещали театр, и комический в том числе, то откуда бы взялась необходимость в подобном замечании?

1175. Аристоф. Eccles. 22. et Schol.

Ἐνταῦθα περὶ τὴν ἐσχάτην δεῖ κερκίδα

Ὑμᾶς καθιζούσας βεωρεῖν ὡς ξένας.

Alexis, ap. Poll. ix. 44.

1176. Анекдот, рассказанный Плутархом, сам по себе, на мой взгляд, достаточен для доказательства присутствия женщин в театре, а также того, что афинские дамы обычно выходили за границу в сопровождении одной служанки. Однажды, когда актер, игравший роль царицы, отказался выходить на сцену, если его не нарядили в великолепный костюм и большую свиту, распорядитель Мелантий толкнул его на доски, сказав: "Разве ты не видишь,

что жена Фокиона постоянно отправляется за границу в сопровождении одной служанки? А ты хочешь придать пышность и развратить наших жен?" Очевидно, что гордыня этого актера не могла бы оказать дурного влияния на женщин, если бы они не присутствовали при его хвастовстве. Поэтому мы неизбежно должны сделать вывод, что они были, и что они присоединились к театру в гоме аплодисментов, которыми он встретил замечание Мелантия, который говорил так громко, что его слышала вся аудитория. -Plut. Phoc. § Отрывок из Алексиса не ускользнул от Казобона, который в своих заметках о персонажах Теофраста, стр. 165, обсудил этот момент с присущей ему образованностью и умением. Однако отрывок из "Фесмофорий" Аристофана, кажется, но только кажется, свидетельствует против этого мнения. Там женщина говорит, что когда мужчины возвращались после просмотра пьесы Еврипида, "женоненавистника", они обыскивали дом в поисках любовниц; но когда шли пьесы Еврипида, можно предположить, что они оставались дома от досады.

1177. Thucyd. iii. 104. Версия доктора Смита. Ср. Hom. Hymn. in Apoll. 146. sqq.

1178. Я, как читатель поймет, принял стих, предложенный Барнсом:.

Δηλιάδες δὲ τε κοῦραι Ἀπόλλωνος θεράπειναι.

Хотя Эрнести, возможно, прав, полагая, что добавление не требуется. См. его примечание к ст. 165. Франке в своем недавнем издании "Гимнов", как и Эрнести, отверг этот стих.

1179. Из этих стихов (Hymn. in Apol. v. 165. 172) я даю свой собственный перевод, за исключением последней строки, которую Байрон где-то сделал готовой для моей руки.

1180. Polyæn. Strat. v. 14. Meurs. Peisist. vi. p. 46. seq. Плутарх. в Apophthegm. Peisist. § 3. который называет юношу Фрасибулосом. Valer. Max. v. 1.

1181. Schol. in Aristoph. Acharn. 144. Весп. 98. Влюбленные юноши, по-видимому, играли в кости с фортуной, чтобы узнать, будет ли им сопутствовать успех или нет. Luc. Amor. § 16. Говоря о сфендоне, или драгоценном кольце Амейпсия, Хемстерхуис замечает: "Nomen habere potuerit hæc comedia ab annulo mutui amoris signo, atque arrha, cujus in palâ fuerit insculpta, quod haud apud antiquos insolens, amoris figura, quæque vario ut modo per aliorum manus vagata. "vagata." ad Poll. ix. 96. t. vi. p. 1123.

1182. Amor. § 16. Τοῖχος ἅπας ἐχαράσσετο, καὶ πᾶς μαλακοῦ δένδρου φλοιὸς Ἀφροδίτην καλὴν ἐκήρυσεν.

1183. Callim. Frag. xxv. p. 241. Spanh.-Theoc. Epithal. Hell. 48.

1184. Ап. Евстафий. Илиада, ζ. 490. Potter, Archæol. ii. 244.

1185. Филострат. Epist. xx. p. 921. Герман. Com. in Arist. Poet. p. 87.

1186. Athen. xv. 9.

1187. Ср. Наис по Гарпократу. в ст. с. 203. Sch. Aristoph. Plat. 179. Ср. Athen. xiii. 51.

1188. Афины. xv. 9.

1189. Аристоф. Thesmoph. 400.

1190. Σὲ δέσποινα τῶν ὑπὲρ σοῦ λόγων, Ἀφροδίτη, σὲ βοηθὸν αἱ ἐμαὶ δεήσεις καλοῦσιν. Luc. Amor. § 19.

1191. См. этот вопрос с особым умением рассмотрен Максимом Тирием viii. 105. sqq. Гомер, по мнению этого писателя, проявляет особое мастерство в описании любви, от прохладной, робкой зари страсти до ее пылкого полудня, изображая ее действия, возраст, в котором она переживается, ее формы, ее чувства, целомудренные или нецеломудренные. См. также Lycophron Cassand. 104. с комментарием Меурсия, р. 1184. 1186. sqq.

1192. Дружбу Ахилла к Патроклу прославляет Максим Тирий, viii. 106. Ср. Luc. Amor. 20.

1193. У Максима Тирия есть очень красивый отрывок о происхождении любви. "Ее источник - красота души, сияющая в теле. И как цветы, увиденные под водой, кажутся еще более блестящими и изысканными, чем они есть на самом деле, так и душевное совершенство, кажется, проявляет дополнительное великолепие, когда на него накладывается телесная прелесть" ix. 113. Еврипид, что бы он ни писал в старости, когда-то был восторженным панегиристом любви, о которой он оставил блестящее описание. Athen. xiii. 11. В гимнасии статуя Эроса ставилась рядом со статуями Гермеса и Геркулеса - благородство и сила. Праздники любви Ἑρωτίδια отмечали феспийцы. Athen. xiii. 12. Перед вступлением в бой критяне и спартанцы приносили жертву Эросу, Id. xiii. 12. Алексей подражает Платону в описании этой страсти. У Эроса было два лука: один из благодати, производящий счастье, другой - порождающий насилие и зло. Id. xiii. 14. О силе любви см. § 74. Клизофос из Селимбрии влюбился на Самосе в статую из парийского мрамора. § 84.

1194. Καὶ τὴν Πηνελόπην ἄλλως Ὀδυσσεὺς ὀρᾷ, ἄλλως ὁ Εὐρύμαχος.-Max. Tyr. ix. 115.

1195. Soph. Antig. 635. sqq.-Καὶ ἐν εὐτυχίαις συνευτύχει καὶ ἀποθανόντι συναποθνήσκει, Max. Tyr. ix. 116. Мы обнаруживаем ту же идею в нашем собственном брачном обряде, где муж и жена, как говорят, соединяются вместе "в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии".

1196. Даже Лукиан смог понять, что в любви есть что-то святое. Κοινὸν οὖν ἀμφοτέρῳ γένει πόθον ἐγκερασμένην, [συνέξευξενσυνέξευξεν ἄλληλοις](#) θεσμὸν [ἀνάγκηςἀνάγκης ὅσιον](#). Amor. § 19.

1197. См. также у Стобеуса обращения убитого горем мужа к философии - ὦ φιλοσοφία, τυραννικά σου τὰ επιτάγματα- λέγεις φίλει- κᾶν ἀποβάλῃ τις, λέγεις, μὴ λύπου. 34. Ср. Senec. Epist. 99. Scheffer, ad Aelian. 27. p. 471.

1198. Макс. Tyr. x. 119. Этот автор замечает, что любовь, изображаемая трагиками, была нерегулируемой страстью, редко приводящей к счастью. Id. 123. 124. Ср. Luc. Amor. § 37.

1199. Ἐξ ὀνείρων ἐραστής. Max. Tyr. x. 126.

1200. См. обращение к Любви у Лукиана: σὺ γὰρ ἐξ ἀφανοῦς καὶ κεχυμένης ἀμορφίας τὸ πᾶν ἐμόρφωσας. κ. т. л. Amor. § 32.

1201. Эта мысль встречается во фрагменте Ликимния

Ὑπνος δὲ χαίρων ὀμμάτων

αὐγαῖς, ἀναπεπταμένοις ὄσσοις,

ἐκοίμιζεν κούρον.

Athen. xiii. 17.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ТОМА.

ЛОНДОН:

НАПЕЧАТАНО СЭМЮЭЛЕМ БЕНТЛИ,

Bangor House, Shoe Lane.

Примечание транскриптора

Печатник использовал скорописные формы бета (β) и тета (θ), иногда в одном отрывке со стандартными β и θ. Они были заменены на стандартные формы.

Незначительные пунктуационные ошибки и несоответствия в аппарате сносок были исправлены без дальнейшего упоминания.

Те ошибки, которые считаются наиболее вероятными ошибками типографии, были исправлены и отмечены здесь. Ссылки даны на страницу и строку оригинала. Исправления в примечаниях обозначены символом "n" и номером оригинального примечания.

6.n1	Стеф. Byzant. v. [A/A]ἰτωλ. p. 71. a.	Заменено.
23.24	недостаточно широкий, чтобы вместить[...] весь	Убрано.
49.14	которые переплетались туда-сюда.	Вставлено.
49.21	<i>petit-ma[i/i]тры</i>	Заменено.
54.34	как огромная безъязыкая	sic: uncrenelated
68.14	но сэр Виллиа[n/м] Гелл	Заменено.
78.4	couchant s[y/p]hynxes	Заменено.
155.35	как у индусов.	Заменено.
166.29	любовь к славе и независимости	Заменено.
170.4	и там, где это было сочтено нужным	Заменено.
174.n1	Ср. Дион. Ч[ерт]исост.	Вставлено.
176.6	до новейших времен[,/.]	Заменен.
178.n7	аремус оссео["].	Добавлено.
178.n8	calamis superata degit.["].	Добавлено.
186.26	его стоны слышны.["].	Добавлено.
213.30	героическими и сказочными объединениями.	Удалено.
222.n2	как калидонский вепрь у Овидия.	Удалено.
225.32	от его офтальмии и головной боли.	Добавлено.
234.32	εὐφρεῖς καὶ [i/i]καυοὶ	Дыхание исправлено.
288.1	Вакхический характер["].	Добавлено.
343.33	обладал достоинством крайней смелости["].	Добавлено.
263.29	[ð/ð]τὶ ἀμαθία μὲν θάρσος	Дыхание исправлено.
347.4	полный неустойчивых течений	Добавлено.

359.15	С помощью этих средств, также, тран[с]грессоры	Вставлено.
360.8	в случае меньших трансгрессий	Вставлено.
361.32	которые случаются лишь в отдельных случаях	Transposed.
371.n2	ὀφθαλμο[ι] μεγάλοι τε καὶ διαυγεῖς	Заменено.
357.37	это ее неуклюжий бросок.	Удалено.
379.16	список их профессий[,/.]	Заменено.
391.32	τρεῖς υ[ί/ι]οὺς ἄφρουρον	Дыхание исправлено.
393.14	Царственный в возвышенности роста.	Убрано.
409.7	Решающее значение имеет их сравнительная уединенность[.]	Добавлено.
418.n2	per aliorum manus vagata.["]].	Добавлено.
423.n1_ 1	συν[εξεῖ/έξευ]ξεν	Заменено.
423.n1_ 2	ἄλληλοις θεσμὸν ἀνάγκ[ῆ/η]ς ὅσιον.	Заменено.